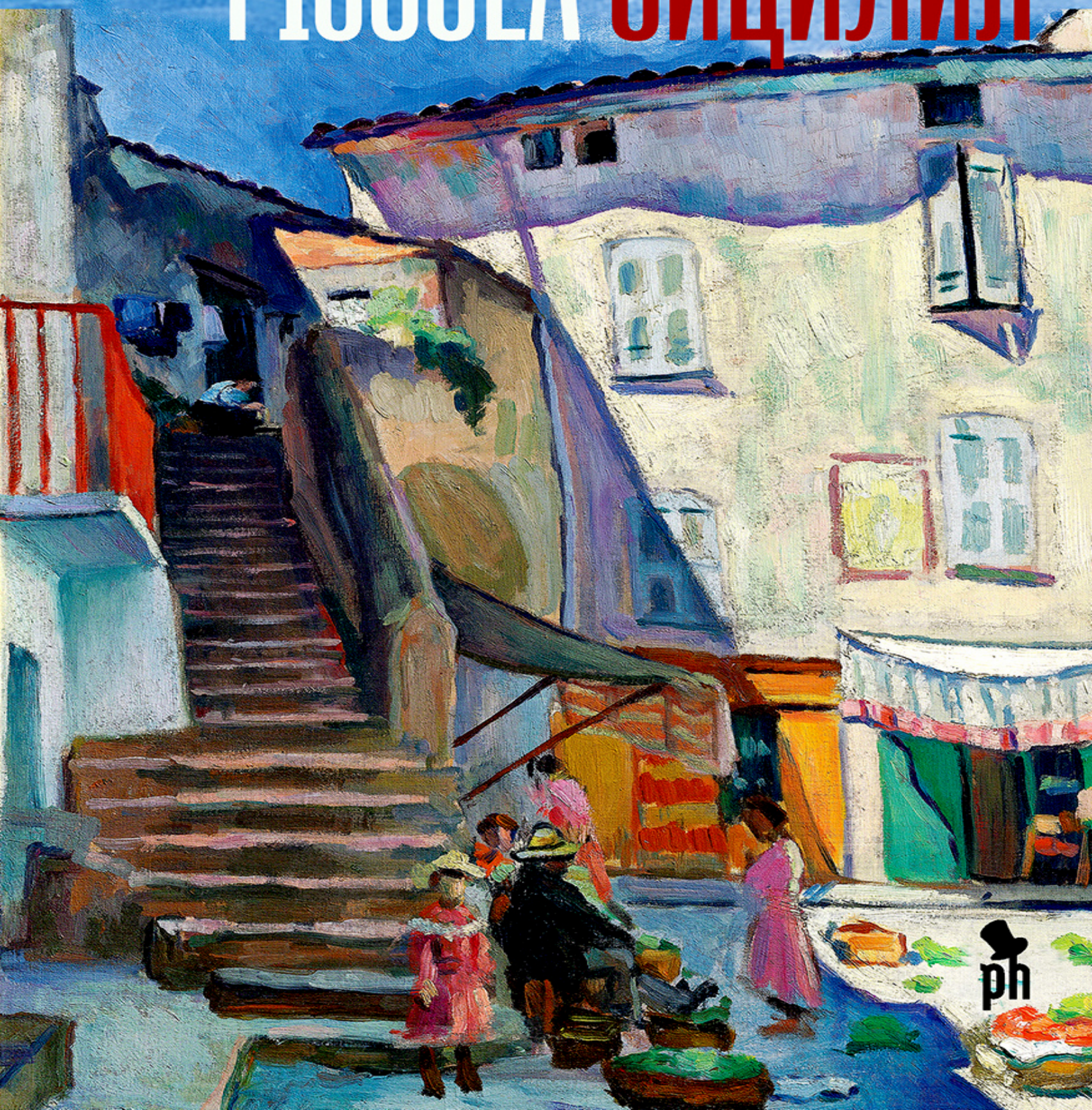


ДАНИЭЛЬ ШПЕК
RISCOLA СИЦИЛИЯ



ph

Annotation

Наши дни. Солнечный осенний день на Сицилии. Дайверы, искатели сокровищ, пытаются поднять со дна моря старый самолет. Немецкий историк Нина находит в списке пассажиров своего деда Морица, который считался пропавшим во время Второй мировой. Это тайна, которую хранит ее семья. Вскоре Нина встречается на Сицилии странную женщину, которая утверждает, что является дочерью Морица. Но как такое возможно? Тунис, 1942 год. Пестрый квартал Pìccola Сицилия, три религии уживаются тут в добрососедстве... Уживались, пока не пришла война. В отеле «Мажестик» немецкий военный фотограф Мориц впервые видит Ясмину и пианиста Виктора. С этого дня их жизни окажутся причудливо сплетены. Им остается лишь следовать за предначертанием судьбы, мектуб. Или все же попытаться вырваться из ловушки, в которую загнали всех троих война, любовь и традиции. Роман вдохновлен реальной историей.

- [Даниэль Шпек](#)
 -
 -
 - [Пролог](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [Глава 12](#)
 - [Глава 13](#)
 - [Глава 14](#)

- [Глава 15](#)
- [Глава 16](#)
- [Глава 17](#)
- [Глава 18](#)
- [Глава 19](#)
- [Глава 20](#)
- [Глава 21](#)
- [Глава 22](#)
- [Глава 23](#)
- [Глава 24](#)
- [Глава 25](#)
- [Глава 26](#)
- [Глава 27](#)
- [Глава 28](#)
- [Глава 29](#)
- [Глава 30](#)
- [Глава 31](#)
- [Глава 32](#)
- [Глава 33](#)
- [Глава 34](#)
- [Глава 35](#)
- [Глава 36](#)
- [Глава 37](#)
- [Глава 38](#)
- [Глава 39](#)
- [Глава 40](#)
- [Глава 41](#)
- [Глава 42](#)
- [Глава 43](#)
- [Глава 44](#)
- [Глава 45](#)
- [Глава 46](#)
- [Глава 47](#)
- [Глава 48](#)
- [Глава 49](#)
- [Глава 50](#)
- [Глава 51](#)

- [Глава 52](#)
- [Глава 53](#)
- [Глава 54](#)
- [Глава 55](#)
- [Глава 56](#)
- [Эпилог](#)
- [Действующие лица](#)
- [Юкали](#)
- [Слово благодарности](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)

- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)

- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)

- [102](#)
 - [103](#)
 - [104](#)
 - [105](#)
 - [106](#)
 - [107](#)
 - [108](#)
 - [109](#)
 - [110](#)
 - [111](#)
 - [112](#)
 - [113](#)
 - [114](#)
 - [115](#)
 - [116](#)
 - [117](#)
 - [118](#)
 - [119](#)
 - [120](#)
 - [121](#)
 - [122](#)
 - [123](#)
 - [124](#)
 - [125](#)
 - [126](#)
 - [127](#)
 - [128](#)
 - [129](#)
 - [130](#)
-

Даниэль Шпек

Piccola Сицилия

Piccola Sicilia, Daniel Speck
© 2018 Daniel Speck

© Татьяна Набатникова, перевод, 2020
© «Фантом Пресс», издание, 2020

* * *

Действие и персонажи романа вымышлены, но опираются на реальные события и реальных людей. Рихард Абель, Халед Абдельвахаб, Рени и Леопольд Берива рисковали собственной жизнью ради спасения чужой. Если бы не их мужество, эта книга не была бы написана.



Пролог

Я представляю себе: за роялем мужчина. Он вдохновенно поет. Если они узнают, кто он на самом деле, его пристрелят. Но он заразительно смеется, упиваясь обманом, – показывает офицерам то, что они и хотят в нем видеть. Он знает, что самое надежное укрытие – правильная картинка в чужой голове. Люди верят историям, что им льстят. Офицеры подпевают. *Как та Лили Марлен*. В этих стенах с лепниной, привычных ко всем наречиям мира, в гранд-отеле «Мажестик» теперь звучит лишь немецкая речь. Язык завоевателей, только вчера очистивших отель от прочих постояльцев и занявших все комнаты – от подвала до мансард. Но стены знают, что пройдет и это, как проходят все удачи и беды мира.

* * *

И есть в этом зале еще один человек. Он стоит, прислонившись к стене, неприметный, почти невидимый. Мой дед, ему тогда было едва за двадцать, в униформе вермахта. Он единственный, кто не подпевает в голос, лишь мурлычет себе под нос. Глядя в видоискатель фотоаппарата, он выискивает в зале подходящую цель. Его задача – внедрять картинки в головы людей, рассказывать истории, писать *историю*. Этот парень еще не знает, что станет моим дедом, он только что прибыл в Северную Африку. Он никого пока не знает здесь. И хотя ему положено отображать картину веселого товарищества – немецкие офицеры вокруг итальянского пианиста, – его объектив замирает на единственной женщине в баре, черноглазой и черноволосой. Никто не подозревает, что она еврейка. На ней форменное платье французской горничной, она скользит от стола к столу, меняя розы в вазах. Она замечает нацеленный на нее объектив, но тут же отводит взгляд, будто фотограф застиг ее на чем-то запретном. И действительно, его внимание привлекла не только загадочная красота Ясины и не то, что она будто немного не в своей тарелке. Нет, он единственный в этом баре заметил, что розы, которые она вынимает из ваз, такие же свежие,

как и те, что она ставит взамен. И что она уже дважды обошла ближайšie к роялю столы, не сводя глаз с Виктора, пианиста. Фотограф не знает, что Ясмина здесь только ради Виктора, ради его теплого голоса, в который можно укутаться. Голоса, к которому она привязана с тех пор, как в детстве он ночами разгонял ее страх одиночества. Фотограф не знает, что она хотела бы защитить Виктора, что готова за него умереть. Ни Ясмина, ни немецкий солдат пока не знают, что она станет женщиной его жизни, а вернее – трех его жизней. Трех масок хамелеона, отделяющих миры, которые у него еще впереди и которые я лишь теперь, по прошествии семидесяти пяти лет, высвобождаю слой за слоем, словно непрошенный гость, словно археолог на запретной территории.

Если травма утраты – важная часть нас, как и чувство защищенности, счастья или близости, то мои родные – то есть все участники этой истории, иудеи, христиане и мусульмане, – так или иначе травмированы, включая и меня. И кому еще, как не мне, надеяться, что можно снова ожить – несмотря ни на что? Все они умерли, так и не ожив. Теперь лишь от меня зависит, чем закончится эта история.

Глава 1

Нина

В некотором смысле мы все лишились родины – мигранты из страны детства.

Георги Господинов^[1]

Из глубины, темно мерцая под легкой рябью, он, словно сон, медленно поднимается к свету. И взрезает поверхность воды. Серебряный хвост самолета, оторванный от фюзеляжа, но на удивление целый, будто лишь того и ждал, чтобы его пробудили ото сна на дне морском. Обросший ракушками, словно старый кит. На стабилизаторе – черная размытая свастика. Ил придонный капает с крыльев. Изнутри доносится скрежет и стон, пока кран осторожно поднимает чудище на берег. Водолаз пробует закрылки на прочность. Немецкое качество. Не раз виденная на черно-белых снимках алюминиевая обшивка «Юнкерса Ju-52» теперь возникает в цвете, посреди сверкающей синевы. Вдали песчаный пляж, скалы и оливковые деревья, на берегу играют дети.

* * *

Я смотрю на экран и не могу поверить. Мы когда-то стояли на этом пляже и смотрели на море. Ветряные мельницы Марсалы, виноградники и церковь, наше свадебное путешествие по Сицилии. Никогда бы мне в голову не пришло, что на дне моря лежит машина, которая должна была доставить моего деда домой. Самолет рухнул в Средиземное море недалеко от Трапани, базы люфтваффе, немецких военно-воздушных сил. То ли артобстрел, то ли нехватка горючего, то ли отказал мотор – это еще предстоит выяснить. Они говорят, это случилось 7 мая 1943 года, незадолго до рождения моей матери.

Я то и дело возвращаюсь к видео и перечитываю электронное письмо, с которым оно пришло. Пишу ответ и стираю его. Потом

встаю, запираю свой кабинет, здороваюсь с ночным вахтером и покидаю Музейный Остров.

Сырой воздух пахнет листвой, осень в этом году ранняя. Блеклые осколки света на ряби Шпрее. Если правда, что мой дед погиб в этом самолете, это означает окончательную уверенность, что я – последняя в нашем роду. Сперва умерла моя бабушка, потом мать. Единственный, кто оставался, – исчезнувший дед. Теперь я одна.

S-бан скользит сквозь ночь. Тот же путь, что и каждый вечер. Неизменность некоторых вещей успокаивает меня. Пассажиры входят и выходят, мода приходит и уходит, а линия S1 всегда останется линией S1. Она пережила бомбардировки и раздел города. Скорее всего, и мой дед ездил по этому маршруту. Тиргартен, Савиньи-плац, Ванзее. Моя профессиональная болезнь: археологи видят мир не таким, каков он сейчас, а таким, каким он был прежде – слой за слоем. Для нас все существует одновременно, невидимое наряду с видимым, следы вчера просвечивают сквозь сегодня, настоящее я вижу как следствие прошлого.

Мой взгляд странствует сквозь времена, как будто я пролистываю книгу. Вокзал Фридрихштрассе, мы с Джанни напились в последнюю ночь прошлого тысячелетия. Моя первая поездка в Восточный Берлин в восьмидесятые – робким тинейджером в джинсовой курточке и кроссовках, с матерью, у которой был друг на Востоке, любивший западные сигареты. Он ждал нас на холоде в куртке-пуховике, с пропуском в руке, никто в нейтральной зоне не смел разговаривать в полный голос. В деталях я вижу и то, что было до моего рождения, словно присутствовала при этом: раскуроченные ночной бомбежкой рельсы, моя юная бабушка провожает на вокзале моего деда в военной форме, она еще верит в победу, а он в сомнениях, но помалкивает.

* * *

После полуночи я звоню Патрису на Сицилию. Во «входящих» уже четыре сообщения от него. И видео со свастикой. *Приезжай немедленно, это сенсация!* Мы знакомы со студенческих лет, вместе провели год по обмену в Перудже, а потом наши пути разошлись. Его всегда привлекала подводная археология, я же предпочитала твердую

почву под ногами. Все, что я люблю в пустыне, Патрис любит на глубине, и наоборот: он боится пустоты, а я глубины. Там, внизу, можно быстро погибнуть или быстро разбогатеть, а все, что в промежутке, ему неинтересно. Я же избегаю крайностей, мне нужна надежность земли, и меня устраивает постоянная должность в фонде Прусского культурного наследия.

Когда-то Патрис был влюблен в меня – и я в него, если уж честно. Может, из этого получилось бы приключение что надо, но я уже выбрала Джанни. Патрис был привлекательный, очаровательный, безумный, и именно поэтому он сделал бы несчастной любую из женщин. Одной бы ему не хватило.

Голос его я узнаю сразу – все такой же молодой, чистый, как прежде. Но вот звучит он слишком возбужденно.

– Ты же постоянно о нем говорила, ты что, не помнишь?

Да. Мой дед – вопросительный знак в нашей семье.

– Самолет летел из Туниса. А ведь он служил в Северной Африке, ты сама говорила, верно?

– В войну миллионы пропали без вести, как тут узнаешь...

– Я пришлю тебе одну фотографию. То, что мы нашли. *C'est incroyable!*^[2] Его ведь звали Мориц, нет? А фамилия как у тебя?

– Нет, у нас разные фамилии, Патрис, к тому же у меня сейчас другие проблемы.

Мне его волнение не передается. Скепсис перевешивает.

Потом приходит фото. И еще одно. Я смотрю на экран смартфона, и по спине у меня пробегает холодок. Обросший ракушками и пожелтевший от ржавчины, но все равно на удивление хорошо сохранившийся фотоаппарат. Марки «Агфа», надпись на корпусе отчетливо читается, но вместо объектива зияет дыра – там, где у старинных аппаратов была гармошка сильфона. На втором снимке фотоаппарат снят сзади, третий файл – увеличенная деталь, гравировка в ржавом металле, очищенная от отложений. Инициалы М. R. Или М. В.?

– Какая у него была фамилия?

– Райнке.

Мне эта фотокамера знакома по другому снимку, одному из немногих сохранившихся снимков деда: двадцатилетний, еще до катастрофы, он стоит на Ванзее, подтяжки, ворот рубашки расстегнут,

на лице улыбка – и острый, прямо в объектив, взгляд, в руке камера, будто он только и ждет, чтобы сфотографировать того, кто снимает его самого, то есть мою юную бабушку.

– После шестидесяти с лишним лет, Нина! Жизнь пишет самые безумные истории.

Нет, *моя* жизнь уж никак не безумна, в ней все идет по заведенному распорядку, моя жизнь – островок стабильности в хаосе этого города, как говорят мои подруги; ну хорошо, за исключением краха с Джанни. При том что и сам крах вполне заурядный: молодая любовница и жена, получившая от мужа сообщение, предназначенное не ей. Нет, жизненные истории как раз слишком банальны.

– Ты не рада? Наконец-то ты его нашла!

Я молчу, сама не зная почему. Уши будто заложило, конечности онемели. Если мой дед действительно лежит на дне моря у побережья Сицилии, то он больше не будет считаться без вести пропавшим. Тогда его тайна, всегда окрылявшая мою фантазию, будет раскрыта.

– Подсказку дал мне один рыбак. Именно рыбаки всегда вытаскивают что-нибудь на поверхность. И тогда мы нашли стабилизатор и несколько предметов из хвостовой части. Бортовую утварь, каркас сиденья... и вот эту камеру. Теперь мы ищем фюзеляж. Может, найдем еще что-нибудь.

Мне стало жутковато при мысли, что я могу увидеть законсервированного в морском иле молодого солдата, который приходится мне дедом. Потом верх взял рассудок – под водой вряд ли сохранился даже скелет. Морские звезды, рыбы и раки объедают ткани. А кости со временем деминерализуются. Сохраниться они могут только под слоем ила, без доступа кислорода.

Да и инициалы могут означать что угодно. Мартин Рихтер, например. Михаэль Бидерман.

– Единственное, что вызывает у меня сомнения, – сказал Патрис, – это марка фотоаппарата. Фотографы вермахта использовали более прогрессивную «Лейку-Шс». А это «Агфа Карат» тридцатых годов.

Вот почему мы, археологи, не читаем детективы. Мы сами ведем расследования каждый божий день. Но я не знаю, есть ли у меня силы погружаться в него. Я знаю одно: дед занимался не только

фотографией. В какой-то момент он выбился в кинооператоры, снимал хронику для еженедельных киножурналов.

– Послушай, Нина. У меня есть документ, отчет начальника тыла из Трапани о несчастном случае. Там значится тот же номер самолета, который мы нашли на хвосте. Имена экипажа тоже известны. Но нет списка пассажиров. С ним бы исчезли последние сомнения. И у меня к тебе... просьба.

– Какая?

– Поименные сообщения о потерях есть в армейских архивах. Они дают справки по вермахту. То есть если где-то и есть список пассажиров, то у них. Но у меня туда нет доступа, я всего лишь мелкий французский водолаз. А там надо, чтобы был родственник или гражданин страны. Из-за этого закона о защите данных.

– Где это?

– В Берлине.

– Хорошо, я сделаю.

– Нина, ты просто сокровище. За это я приглашаю тебя на выходные!

– Куда?

– Сюда, в Марсалу. *C'est magnifique!*^[3] Приезжай поскорее, пока не набежали сумасшедшие. Об этом уже написали в газетах, мы не смогли помешать. Прилетай, Нина! Как давно мы уже не виделись? Лет десять?

– Патрис, мне очень жаль. Но я не могу.

– Почему? В чем дело?

Я не стала рассказывать ему ничего о землетрясении, разрушившем мой брак. О назначенной встрече с адвокатами и об абсурдной попытке перевести в цифры тринадцать лет жизни, а затем разделить их строго поровну. Мое существование и без того стало таким шатким, что любой толчок выбил бы меня из колеи. Я рассказала о конференции в Лондоне, умолчав, что последние десять лет провела в пропыленном архиве музея. И разучилась путешествовать.

Справочная служба вермахта, утром перед встречей у адвоката по разводу. Чистая, упорядоченная тюрьма для документов, здесь взаперти хранятся биографии тех, кем больше никто не интересуется. Кто-где-когда и что сделал. Был ранен, пропал, попал в плен или умер как-то иначе. Миллионы мужчин. Я пишу заявку. Ввожу даты, которые описывают горе в цифрах.

Lu-52/3тгбе. Дело номер 7544, летная команда полка воздушной разведки, предполагаемый солдат вермахта: Мориц Райнке, родился 2 марта 1919 в Треблине, Померания.

«Мы сообщим вам по электронной почте». Доброжелательно, бесшумно, эффективно. Этот орган – сама противоположность городу за окнами. Почему я еще ни разу не бывала здесь? Это на моей ветке метро. И я даже знаю одного человека, который тут работает. Может, боялась узнать правду? Кого он убил и в каком скотстве был замешан. Молчание, которым он был окутан, берегло нас от чего-нибудь шокирующего. Уж лучше та формула, с которой все могли как-то жить: *Пропал без вести в пустыне.*

* * *

Джанни уже подписал бумаги по разводу. Оставалось назначить дату, когда наша неудача будет подтверждена официально – моей подписью на бумагах.

Я всегда недоумевала, почему женщины предпочитают мужчин с более высоким доходом, чем у них. Ведь такой мужчина всегда может позволить себе лучшего адвоката при разводе. Я смотрю на своего будущего экс-мужа через необъятный стол. Новый костюм сидит на нем, как всегда, превосходно, в вопросах внешности Джанни компромиссов не терпит. Его адвокат, в контору которого он меня пригласил, распинается о щедрости предложения. Джанни улыбается. Чужой, тело которого, душа и сердце были когда-то заодно со мной. Как можно обмануться в человеке. Я ничего не говорю ему о звонке с Сицилии. Сообщаю лишь, что должна уехать, сую бумаги в сумочку, не поставив подпись, и прошу дать мне время на размышление.

– Но ты не можешь сейчас уехать! – Джанни с негодованием вскакивает. Как будто мы все еще пара. – Нина, мне очень жаль.

Он желает отпущения грехов, чтобы я благословила его на будущее с Как-уж-там-ее-зовут. А я желаю ему приятного дня и покидаю контору.

Откуда у меня вдруг взялось мужество, не знаю. Решение пришло спонтанно, словно возникло из стены тумана, – кажется, что не я произносила эти слова, а кто-то другой. Может, это было бегством из настоящего и одновременно тоской по прошлому. Ну или предчувствием, что ключ к моему утраченному «я» находится не здесь, а в истории, случившейся задолго до моего рождения, – в истории, что сохранила безумную судьбу в капсуле времени, обросшей ракушками, в темноте на дне моря. Я приехала домой и собрала чемодан. Была пятница, вторая половина дня.

Глава 2

Почти все, что я знаю про деда, мне рассказала мать. Бабушка говорила о нем очень редко. В каждой семье есть табу и есть кто-то, оберегающий его. Нашу семью делало особенной не то, что бросалось в глаза, – не мой отец, живущий в Америке. Я регулярно разговаривала с ним по телефону, а моя мать – хотя это именно она потребовала развода – не сказала о нем ни единого дурного слова. Он существовал. Он был отсутствующим, но реальным членом семьи. Дед же мой, наоборот, казалось, не имел права на существование, он был устранен из круга семьи еще до моего рождения. Но у каждой семьи есть память, которая выходит за пределы воспоминаний ее членов. Почему я еще в детстве сгорала от любопытства, желая узнать хоть что-то про деда, непонятно. Может, как раз молчание бабушки и создавало вокруг него этот ореол загадки.

Всякий раз, когда я о нем спрашивала, воцарялась свинцовая тишина. Не уютное и не печальное молчание, а ледяное, от которого у меня пресекалось дыхание, а внутри поднимался страх, будто я ляпнула что-то не то, – чувство, сравнимое с глубокой неловкостью, охватившей меня однажды, когда я – ребенком лет пяти – спросила, кто же такой этот Гитлер, о котором взрослые говорят так тихо, будто не хотят, чтобы я расслышала. Одно упоминание ребенком этого имени точно заморозило всех за столом. Мне стало стыдно, словно я всех подвела, сама того не ведая. Гитлер и дед почему-то принадлежали к категории вещей, которые лучше не упоминать, чтобы пощадить взрослых. Ответ на мой вопрос, где же дедушка, всегда был одинаков:

– Он не вернулся с войны.

И если я допытывалась, умер ли он, бабушка не говорила ни да ни нет, а только:

– Он пропал без вести.

– Где?

– В пустыне. А теперь ешь свой яблочный пирог!

Слова «пропал без вести» сопровождали меня после таких вечеров у бабушки до самого сна. Значит, было нечто промежуточное между мертвым и живым, какая-то нерешенность, сродни невнятности

миру, порождавшему легенды о Бермудском треугольнике и сгинувших в нем самолетах или о кораблях-призраках, приговоренных вечно блуждать в океане, не находя ни одного порта, но и не погружаясь на дно. Мой дед тоже был неприкаянным призраком, и с самого детства пустыня будоражила мое воображение.

После того как мать рассказала, что летчик, написавший «Маленького принца», тоже пропал без вести, я фантазировала, как Сент-Экзюпери и мой дед встретились где-то в пустыне Северной Африки, поделились водой и показали друг другу фотографии своих жен, которые напрасно их ждут. Я проглатывала книжки о приключениях Кара бен-Немси^[4], путешествовала вместе с ним по Египту. Проклятие Тутанхамона, загадка Сфинкса, миражи фата-моргана. Зеркало в песке. Может, то были без вести пропавшие, возвращавшиеся в виде духов? Кто знает, почему выбираешь себе ту или иную профессию, – может, по случайности. Но совершенно точно – я захотела стать археологом не для того, чтобы сидеть в музейном архиве, а чтобы распутывать неразгаданные тайны.

* * *

В то время как бабушка предпочла бы видеть мужа мертвым, мать тосковала по пропавшему без вести отцу. Она его никогда не видела. Она верила, что он выжил и был жив еще десятилетия после войны, она *хотела* в это верить вопреки реальности, тогда как бабушка отмахивалась от ее веры как от глупого наваждения. Мне их споры казались почти абсурдными. Как только речь заходила о дедушке, чувства моментально вспыхивали, чтобы тут же утонуть в свинцовом молчании. Мать словно укоряла бабушку, а та не желала принимать это невысказанное обвинение. Мне уже чудилось, что вопрос о том, жив он или нет, – лишь вопрос желания, и у кого желание сильнее, тот и определяет судьбу. В один из таких моментов до меня дошло, что реальность зависит от ракурса, что большая история состоит из историй поменьше, а мысли есть порождение чувств. Воспоминания – это игра в загадки с рассудком, который тщетно пытается отделить желаемое от истинного.

Глава 3

Всякий раз, поднимаясь в самолет, я думаю о матери. Должно быть, ей стоило невероятных усилий приветливо улыбаться раздраженным пассажирам, никогда не допускать небрежности в прическе, игнорировать мужскую ладонь, в тесноте салона якобы невзначай скользнувшую по ее заднице. Я всегда улыбаюсь стюардессам в ответ, даже если им это безразлично. Сейчас другие времена, полеты утратили блеск избранности, который отражался в глазах моей матери, когда она рассказывала мне о Лос-Анджелесе, о Бангкоке и Монреале. Она любила свою профессию больше всего, может, даже больше меня, кто знает.

Я не в обиде на нее за то, что она так редко бывала дома. Возможно, благодаря ей я так люблю работать одна, ведь еще ребенком я научилась не чувствовать себя одиноко, а в моих фантазиях всегда присутствовал кто-то, с кем я могла беседовать. Я и сейчас, после тринадцати лет брака, не боюсь одиночества, боюсь лишь неизвестности. Я любила ритуалы, которые упорядочивают день, – например, воскресным утром Джанни всегда шел в ванную первым, пока я готовила кофе, а когда я стояла под душем, он уходил покупать булочки к завтраку. Он знал, что больше всего я люблю круассаны с марципаном от *Butter Lindner*, и хотя идти за ними было немного дальше, он всегда делал это – из любви ли ко мне или оттого что просто мог подольше поговорить по телефону. С ней. Этот заведенный порядок длился довольно долго, пока я не узнала правду. Но если ты однажды решишь порыться в мобильнике своего любимого, пока он стоит под душем, значит, конец уже не за горами.

Перелет короткий, рукой подать. Пересадка в Риме – пока с легкостью удастся держать воспоминания на привязи, – а оттуда через час в Трапани. В любом полете есть середина, и это не всегда половина времени, а точка, в которой мысли, связанные с местом вылета, сменяются мыслями о месте прилета. Переход между прошлым и будущим, чудесное зависание в настоящем, вне пространства и времени. Однако на сей раз самолет уже снижался, а я мысленно все еще оставалась в Берлине, рядом с Джанни, – он сейчас, должно быть,

в нашей квартире, пришел забрать остатки своих вещей, возможно, даже с ней. Под иллюминатором – аэропорт Трапани. Десятки лет назад – база немецкого люфтваффе. С тех пор сохранились ржавые ангары. Здесь Мориц должен был приземлиться в мае 1943-го, после короткого полета над Сицилией. Но не приземлился.

* * *

Никто не обращает на меня внимания. Патрис хотел встретить, но я отказалась. Даже время прилета не сообщила. Я хотела побыть одна. Понять, каково это – очутиться здесь спустя тринадцать лет. Хотела, чтобы никто меня не видел, если вдруг накатит тогдашнее чувство. Сицилия. Как нарочно, Сицилия.

С залами прибытия у меня связан один пунктик. Никому, кроме меня, такое в голову не приходит, а я никогда не упускаю этой возможности. Джанни – единственный, кому я об этом рассказала. Тринадцать лет назад, в аэропорту Палермо, в наше свадебное путешествие. Представлял ли ты себе хоть раз, спросила я его, как подходишь к одному из шоферов, что встречают прибывших, держа таблички с фамилиями, называешься написанным именем и следуешь за водителем? Это ведь так просто – всего-то назвать фамилию с таблички, водитель не станет спрашивать паспорт, он стремится поскорее уехать. Берет твой чемодан, ведет тебя к мини-автобусу или, если повезет, к лимузину с тонированными стеклами и везет, ты не знаешь куда – в конференц-зал, в отель, на корабль; ты болтаешь с водителем, гадая, насколько далеко ты готов пробраться в чужую жизнь – как в одежду, что тебе не по росту или не по твоим деньгам, но такая приятная. Пока у тебя не спросят паспорт, ты в отпуске от самого себя. *Ты никогда бы не посмела это сделать*, сказал тогда Джанни и был прав. Скорее всего, это оказалось бы не столь волнующе, как в моих фантазиях, но дело ведь в другом. Меня зачаровывает сам момент выбора, когда ты направляешься к шеренге из пяти-шести табличек, и каждое имя – дверь в другую жизнь. Пьянящее чувство, что все возможно. Если только перестанешь быть собой.

* * *

Парковка перед аэропортом почти пуста. Ландшафт отсутствия. Серое море, ноябрьские облака, сквозь которые иногда прорывается солнце, отражаясь в мокром асфальте. Переменчивая игра между рябью волн, набегающих с моря, и неожиданно синим небом. Дождь тяжелый, свет ненадежный. Ты помнишь это другим. Тебе недостает оглушительной жары, цикад, буйного дурмана лета.

Солнце уже низко, проглядывает между туч. С запахом этого острова опять оживает запах Джанни. Я отгоняю воспоминания. Все еще слишком близко. Я пока только пытаюсь научиться его ненавидеть. Не в силах простить его.

Я беру такси до Марсалы. Радуюсь стеклянной перегородке между мной и миром. Жду и боюсь, что прошлое меня настигнет.

* * *

Упоение нашего первого путешествия в качестве супружеской пары, *Signore e Signora Scatà*, наш смех, когда ко мне впервые обратились по этой фамилии, непривычная естественность звучания, чувство, что наконец-то достиг цели. Теперь этого чувства нет. Ландшафт, что тогда был кулисами нашей мечты, стал теперь банальностью. Рекламные плакаты провайдера мобильной связи вдоль дороги. Болтовня радио. Ни следа прежней меланхолии. На обочине человек, потерпевший жизненное крушение, продает розовых плюшевых зверушек, дешевую дрянь из Китая. Тогда города были темные, захудалые и опасные, наша влюбленность контрастировала со здешним упадком, мы светились, наше будущее сияло на фоне здешнего безнадежного прошлого. Теперь же местность была словно расколдованная. Интересно, что на самом деле изменилось, страна или я?

Сицилия после лета – ярмарка без детей. Пустые дороги через пустые деревни, унылые пальмы, пластиковые пакеты, застрявшие в колючей проволоке. Камыш, кактусы, оливы, красная почва, старая каменная кладка. Повсюду таблички «Продается», закрытые ставни и двери. Африканцы, пинающие на парковке футбольный мяч. То и дело недостроенные дома, ржавые прутья арматуры, торчащие из бетона, – на верхний этаж не хватило денег. Зброшенные стройки, мечты,

отложенные в долгий ящик. Кто это запланировал? Где они теперь? Может, молодая пара, которая по-прежнему живет у родителей, а то и вовсе распалась. Строительство дома, съезд в одну квартиру и рождение детей – самые частые причины расставания. Мы обошлись даже без них.

Может, причиной стала нехватка перспективы будущего, стагнация в слишком надежном настоящем, может, нужен был какой-то совместный проект. Я припомнила одну фразу Сент-Экзюпери, смысл которой сводится к тому, что любовь – это когда смотришь не друг на друга, а вместе в одну сторону. Но мы – в одну ли сторону мы смотрели? Действительно ли он был тот, кого я любила, действительно ли я была та, кого он имел в виду? После расставания я спрашивала себя, не притворялись ли мы друг перед другом, не нарисовала ли я себе образ более привлекательный, чем в действительности, не выталкивала ли я вперед лучшую версию себя, – этакая идеальная пара не только для других, но и для самих себя, фальсификация, подмена. Может, его обман стал лишь следствием самообмана, который мы соорудили сообща.

* * *

Вечерние сумерки над Марсалою. Город наподобие Тимбукту или Иерихона: название известно всем, а реальность банальна. Я навоображала себе живописный пляжный променад, оживленный рыбный ресторан на берегу, детей с рожками мороженого. Вместо этого многоэтажки из семидесятых годов, эти жуткие коробки, пустая парковка, киоск с колбасками. Моря почти и не видно, только рыбацкие шлюпки на козлах, пустые помещения, безработные курят, сбившись в кучки.

Патрис выбрал отель за городом, чтоб не привлекать внимания. Группки домов вдоль деревенской дороги, да вряд ли можно назвать это деревней, дома – что охряные, что розовые – выглядят уныло, будто и не у моря. И вот съезд на ухабистую частную дорогу, и маленький белый прибрежный отель, явившийся прямым из семидесятых или восьмидесятых, *Lido del Sole*^[5], что за потасканное название. Но оно превосходно подходит к осыпающейся штукатурке,

растрепанным пальмам и стоящим вразнобой пластиковым стульям. Подавленность межсезонья.

– Хозяйки нет, – говорит горничная.

Нелюдимый, скучающий взгляд, осиротевший холл, откуда-то лопочет радио. Моя комната пахнет затхлостью и моющим средством, в ней стоит темно-коричневая двуспальная кровать, моря с балкона не видно, но слышно. Солнце заходит, небо почти фиолетовое, и вывеска *Lido del Sole* на здании начинает мерцать. Я разбираю вещи, развешиваю их в шкафу и пишу Патрису сообщение. Когда становится темно, снизу доносятся взволнованные голоса, женщина и мужчина, – кажется, они спорят. Я выхожу на балкон и вижу силуэты в темноте у входа.

– *Désolé, Madame*, отель полностью забронирован!

– *Ah bon?* Но даже слепому видно, что здесь все мертво!

Я узнаю Патриса. Его крупное тело, энергичная жестикация. Француженка – немолодая дама в шляпе от солнца и с меховой горжеткой на шее – саркастически смеется и отворачивается.

– Я вызову вам такси.

– Да уж сама управлюсь!

– *Au revoir, Madame*.

Дверь отеля захлопывается. Мне слышно, как француженка тихонько сыплет проклятиями. Затем она проходит со своим чемоданом на колесиках мимо моего балкона. В тот момент, когда я вдруг пугаюсь, как бы она меня не увидела, она бросает взгляд вверх. Я не могу различить лица, только шляпу и горжетку, но откуда-то возникает странное чувство, что я ее знаю. Притворившись, будто не заметила ее, я возвращаюсь в комнату. Мне жаль эту чужую женщину. Почему Патрис ее прогнал?

* * *

Патрис почти не изменился. Несколько седых прядей в длинных, до плеч, волосах и трехдневная щетина, глубокие морщины вокруг голубых глаз, но ему это к лицу. Мужчина в расцвете лет, загорелый и хорошо тренированный, как и прежде.

– *Ça va*^[6], Нина? Ты такая восхитительно бледная! – Он всегда был очаровательным лжецом. Но от его объятий мне становится хорошо. Ничем не отягощенное, как и прежде.

В маленьком ресторане отеля неожиданно шумно, они тут включают музыку, даже если занят всего один стол. Патрис представил меня своим товарищам-водолазам. Филип, Бенва, Ламин. К моему удивлению, за столом есть и немцы, родственники экипажа самолета, они тоже прибыли недавно. Госпожа Митцлафф, господин Бовензипен, супружеская пара Трибель. Пожилые господа, приветливые, взволнованные – сообщество, к которому они теперь причисляют и меня.

Чужие, слишком доверительно говорящие о «наших родных», и Патрис с вопросом, почему со мной не приехал мой муж. В довершение всего. Момент тишины, когда возникло слово «развод», сочувственные фразы, как будто у меня заразная болезнь. Патрис это очаровательно обыграл, потом я по возможности незаметно встроеилась в разговор, укуталась в покров пустяков, протянула ему бокал, пила вино. Я ловила на себе взгляды, как если бы у меня вся одежда была в прорехах. Но в прорехах была я сама, и сквозь дыры во мне свистел ветер.

Патрис травит водолазные байки о поисках сокровищ. Он остался молодым в хорошем смысле: любопытным, полным энтузиазма и заразительным. Превратился в настоящего искателя приключений, каким всегда хотел быть. Кольца на пальце нет. Почему бы это. У него всегда что-нибудь происходило. Ведь я тогда сказала «нет» не потому что он мне не нравился, а потому что такой человек, как он, всегда найдет себе более привлекательную. Он поглядывает на меня, пока говорит. Как будто рассказывает свои истории мне одной. Экспедиция по следам Сент-Экзюпери. Его одержимость найти пропавший без вести самолет национального героя и самому стать при этом героем. Я помню, как он тогда звонил среди ночи, один раз незадолго до решения загадки и второй раз глубоко удрученный. Сегодня он уже может посмеяться над этим.

– Ну это ли не курьез? – смеется он. – Целая нация ищет знаменитого писателя, армии ныряльщиков, десятилетия тщетных поисков, а потом какой-то рыбак из Марселя вынимает из своей сети браслет. Оттирает ил и спрашивает у босса: *Святой Экзюпери, кто*

это? А босс у него из Туниса, имя это слышит впервые, про книги не знает, но зато он из тех мест, где обожают Сент-Экса! *Un drôle de destin!*^[7]

Я помню тот звонок Патриса, в конце девяностых, и ту печаль, что тогда охватила меня. Окончателность смерти Экзюпери. Патрис же, наоборот, горел энтузиазмом, ему не терпелось найти останки самолета. Началась гонка нескольких команд, споры и дразги с правительством. Обломки из моря достал в итоге совсем другой водолаз. Пресса взახлеб писала об успехе экспедиции, но меня вся та история странным образом расстроила. Может, потому, что конец Сент-Экзюпери был таким банальным: отец Маленького принца был сбит немецким истребителем. Но может, и потому, что его поиски напомнили мне о другом пропавшем без вести, которым никто не интересовался.

– А помнишь, что я тебе тогда пообещал? – Патрис подмигивает мне.

Я помню. Если великий Сент-Экс ушел у него из-под носа, то он найдет хотя бы моего безвестного деда.

– *Et voilà!*^[8]

Мы чокаемся за успех, и чуть погодя я под каким-то предлогом ускользаю из ресторана. Мне хочется глотнуть воздуха. Оказываясь среди людей, я очень быстро начинаю рваться прочь от них. А когда рядом никого, то нападает одиночество. Я иду вперед, пока под подошвами не начинает скрипеть песок. Воздух, касающийся кожи, такой ласковый, а я-то взяла с собой лишь теплые вещи. Бывают минуты, когда границы между твоим «я» и миром растворяются. Но сейчас меня окружает каменная стена. Я иду к морю, чернильно темнеющему впереди. Ни ветерка, ни волн, мир словно затаил дыхание. Я на краешке Европы, в середине моей жизни, и у меня нет ни одной идеи, куда двигаться дальше.

Шаги по песку. Патрис.

– С тобой все в порядке?

– Да.

– Хорошо, что ты прилетела.

– Для чего ты созвал сюда родственников? Мне казалось, ты хотел избежать шумихи.

– Да, хотел. Но как только об этом сообщили газеты, сюда набежала тьма ротозеев и чокнутых. Да я и не могу больше все это финансировать в одиночку. Надо вытащить обломки корпуса до того, как начнутся зимние штормы. Не беспокойся, у тебя я денег не прошу.

– Тогда зачем ты мне позвонил?

Мой вопрос его возмущает.

– Я же тебе обещал! Ты что, больше не хочешь знать, что случилось с твоим дедом?

– Но ведь экспедицию ты затеял не ради него. Почему тебя интересует этот самолет?

Патрис ни разу не занимался мелкими, ностальгическими проектами. Он всегда пребывал в поиске чего-то грандиозного. И всегда кто-нибудь успевал его опередить.

– В самолете было четыре члена экипажа и двадцать пассажиров. Двадцать четыре человека. Двадцать четыре семьи, которые остались в неведении. В том числе твоя мать. Я хорошо помню: у нее была маниакальная идея, что он еще жив. Где-то там. Если мы найдем останки, она наконец сможет попрощаться с ним.

Красивая мысль. Но в его альтруизм мне не верится.

– С этим ты опоздал.

– Почему?

– Моя мать умерла. Два года назад.

– О! Прими мои соболезнования, Нина.

– Ничего, ничего.

– Она мне очень нравилась. Она всегда была такой молодой по духу.

Некоторое время мы просто стоим молча. Потом он спрашивает в полной тишине:

– А у тебя нет детей?

Я отрицательно мотаю головой. Ненавижу этот вопрос. Потому что ненавижу реакцию на мой ответ. Понимающие кивки, фальшивое признание эмансипированного решения, но за этим признанием скрывается только жалость.

– Почему?

Почему. Этот вопрос я ненавижу еще больше, поскольку хороший ответ, который прежде у меня всегда был наготове, больше не работает. *Мы приняли это решение осознанно* – так мы всегда говорили, приводя

все те аргументы, согласно которым другие пары нам завидовали. Мы оба любили свои профессии и не хотели терять себя, что зачастую происходит с появлением детей. В нашем кругу многие потерпели поражение в желании иметь все сразу – хорошую работу, прекрасных детей и замечательные отношения, – хотя прилагали все силы. Мы с Джанни хотели сделать иначе, сохранить для себя все то, чего пары с детьми уже не могли себе позволить. У них не было ни времени, ни нервных сил, ни охоты путешествовать, танцевать, смотреть фильмы, читать книги и быть вдвоем. Только вдвоем. Один вечер в неделю мы справляли торжественную мессу нашей любви. Вместо быстрого секса перед сном мы изобретали что-нибудь более изощренное, любили друг друга до глубокой ночи, в каких-нибудь безумных местечках, самым безумным образом. Если кто-то из наших друзей говорил, что находит нашу жизнь рутинной (поскольку в повседневности так оно и было), мы лишь молча переглядывались, объединенные нашим секретом. Тем подлее была измена. Он ходил на сторону не потому, что у нас больше не было секса, и не потому, что он больше не вождеделел меня. Он сбегал от моей души.

При том что поначалу это было решение Джанни – не иметь детей. Я была не так категорична. Я могла бы заупрямиться. Но тогда бы он ушел. Я понимала, что не в силах его изменить. Да и не хотела его изменять, поскольку любила. Мы поженились, и когда наши друзья один за другим разводились, все с детьми, все измученные, нам казалось, что мы поступаем правильно. *У нас все хорошо. Мы есть друг у друга.* А теперь поздно. Я злилась на него. Я злилась на себя за то, что поставила все на одну карту. И вот одна и осталась. Последняя из нашей семьи. После меня не будет никого. Сама того не желая, я очутилась там, где до меня уже стояли мать и бабушка: женщины – потерявшие своих мужчин. Что же с нами не так?

– А ты, почему у тебя нет детей? – спрашиваю я вместо ответа.

Патрис пожимает плечами:

– А это обязательно, чтобы быть счастливым?

– И ты счастлив?

– Да.

– Откроешь мне свою тайну?

– Очень просто. Делай то, что ты хочешь. Все. Кроме женитьбы.

Обезоруживающая ухмылка. А он мне все еще нравится. Но будь мы парой, мы бы только ругались.

– Идем, я тебе что-то покажу.

* * *

Патрис ведет меня по темной улице между пустующими летними домиками. Где-то лает собака. Перед неприметным гаражом он останавливается, осторожно оглядывается по сторонам и открывает железные ворота.

– Только никому про это не рассказывай. Здесь постоянно крутится слишком много сумасшедших. Ротозеев, кладоискателей и наци-коллекционеров.

Мы проскальзываем внутрь. Он нашаривает выключатель, вспыхивает неоновый свет, мы в музее. Передо мной лежит покореженный стабилизатор «Юнкерса Ju-52», похожий на гротескную скульптуру, весь облепленный ракушками. Рядом кожаный сапог в похолодевшем состоянии, обломок закрылка, канистра для бензина, ржавый пулемет, какая-то причудливо изогнутая алюминиевая деталь... и камера.

К чувству, охватывающему меня, когда я беру фотоаппарат в руки, я не готова. А ведь для меня это должно быть рутинной – предмет, найденный в море, двадцатый век, без поломок, хорошо сохранился, явно почти не контактировал с кислородом, должно быть, пролежал все это время в толще ила. Но гравировка меняет все.

М. Р.

Старый металл в моих ладонях. Которого касались его пальцы. Я смотрю в видоискатель. Края немного в ржавчине, но стекло целое. Что он видел через этот видоискатель?

– Открой, – говорит Патрис.

Я обследую корпус. Патрис его уже почистил. При первой попытке крышка не поддается. Но затем откидывается со скрежетом. Кассета с фотопленкой все еще внутри. *Агфаколор*. Целлулоид пленки разложился, остатки в виде коричневой массы прилипли к металлу. Что он снял на последний кадр? Почему один человек возвращается с войны домой, а другой падает в море? Меня окатывает волной скорби.

Патрис кладет ладонь мне на плечо.

– Почему именно этот самолет? – беспомощно спрашиваю я. –
Чего ты ищешь на самом деле?

Я вижу – он что-то утаивает. Вместо ответа Патрис говорит:

– Расскажи мне о своем дедушке.

Глава 4

Все, что мать знала о своем отце, – его имя и рассказы бабушки. Да еще несколько старых фотографий. Бабушка лишь однажды поведала мне историю рождения моей матери в разгар войны, и я не уверена, что запомнила верно. Но точно помню снимки из ее фотоальбома: восемнадцатилетняя девушка в прачечной, Трептов, 1942 год, до ночных бомбардировок, до Сталинграда, когда многим еще удавалось вытеснить из сознания то, что происходило на самом деле. На сепиевых карточках с зубчатыми краями бабушка не такая, какой я ее знала, причесана и одета хоть и скромно, но выглядит куда жизнерадостнее, несмотря на войну, на лице ни намек на скорбь, что поселится там позже. Доверчиво улыбающаяся в объектив девушка из приличной буржуазной семьи. Дальше снимок молодого парня – мой дед в форме вермахта, худой, с впалыми щеками, но тоже улыбается, почти невинный, можно даже подумать, что за границей, откуда он как раз прибыл в отпуск, его занятием было торговать, а не убивать. Интересно, о чем он рассказывал и о чем умалчивал, когда они оба, в купальнике и плавках, сидели на мостках у Ванзее. Стоял один из последних погожих дней осени, на обороте снимка значится 1942 год, то есть незадолго до того, как на берегу этого самого озера было принято решение об уничтожении евреев Европы. Оба сияют, глядя в камеру, как будто мир – огромный цветущий сад. Было ли ему известно о преступлениях, не знаю. Знаю только, что рассказывала бабушка: они дружили еще школьниками, а увиделись в этот его отпуск после того, как написали друг другу несколько писем. Можно допустить, что на его совести не было ни одной человеческой жизни, *еще* не было: военный корреспондент, оператор пропагандистской роты, их оружием были слова и картинки. Они убивали не людей, а правду.

Сделал ли Мориц этот выбор по убеждению – он был верующий христианин, – по трусости, из честолюбия или случайно, я не знаю. Бабушка рассказывала, что он был неплохим человеком, но война его разрушила. Как ты можешь считать его жертвой, спросила я, если на фронт он пошел с воодушевлением?

– Ты не понимаешь, – сказала она. – Скажи спасибо, что ты этого не понимаешь.

Они познакомились до войны. На Ванзее, где она купалась с подружками. Он был там с компанией мальчишек, и она его сразу выделила, потому что он один из всех не лез в воду. Красивый жилистый парнишка, он только смотрел, как другие с воплями прыгают с мостков. У него в руках была маленькая фотокамера «Агфа Карат», и он фотографировал друзей. Заметив Фанни, сфотографировал и ее. Тот первый снимок не сохранился. Но бабушка рассказывала, как она подошла к нему и нахально заявила, что раз он ее сфотографировал без спросу, то должен подарить ей снимок. Он немного оробел – мальчик, которого застукали за шалостью. Но неделю спустя снова появился на озере – с отпечатанным снимком, чтобы подарить ей. Красивая девушка в купальнике, заметившая камеру в тот момент, когда фотограф нажал на спуск. Ее кокетливый, удивленный взгляд.

* * *

Она узнала, что он из евангелического интерната на озере. Школа, куда принимали детей из лучшего круга. К которому относилась и семья Фанни. Но Мориц отличался от своих одноклассников. Он был не из Берлина, а из Восточной Пруссии, из деревни, сын простых родителей, и в эту школу он попал только благодаря счастливому случаю – или несчастному, это как посмотреть. Его мать умерла в родах его сестры. Отец выбивался из сил – крестьянин без жены и без прислуги, с двумя детьми. За маленькой сестрой присматривал Мориц, но она была недоношенной, со слабыми легкими и через три года умерла.

Отец запил, потерял себя. Сына бил. Мориц тосковал по матери, на которую ходил больше, чем на отца. От нее унаследовал впечатлительность, особый взгляд на вещи. Замечал то, чего не видели другие. То, чего никогда не понимали ни его товарищи, ни отец. Деревенский пастор был единственным близким ему человеком в местной школе. Он понимал бедственное положение мальчика и

уговорил его отца отдать сына в интернат. Сам организовал стипендию от церкви. И отвез одиннадцатилетнего мальчика в Берлин.

Интернат оказался совершенно новым миром, там Мориц узнал, что искусство не пустое дело, а чувствительность – не слабость. Он открыл для себя старых мастеров, законы перспективы и силу образа. Он изучал латынь и учился играть на клавире. И познакомился с Фанни. Ему было шестнадцать. Робкий, но привлекательный мальчик и самоуверенная девочка из обеспеченной семьи. Коренная берлинская буржуазия. *Он был крестьянский мальчик*, говорила бабушка. Однажды она пригласила его к себе домой на обед. Ее родителям он понравился. *Мы взяли его под крыло*, говорила бабушка. Что бы под этим ни понималось. Она всегда рассказывала лишь намеками, никогда хронологически, а иногда и противоречиво. То она вспоминала о нем с любовью, то впадала в озлобленность, и последнее – чаще. Многое она оставляла при себе, а вспоминала какие-нибудь мелочи – например, что он любил ее яблочный пирог и, исхудавший, поедал его с аппетитом молотильщика с гумна. Но огромный образ войны, частью которой он был, расплывался в ее воспоминаниях. Война не была для нее чем-то таким, за что или против чего можно было выступать, она происходила как явление природы. При жизни бабушки война и мир чередовались как времена года.

* * *

Мориц впервые поцеловал ее на тех же озерных мостках. В тот день, когда получил военный билет. Он уходил на войну добровольно. Мориц не был ни сорвиголовой, ни силачом. Но он обладал талантом, с которым мог превзойти своих ровесников, – умел хорошо фотографировать. Прослышав, что в пропагандистскую роту требуются операторы, решил, что для него это шанс проявить себя. Стать кем-то. Возместить изъян происхождения. Вскоре после курса подготовки Морица отправили во Францию, в люфтваффе, где он делал снимки с самолета-разведчика. Потом его эскадрилью перебазировали на Сардинию, позднее – в Северную Африку, все дальше к югу, Мориц и предположить не мог, что никогда больше не

увидит свою родную деревню. *Зачем же так далеко?* – горевала Фанни. *За сидение дома орден не получишь*, отвечал он.

* * *

Осенью 1942 года в распоряжении Фанни и Морица было не так много времени. Всего две недели, в которые они виделись ежедневно. Каждая секунда была подарком, которым они наслаждались, не зная, куда и как надолго отправят Морица потом. Бабушка говорила, что эти две недели с Морицем были лучшим временем в ее жизни. И только когда я стала допытываться, так ли уж идиллически все было, – как никак шел 1942 год! – она рассказала про воскресенье, когда они с Морицем отправились в кино «Цоопаласт». Фанни непременно хотела увидеть еженедельный киножурнал. Увидеть события, которые снимал он. Картинки из Северной Африки. Эти киножурналы уже показывали немецких солдат на Атлантике, в Париже и под Москвой. Но ничто не завораживало людей так, как Африка. Пустыня, бескрайняя даль воображения, которая наполнялась сценами «рыцарской» войны. Роммель, Лис пустыни. Летчик-ас Ганс-Йоахим Марсель, Звезда Африки. Сто пятьдесят восемь побед в воздухе и один сбитый англичанин, которого он спас из пустыни. Муссолини, цепляющийся на грудь молодого летчика-аса *medaglia d'oro*^[9].

Все обсуждали солдат, которые на раскаленной под солнцем броне танка жарили глазунью. Киножурнал в «Цоопаласте» показывал немецких и итальянских камрадов, они голыми плескались в оазисе, такая фашистская мужская дружба. Потом победный пикирующий бомбардировщик – и английские «спитфайры», мухами сыплющиеся с неба. Итальянский солдат в палатке бреется, на подбородке мыльная пена, которую он развел в каске, смеясь в камеру. *Heia Safari*. Развлекательное сафари, война как приключение, *ибо сегодня нам принадлежит Германия, а завтра – весь мир*.

Мориц снимал сцену утреннего бритья незадолго до кровавой битвы за Тобрук. Больше он этого итальянца не видел.

Фанни гордилась Морицем, но когда они вышли из кинотеатра, он был какой-то притихший и бледный. Они пошли чего-нибудь выпить. Куда им тогда еще не затемняли. И он сказал ей, как это все выглядело

«там внизу» на самом деле. Глохнувшие моторы. Нехватка горючего. Жара днем и холод ночью. Суп, в котором плавают мухи, вода с привкусом дизеля. Желтая лихорадка и тиф, уносившие почти столько же солдат, сколько и английская артиллерия. Усталость, смятение духа, жажда и понос. Во время боев у нас постоянно были полные штаны, сказал Мориц.

Он снимал фельдфебеля, который нетвердо брел между разрывами снарядов по песку, потеряв ориентацию; разрушенный немецкий танк и гротескно изувеченное тело Ганса-Йоахима Марселя, который выбросился из своего горящего самолета, но не смог раскрыть парашют. Ничего из этого они, разумеется, не смонтировали в кинохронику – смерть не показывали, на экране торжествовали живые, хотя жить им оставалось всего ничего. А там ты слышишь не музыку марша, а свист в ушах, от грохота разрываются барабанные перепонки, а после, в установившейся призрачной тишине, – стоны умирающих.

В хронике же полюбившийся публике сюжет – глазунья на броне. То, что в действительности происходило в Африке этой осенью, не давало хорошей картинки. Проигранная битва в Египте при Эль-Аламейне, тысячи убитых и раненых, лопнувшая мечта о Каире, Суэцком канале и нефтяных скважинах Ближнего Востока. Роммель спасал выживших солдат, немцев и итальянцев, и сорок танков. Вполголоса говорилось, что он воспротивился приказу фюрера стоять до последнего патрона. Морицу повезло пережить бои, пропагандистов перебросили раньше остальных, отступление – нефотогеничное дело. Маленький, много раз обстрелянный самолет доставил Морица и отснятые пленки из Тобрука в Крету, тогда как остатки танковой армии Роммеля драпали на запад, через Ливийскую пустыню, преследуемые британскими бомбардировщиками.

Такова была правда, а в киножурнале – романтика пустыни. Все говорили о глазунье, а не о поражении. Кстати, этот знаменитый эпизод был постановочным – когда Мориц снимал, его помощник подогревал броню изнутри горелкой Бунзена.

Фанни была смущена, слушая это. Но ничего не сказала. Есть вещи, о которых лучше молчать. А потом Мориц показал предписание, только что полученное: он должен вернуться на фронт раньше, чем было запланировано. Судя по слухам, его отправляют назад в Африку. Но куда именно? Ливия уже потеряна. Однако огромное количество

транспортных средств и танков срочно перекрашивалось в маскировочные цвета пустыни, спешно шилось обмундирование, из Франции и Италии перебрасывались целые дивизии. Гитлер хотел Северную Африку любой ценой. Морицу и Фанни оставался всего один день.

* * *

Хотя моя бабушка не упоминала об этом, в какой-то момент они с Морицем переспали. Но вот о чем она рассказывала подробно – это о его обещании. Она помнила каждое слово: «Фанни, я тебе обещаю, что я вернусь». В том, как она повторяла эти слова, слышалась уверенность, что обещание есть нечто священное, нечто такое, чего нельзя нарушить ни при каких обстоятельствах. Кто посмеет его не сдержать, тот будет извергнут из спасительных объятий любви. Он сделал ей предложение, которое она с радостью приняла, но времени огласить помолвку у них уже не было.

* * *

Поэтому они отправились не в церковь, а отпраздновали свадьбу на том самом лугу на Ванзее, в спешке созвав туда друзей накануне отъезда Морица. Незадолго до того начался дождь, они вышли на мостки и принесли брачные клятвы. Мориц купил на черном рынке два кольца – настоящее серебро, на золото не хватило его солдатского жалованья, две бабушкины подруги стали свидетельницами, а лучший друг Морица, накинув на плечи простыню, изображал священника. Они действительно думали то, что говорили, «пока смерть не разлучит нас», со всей юношеской серьезностью, более священной и безусловной, чем у взрослых, потому что еще верили в незыблемость обещаний, в их однозначность, в нерушимое и непобедимое. Их скоропалительный ритуал был попыткой удержаться за нормальное в мире, слетевшем с петель; безрассудной надеждой застраховаться от непредвиденного, как будто где-то в сердце спрятано хранилище

добра. То был спор с судьбой, инверсия причины и следствия: они заключили союз на всю жизнь, а потому он не умрет.

* * *

Накануне его отъезда Фанни ночевала, тайком от родителей, в его каморке под крышей. Утром она проводила Морица на вокзал – целый поезд молодых мужчин, не знавших, куда их везут. Прощание на перроне, она потеряла его в толпе, потом снова нашла, последний торопливый поцелуй и муторное ощущение в желудке, когда поезд дернулся. Долгая дорога через Мюнхен, Верону, Рим и Неаполь, почтовая открытка из порта, где стояли морская и воздушная армады, готовые пересечь Средиземное море. О месте назначения – ничего, кроме слухов. Через девять месяцев, в августе 1943 года, когда на Берлин уже падали бомбы, родилась моя мать.

Глава 5

Общее у нас одно – все мы разные.

Роберто Бенини

Над морем летали кайт-серферы. Ветер возобновился. Мини-автобус привез нас в порт Марсалы, где стоял катер Патриса. Госпожа фон Митцлафф, дочь радиста. Господин Бовензипен, племянник пилота. Господин Трибель, внук бортмеханика, и его жена. Мы едва знаем друг друга, но чувствуем себя странным образом связанными. Истории о погибших, разные семьи сходятся в одном – в чувстве, что не хватает какой-то части нас. Той части, которая лежит на дне моря. Которую мы хотим извлечь, чтобы освободить ее. Чтобы освободиться от нее.

Единственное различие между ними и мной в том, что у них уже есть письменное свидетельство. Имена членов экипажа значатся в списке начальника тыла Трапани.

«Юнкерс Ju-52», вылетевший на задание в 7 часов утра, командир корабля л-т Бовензипен, не вернулся из транспортного полета, на обратном пути из Туниса упав в воду в квадрате 64833/05. Унтер-офицер фон Митцлафф, Готфрид; ефрейтор Биттнер, Руди; обер-ефрейтор Хайнце, Теодор; обер-фельдфебель Трибель, Йоханнес.

На вопросы о дедушке я отвечаю лишь предположениями и рада, что они не расспрашивают меня о *моей* жизни.

Патрис готовит судно к отплытию. Рыбаки глазеют на нас, господа Трибель и Бовензипен, оба яхтсмены, ведут деловой разговор с водолазами, а я иду за кофе. Пересекаю неприглядную улицу и нахожу маленький бар. У стойки курят несколько безработных и рыбаков. Они расступаются передо мной, но не здороваются, и это не грубость, а молчаливое, ненавязчивое почтение, за которое я всегда ценила сицилийцев.

Бариста едва замечает меня. Я заказываю восемь *caffè* и протягиваю ему *scontrino*. Несколько мужчин завтракают у высоких столов – эспрессо и бриошь. По телевизору крутят запись футбольного

матча, который никого не интересует. Я жду. Вдруг слышу за спиной женский голос – по-немецки, с акцентом:

– Доброе утро.

Оборачиваюсь. У стойки среди мужчин немолодая дама. Поверх светлых локонов шляпа, льняное платье легковато для этого времени года, индийский шарф. Невысокая, но энергичная. Я не сразу узнаю ее – вчерашняя француженка. Теперь я могу разглядеть ее глаза – изумрудно-зеленые, лучистые. Такое ощущение, что эта женщина заполняет все помещение, но в то же время она кажется здесь неуместной. Ее окружает аура строптивного задора. Слишком молода душой, чтобы принять свой возраст. Слишком стара, чтобы переживать, нравится ли она окружающим. Эта женщина не подходит ни под какой шаблон – по крайней мере, ни под какой из мне известных.

Позже, в течение нескольких дней, я узнаю, что эта француженка на самом деле еврейка из Израиля, родившаяся в арабской стране, и эти дни вместят целую жизнь. Значение самых важных встреч постигаешь только потом. А когда они происходят, то кажутся само собой разумеющимися, словно шестеренки судьбы бесшумно цепляются друг за друга, и не имеет значения, содействуем мы тому или нет, согласны мы с этим или нет. Она улыбается мне, в уголках губ – намек на иронию. Я вспоминаю, как Патрис предостерегал меня от ротозеев.

– *Buongiorno*, – отвечаю я по-итальянски, чтобы создать дистанцию.

– Вы из Германии?

– Да.

– Из какого города?

Ее итальянский лучше моего. Можно даже подумать, что это ее родной язык.

– Из Берлина.

– Вы здесь из-за самолета?

Небрежный тон не сочетается с пристальным, почти бестактным, слишком доверительным для незнакомого человека взглядом. Она протягивает мне руку:

– Жоэль.

Я отвечаю на ее приветствие:

– Нина.

Рукопожатие у нее теплое и дружеское. А я все смотрю на ее глаза. Никогда не видела такой искрящейся зелени. Она взволнована, я не понимаю почему.

– Твою маму случайно не Анита зовут? Она была стюардессой в «Люфтганзе»?

Мне становится не по себе.

– Мы с вами знакомы?

– Еще нет. – Она тепло улыбается мне, почти по-матерински. – Он мне о ней рассказывал.

– Кто?

– Твой дед.

Я не могу скрыть испуга, и в ее взгляде читаю сочувствие. Она явно обдумывает слова, прежде чем произнести – тихо, но отчетливо:

– Я его дочь.

И с улыбкой щурится. Я чувствую себя одураченной. Это розыгрыш?

– Мориц Райнке?

– *Eh oui*^[10]. Он мой отец. – В ее голосе нежность, но одновременно и грусть.

– Должно быть, вы что-то путаете.

– Он никогда тебе не рассказывал о нас?

Я смотрю на нее как на сумасшедшую. Может, так оно и есть?

Но она спокойно открывает сумочку, достает блокнот, из него – фотокарточку и протягивает мне. Это фото на паспорт, черно-белое, с зубчатой каймой, на снимке Мориц, это однозначно Мориц, хотя и без военной формы, в костюме и галстуке. Серьезный взгляд устремлен в объектив.

– *Otto caffè da portar via!*^[11] – Бариста выставляет бумажные стаканчики на стойку. – Вам нужен пакет, синьора?

В голове у меня шумит.

– *Si*, – бормочу я. – Где это снято?

– В Тунисе.

– Когда?

Она переворачивает фото. На задней стороне штамп: *23 июня 1943 года, студия Монсеф Боубакер, проспект де Картаж, 23, на спуске.*

– Год моего рождения, – говорит она и лукаво улыбается.

Я ошарашена. В тот же год родилась моя мама. Словно прочитав мои мысли, Жоэль добавляет:

– Как и твоей матери.

Бариста протягивает мне бумажный пакет со стаканчиками кофе. Я стою как оглушенная.

– Откуда вы знаете о нас?

– Он мне рассказывал. О своей другой семье.

Я не нахожу слов. О своей семье? О своей *другой* семье? Когда же он успел ей об этом рассказать, если разбился в 1943-м?

Она с улыбкой берет у баристы пакет и передает мне:

– Думаю, твои друзья уже заждались кофе.

Я не хочу, чтобы Патрис меня искал. Но и не могу сейчас уйти, это невозможно. Если она говорит правду, то мы родственницы. Она единокровная сестра моей матери. Можно во многом обвинить мою мать, но только не в том, что она утаила от меня нечто столь неслыханное.

– Я всегда хотела познакомиться с твоей мамой. Я вас разыскивала. Но он мне не выдал даже вашу фамилию, только имена и то, что вы живете в Берлине.

Я собралась спросить, но она меня опередила:

– Когда ты видела его в последний раз?

Что за вопрос!

– Никогда!

В ее взгляде недоумение. Я почти вижу, как в голове у нее проносятся мысли.

– Но ведь он же навещал твою маму?

– Его нет в живых. С сорок третьего года. Разбился на самолете. В нескольких километрах отсюда, в море. Разве вчера вы этого не поняли?

Она молчит. На лице разочарование. Или, скорее, печаль. В какой-то момент наши чувства, кажется, совпадают. Но я не уверена. Потом она неожиданно улыбается:

– Ну, тогда ваши поиски затянутся надолго. Вы найдете немного старого железа, но уж точно не твоего дедушку.

– Откуда вам это знать?

– Дорогая моя, он мой папа. Он учил меня плавать, ездить на велосипеде и играть на пианино. В самолете вы, может, и обнаружите

пару нацистских скелетов, но я уверена, что наш старик живехонек. Иначе мы бы знали.

У меня есть только одно объяснение: она имеет в виду кого-то другого.

– На всякий случай: мы говорим об одном и том же человеке? Мориц Райнке.

Кажется, это имя звучит для нее как-то незнакомо. Но она кивает.

– У нас его звали Морис. Но это то же самое. У него были две жены, две жизни... а потом, судя по всему, еще и третья.

У меня начинает кружиться голова. В последнее время мне пришлось выслушать слишком много лжи, и я не понимаю, чему верить.

– Что значит «у нас»? Откуда вы?

– Послушай, моя дорогая, – решительно говорит она, – отнеси-ка своим друзьям кофе, а потом мы закажем шампанского, я расскажу тебе о нашей семье, а ты мне расскажешь о своей. Идет?

Мне хочется бежать отсюда без оглядки. Если фундамент, на котором стоит твой мир, не существует, можно ли его поколебать? Едва ли что видя перед собой, я выхожу за дверь и иду через дорогу к причалу. Все уже на палубе, мотор запущен. Я протягиваю другу Патриса пакет и говорю, что плохо себя чувствую. Пока Патрис меня не увидел, возвращаюсь в бар. Решение дается мне без усилий. Словно предложили более интересное место раскопок, чем там, в море.

Жоэль флиртует с бариста, который откупоривает бутылку спуманте.

– Шампанского нет, но мы переживем.

– Самолет разбился в мае сорок третьего, – говорю я. – А когда родились вы?

– В декабре сорок третьего.

Моя мать родилась летом. Значит, незадолго до смерти он зачал двоих детей. Вот только фото на паспорт, которое она мне показала, сделано в июне сорок третьего. Через месяц после крушения самолета.

– Где вы родились?

– В Тунисе.

– И по-прежнему там живете?

– О нет. Теперь я живу везде понемногу. В Париже, в Хайфе... *Cin cin!* За Мориса!

Она чокается о мой бокал. Я растеряна.

– Хайфа – это в Израиле?

– *Oui*. Я тунисская еврейка с французским паспортом. И израильским, если тебе нужны детали.

И снова почва уходит у меня из-под ног. Если она еврейка, значит, еврейкой должна быть ее мать. Солдат вермахта и еврейка – в 1943 году?

– Когда он познакомился с вашей матерью? И где?

– Ты куришь?

– Нет.

Она выкладывает на стойку пачку французских сигарет.

– Давай выйдем.

Не дожидаясь ответа, направляется к двери. Я иду за ней следом. Она закуривает. Руки у нее слегка дрожат. Я вижу, как отчаливает катер Патриса.

– Это долгая история. – Она выдувает дым и испытующе вглядывается в меня. – Речь в ней идет о любви и об исчезновении. Я расскажу тебе ту ее часть, которую не знаешь ты, а ты потом расскажешь то, чего не знаю я.

Рассказы – это черепки, думаю я. Обломки жизни, которые мы вырыли из земли и поднесли один к другому, чтобы посмотреть, подходят ли они друг к другу. Иногда это не имеет смысла, а иногда из них складывается ваза, статуя, храмовый фриз.

– Несчастья начались за год до моего рождения. Не так далеко отсюда, на другой стороне Средиземного моря. В Тунисе. Мою мать звали Ясмина. Она была почти ребенком, когда началась война. И жизнь была прекрасна. Пока не пришли немцы.

Глава 6

Ясмина

Кофе должен быть горячим, как поцелуй девушки в первый день, сладким, как ночи в ее объятиях, и черным, как проклятия ее матери, когда та узнает об этом.

Арабская поговорка

Когда в Ливийской пустыне погибали тысячи мужчин, Тунис по-прежнему наслаждался жизнью.

Проспект де Пари, 36. Белый дворец с балконами *belle époque*^[12] и полотняными навесами от солнца. Всякий, кто входил в массивные двери отеля «Мажестик», поднимался по изогнутой лестнице, ступал на мягкие ковры холла, принадлежал к прослойке тех, кто взирает на мировые события свысока, сидя в удобном кресле за послеобеденным коктейлем, огражденный от зноя и внезапного ливня, какие обрушиваются на приморский город осенью и оставляют на черном лаке автомобилей желтые потеки с пылью Сахары.

В стенах гранд-отеля, где воздух гоняли массивные вентиляторы, голоса становились тише, а шаги приглушеннее. Там пили шампанское, перно и анисовый ликер; в баре до глубокой арабской ночи играли джаз и свинг. Приезжие из Европы находили здесь экзотику под пальмами, но при этом с горячей водой из крана и личным слугой. А местная тунисская буржуазия наслаждалась в отеле кусочком Парижа посреди Северной Африки.

* * *

Ясмина, девушка, которая пока не догадывалась, что скоро станет матерью Жоэль, стояла у двери в бар и вслушивалась. На ней был черный передник и белая блузка горничной, и ей не полагалось здесь находиться. В бар разрешалось входить только кельнерам. Женщины

работали там, где они никому не попадались на глаза, – убирали номера и стирали в подвале постельное белье. Когда около года назад Ясмينا поступила сюда, она быстро поняла, что ей нравится работа горничной, для нее не было ничего более волнующего, чем пустые комнаты постояльцев, чемоданы и одежда которых рассказывали целые истории, это были окна в неведомые миры. Чего стоили те короткие мгновения, когда, сев на неприбранную кровать, она обводила взглядом комнату и закрывала глаза, вдыхая запахи, оставленные чужаками, представляя, что происходило на этой кровати минувшей ночью. Тишина способна говорить, думала она. Чем тише вокруг, тем яснее слышны вчерашние голоса, отчетливее эхо слов на чужих языках, актов любви или насилия, следы счастья и несчастья, что записаны в памяти времени.

Ясмине было семнадцать, ее снедала жажда жизни. Девушка из предместья, темные кудри и робкая улыбка, полная соблазна. Немногословная настолько, что некоторые ее вообще не замечали, но она-то видела каждого. Живые темные глаза воспринимали все, что было видимо и что невидимо. Ее окружала особая тишина, даже в суете работы. Она молчала не потому, что ей нечего было сказать, а потому что сдерживала чувства, переполнявшие ее. Ясмينا ни разу не покидала свою страну, но в отеле «Мажестик» и не нужно было странствовать, чтобы увидеть мир, – он сам приходил к ней.

* * *

Закончив уборку номеров, она шла к Латифу, консьержу, похожему на добродушного медведя, и он иногда отделял из свежего букета роз, принесенного торговцем, одну и тайком дарил ей. Остальные цветы она расставляла в лобби, в салоне и туалетах, которые мыла трижды в день. Кельнерами в баре были только мужчины. Ясмине одной из всего женского персонала разрешалось пройти через это красивое помещение, чтобы попасть к туалетам, но она двигалась незаметно, скользила вдоль стены. Постояльцы хотят видеть чистоту, а не уборку, наставляла ее начальница, потому что уборка напомнит им про грязь. Лучшая горничная та, которую никогда не видно.

В баре под вялыми вентиляторами мужчины в светлых костюмах курили сигары, а дамы в широкополых шляпах и не думали прятать лица. Им подавали мятный чай и шампанское. Мужчины дискутировали о Роммеле и Монтгомери, о битве за Эль-Аламейн, о переломе в североафриканской кампании. За толстыми стенами «Мажестика» о войне говорили так, точно она была боксерским поединком, репортаж о котором передают по радио. *Лис пустыни против Пустынных крыс*. Непобедимый Роммель был разбит и спасал свою армию, украв бензин у союзников-итальянцев, бросив их и отступая из Египта через Ливию – тысячи километров по пустыне, преследуемый британскими истребителями.

Дамы – и это не укрылось от Ясины, пока она расставляла розы по вазам, – слушали не столько своих мужей, сколько мужчину за роялем. Белый костюм, темные волосы, алая роза в петлице. Его голос звучит совсем иначе, когда он поет, думала Ясина, – рояль преображает его. Когда Виктор пел свои шансоны, он переставал быть ее старшим братом, объяснявшим ей мир, он становился частью этого мира, ровней великим шансонье из радио, которое они слушали детьми в их припортовом доме. Виктор обладал магическим обаянием и без усилий завоевывал сердца. Шарм не поддается объяснению – просто у кого-то он есть, а у кого-то нет.

У брата была озорная улыбка мальчишки, который не желает взрослеть. Еще подростком он мог позволить себе рассказать анекдот, когда вся семья сидела молча, собравшись на кадиш по усопшему дяде. Он не выносил, когда мама плакала, терпеть не мог никакой серьезности – как другие, бывает, терпеть не могут пауков; его стихия была – свобода. Когда он улыбался, это было как приглашение на танец.

И потому его любили женщины: с Виктором было легко. Когда он пел, его голос поднимался над тяготами будней. *Adorable*^[13]. Может, причина в том, что он поет по-французски, как все великие шансонье, думала Ясина, ведь другой язык придает нам другой характер, оживляет в нас доселе скрытую сторону личности.

Для самой Ясмینی так оно и обстояло: итальянский был языком бабушки, семьи, домашнего обихода – *bombola di gas* и *fiammiferi*^[14]. Это был язык еды и животных, всего того, что любишь. *Cocomero. Gatto. Maggiolino*^[15]. И это был язык ее прозвища, которое использовал только брат, сам же наделивший ее этим именем – *Farfalla*. Бабочка.

На итальянском она была ребенком, но на французском – *Mademoiselle*. На этом языке, на котором говорили все в отеле, в том числе и арабы, она была взрослой и обращалась к людям на «вы». *Pardon, Monsieur. Bien sûr, Madame*. Это был язык, на котором пишут, язык аристократов, полицейских и чиновников.

Наряду с этими языками – или, вернее, между ними – был еще язык улицы, рынка и муэдзинов – арабский, на котором она здоровалась с соседями, в том числе и с еврейскими, и желала благословения Божьего торговцу фруктами, хотя ее Бог не был его Богом.

Ее же Бог говорил на древнейшем из языков, на языке Шаббата, молитвы и Священной книги, которую отец читал по праздникам, с буквами, внятными только ему. На этом языке она молчала.

Каждое место имеет свое звучание, сказал однажды Виктор, точно так же, как имеет запах и цвет. Прямые, с рядами деревьев, бульвары центральных кварталов города звучали по-французски, запутанные переулки Медины с их изгибами и голубыми деревянными дверями – по-арабски, темные, лишь свечами освещенные синагоги, – на иврите, а на кухне царил итальянский. Язык места пронизывает наши мысли и даже наши сны, считала Ясмина, и делает нас в каждом месте кем-то другим.

* * *

Виктор, которого вообще-то звали Витторио, чего постояльцы не знали, пел *L'accordéoniste*^[16]. Когда изысканные дамы заходили в туалет, чтобы припудрить щеки, поправить прическу и обменяться секретами, Ясмина отступала со своим ведром в сторонку, отворачивалась, чтобы на нее не обращали внимания.

Она прислушивалась к дамам, которые – как и их мужья в баре – говорили по-французски, хотя и не были француженками. *Adorable! Magnifique! Extraordinaire!* Божественный голос! А ты видела его руки? Если он целует так же, как поет! Ясмينا украдкой улыбалась, не имея права выказать ни гордость тем, что она сестра Виктора, ни ревность. Разумеется, у нее была привилегия находиться к нему ближе, чем остальные, но хотя он и спал каждую ночь в соседней комнате, все равно был для нее недостижимо далек.

Когда Виктор вставал из-за рояля, наслаждаясь аплодисментами, и пил с кем-нибудь из постояльцев перно, Ясмينا знала, что вот-вот он примется ее искать. Она всегда ждала его во внутреннем дворе у выхода из прачечной, тайком совала ему ключ, шептала номер комнаты и надеялась, что хотя бы на мгновение он возьмет ее за руку и спросит, как дела, но он лишь улыбался, лукаво ей подмигивал и быстро исчезал. Ясмينا смотрела сквозь ясный осенний воздух вверх на квадратный кусок неба над двором, на птиц в последнем свете вечера и слушала призыв к вечерней молитве, доносящийся из Медины.

* * *

Ясмينا осторожно прокралась вверх по тесной пыльной лестнице для прислуги. Она осознавала, что делает запретное, но что-то в ней было сильнее запрета. Любопытство, больше чем любопытство. Грех ли это – наблюдать чужой грех? Было два вида запретов, думала она, внешние и внутренние, запреты общества и запреты совести. В то время как Виктор преступал внешний закон и при этом не мучился совестью, она боролась с собой, хотя не нарушала никакого закона. На четвертом этаже она открыла дверь в коридор, осмотрелась, не видит ли кто, и тихо отперла номер 308. Не случайно она выбрала для Виктора 307-й, она знала, что оба смежных номера свободны. Она заперла за собой дверь, свет включать не стала. Она знала эту комнату так хорошо, что могла пройти по ней и с закрытыми глазами. Сквозь занавески сочился слабый свет уличных фонарей, пахло свежим постельным бельем. Она бесшумно скользнула по ковру и приложила ухо к двери. В соседнем номере слышался смешок, потом все стихло, а потом – негромкий сладострастный вскрик женщины и голос

Виктора. Ясмина нажала на ручку и тихонько приоткрыла дверь, всего лишь на щелочку, чтобы видеть кровать. Темное дерево, белые простыни и два обнаженных тела на постели. Ясмина слышала биение своего сердца и старалась не дышать. По одежде, брошенной на пол, она узнала ту давешнюю француженку. В полутьме, с распущенными волосами она казалась совсем другой, эта утонченная дама, скромно припудрившая нос, перед тем как вернуться за столик к мужу, французу в белом костюме. Сейчас же Ясмина видела ее ошеломительно бесстыдной и притягательно дикой. Женщина была немного старше Виктора, и Ясмина подумала, что у нее уже, возможно, даже есть дети, хотя вряд ли. Любила ли она Виктора? Любил ли ее Виктор? В самом ли деле он чувствует то, что говорит? И почему он использует для этих женщин только французские нежные слова? Никогда не говорит с ними по-итальянски, тем более по-арабски, даже с итальянками и арабками.

Ясмина подсматривала за братом уже не в первый раз. В который – она уже и не помнила, это превратилось в тайную одержимость, наполнявшую ее стыдом, но еще больше, вожделением, оно прорывалось через запрет ее совести, и стыд становился еще сильнее. И всякий раз ее потрясало, как преображается любимый брат с другими женщинами. Он становился грубым и вместе с тем галантным, невероятно самоуверенным и чужим, да, он становился чужим ей, хотя ближе у нее никого не было. И эта чуждость завораживала ее, она тоже хотела получить ее долю, хотела стать другой, не такой, какой ее знают дома, и в глубине себя она уже была этой другой – не дочерью, а женщиной, но она не умела дать этой новой себе ни имени, ни лица. Внутри нее будто собиралась гроза, не подвластная ей.

Чужачка внутри нее внушала ей страх, а поскольку обсудить это было не с кем, она бежала от этой другой прочь, сознавая в то же время, что убежать не сможет, потому что эта чужачка и есть она сама. Мы носим разные маски, сказал ей однажды Виктор, – в зависимости от того, где мы и с кем. Но Ясмина ощущала это иначе. Домашняя Ясмина, хорошая дочь из хорошей семьи, была не маской, которую она могла по желанию снимать и надевать, а кожей, которая долгое время облегалась и защищала ее, но теперь стала ей тесна. И как змея, которая может расти, только если заползет под камень, стянет свою старую

кожу и даст нарасти новой, чужая росла в ней, требуя новой кожи. Тайные минуты, когда она подсматривала за братом и его женщинами, были для нее тем самым камнем.

Но сегодня случилось то, чего прежде не происходило. Виктор лежал на французенке, та сладострастно сжимала его бедра и стонала, и вдруг он поднял голову, словно почувствовал чье-то присутствие. И увидел глаз Ясины в дверной щели. И испугался.

– Что такое? – спросила женщина.

– Ничего, *mon cherie*.

– Тут кто-то есть?

– Нет, никого. – Он припал к ней и целовал, пока она снова не закрыла глаза, перемежая хихиканье стонами.

Убирайся, дал Виктор понять сестре взглядом, но она не могла отвернуться – оцепеневшая, скованная по рукам и ногам, и ему ничего не оставалось, как продолжать.

* * *

Позже, когда они, как и каждую ночь, шли по проспекту де Пари к пригородному поезду, оба молчали. Виктор шагал быстрее обычного, Ясмина едва поспевала за ним. Но не смела крикнуть, чтобы подождал. Он держал ровно такую дистанцию, чтобы она не потеряла его из виду. Перед собором на проспекте Жюлья Ферри они сели в последний поезд. Сидя на деревянных скамьях списанного вагона парижского метро, они смотрели на грузовой порт, потом на лагуну, отделявшую центральные районы от их портового квартала. Свет фар ненадолго выхватывал из темноты фламинго, дремавших на одной ноге на дамбе. Поток воздуха из открытого окна становился холоднее, но Ясмина потела под своим платьем. Виктор молча смотрел во тьму.

Они одни вышли на *Piccola* Сицилии, в квартале от рыбацкого порта, где улицы были поуже, дома пониже, а в воздухе пахло морской солью, жасмином и жареной рыбой. В небе вспыхивали зарницы, дневной зной еще не отступил, можно было купаться. Они молча дошли до родительского дома, маленькой белой виллы начала века в европейском стиле, неприметно зажатой между двумя соседними домами, с плоской крышей, крошечным палисадником и бугенвиллеей,

карабкавшейся по стенам до окон. Море было отсюда не видно, только трубы кораблей иногда проплывали за крышами домов.

– Виктор, прости меня. Я хотела только...

– Тсс... Иди в дом.

Он тихо открыл дверь. Ни разу больше не взглянув на нее, исчез в ванной.

Ясмينا вошла в кухню, где мать, как и каждую ночь, оставила для них еду на столе. Прикрытые полотенцем, стояли две тарелки с сэндвичами, строго одинаковыми, за этим мать следила с тех самых пор, как они были маленькими, – в еде ли, в одежде, в карманных деньгах. Ясмينا не должна была почувствовать себя обделенной по сравнению с братом, потому что он родной ребенок, а она – нет. Но именно эта одержимость справедливостью, эта преувеличенная озабоченность матери всегда напоминала Ясмине о том, что у них не совсем обычная семья.

Почему бы Виктору не получить кусок мяса побольше? Он ведь, в конце концов, мальчик. Равноправие она воспринимала как особое обращение, какое полагалось бы гостю, но не младшему ребенку в семье.

Несмотря на голод, она не смогла бы проглотить сейчас и кусочка. Ей хотелось поговорить с Виктором, но она не знала как. Ее не интересовало, кто эта женщина. Она не собиралась объясняться или требовать объяснений от него. Она хотела, чтобы он знал: она его не осуждает, ему нечего стыдиться, разве стыдно быть любимым и желанным? Она хотела сказать, что не стала любить его меньше из-за того, что увидела. Ей хватило бы одного его взгляда, одного его теплого взгляда, который сообщил бы, что все хорошо.

Она слышала, как брат вышел из ванной и поднялся наверх к себе в комнату, не сказав ей *buona notte*. Эта внезапная холодность обидела ее. Обычно они еще немного сидели в кухне, молча ели или обсуждали постояльцев отеля, потом Виктор всегда выходил на балкон и выкуривал последнюю сигарету, а она подогревала молоко, которое он любил выпить перед сном – с медом и финиками, каждую ночь, один стакан для него и один для нее.

Ясмина налила молока в кастрюльку, подогрела его, взяла несколько фиников из холодильника, налила молока в стакан, размешала в нем мед, положила на блюдце финики, пошла наверх и тихо постучала в дверь. Виктор открыл, уже в нижней рубашке. Ясмина протиснулась мимо него и поставила молоко у кровати.

– Я ничего не скажу папá.

Он кивнул.

– Сколько женщин у тебя уже было?

– Зачем тебе это знать?

– Просто так. Я вовсе не нахожу это дурным.

– Я тоже не нахожу. – Он ухмыльнулся.

– Я только беспокоюсь из-за мужей. Что, если какой-нибудь из них проведает?

– Ты не знаешь женщин. Они гораздо изворотливее своих мужей.

– Ты ее любишь?

– Я занимаюсь с ними любовью. А тут есть некоторая разница. –

Он отхлебнул молоко, озорно глядя на нее.

– А какие тебе больше нравятся? Француженки?

Виктор рассмеялся.

– Да какая разница. Красивые женщины приезжают отовсюду.

Спокойной ночи, сестрица, тебе завтра рано вставать.

Ясмина взяла его стакан и медленно направилась к двери. На пороге повернулась:

– А я красивая?

– Да конечно, ты очень красивая!

– Ты это говоришь только потому, что я твоя сестра?

– Нет!

– Мне нужен честный ответ. Не от брата, от мужчины. Ты находишь меня красивой?

– Ты очень особенная девушка, Ясмина.

– Что значит «особенная»? Другая?

– Да, ты другая, сестренка, а это совершенно особенный вид красоты. Твоя собственная красота. *Buona notte, farfalla.*

И он поцеловал ее в лоб.

Глава 7

Ясмина стояла голая перед зеркалом в своей комнате. Он хотел ей добра, но она хотела другого. Пусть бы он был честен или хотя бы соврал, сказал, что она красивее тех женщин, которых он целовал. Но он сказал – другая. Никакое слово не ранило бы ее сильнее, потому что «другая» означало для нее «ущербная».

Взгляд в зеркало напомнил ей, что она здесь действительно чужая. Что ее мать на самом деле ей не мать, а отец – не отец. Что у нее, в отличие от всех детей, нет в семье места, предназначенного только ей, в котором бы никто не сомневался, – она была здесь лишь благодаря состраданию родителей. Все остальные дети просто есть, а ей *можно* тут быть. А за этим «можно» кроется страх, что позволение в любой момент отзовут.

Оказавшись в семье, она боялась бегать по дому или слишком громко позвать, если, например, захочет пить. И пусть приемные родители любили ее как собственного ребенка и никогда бы не бросили в беде, Ясмина понимала, что главное – ей разрешено тут остаться. Но позднее, когда она выросла, из защитной скорлупы проклюнулась новая сторона ее «я», она больше не желала быть тихой. Если ты тихая, ты невидимка. А в ней разгоралось желание быть замеченной – такой, какая она есть. Ясмина не знала, кто она, ей требовалась родственная душа, которая держала бы перед ней зеркало.

У других детей имелись родители, в которых они находили свое отражение. Но ее мать, которая жестикулировала и говорила как европейская женщина, часто казалась ей чужой, а любовь отца не могла заполнить пустоту у нее внутри.

Ясмина начала бунтовать, сперва в мелочах – например, не ела печенье или не торопилась домой из школы. Не надевала платья, которые мать для нее шила, а подруг предпочитала таких, которые не нравились родителям, дескать, это дети улицы, «дурная компания для таких, как мы». Но она сама не была «как мы», она была иная, она искала себя. А потом Ясмина открыла нечто сильное и запретное, пьянящее – то, о чем никто не говорил, слишком это было сокровенно. Другое измерение внутри ее маленькой комнаты, где она тихо лежала

под одеялом, закрыв глаза, слушая биение крови в ушах, и от наслаждения обретала невесомость. Опьянение, которое было не от мира сего.

В окно застучали капли дождя. Всплыло воспоминание, настолько четкое, будто это случилось вчера. Грозовая летняя ночь, ей лет восемь или девять, она уже не чужая в доме. Она не могла спать, такая стояла духота, жара сжимала ее комнатку, город, пока не разразилась мощная буря. Молнии прорезали ночь, пальмы плясали под ветром как безумные, и удары тяжелых волн о берег было слышно даже в комнате Ясины. Ее парализовал страх. То был страх перед чем-то громадным, диким, неукротимым, но и зловеще красивым. Гром грохотал так, что приходилось затыкать уши.

Ясмина укрылась с головой, дыхание участилось, сердце билось у самого горла, она не смела позвать родителей и чувствовала себя позабытой всеми, брошенной на краю света. Преодолев страх, она прыгнула с кровати и босиком, в ночной рубашке – до сих пор в ней живо то ощущение – пробралась в комнату Виктора и забилась к нему под одеяло, почувствовала его тело, он ее обнял, и буря внутри нее улеглась.

– Открой глаза, *farfalla!* – сказал он. – Это всего лишь гроза. Страшно, только если зажмуриться. Тогда ты видишь то, чего на самом деле нет. Поэтому держи глаза открытыми. А когда сверкнет молния, вот сейчас, считай секунды – и скоро загремит гром. *Uno, due...* слышишь, это даже не над нами, наверное, над Мединой, ведь звуку требуется больше времени, чем свету, чтобы дойти до нас, ты это знала? Нет ничего быстрее света, даже самолет медленней!

Но дело было не только в его словах, но и в звуке его голоса, вибрации его груди. Он понимал мир, с ним этот мир был не местом, полным опасностей, а приключением, каруселью, праздником радости. Еще никогда Ясмина не чувствовала такой защищенности, как в ту грозовую ночь. Пульс ее успокоился, хотя снаружи продолжало грохотать, но засыпать она не хотела, чтобы не расставаться с этим чудесным чувством. Даже если рухнет дом, с ней ничего не случится, пока ее обнимают его руки.

А ведь самая первая их встреча не предвещала ничего хорошего. Ей было три года, и Виктор в его восемь лет казался таким взрослым. В кепке и коричневых кожаных ботинках с прилипшей к ним грязью. Была зима, и холод от плиточного пола пробирался сквозь тонкие подошвы. В большой спальне не было печки, только умывальные раковины из белой эмали, которые висели слишком высоко, да бесконечные ряды кроватей – черное железо и белые одеяла; еще высокие окна, а над дверью – крест, коричневый деревянный крест без Христа. Все это Ясмину помнила отчетливо, будто это было вчера. Взволнованные крики детей, она побежала со всеми, не понимая, что случилось, строгий голос брата Роберта, его белое монашеское одеяние, он велел детям угомониться и ждать, а потом эта семья – они нерешительно переминались в коридоре. Элегантная женщина в черной шляпе, мужчина в сером костюме, говоривший с монахом, и восьмилетний Виктор рядом с ним, уже тогда типичный Виктор – с любопытством поглядывающий на детей, многие из них его ровесники, но не равные ему, обладателю родителей, да еще приличных.

В сиротский приют часто приходили пары, беседовали с монахами, выбирали себе ребенка, и далеко не всегда монахи им ребенка отдавали. Они присматривали за своими подопечными, лучше уж пусть растут здесь, чем у плохих родителей, а таковых хватало. Иногда дети вырывались, кричали, они инстинктивно чувствовали людей, и одному богу известно, что случилось с теми, кого все-таки забрали, монахи были бедны, а в приют поступали все новые и новые сироты. Крикливая разномастная шайка подкидышей, которых оставляли ночами у ворот монастыря проститутки, бедняки или юные девушки – как Ясмину две зимы назад. Ни одна семья – ни хорошая, ни плохая – не хотела ее брать, потому что Ясмину была дикая, непослушная и почти не говорила. Она либо молчала, либо буйствовала. Вредный ребенок, по словам монахов, а кому нужна вредная девочка? Даже злые родители искали себе хороших, послушных девочек. Ясмину не знала, правы ли монахи, но их слова были законом – до того самого дня.

Она до сих пор помнила тот взгляд Виктора. Он смотрел на монашеских сирот удивленно, с осознанием своего превосходства. Только на нее, Ясмину, он, казалось, не обратил внимания – может, потому, что она была самая маленькая, а может, другие девочки были красивее, а она была вредным ребенком, однако он не сказал ни слова, когда монах указал на Ясмину и отец посмотрел на нее – испытующе, но и сострадательно.

И тогда она услышала свое имя, Ясмина, и пристыженно потупилась, потому что она ведь вредная девочка. Однако монах подозвал ее к себе. Она подняла голову и увидела, что мужчина и его жена улыбаются, и это ошеломило ее. С чего они вдруг так добры к ней? Разве они не знают, что она непослушная? Идем, сказал мужчина, идем, сказала женщина, иди, сказал брат Роберт, скажи *bonjour* мадам и месье Сарфати. Но Ясмина смотрела на Виктора, такого взрослого мальчика.

Ясмина и теперь помнила, как нерешительно она двинулась, и в этот момент Виктор потянул отца за руку, и тот наклонился к нему, Виктор что-то шепнул ему на ухо и показал на мальчика постарше, и Ясмина совсем оробела и замедлила шаг: они не хотят меня, хотят Ахмеда, он послушный мальчик, а я вредная девочка. Она остановилась и затравленно посмотрела на мадам, чтобы понять, исходит ли от нее опасность. Но глаза женщины были приветливы. Ясмина не поняла, что сказал сыну отец, они говорили по-итальянски. Тут началось замешательство. Все разом заговорили, отец одернул сына. Мальчик упорствовал, мать тихо его уговаривала, и на Ясмину больше никто не обращал внимания.

Потом Ясмина впервые услышала слово, которое в монастыре никто не использовал. Оно прозвучало, когда отец указал на нее, объясняя что-то своему сыну. *Ebrea*, сказал он.

* * *

Ясмина не поняла значения этого слова, но догадалась, что оно волшебное, потому что сломило сопротивление Виктора. Должно быть, слово это обладало тайной силой, дающей ей преимущество перед остальными детьми. Она ничего не знала об этой загадочной

силе, но увидела, что в мире взрослых с его непроницаемыми законами и правилами эта сила имела большое значение.

Виктор – теперь Ясмину это знала – хотел себе брата, товарища по играм, ровесника. Такие, конечно, там были, ему оставалось только выбрать. Но отец выбрал ее, самую маленькую, бесполезную дикарку, не умевшую многое из того, что умели другие, – не умевшую шить, играть в футбол, сидеть тихо и считать до ста. Но она носила в себе то, чем здесь больше никто не обладал, тайну, которую она, ничего не делая для этого, делила с этой чужой семьей, – невидимую, но старую, тысячелетней древности связь. «Она еврейка, – сказал месье Сарфати сыну, – такая же, как мы».

* * *

Так Ясмину и узнала, ведь у францисканцев все дети молились Богу монахов, неважно, звали тебя Мохаммед, Кристина или же Ясмину. И с того дня она навсегда прониклась благодарностью. Оказывается, быть еврейкой означало быть не такой, как все, особенной, и в этом таилось одновременно спасение и проклятие. Волшебное слово *ebrea* с одними ее связывало, а от других отделяло. Чужие нашли в ней нечто родственное и вдруг сделались ей своими. Завистливые взгляды детей, перешептывания и злые слова, когда месье Сарфати протянул ей руку и дружелюбно сказал «Привет, Ясмину», смущали ее, но еще больше ее смущало то, что этот чужой человек явно симпатизирует ей. Вредная девочка не могла нравиться, поэтому она не подала ему руки, но он невозмутимо продолжал улыбаться, будто видел в ней то, чего не видели ни монахи, ни другие дети, ни даже она сама. Что-то хорошее. Его добрый взгляд прорвал дыру в истории вредной девочки, пусть и маленькую, но достаточную для того, чтобы зародить в Ясмине мысль, что она, может, не так и плоха. Раз кто-то считал ее достойной любви. Ибо этот человек обладал волшебным словом, и оно перевесило.

Она всегда чувствовала, что не такая, как все, но вдруг оказалось, что эта непохожесть не изъян, а печать. Она протянула месье руку, и он произнес фразу, которую никто и никогда не говорил ей:

– Ты хорошая девочка.

* * *

Час спустя взрослые подписали все бумаги, и Ясмينا со своей новой семьей покинула францисканскую миссию в Карфагене. Снаружи дул холодный ветер, камни мостовой были еще мокрые после дождя, но зимнее солнце уже заливало белые стены миссии неправдоподобно ярким светом, приходилось щуриться. Она знала, что никогда сюда не вернется.

* * *

Виктор принял ее далеко не сразу, и принятие еще не означало доброго отношения. Поначалу это просто была жизнь бок о бок, ее комната в белом доме семьи Сарфати – целая комната для нее одной! – была рядом с комнатой Виктора, но их миры не пересекались, словно она явилась с другой планеты. Виктор жил так, будто ее не существовало, будто он все еще единственный принц своих родителей. Но однажды он запер ее в туалете, и она поняла, что он уже не может ее игнорировать. Отец наказал его тогда – за то, что сделал с сестрой. Да, он так и сказал – «сестра», а не «Ясмина». Ей тоже полагалось говорить «папá», а не «месье Сарфати». В строптивном взгляде Виктора, когда он лежал поперек колен отца, а тот пять раз ударил его ремнем, угадывался намек на тайное соучастие, а позже они сделались сообщниками.

* * *

Той ночью она опять не могла заснуть, ее пугала темнота, и она прокралась в комнату Виктора. Он спал. Она закрыла дверь, на цыпочках подошла к кровати и осторожно скользнула под одеяло, легкая как перышко, чтобы он не почувствовал, хотя ее сердце билось так громко, что она боялась разбудить его этим стуком. Когда она уже лежала, легко прильнув грудью к его спине, он проснулся. Она не могла видеть его глаза, но знала, что он их открыл.

– Я не могу спать, – прошептала она.

Виктор повернулся и посмотрел на нее. Удивленно, но не враждебно. И не прогнал ее. Она зажмурилась, чтобы ускользнуть от его взгляда на дно, чтобы остаться с ним, но невидимкой, и всю ее смятенную душу наполнил глубокий покой.

Призраки, которые каждую ночь являлись к ее постели, сюда войти не решались. Они последовали за ней из монастыря в ее новый дом. Могущественные, пылающие сгустки тьмы, которых она боялась до смерти. Все дневное – строгие монахи, пакости других детей – осталось позади, но все ночное прилипло к ней точно смола. И когда опускалась темнота, злые духи были тут как тут, совсем как комары, что в сумерках покидают свои лужи и летят в дома. В монастыре она никому об этом не рассказывала, чтобы ее не приняли за сумасшедшую. В своей новой семье она только раз отважилась попросить папá не закрывать дверь ее комнаты на ночь, чтобы туда проникал свет. Когда он спросил ее о причинах – голосом, внушающим доверие, – она рассказала про злых духов, надеясь, что он поймет и защитит ее. Но папá сказал, что на самом деле то, что она видит, не существует. И бояться не надо. Ясмينا кивнула, как кивают послушные девочки, и он пожелал ей спокойной ночи, как делают добрые отцы. Но как только дверь закрылась, Ясмину снова окружили порождения тьмы. Больше она об этом не заговаривала, однако отныне к ее страхам примешалось еще и отчаяние человека, обреченного молчать.

Но сейчас, рядом с теплым телом Виктора, она не чувствовала присутствия злых духов. Они будто не смели приблизиться к нему. Он был сильнее их.

– Спасибо, – прошептала Ясмينا и взяла его руку, не открывая глаз.

* * *

Теперь она знала, куда бежать. И Виктор разрешал ей остаться. Что-то в этих тайных объятиях в темноте, должно быть, нравилось и ему, иначе бы он рассказал родителям. Но те ни о чем не подозревали. Когда утренний призыв муэдзина оповещал о первой зорьке, Ясмينا прокрадывалась мимо спальни родителей назад в свою постель. Так

шло годами, пока они росли, и этого никто не замечал, и сами дети никогда не говорили об этом при свете дня. До той знойной летней ночи, когда она не могла уснуть от жары. Она прокралась в комнату Виктора, тихо скользнула под простыню и прижалась спиной к его голой груди. Сквозь ночную рубашку она чувствовала его горячую, влажную от пота кожу. Она ждала, когда он обнимет ее, вслушивалась в его дыхание и медленно ускользала в сон... пока не ощутила внезапно нечто удивительное. Что-то жесткое и жаркое коснулось ее бедер. Неведомое, но не зловещее. Оно пробудило в ней любопытство. Когда ее рука нырнула под простыню, чтобы потрогать, Виктор отвернулся. Она не посмела заговорить с ним, он тоже не упоминал об этом. Ясмина усвоила, что между любящими людьми есть вещи, которые ведут свою собственную жизнь под покровом молчания.

* * *

Их тайна с самого начала была больше того, что связывает обычных братьев и сестер. Ибо – несмотря на заверения родителей – их отношения никогда не разумелись сами собой, а были заряжены любопытством и напряжением, вытекающими из разного происхождения. Самоуверенный Виктор инстинктивно чувствовал ее робость, но изводить ее перестал, лишь когда нащупал другой способ почувствовать собственную силу – защищая ее.

На улице главным было не кто ты сам, а *кто за тобой стоит*. За Ясминой стоял Виктор, а с Виктором лучше не связываться. Он был предводителем своей клики, и если одному из этой клики надавали по шее, обидчику приходилось пробовать на себе кулаки остальных. Ясмина была принцессой квартала, а мальчишки были ее лейб-гвардией.

* * *

Их квартал, Piccola Сицилия, расположенный от францисканской миссии в Карфагене лишь в одном коротком перегоне на пригородном поезде, являл совершенно иной мир. Одно и то же море, но там оно

оставалось недостижимым, хотя его было видно с Монастырского холма, здесь же, у старого рыбацкого порта, с морем жили. Банда Виктора дни напролет торчала на пляже, а по улице, где жили Сарфати – рю де ля Пост, – от станции шли отдыхающие: женщины с белыми зонтиками и мужчины с тяжелыми коробами для пикника, они рассеивались по пляжу, рыбным ресторанам и кафе. Если сиротский приют прятался в тени, и там господствовали дисциплина, послушание и аскетизм, то маленький квартал просто лопался от жизнелюбия, удовольствия и воплей под жгучим солнцем. Ночами гуляки в Pìccola Сицилии развлекались на площади, в барах и кинотеатрах, тогда как францисканцы после захода солнца выключали в спальном зале свет. В миссии был только один Бог, Бог христиан, и один язык – язык французов, тогда как здесь, внизу, у моря, колокольный звон Сант’Агостино смешивался с призывом муэдзина и молитвами четырнадцати синагог, они не соперничали между собой, а сопутствовали друг другу, как и четыре языка: итальянский, французский и арабский в обоих своих диалектах – мусульманском и еврейском.

У каждого было по два, иногда по три имени и идентичности. Папа в синагоге звался Абрахам, со своими коллегами он был Альберт, а для его итальянской матери – Альберто. Своего любимого внука Виктора она называла Витторио, но в его паспорте стояло Виктор – все родившиеся в Тунисе европейцы получали при рождении французское гражданство, – а на еврейских праздниках рабби называл его Авигдор, что было близко по звучанию, но имело другое значение, не победитель, а защитник. Маму звали Мейма, традиционное сокращение от Мириам, но все называли ее Мими, это звучало современнее и указывало на ее европейские корни. Семьи, подобные их семье, прибыли сюда на кораблях из Ливорно, Неаполя или Палермо, чтобы обрести новую родину на южном берегу Средиземного моря. Тунис, белый город в Северной Африке, лицом всегда обращенный к Европе, принял их с открытым сердцем и сделал своими детьми. Так и Ясмينا стала дочерью этого квартала, где никто не спрашивал, откуда она родом, потому что люди здесь жили настоящим, не очень-то оглядываясь в прошлое и не слишком беспокоясь о будущем.

Piccola Сицилия – это пляж и пальмы, аромат хлеба по утрам, жаренной на гриле рыбы в полдень и жасмина вечером. Это квартал, где половина людей готовила еду, а другая половина ее поедала. Тощие местные кошки кормились у ресторанов остатками рыбы и спали в тени стен. Тут был *Cinéma Le Théâtre*, куда детей по праздникам пускали бесплатно – на Рождество, Ид и Пурим, и никто не спрашивал, какой они веры, когда они всей гурьбой валили в зал. Тут можно было услышать шарканье *babouches* – кожаных арабских шлепанцев – по пыльной мостовой, молитвенные бормотания месье Боргеля, который летом, когда снаружи было слишком жарко, совершал свой маарив у стены дома, чтобы всем показать, насколько он благочестив, и крики детей, игравших рядом с ним в футбол. Тут был мусульманский пекарь, который во время пасхальной процессии раздавал печенье людям, глазевшим с балконов и крыш на всем пути к порту от церкви Мадонны ди Трапани на женщин, поющих: *E viva la Madonna, viva la Santa Madonna!* Все желали прикоснуться к этому таинству, ибо как знать, может, Мадонна слушает и мусульманские молитвы, и еврейские – не она ли та Мариам из Корана и еврейка из Назарета? А теологические споры, в которых какой-нибудь особо благочестивый мусульманин сомневался в ее девственности, а какой-нибудь въедливый еврей еретически вопрошал, как вообще у Бога может быть мать, – споры, происходившие обычно за анисовкой в баре, – переносились на попозже.

Конечно, то не было раем, где ж его найдешь, но люди держались вместе, ибо враги у них были общие: москиты летом, блохи зимой и всегда – пыльный сирокко из Сахары, от которого женщины сходили с ума. Было чем заняться и помимо религиозных споров. Праздновали сообща, ругались и расплевывались, но на следующий день снова сходились – на рынке, на лестничной клетке, в школе, а куда деться-то друг от друга. Учились соблюдать меру – в ссоре и в любви, знали, что можно назвать соседа тупым ослом, но не смей оскорбить его Бога или, того хуже, его мать. Кроме того, праздников получалось втрое больше, чем в Европе, – евреи приглашали христиан и мусульман на Хануку, Рождество справляли в домах христиан, а на Ид аль-Фитр в конце Рамадана набивали себе животы все вместе. Дети танцевали до поздней ночи. Они были братья и сестры во празднестве.

На таких разномастных гуляньях никогда не поднимали три темы: Бог, секс и политика. А зачем? Все слишком любили жизнь, чтобы стремиться к правоте. Быть правым утомительно. Ты мог быть либо правым, либо радостным, но не то и другое сразу.

В этой маленькой стране, не располагавшей ни железной рудой, ни нефтью, самыми ценными ресурсами были гостеприимство и терпимость. Сосуществование было не утопией, а необходимостью. Когда старики нынче оглядываются на то время, у них разрывается сердце. Евреи, итальянцы и французы ушли. Сегодня у всех есть машины, телевизоры и смартфоны, но детский рай Ясины обратился в бедную страну.

Глава 8

В Piccola Сицилии Ясмина обрела неведомую прежде, ничем не отягощенную свободу. Лето на пляже, теплые сентябрьские ночи на площади перед церковью, цветки жасмина за ухом у весенних фланеров. Здесь она осознала, что вовсе не была вредной девочкой, как твердили миссионеры. Больше не надо было кричать – ее и так слышали, незачем было прятаться – ее и так все уже разглядели. Здесь она могла свободно бегать по пляжу, часами плескаться в море и, не страшась нагоняя, танцевать на свадьбах у соседей. Ее родители – а теперь они у нее были, потому что она говорила им «мама» и «папá», – показали ей другую историю, в которой она не ютилась где-то сбоку, а, желанная, находилась в центре. Мало-помалу в ней что-то расслаблялось, она уже чувствовала, что не в тягость новым родителям, что она действительно любима. Мать всегда оказывалась рядом, если Ясмина падала, а отец помогал ее новому «я» обжиться в новом мире, она прислушивалась к правилам и участвовала в ритуалах, которые обещали защиту тем, кто их придерживался. Защиту ее Бога и защиту ее общины.

* * *

Когда позднее Ясмине пришлось уяснить, что означает быть еврейкой, она вспоминала отца, который говорил детям, что каждый из них неповторим и угоден Богу именно в своей неповторимости и что эта особенность есть миссия: не верить ничему, что говорят люди, потому что мир полон историй, а правды нет и в половине из них. У нас, евреев, есть старая традиция, пронесенная через времена, страны и культуры. Мы – рыбы, что плывут против течения, мы используем собственную голову, чтобы все подвергать сомнению, даже Тору. Мы должны верить только тому, что попробовали сами, ибо Господь дал человеку разум для того, чтобы он не брел по миру тупым ослом.

Она верила словам папá, потому что все это он проживал сам. Не только в синагоге, не только в Шаббат, но и со своими пациентами в

городской больнице, где Ясмина любила навещать его. Доктор Альберт Сарфати в белом халате, со стетоскопом на шее, беседующий с матерью, уверенной, что ее ребенка сглазили. Нет, добрая женщина, терпеливо объяснял Альберт, дайте ему эти таблетки, они хорошие, из Франции, и помойте ему голову, постирайте одежду и постельное белье, да мойте его горячей водой, добрая женщина, потому что сыпной тиф переносится вшами, а не проклятиями!

Альберт считал себя не столько целителем, сколько просветителем. Он верил в науку и в синагоге часами спорил с теми, кто толковал старые писания буквально. Они вели бесконечные дискуссии о том, как Бог мог создать мир всего за шесть дней и произошел ли человек от Адама или от обезьяны.

Он воевал с прошлым, делом чести он считал для себя строительство современного Туниса, где разум и прогресс восторжествуют над суевериями. Он любил этот город и его жителей, несмотря на все их недостатки, он никому не отказывал, движимый искренним интересом к людям во всем их разнообразии. Бедным он уделял столько же времени, сколько и богатым, иногда даже больше, потому что был убежден: образование – единственное лекарство против бедности. Он заботился о том, чтобы его пациенты покидали больницу не только исцеленными телесно, но и с новыми мыслями, которые он посеял в их головах.

* * *

Внешне Альберт выглядел человеком из другого столетия. Шаркая по пыльной рю де ля Пост, доктор Сарфати походил на фигурки Джакометти, длинные и тощие, – шел он медленно, почти неуверенно, слегка пригнув голову, весь погруженный в мысли, но вежливо приподнимал шляпу, приветствуя парикмахера, кошерного мясника, прочих людей, имен которых он не помнил. *Buongiorno Dottore, bonjour Monsieur, shalom, assalamu aleikum.* Он шел так, будто наблюдал при этом за самим собой: упереть пятку в землю, перенести вес тела на носок, согнуть и напрячь пальцы. Он будто дивился человеческой способности прямохождения, будто перебирался по узким, шатким мосткам науки через болото невежества. Его

медлительность отнюдь не была следствием вялости, напротив, когда он задумчиво листал газету или перед сном неторопливо снимал очки и складывал их, эта неспешность была следствием работы ума, который отслеживал динамику движений, фиксировал их и анализировал.

Глаза его, в отличие от тела, были быстры. На улице они мигмом выискивали в толпе наиболее интересного прохожего и изучали его прямо-таки с научным любопытством – шрамы на лице у одного, прихрамывание старой женщины, культя нищего калеки на тротуаре. У него был взгляд исследователя, приправленный состраданием, но куда больше Альберта интересовали функции и болезни тела, а не то, что называют душой.

Дружба с Якобом, раввином Piccola Сицилии, не мешала ему жарко с ним спорить. Еще никто, говорил Альберт, при вскрытии тела человека не обнаружил души. И никакое чудо-средство суеверных баб и пройдох-торговцев не избавит человека от его древних мучений – в отличие от современной фармакологии. Обычно добродушный и миролюбивый, он вспыхивал, когда заходила речь о людских суевериях. Он был европейцем в Африке, одиноким светочем просвещения во мраке магии, шарлатанства и болезнетворных микроорганизмов. «Это суеверие, дитя мое, – приговаривал он, – держитесь фактов! Люди много рассказывают, да мало знают».

Альберт редко выезжал из города. Он был насквозь горожанин, столичный житель, любил широкие бульвары Туниса, прямые улицы европейского квартала с его белыми фасадами в стиле модерн, шикарными кафе и оперным театром. Он был *homme de culture*^[17] и воодушевленно старался передать знания новому поколению своей любимой страны.

* * *

Как, должно быть, горько было Альберту, что собственные дети не пошли по его стопам! Виктор, его первенец и единственный сын, с трудом выдержал выпускные экзамены в школе и хотел стать не врачом, а артистом развлекательного жанра. Ясмина же, на которую обратились все надежды Альберта (пусть она и девочка), потому что

она проявляла способности в учебе, гимназию не закончила. Причина была не в ней. Причина была в болезни, поразившей Европу. Распространяясь подобно раку, недуг добрался до Северной Африки.

После того как Гитлер оккупировал Францию, правительство Виши ввело новые расовые законы как в метрополии, так и в колониях. Еврейские врачи и адвокаты лишились права на практику, еврейские учителя и профессора были уволены из государственных учебных заведений, школы и университеты ввели квоты для евреев. Еврейские кинотеатры и газеты были экспроприированы, французская и верная Муссолини итальянская пресса всюду поносила евреев. В Алжире было хуже всего, там уволенные учителя преподавали в пустых фабричных цехах ученикам, которые больше не могли посещать государственные школы. Тунис держался сколько мог – страна гордилась своей светской традицией отделять церковь от государства, укоренившейся здесь еще до французского протектората. Бей^[18] пытался всеми возможными трюками оттянуть применение законов. Тунисские евреи, говорил он, мои дети. Однако в такие времена красивые слова помогали мало, настоящая власть была в руках французов, а те капитулировали перед немцами.

Поначалу казалось, что все идеологией и ограничится, никакой открытой ненависти не было, люди считали происходящее вывертом бюрократии, которому лояльные служащие вынуждены подчиниться. Еврейские врачи не лишились лицензии, они могли и дальше лечить пациентов – по крайней мере, еврейских, что в больнице Альберта приводило к абсурдным ситуациям, когда пациенты-мусульмане вдруг потеряли возможность лечиться, хотя им было все равно, какой религии придерживается врач, лишь бы знал свое ремесло. Больницы стали нанимать молодых христианских врачей, а опытных еврейских докторов увольняли. Альберта первое время не трогали, потому что у него был итальянский паспорт, а итальянский консул вытребовал, как представитель страны-союзника Германии, исключение для своих граждан. Однако Альберт отказался воспользоваться своей привилегией: если его коллеги должны уйти, уйдет и он. Потому что если уж он что и ненавидел, так это несправедливость, и если уж он во что и верил, так это в разум. Без еврейских врачей лечебное дело рухнет, заявлял он, ведь хорошие доктора на вес золота. Но он не

принял в расчет людскую глупость. Чиновники беспокоились не за пациентов, а за свои посты.

– Лично мне очень жаль, месье Сарфати, но что я могу поделать? Закон есть закон.

Эту фразу он тогда слышал всюду, начиная от бухгалтера и кончая директором больницы. В атмосфере страха каждый думал в первую очередь о себе.

– Оставайтесь, месье, ваши коллеги поймут, – просил его директор, но Альберт не отступил от своих принципов.

Он уволился. Его поступок вызвал большое уважение в еврейской общине, но хлеба на уважение не купишь.

* * *

У Мими его решение не вызвало никакого восторга. Она заправляла домашними финансами, поскольку Альберт с деньгами не особо ладил. Они были для него лишь неизбежным злом, частенько он лечил бесплатно, если у пациентов с деньгами обстояло туго, а поскольку таких было большинство, то слухи о его добросердечии распространились по всему городу. Дыры в домашнем бюджете были единственным поводом для ссор в гармоничном браке Альберта и Мими.

В отношении материальной стороны жизни Мими была прямой противоположностью мужу. Счета, приходившие с почтой, Альберт откладывал, не распечатывая, – и не потому что не хотел оплачивать, а потому что предпочитал почитать газету, статья в которой интересовала его больше, чем обыденность. На улице Альберт и Мими – он всегда в одном и том же поношенном костюме, а она в изящных перчатках, элегантной шляпке и туфлях на каблучке – выглядели людьми из разных миров. Она и действительно происходила из старинной купеческой семьи из Ливорно. С ее семейными связями, изысканной красотой и очаровательным юмором Мими могла бы составить партию любому мужчине из лучшего общества Туниса, но она отклоняла одно предложение за другим. И проявила упрямство, склоняясь в пользу студента-медика Альберта, не обладавшего виллой в Карфагене, не приглашавшегося на приемы во дворец бея, не

имевшего своего места на трибунах автогонок Гран-При. Свои дни Альберт проводил, изумляясь сложности устройства человека. Она любила его, вот и все. Может, как раз потому, что видела в его особости отражение собственного эксцентричного упрямства, приводившего ее родителей в отчаяние.

Когда она приняла предложение Альберта, родители вздохнули с облегчением, радуясь, что после бесчисленных «нет», оборвавших для них столько социальных связей, наконец-то прозвучало «да». И, вопреки всем карканьям, этот брак состоялся под счастливой звездой – возможно, как раз потому, что они были такие разные и ни в чем не соперничали друг с другом. Он жил в своем мире идей, она управляла материальной повседневностью, он учил детей мыслить, она внушала им веру, он пропал бы без нее, а она знала, что он никогда не оставит ее ради другой, даже когда ее красота поблекнет. И все это основывалось на само собой разумеющемся соглашении – он зарабатывает деньги, которые она тратит. И вот впервые за годы их брака он возвращался домой с пустыми руками, испытывая терпение Мими, которым она и так-то не могла похвастать.

– Не переживай, дорогая, – успокаивал Альберт. – Врачи нужны везде.

Он спросил мусульманских коллег, не требуется ли где подкрепление в их врачебных кабинетах, неофициально, разумеется. Он знал одного еврейского адвоката, который передал свою контору французскому доверенному лицу, и торговца-оптовика, который устроился бухгалтером к мусульманскому базарному торговцу. Однако помочь ему смог лишь арабский аптекарь, месье Бен Амар, который нанял его помощником, другой работы у него не было. И доктор Сарфати ездил на своем автомобиле по городу, развозя медикаменты. За свой черный «ситроен траксон авант» он держался крепко, ни за что не хотел его продавать. Лучше он будет глотать сухие хлебные корки, потому что человек, имеющий автомобиль, принадлежит к тому слою, который считается современным и европейским. Однако, хотя он не желал бы признаться в этом детям, Альберт прекрасно сознавал, что «траксон авант», может, и хорошо защищает от дорожной пыли, но против беды, обрушившейся на евреев, он бессилён.

Виктор своими выступлениями в отеле «Мажестик» зарабатывал больше, чем отец. Он тайком совал купюры маме, чтобы не вызывать неловкости у папá. Альберту было бы тяжело принимать деньги сына, ведь тогда пришлось бы перестать осуждать занятие Виктора, к которому никак нельзя относиться всерьез. По мнению Альберта, было только одно ремесло, которое подходило Виктору, – медицина. Нежелания Виктора учиться Альберт никогда не мог понять. Не то чтобы он не любил музыку, напротив, он сам же и позаботился о том, чтобы Виктор получал классические уроки по классу фортепьяно. Но то, что так вдохновляло Виктора, – шансон, развлечение летними ночами, игра на чувствах публики – было для Альберта пустой тратой времени. И прежде всего он порицал стиль жизни Виктора, который называл эгоистичным и легкомысленным.

– Что ты делаешь для людей, что ты делаешь для страны? – вопрошал он.

А Виктор лишь транжирил направо и налево. Однако теперь они все зависели от его денег, и отцу пришлось смолкнуть.

Надежды свои Альберт теперь связывал с Ясминой, и она была благодарна ему уже за одно то, что он хотел послать ее в университет. Альберт был действительно передовым человеком – для него женщина-врач была так же хороша, как и врач-мужчина, и он искренне верил в свою дочь. Но незадолго до того, как нужно было подавать заявление на медицинский факультет Алжирского университета, вступили в силу расовые законы: лишь немногие евреи допускались к обучению – исключительно те, у кого родители обладали политическими связями или деньгами. Об университетах Парижа или Рима теперь нечего было и думать. Альберт пообещал Ясмине, что она пойдет учиться, когда война закончится – если победят британцы и американцы. А Виктор услышал, что в «Мажестик» требуется горничная. И хотя эта работа была не лучшего рода, зато «Мажестик» был самый уважаемый отель в городе. Для юной девушки из Píccola Сицилии не было ничего зазорного в такой работе, наоборот, изучение медицины было куда экстравагантнее.

Глава 9

8 ноября 1942 года война европейцев добралась до маленькой страны Ясмину. За завтраком все напряженно, затаив дыхание, следили, как Альберт настраивает радио на волну Би-би-си. Он принялся переводить: впервые с тех пор, как Гитлер вверг планету в войну, его противники перешли в наступление. Самый большой флот, какой только выдвигали моря, пересек Атлантику и, соединившись с британской флотилией, ко всеобщему удивлению, подошел к Северной Африке. Цель: уничтожить армию Роммеля, а затем начать освобождать Европу с юга.

Тунис, страна Центрального Средиземноморья, представлял собой основание моста к Сицилии, и достаточно было глянуть на карту, чтобы увидеть, что *Piccola* Сицилия в самом центре военных интересов. Место, куда на лодках прибыли когда-то итальянские мигранты, стремившиеся обосноваться в Северной Африке, должно было стать точкой, откуда огромная армия коалиции начнет движение в обратном направлении.

То была самая большая в истории высадка военных сил. В портах Касабланки, Орана и Алжира французы-вишисты попытались оказать сопротивление, но быстро капитулировали перед превосходящими силами коалиции. Свыше сотни тысяч солдат высадились с кораблей, тысячи грузовиков, танков и самолетов были перемещены на сушу, и гигантская армада начала движение по Алжиру к тунисской границе. С востока, из Ливии, британцы теснили армию Роммеля, потерпевшую неудачу в попытке пробиться к Египту и Палестине. Между двумя фронтами находился Тунис – страна, которую война до сих пор щадила. Впервые непобедимые прежде немцы оказались в обороне. *Это еще не конец, – говорил по радио Черчилль. – Это даже еще не начало конца. Но это, возможно, конец начала!* Когда новость разнеслась по округе, радостные крики еврейских женщин слышались из многих домов. После нескольких лет страха и трепета – наконец-то надежда!

Вскоре после того, как высадка войск коалиции стала темой первых полос в газетах, над домами Pìccola Сицилии появились самолеты. Была пятница, 13 ноября 1942 года.

– Американцы! – вопили дети, возбужденно носясь по улицам.

Ясмина выбежала на балкон, напуганная низким гулом в небе, и глянула вверх. Поначалу было два-три самолета, но их становилось все больше. Они надвигались со стороны моря как стая саранчи, закрывая солнце. Самолеты летели очень низко, они шли на посадку на недалеком аэродроме Эль-Ауина. Ясмина разглядела на серебристых хвостах черную свастику.

То были не американцы, то были немцы.

Тени самолетов проносились по головам детей.

* * *

Пока все обсуждали, когда союзные державы доберутся до Туниса, Гитлер приказал молниеносно оккупировать последнюю свободную страну Северной Африки. То была гонка на время: кто удержит Тунис, тот и станет контролировать Средиземное море, Сицилийский пролив, а значит, и ворота в Европу. Горожане приникли к радиоприемникам, из которых неслись самые разные версии – в зависимости от станции. «Радиофоно Италия» призывала к фашистскому сопротивлению «на полях сражений, где Сципион когда-то победил Ганнибала». По Би-би-си говорил генерал де Голль, расписывая, как англичане вблизи столицы Туниса «отважно обороняют свободу, равенство и мир!».

Радио «Алжир-франсез», позицию которого было не понять, часами крутило «Марсельезу». В Эль-Ауине что-то взорвалось – это загорелся при посадке один из немецких самолетов. Однако французы, которые контролировали аэродром, не оказали сопротивления – они открыли немцам город. Ночь горожане провели на балконах, вглядываясь в небо. Гул моторов перекрывал шум морского прибоя. В темноте это было особенно жутко. Но где же сами немцы? Сколько их повывлезло из чрева самолетов? И что они задумали?

Немцев пока еще никто не видел.

Папа́ нервно крутил колесико радиоприемника, переходя от одной радиостанции к другой. Был Шаббат, мама еще накануне приготовила шакшуку, яйца-пашот в остром томатном соусе, весь дом благоухал кардамоном, кориандром и кумином. Но Виктор уже переоделся в свой белый костюм, начищенные туфли сверкали. Он хотел своими глазами увидеть, что происходит в городе.

- Никто не покидает дом, – пробормотал Альберт.
- Не беспокойся, папа́, в отеле мы в безопасности.
- Ты останешься здесь, и *basta!* – воскликнула мама.

Виктор упорствовал:

- Мы итальянцы, нам они ничего не сделают.
- Сынок, ты не знаешь, на что способны люди.
- Но боши как-никак союзники итальянцев. Вот увидишь, нам теперь будет легче!

– Ты не знаешь, что они в Италии делают с евреями?

– Ты думаешь, они будут проверять, обрезанный ли я? Если они нас задержат, я просто крикну: *Viva il duce!*^[19]

Альберт тревожно глянул на Ясмину, и без всяких слов было понятно, о чем он думает, – по ней сразу ясно, что никакая она не итальянка. Ее настоящие родители были евреями с острова Джерба – сефарды, которых почти не отличить от арабов. Еще в школе Ясмина почувствовала, что не все евреи равны, более того – евреи и не хотели равенства. Европейские евреи считали себя более изысканным обществом, тогда как арабские евреи гордились тем, что жили на этой земле уже два с половиной тысячелетия. Первые были адвокатами, банковскими коммерсантами и врачами, а вторые – торговцами и ремесленниками. Они, правда, молились вместе, но смешанные браки были табу. Европейский еврей скорее женится на христианке, а арабский еврей – на мусульманке. Истинная граница проходила не столько между религиями, сколько между сословиями.

Приемные родители Ясины никогда не делали тайны из ее происхождения, Альберт был честным человеком. Но Ясмина и так сознавала свою чужеродность, одного взгляда в зеркало было достаточно: ее черные кудри, ее восточные глаза, беспокойные,

горящие, ее полные губы – все это ей самой казалось чужим, она нисколько не походила на людей, которых называла мама и папа. Хотя Мими постоянно повторяла: «Мы же одна семья, итальянские и арабские евреи!» – все равно во фразе таилось то, что Ясмину ощущала как свой изъян. Вот и в тот момент Ясмину снова кольнуло – когда отец молча посмотрел на нее. *Ebrea*, волшебное слово, которое когда-то принесло ей спасение, в ту ночь стало проклятием.

* * *

Ясмину вспоминала кадры из киножурнала. Огромные массы людей на площадях в Риме и Нюрнберге. Все в одинаковых рубашках – в Италии черных, в Германии коричневых. Все вскидывают руку в одну и ту же секунду, словно единый организм, все кричат одно и то же слово, отдельных людей уже и не различить. Могло ли такое произойти и здесь? Здесь, где одна идет, кутая лицо, а другая – в платье из Парижа; один носит бурнус, а другой – итальянский костюм; у одного кипа на голове, у другой крест на шее, а третий перебирает пальцами молитвенные четки. Здесь все говорят на путаной смеси из трех, а то и четырех языков. Один ест кошерное, второй халяльное, а третий пьет вино. Неужто можно набросить на этот пестрый разноцветный Тунис ту монохромность, что задушила Европу?

– Я хочу знать, что происходит в городе, – сказал Виктор и направился к двери.

– Ты не слышал, что я сказал? – крикнул Альберт.

– Да что со мной случится? Это мой город, и если я встречу на улице боша, я скажу: «Добро пожаловать, господин Капуста, позвольте пригласить вас на чай».

Виктор был баловнем судьбы. Все так и падало ему в руки, и из любой ситуации он всегда выходил победителем. Он верил в ауру своей непобедимости.

– Виктор, ты еще не видел войны. Ты не знаешь, как униформа превращает приличного человека в зверя.

– Я их не боюсь. Гитлер? Когда я слышу речи этого типа, я не могу сдержать смех. Как можно принимать его всерьез? Ясмину,

идем! – Виктор взял ее за руку.

Альберт преградил им путь.

– Свою жизнь можешь хоть выбросить, если ты и впрямь так глуп, но Ясмينا останется здесь!

– Мы отвезем их на работу на машине! – предложила Мими.

Как будто в машине они были защищены от немцев. Альберт воспротивился, но – как и бывало чаще всего – Мими своего добила. Это чувство, что они все вместе, как ничто другое давало ей уверенность в защищенности.

– Возьмите удостоверения! – сдался Альберт и стал повязывать галстук.

Виктор крутанул ручку, заводя мотор, и Альберт выжал газ. Это был единственный ритуал, который еще связывал их.

В небе стягивались тучи, с моря задул холодный ветер. Собирался дождь.

* * *

На дорогах было безлюднее обычного. В воздухе повисла неопределенность. Чтобы попасть в центральный квартал, им предстояло проехать мимо аэродрома. Французские солдаты перекрыли основную дорогу, что вела оттуда в город. Очевидно, что по приказу немцев. Альберт направился в объезд. Он ехал медленно, даже медленнее, чем всегда. Ясмينا молчала, зато Мими говорила без умолку. Когда на нее напал страх, она говорила не переставая, лишь нагнетая напряжение. Сейчас она говорила о сожженных синагогах в Германии, о евреях, которых выгоняли из их квартир и как скот перевозили в лагеря.

Виктор, сидевший впереди, повернулся к ней и взял ее за руку.

– Мама, не надо верить всему, что болтают люди! Я как-то познакомился в отеле с немцами, пожилая путешественная пара, милые люди. Попросили сыграть для них Бетховена и дали хорошие чаевые.

– Виктор, – перебил его Альберт, – твой отель – не настоящий мир. Почитай газеты, послушай радио, посмотри кино! Мы говорим не о немцах, а о нацистах! Ты видел, как они строят свои города,

Нюрнберг, Берлин? Как Муссолини в Риме: только прямые линии и прямые углы. Колонны, улицы, парадные строения, конвейеры военных фабрик – архитектура для машин, не для людей!

Ясмина смотрела в окно. Восток был противоположностью картинок из Германии: изгибы и переулки Медины, извилистые, словно речушки, ветвились привольно, безо всякого плана. Народы прямых углов хотят однозначности, думала она, тогда как восточные люди предпочитают двузначность, игру между видимым и скрытым. Восточный человек никогда не скажет напрямую то, что думает; «да» может означать у него «нет», а «нет» может означать «да» – чтобы каждый мог сохранить лицо. В многонациональных государствах Востока всегда уживаются несколько правд, мирское и духовное перетекают одно в другое – парадокс, который европеец пытается разгадать, тогда как восточный человек просто принимает его как данность. Мы слишком хаотичны, думала Ясмина, для прямолинейных фашистов. Как немцы собираются выиграть войну в стране, где четыре недели уйдет только на то, чтобы явился водопроводчик прочистить забитый унитаз?

– Ты же сам проповедуешь рациональность модерна, папá, – раздраженно возразил Виктор.

– Я говорю о здравом смысле, – сказал Альберт, разъезжаясь на узкой улице с встречной гужевой повозкой. – Фашисты не рациональны, а фанатичны. Рациональный человек исследует действительность, чтобы лучше ее понимать. Фашисты ненавидят действительность, потому что она слишком парадоксальна, они создают свою собственную правду, в которой есть лишь черное и белое. До тех пор, пока верят в собственную ложь. Поэтому они не могут быть верующими людьми, ведь кто верит, тот принимает таинство, которое больше него самого. Теперь ты понимаешь, почему я боюсь за вас? Потому что для этих нацистов человек не может быть одновременно итальянец, тунисец и еврей.

Они молчали, пока не добрались до центрального квартала. Движение на улицах почти отсутствовало. Можно было кожей ощутить напряжение – как перед грозой. На перекрестках стояли французские солдаты, немцев не было видно.

Виктор сказал, просто чтобы хоть что-то ответить:

– Ты ведь и сам не веришь в Бога, ну разве что в Шаббат.

И закурил. Это была провокация, которую Альберт стерпел.

– Я человек науки, – сказал Альберт. – До тех пор, пока не доказано ни бытие Бога, ни его небытие, сомнению всегда есть место. И это хорошо, потому что сомнение – источник познания. И оно же – источник терпимости, сын мой. Кто сомневается, тот никогда не станет фашистом. Прямой угол – изобретение людей, которые боятся сомнений!

Виктор засмеялся. Он всегда смеялся, когда положение становилось серьезным.

– Это неправда! Взгляни на наш квартал, он построен французами, даже раньше Медины, и там все по линейке, но они же никакие не фашисты!

– На прямых улицах легче контролировать народ, чем в лабиринте базаров, – ответил Альберт. – Но посмотри на наши фасады ар-деко, на пышные украшения, на цветы и деревья! Если хочешь знать мое мнение, то французы как древние римляне: с одной стороны, холодные рационалисты, с другой – темперамент у них средиземноморский. Имперцы и гедонисты одновременно!

Виктор усмехнулся, и какое-то время казалось, что они пришли к единому мнению.

– Потому-то они и сгнули, римляне, слишком много праздновали! Почему, ты думаешь, французы так быстро капитулировали перед немцами? Если ты спросишь меня, то Северную Африку они потеряют. Они слишком любят смеяться, чтобы так долго господствовать над нами, ведь господство лишает юмора.

– Потому-то я и боюсь немцев больше, чем французов, – вставила Мими. – В них нет ничего средиземноморского, они воспринимают все слишком серьезно, к тому же дисциплинированные и послушные до ужаса.

* * *

И тут они увидели первых немцев. Двое вооруженных молодых солдат в тропической форме стояли у британского посольства. Прохожие, завидев их, переходили на другую сторону улицы. Абсурдная ситуация – и солдаты, и прохожие делали вид, что не

замечают друг друга. Взгляд прямо перед собой или под ноги, главное – не встретиться глазами. Альберт поддал газу, и Ясмينا не успела разглядеть лица немцев.

Перед главпочтамтом стояли два вездехода «фольксваген» песочного цвета. Лестницу преграждали постовые, не пуская никого внутрь. Не было и намека на сумбур или импровизацию, очевидно, что все действовало по приказу, все следовало единому плану. Что происходит внутри здания? Ясмينا увидела, как жандарм приколачивает к газетному киоску плакат, написанный на немецком, французском и итальянском.

К сведению населения!

Отныне государство Тунис находится под защитой немецкой армии.

Требованиям вермахта подчиняться беспрекословно.

Кто станет чинить препятствия, будет расстрелян!

– Поезжай назад, Альберт, – прошептала Мими, – здесь опасно для детей.

Она так и сказала, «для детей».

– В «Мажестике» мы в безопасности, – возразил Виктор.

У отеля на первый взгляд все было как обычно. Но Ясмينا сразу почуяла: что-то не так. Напротив входа в отель, на проспекте де Пари стоял немецкий грузовик. Альберт остановил машину. Но сзади посигналили. В зеркало заднего вида Ясмينا увидела песочного цвета вездеход с немецкими солдатами. Водитель привстал и заорал:

– Давай! Проезжай вперед!

Альберт испуганно вдавил педаль газа, и мотор тотчас захлебнулся. Машина дернулась, остановилась, и затем последовал толчок сзади. В них воткнулся вездеход.

Что-то крикнули по-немецки.

– Боже милостивый! – воскликнула Мими.

– Заведи, Виктор, быстро! – велел Альберт.

Виктор схватил рукоятку, выскочил из машины. Ясмينا увидела, как два солдата в стальных шлемах прыгивают с вездехода и направляются к ним. За ними следовал офицер.

– Документы у вас с собой? – прошептал Альберт.

– Да.

– У Виктора тоже?

Ясмина не знала. Через стекло она видела, как Виктор приветствовал солдат:

– *Ciao, amico, come va?*^[20] – С обезоруживающей улыбкой он показал им ручку для запуска мотора.

Немцы были даже моложе его. Изможденные лица, еще чужие здесь. Виктор склонился перед радиатором, вставил рукоять в отверстие и резко крутанул, немцы, остановившись подле него, явно давали советы. Альберт выжал педаль газа, еще раз, и еще. Мотор ревел, но не запускался. Мими бормотала молитву.

В стекло постучали.

– На газ не жать! – У офицера было жесткое, худое лицо с холодными глазами.

Альберт кивнул, на лбу выступили капли пота. На тротуаре уже скопилась горстка зевак. Офицер что-то приказал, и солдаты, встав по разные стороны машины, без предупреждения толкнули ее. Виктор едва успел отпрыгнуть в сторону, ручка звякнула об асфальт. Один солдат открыл дверцу и взялся за руль, чтобы направить машину к обочине. Альберт бессильно обмяк. В этот момент Ясмина осознала: немцам нет нужды ненавидеть их. Местные для них просто помеха, которую следует убрать с дороги. Вероятно, им безразлично, евреи эти местные, арабы или итальянцы. Они смотрели на них сверху вниз, потому что местные – никто. Ненависть рождается в горячем сердце, презрение исходит из холодного.

Машина ткнулась в тротуар и резко остановилась. Прохожие таращились, разинув рты.

– Где Виктор? – крикнула Мими.

Ясмина обернулась и увидела его позади машины, офицер что-то требовательно говорил ему. Немецким военным было не особо интересно пререкаться с местными. Вот и офицера привлек вовсе не сам Виктор, просто следовало показать собравшимся зевакам, кто теперь хозяева в городе. Виктор был лишь средством. Скорее всего, немец не смог бы отличить еврейское имя от мусульманского. Виктор делал вид, что ищет документы, лишь бы потянуть время. Ясмина тотчас это поняла. У него не было с собой удостоверения. Почему он

не взял его? Из высокомерия или из-за протеста против отца? Ясмина схватилась за ручку двери.

– Сиди! – приказал Альберт непривычно резко.

– Надо ему помочь!

– Сиди, я сказал!

Альберт уже хотел выйти сам, но тут от толпы зевак отделился мужчина в элегантном костюме. Это был Латиф, консьерж.

– Виктор! – громко воскликнул он и обратился к офицеру по-французски: – Этот господин – сотрудник отеля «Мажестик», месье!

– Что?

– *Personale. Lavoro. Italiano.* – То была неподражаемая смесь из вежливости, такта и авторитета, присущая Латифу. Всегда к вашим услугам, но никакого раболепия.

– Персонал? А документы?

– В отеле, месье. У нас такой порядок.

– Ну тогда на работу, вперед!

Офицер направился с Латифом и Виктором ко входу в отель.

Латиф незаметно подал Альберту, уже вылезшему из машины, знак не вмешиваться. Альберт кивнул так же незаметно и сел на место. Солдаты припарковали свой автомобиль перед отелем.

– Что они с ним сделают?

– В отеле ему ничего не грозит, – сказала Мими.

Однако когда Виктор с Латифом и офицером скрылись за дверями, Ясмину охватило недоброе чувство. Она не раздумывая распахнула дверцу и кинулась через дорогу к «Мажестику».

– Ясмина! – крикнул вдогонку отец.

Солдаты обернулись. Ясмина пробежала мимо них. Внутри она поняла, что совершила ошибку.

В лобби царил хаос. Повсюду громоздились чемоданы, ящики с амуницией и канистры. У стойки какая-то французская пара протестовала, носильщики тащили их чемоданы к выходу, солдаты выгружали из ящиков оружие. В центре стоял офицер с каким-то списком – наверное, распределял комнаты. Ясмина увидела Виктора с Латифом и направилась к ним.

– Они конфисковали отель, – безутешно прошептал Латиф.

Благородный «Мажестик» отныне больше не был отелем, а стал комендатурой немецкого вермахта.

Ясмина непонимающе смотрела на него.

– А что с нами? – спросил Виктор.

– Для нас ничего не меняется, – сказал Латиф с горькой иронией. – Разве только то, что наши дорогие постояльцы теперь все будут сплошь из Германии. Быстро, Ясмина, переодевайся – и наверх. Все комнаты должны быть подготовлены.

Ясмине стало не по себе.

– А Виктор? – спросила она. – Латиф, ты же знаешь, мы...

– Французы? – перебил ее немецкий офицер со списком, издерганный и переутомленный многоязычным хаосом.

– Итальянцы, – сказал Латиф. – Они итальянцы.

– *Note, cognome?*

– Карузо, Витторио и Фарфалла, – соврал Виктор.

Офицер внес их имена в свой список и спросил Латифа:

– Британцы или американцы среди персонала?

– Нет, месье, – сказал Латиф.

– Хорошо, – вздохнул офицер и побежал к расшумевшимся солдатам, чтобы призвать их к порядку. Сизиф с авторучкой.

Латиф подмигнул сестре и брату:

– И, как полагается добропорядочным итальянцам, немедленно повесьте кресты на шею. *Capisce?*^[21]

Глава 10

МАРСАЛА

Жоэль вытягивает из сумочки старое фото, кладет на стойку, между чашками кофе. Черно-белое, с волнистой кромкой.

– Вот моя мать. За год до моего рождения.

Ясмина стоит перед аристократическим зданием эпохи грюндерства^[22], отелем «Мажестик», на ней форма горничной, типично французская, даже с наколкой. Похоже на маскарадный костюм, никак не выражающий ее сути. Красивая женщина, но «красивая» – не совсем верное слово. Ясмина обворожительна. Ее глубокие темные глаза, кажется, не просто смотрят на фотографа, они будто готовы поглотить его. Да и слово «женщина» совсем не точное. Если присмотреться, ясно, что она еще почти девочка. Не робкая, но полная жажды жизни.

Она совершенно не походит на мою бабушку, с ее строго поджатыми губами. Понятно, почему мужчина мог бы попасть под ее чары. Я волнуюсь, как бывает со мной на раскопках. Когда высвобождаешь из-под слоя земли кусочек керамики или металла, который позволяет заглянуть сквозь время. Почти забытое чувство. И почему я это оставила? Ведь не для того я изучала археологию, чтобы управлять архивом. А чтобы преодолевать границы привычного: из найденных камней мы складываем воображаемые дома, из домов – города, а из городов – людей, которые в них жили.

* * *

Конечно, я видела старую кинохронику из Африки. Глазунья, поджаренная на танке. Песня «Хейя сафари». Я всегда удивлялась, как молоды были те блондины в пустыне. Я так и ждала, что в каком-нибудь кадре мелькнет Мориц, но потом вспоминала, что он ведь сам стоял за камерой. Может, именно эту сцену как раз и снимал.

Но вот о чем я никогда не думала, так это о людях, про которых мне рассказывает Жоэль. Были немцы и были их противники, объединенные в коалицию. Почти неотличимые – в тропических шлемах, в военной форме. Но были еще и местные, не чьи-то враги, а просто люди – мужчина в бурнусе, женщина, закутанная в белое, узоры хной на ладонях. Арабы, евреи, но они не были для меня Мохаммедом, Давидом, Ясминой, не были людьми с историей, лишь статистами на заднем плане. И я никогда не спрашивала себя, как эти люди воспринимали европейцев, которые вторглись в их страну, чтобы убивать там друг друга. История Жоэль – это новый кадр, с другой перспективой, которой нет в старой хронике.

* * *

Мне требуется время, чтобы заново настроить мой компас. Я все знаю о Древнем Египте, но почти ничего об этом мире, который находится в двух шагах отсюда. Евреи и арабы, для меня это символ вечной вражды библейского масштаба. Жоэль смеется.

– Мы же двоюродные братья! Мы – как и они – пишем справа налево, мы не едим свинину, у нас один Бог, явившийся нам в пустыне. И мы празднуем невероятно шумные свадьбы. Никто из нас не видел в другом чужого, мы ведь и не знали другого мира, кроме нашего пестрого хаоса. Мы все откуда-нибудь пришли. Посмотри на карте, где расположен Тунис – ровно по центру Средиземного моря. Точка скрещения между Европой и Африкой, между Востоком и Западом. Сколько народов уже прошло через это место! Финикийцы, которые основали Карфаген. Римляне, которые его разрушили. Вандалы, которые его заново воздвигли. Потом пришли арабы и сделали из Туниса центр науки и торговли. Андалузские художники и ученые привели его к культурному расцвету, потом его завоевали турки, а под конец французы. Там были итальянцы, мальтийцы, ливийцы, марокканцы – и, конечно, евреи, которые пришли сюда еще до рождения Христа, принеся с собой камешек от храма, разрушенного в Иерусалиме, его они и положили в основание синагоги на Джербе.

– Сколько евреев живет в столице Туниса?

– Сегодня? Не много, к сожалению. Но когда твой дед прибыл в город, они составляли около пятнадцати процентов. И половина жителей были европейцы.

Мне приходится немного подправлять систему координат. Археолог во мне задает вопросы, отбраковывает неполное знание, заново создает взаимосвязи. А что-то другое во мне расслабляется в присутствии Жоэль, впускает в себя.

– Разумеется, это не было идиллией. Мы не жили в обнимку, мы просто были соседями. Присматривали за детьми друг друга, вместе отмечали праздники, спорили об idiotских пустяках. Была бедность, были болезни, но никто не считал, что в каком-то несчастье виноваты мусульмане или евреи. Религию другого уважали, потому что почитали Бога. И Бог тогда был не такой, как сейчас. Уважали таинство главных вещей, вот. А разделили нас нацисты.

– Где ваша мать встретила Морица? В отеле?

Посреди вопроса звонит мой телефон. Это Патрис. Только теперь до меня доходит, что уже поздно. История Жоэль напоминала раскопки: погрузившись в другое время, я забыла про настоящее. Я говорю Патрису, что все еще торчу в баре. И что встретила человека, с которым он непременно должен познакомиться. Он встревоженно шепчет в трубку:

– Ни с кем не говори про наш самолет. Слышишь? Ни с кем!

– Почему?

– Возвращайся в отель. Немедленно. Я жду тебя там!

Я растерянно отключаю телефон.

– Мне надо идти. Мне очень жаль. Я бы хотела узнать о Морице больше.

Жоэль берет свою сумочку:

– Я тебя немного провожу.

Глава 11

Мориц

Настоящая поисковая экспедиция состоит не в том, чтобы открыть новые ландшафты, а чтобы обрести новое зрение.

Марсель Пруст

Мы выходим из города, направляясь в сторону отеля, вдоль дороги тянутся поля, иногда попадаются маленькие домики; мы минуем дикий пляж, замусоренный пластиком, ржавыми останками машин и плавником. Море серебристо поблескивает, радуя глаз обманчиво мирной красотой. Как будто знать не знает о тайнах, которые скрывает в своих глубинах.

* * *

Я представляю себе Морица в самолете, стиснутого между незнакомыми солдатами. Гул мотора, темнота, пот и сигареты, смятые письма из дома, в последний раз извлеченные из кармана, чтобы перечитать. В крошечном иллюминаторе – синее, зловеще мирное Средиземное море, купаться не хочу, потом бурый берег, сожженная земля. Африка. Никого из его товарищей еще не заносило так далеко на юг. Молодые парни летели в чужую страну, чтобы принести там в жертву свои лучшие годы. Некоторые из них побывали в России, выжили в ее снегах, а здесь пустыня и зной – где ты предпочел бы погибнуть?

* * *

Мориц знал цвета этого континента. Он был в Эль-Аламейне. Выжил в том адском огне, сам не понимая как. Оглушительный грохот

артиллерии, разорванные танки и горящие люди в ночи. Безумие в пустыне было даже страшнее самой смерти, которая всегда была рядом, в любой момент могла тебя поймать. Он был не храбрее тех бедолаг, которых они не смогли похоронить, просто ему пока везло. Почему выжил он, а не неведомый ему солдат, павший в каких-то метрах от него? Пуля могла задеть и его. Английский снайпер лишь по случайности целился в другого, а может, и в него, но промахнулся, чуть дрогнула рука, порыв ли ветра – и твоя судьба решена. Какой смысл в существовании, если цена его так мала?

И вот под ними дома города Туниса, белые кубики на побережье, минареты, линии улиц, можно даже различить людей. Одна из них, не подозревая об этом, станет матерью его дочери.

* * *

Аэродром в лучах закатного солнца, ветер с моря, безумный танец пальм, пыльный вихрь на посадочной полосе. Мужчины крепко держат свои фуражки. Несколько барачков и железные ангары; солдаты выпрыгивают из самолета без трапа, запах чужой земли и привычные приказы. Каждый со своей поклажей, построиться, шагом марш. Тревога Морица за свою камеру, объективы и пленки, он проверяет все деревянные ящики, ни один метр целлулоида нельзя потерять, катушка «Агфахром» здесь дороже, чем сотня канистр с водой. Места назначения никто не знал, довольствовались лишь слухами. Где тут Роммель, где стоит Монгмери? Кто-то рассуждал о римлянах и Карфагене, разрушенном городе прямо у них под ногами, в точности здесь, где теперь аэродром. «Юнкерс Ju-52» развернулся и тут же снова взлетел, держа курс на Трапани, чтобы забрать следующую партию камрадов.

Десятки тысяч немцев и итальянцев устремились в страну, не готовую к их прибытию. Не готовую ни принять их как гостей, ни сражаться с ними. Французы свое оружие не задействовали, открыли город. Тунисцы, давно уже не являвшиеся хозяевами своей страны, просто наблюдали, как их дом переходит в чужие руки. Невеста досталась завоевателям даром.

Но и Мориц прибыл в Тунис неподготовленным. По Ливийской пустыне ему уже был знаком этот яркий свет, резкой гранью отделенный от тени, но он впервые видел широкие бульвары, белые фасады в стиле модерн, голубые ставни на окнах. Это Африка, но город французский, говорят на непонятных языках, обычаи тоже незнакомые, и население – поразительное сплетение самых разных групп. Морица и его товарищей научили убивать противника, но не объяснили зачем. Ради Германии, разумеется, но что Германия тут потеряла, никто не знал.

Первая сцена, которую снял Мориц, – проверенная временем картина триумфа: немецкие танки победно катят по городу. Эту картинку уже знали по Востоку – командир танка стоит навтыжку, новым было только окружение. Улица, окаймленная пальмами – возможно, проспект де Пари, – за танками марширует пехота, взгляды молчаливых прохожих у кафе. Камеру надо вести всегда слева направо, как строчку письма, внушал Мориц своему ассистенту, желторотому юнцу из Потсдама, и всегда победно двигаться вперед! Танки, которые объезжают оператора неправильно, на студии UFA отбраковываются. На заднем плане аптека, две надписи по окну, французская и арабская, – знал ли Мориц, что для арабов, которые пишут справа налево, танки двигались не в ту сторону?

Смена кадра: местное население. Нам нужно ликование и воодушевление, лучше всего дети и женщины, встречающие немцев как освободителей! И они нашли, где снять такие сцены, но не в центральном квартале, где жили главным образом французы, а в порту, где отыскивали союзников-итальянцев и арабов, которым немцы были желанны не столько из идеологических соображений, сколько в надежде, что те освободят страну от французского господства.

Пишущие коллеги Морица проделали блестящую работу – пропагандистская рота трудилась не только на немецкое население, но и на местное. Над улицами порхали листовки, написанные на трех языках.

Тунисцы! Мы не колонизаторы! Мы пришли освободить вас! Ваш враг – наш враг!

И при всем недоверии к завоевателям многие радовались, открыто или втайне, низвержению французов: бывшие господа теперь сами оказались под пятой! А те, в ком был силен инстинкт подданного, подчинялись сильнейшему – нации новых господ, высшей расе, асам молниеносных войн.

Еще никто не знал, что Тунис, столица Туниса, станет последним завоеванием немцев, мнимой победой без сопротивления, и что этой же зимой в кинохронике будет все чаще звучать новое слово – *отступление*. Или же туманное *спрямление линии фронта*. Но никогда – *поражение*.

Мориц отснял все необходимые планы и сцены, смонтируют их как надо уже в Берлине. Действительность не искали, не выбирали, ее монтировали.

– Откуда вы все это знаете? – спрашиваю я Жоэль.

– От матери. Он никому об этом не рассказывал, кроме нее.

У меня мелькает мысль: можно ли на это положиться? Устные источники. Как археолог, я верю только в то, что можно потрогать. Старый спор между археологами и историками. Историки говорят с людьми. Мы говорим с камнями. Камни не лгут.

Документально установлено, что гранд-отель «Мажестик», находившийся в собственности у одной еврейской семьи, был реквизирован вермахтом и отдан под комендатуру. В течение суток всех постояльцев выставили на улицу. В боковом крыле на третьем этаже обосновалась пропагандистская рота «Африка» – жалкие остатки из Ливии и свежее подкрепление из Франции, 16 человек команды «текст-фото-фильм», 3 мотоцикла, 5 легковых машин, 8 пишущих машинок («Олимпия», «Оливетти» и «Торпедо»), 2 передвижных печатных пресса для листовок, 8 камер «Лейка-IIIc» с объективом 50 мм «Эльмар», 2 кинокамеры «Аррифлекс», 16-миллиметровые, с цейсовскими объективами, деревянные штативы, 32 катушки черно-белой пленки 16 мм «Агфахром», 5 катушек 16-миллиметровой цветной пленки «Агфаколор», передвижная фотолаборатория, небольшие и средние громкоговорители по 20 и 70 ватт, с досягаемостью не более 1500 метров.

Горничные застилали постели, чистили туалеты и относили в стирку военную форму. *Bonjour, Monsieur; excusez-moi, Monsieur; au*

revoir, Monsieur – никто не спрашивал у девушек ни имен, ни религиозной принадлежности. Обученные быть невидимками, они приспособились к распорядку немцев, знали, когда комнаты пустуют, и перемещались по отелю тенями. Мориц не замечал Ясмину. Она была одной из теней, иногда их взгляды встречались мимоходом, но они не обменялись ни одним словом сверх необходимого. Форма определяла одного как господина, а вторую как прислугу. Впоследствии он удивлялся, как мог так долго проходить мимо женщины своей жизни, не замечая ее. И как много людей всю жизнь проходят мимо друг друга, даже не взглянув по-настоящему. Но Виктор, разве мог он проглядеть Виктора? Он заметил его в первый же вечер, когда пришел в бар, чтобы выпить со своей командой. Виктор сидел за роялем. Виктор, поющий итальянец. Виктор, который знал, где легче всего спрятаться, – там, где тебя никто не ищет. В свете ramпы.

*C'est presque au bout du monde
Ma barque vagabonde
Errant au gré de l'onde
M'y conduisit un jour.
L'île est toute petite
Mais la fée qui l'habite
Gentiment nous invite
A en faire le tour*^[23].

Он играл и пел медленное танго «Юкали» с тяжелым шагом и легкой мелодией, про которое ни один немец не знал, что это тайный гимн французского Сопротивления. Сочиненный Куртом Вайлем в парижском изгнании. В этом был весь Виктор. Всегда на грани, с неизменным шармом. Но он не догадывался, что эта песня, в которой речь шла о тоске по утраченному раю, скоро станет балладой его собственного изгнания.

*Youkali,
C'est le pays de nos désirs
Youkali,
C'est le bonheur, c'est le plaisir
Youkali,*

*C'est la terre où l'on quitte tous les soucis
C'est dans notre nuit, comme une éclaircie
L'étoile qu'on suit
C'est Youkali^[24].*

– А ты не знаешь чего-нибудь немецкого? – кричали солдаты.

И Мориц, который во время службы в Ливии нахватался слов у своих итальянских товарищей, перевел Виктору.

– «Лили Марлен»! – крикнул кто-то от стойки бара.

Конечно же, Виктор знал «Лили». Английские постояльцы любили эту песню, французы и итальянцы тоже. Но Виктора удивило, что и нацистам она явно по душе, хотя Геббельс в апреле 1942 года запретил песню за то, что ее пела Лале Андерсен^[25]. Из-за ее дружбы с евреями. Но эта песня действительно могла объединить всех мужчин, что оказались на фронте вдали от своих любимых. Песня, при звуках которой британцы вопили из своих окопов немцам: *Louder, please!*^[26] – пока и британский генералитет тоже не запретил ее. Но мужчины по разные линии фронта продолжали ее насвистывать.

Итак, Виктор заиграл «Лили Марлен». Пятьдесят немецких офицеров и солдат подпевали ему во всю глотку. Некоторые даже прослезились, кто-то поднес итальянцу вина, поставил бокал на рояль, *grazie*, Виктор, *bello*, Виктор, *viva* Муссолини, хайль Гитлер, поганая война, проклятые «томми», завтра мы им покажем, а сегодня мы выпьем с тобой, *так мы хотим побыть вдвоем, хотим стоять под фонарем, как та Лили Марлен*.

– Ты пел с немцами? – удивилась Ясмينا.

– Тсс, не так громко. – Виктор огляделся: никогда не знаешь, кто сидит с тобой в одном вагоне. Слабо освещенный поезд до *Riscola* Сицилии был почти пуст, а те, кто видел их в этот поздний час вместе, принимали за пару.

Обе наши тени сливаются в одну;
То, что мы влюбленные, видно хоть кому,
Ну и пускай глядят на нас,
Как мы стоим тут битый час,

Как та Лили Марлен.

Ясмина понизила голос:

– Как ты мог? Они же ненавидят евреев.

– И любят итальянцев. Надо только прикинуться дурачком. Им это нравится, тогда они чувствуют себя великими. Один все время поправлял мое произношение!

Вот и прощаемся, у нас отбой,
А как бы мне хотелось уйти с тобой,
С тобой, Лили Марлен,
С тобой, Лили Марлен.

– Виктор, это слишком опасно, – шептала Ясмина. – Тебе нельзя дружить ни с кем из них! Если они узнают, кто ты...

Виктор только ухмылялся:

– Ты бы послушала, как они поют. Такие сентиментальные, рассопливились. Эта господствующая раса, скажу я тебе, уже заранее наложила в штаны. Они же знают прекрасно, что через пару дней здесь будут американцы. Не беспокойся, все будет не так плохо, как думают люди. Мы же им ничего не сделали.

Ну а случится со мной беда,
Кто будет здесь стоять тогда
С тобой, Лили Марлен,
С тобой, Лили Марлен.

– Нам надо затаиться, Виктор. Давай завтра просто не выйдем на работу.

– Тогда они будут нас искать, ты не понимаешь? Наберись терпения, *farfalla*, всего на несколько дней, пока не придут американцы. Ты же помнишь, как бабушка теряла свои очки? Она их ищет по всему дому и созывает на помощь всю родню. А где они оказываются в итоге? На ленточке у нее на шее! – Он засмеялся и взял

Ясмину за руку: – Если уж они кого-то ищут, то точно не в своем доме, не у себя под носом.

Она любила тепло его руки, ее уверенную силу. В мире Виктора всегда оставалось место для надежды, и стоило лишь примкнуть к нему, хотя бы мысленно, как все вокруг становилось светлее и легче, ничего не погибало. Виктор не больше других знал, где сейчас стоят американцы и смогут ли они победить немцев, – каждая радиостанция, каждый слух утверждал на этот счет свое, – но он верил в них, как в шансон, который пел с такой убежденностью, что все слушатели воспринимали песню как собственную, правдивую историю.

Виктор принадлежал к счастливым людям, приспособившим мир к своим убеждениям, а не наоборот, как большинство. Он действительно всегда находил выход, что бы ни говорили при этом родители, общество или мнимые друзья. Все тяжелое он делал легким. Рядом с Виктором Ясмина и впрямь становилась бабочкой.

* * *

А потом начался забег. Виктор наперегонки с реальностью. Продвижение войск коалиции замерло, они не добрались до города. Их остановила контратака объединенных сил немцев и итальянцев, танки и пикирующие бомбардировщики, к тому же зарядили осенние дожди, дороги развезло, русла рек вздувались за минуты, превращаясь в смертельные ловушки. Союзники увязли в грязи. И новые господа с устрашающей быстротой запустили в Тунисе свой конвейер.

Когда однажды в семь часов утра раздался стук в дверь, Ясмина в испуге очнулась ото сна. Сперва она решила, что это немцы. Но те действовали более ловко. Быстрее. Основательнее. Вместо того чтобы кропотливо выискивать в городе евреев – а евреем был каждый шестой житель, – они переложили эту грязную работу на самих евреев. За дверью стоял старый друг Альберта из еврейской общины. Глаза его были полны стыда за то, что он пришел требовать невозможного от своего брата по вере. Простите меня, но мы должны это сделать, сказал он. Жест доброй воли. Мойше Боргель, председатель общины, сейчас как раз ведет переговоры с немцами. Бей протестует, он

говорит: евреи – это мои дети. Но он больше не может нас защитить. Мы должны пойти на сотрудничество.

* * *

Людей они поначалу не потребовали. Только матрацы. Вместе с кроватями. И подушки, и простыни. Вскоре перед домами были выставлены на улицу десятки кроватей, абсурдная картина – дети прыгали на кроватях, пока грузовик не увез. И в тот же день по кварталу поползла отравя раскола: кровати забрали только у евреев, остальных семей это не коснулось. Пока не было слышно ни слова зависти или неприязни, напротив, мусульмане и христиане высказывали солидарность, однако чем громче они это делали, тем больше евреи задавались вопросом: что, теперь так и будет? Ночью, улегшись спать на полу, Ясмينا пыталась представить, кто сейчас спит на ее кровати. Голубые у него глаза или карие. Думает ли он о том, чья под ним кровать. И не мучает ли немца совесть. Может, он ее ровесник. Может, он уже убивал. Может, и сам скоро погибнет. *Иншалла.*

Шепча проклятия, она заснула.

* * *

Потом потребовали радио. Все евреи должны были сдать на главпочтамт свои радиоприемники. Те, чьи фамилии начинались на первые шесть букв алфавита, сдают в субботу с 12 до 20 часов, на следующие семь букв – в воскресенье с 8 до 12. И так далее. Сотни, тысячи приемников громоздились в зале штабелями. Каждый владелец получил квитанцию: после войны ему вернут его аппарат. Все было организовано в строгом бюрократическом порядке, так что многие действительно поверили, что снова увидят свое имущество. Другие попрятали приборы, в первую очередь жители Медины с их старыми домами – лабиринтами из закутков и лестниц в заколдованных переулках, по которым не могла протиснуться машина. В таких домах

собирались соседи, чтобы тайно послушать Шарля де Голля по Би-би-си.

*Кто не подчинится распоряжениям вермахта, будет
строжайше наказан.*

Так было написано на плакатах – по-французски, по-итальянски и по-немецки. Но какое предполагалось наказание? Денежный штраф? Тюрьма? Расстрел? Об этом не говорилось: чем меньше знаешь, тем больше чувствуешь себя зависимым от власти произвола. В каждой семье были как пугливые, так и строптивые, а еще были те, кто зарабатывал по несколько су, донося на соседей.

* * *

Затем забрали фотоаппараты и пишущие машинки. Того, что не задокументировано, считай что и не было. Реальность есть только на фотографиях победителей, остальные пусть довольствуются устными пересказами, слухами и сплетнями. Новые хозяева ценили устное меньше, чем напечатанное, а напечатанное слово меньше, чем фотоснимок. Они не подозревали, что арабы с незапамятных времен доверяли не изображениям, а словам, и их истории испокон веку передавались из уст в уста. И что они как никакой другой народ умели читать между строк, были мастерами по части двойного дна и спрятанных сокровищ.

Но самой большой глупостью немцев было то, что свои призывы к населению они не писали по-арабски. Арабы же давно знали, что латинские буквы – буквы оккупантов, потому проходили мимо плакатов с таким же безразличием, с каким научились игнорировать плакаты французов. *Мектуб* – написанное – считалось действительным только на их языке, языке Священной книги, только это звучание достигало их души.

Узнав об этом, немцы сменили тактику. На каждый вражеский слух, выловленный их прихвостнями, они тут же распускали противослух. Улицы затопили шепотки. Новости курсировали, как фальшивые деньги, черный рынок лжи. Люди учились не доверять

слишком очевидному, а правду искать в сокрытом. Однако вскоре и шепоток стал отравленным. И немцы на этом наживались. Мориц знал, что туманные сведения деморализуют сильнее дурных, но определенных вестей. Страх и надежда сменяли друг друга в течение минут, неуверенность разъедала души и отравляла целые семьи.

* * *

Затем они потребовали людей.

* * *

Охота началась в восемь часов промозглого декабрьского утра. Над городом висел туман. Выйдя из пригородного поезда, Ясмينا влилась на проспекте де Пари в поток служащих, идущих на работу. К счастью, Виктор еще оставался дома.

Когда Ясмينا проходила мимо синагоги, рядом притормозили несколько грузовиков. Вооруженные солдаты попрыгали из кузовов и побежали ко входу. Слышалось стаккато приказов, топот сапог на мокрой мостовой. Прохожие пригнулись, прикрыли головы папками и бросились прочь. Мгновенно воцарился хаос. Ясмينا вместе с другими нырнула в переулок, но навстречу маршировало подразделение солдат. Они метнулись назад, на проспект, а там уже вовсю хватали людей. От каждого требовали документы. Если человек оказывался евреем, его уводили.

Некоторые пытались убежать, последовали выстрелы. Солдаты сгоняли евреев на площадку перед синагогой, держали их там под прицелом, как будто то было вражеское войско, а не безоружные служащие, дети и старики. Пытавшиеся скрыться получали прикладом по ребрам. Один уже лежал на земле, капли дождя мешались с его кровью. Ясмينا дрожала всем телом, когда показывала свой документ. Солдат что-то пролаял и жестом отогнал ее. Она поняла, что их интересуют только мужчины. Она кинулась прочь со всех ног.

* * *

Латиф уже стоял перед отелем и быстро провел ее внутрь. В отеле было пусто, все немцы, должно быть, участвовали в операции. Из служебки консьержа Ясмينا позвонила отцу:

– Папа, ни в коем случае не выходи в город! И Виктору скажи, пусть сидит дома!

– Почему, что случилось?

– Они устроили облаву. Хватают всех еврейских мужчин.

– Где?

– Перед синагогой.

– Ты видела рабби?

– Нет.

– А раненые есть?

– Да.

В ту же секунду она пожалела, что сказала правду.

– Ясмينا, оставайся там, где ты сейчас!

– Папа, нет, не приезжай, слышишь?

Он уже положил трубку. Ясмينا проклинала свой язык. Латиф смотрел на нее с тревогой. Она побелела как мел.

* * *

Когда Альберт со своим докторским чемоданчиком подоспел к синагоге, там уже десятки мужчин сидели на корточках под дождем. Некоторые прикладывали пропитанный кровью платок ко лбу или к руке. Два эсэсовца преградили ему путь. Прокаркали что-то, он не понял.

– *Doctor! Medico!*

Альберт предъявил свое врачебное свидетельство, как будто оно могло дать отпор их оружию, а его благородное ремесло могло противостоять их жестокости. Они отшвырнули его. Альберт глянул на раненых.

– Уходи, спрячься! – прошипел один из них. Альберт узнал своего пациента, торговца золотом Сержа Коэна.

– Еврей? *Jiff?* – пролаял немец.

Альберт сделал вид, что не понял.

– Удостоверение! Бумаги!

Альберт снова протянул им врачебное свидетельство. Другого документа у него при себе не было. А в этом не указывалась ни религиозная принадлежность, ни национальность. Солдаты передавали это свидетельство из рук в руки. Внезапно из синагоги послышались выстрелы. Солдаты вытолкали наружу мужчину. Альберт узнал Хаима Беллайше, девяностолетнего раввина. За ним следовали офицер СС в черном кожаном плаще и тунисец в костюме и галстуке, возмущенно что-то говоривший эсэсовцу. То был Поль Гец, адвокат и член совета еврейской общины, рослый высоколобый человек в круглых очках, всегда задумчивый и взвешивающий каждое слово – даже теперь, в полном своем бессилии.

Эсэсовцы приказали раввину сесть на землю рядом с остальными мужчинами. В этот момент Альберт еще мог бы запрыгнуть в свою машину и уехать. Но тогда бы он не был тем, кем был. В такие моменты доктор Сарфати забывал об Альберте Сарфати. Все стрелки, что когда-либо переводили рельсы на путях его жизни, на самом деле были спонтанными решениями в пользу других. Может, это свойство было его слабостью, а может, его силой, но в итоге оно стоило ему здоровья. Однако по-другому он не мог. Он бросился не к машине, а к раввину. Беллайше не был его пациентом, но Альберт знал, что тот страдает диабетом.

Поль Гец двинулся ему навстречу, желая перехватить доктора, пока того тоже не арестовали.

– Альберт!

– Поль, что...

– Не вмешивайся, это бессмысленно.

– Что они делают с людьми?

– Им нужны мужчины. Они затребовали две тысячи. В двадцать четыре часа. Мы им сказали, что это невозможно. Мы благотворительное объединение, мы не ведем регистрацию членов!

Пол метнул взгляд в сторону офицера СС в кожаном плаще, который командовал на площадке. Бледное лицо немца контрастировало с черной кожей плаща. Он походил на алчного, крикливого призрака.

– Вальтер Рауф, – прошептал Поль. – Рассказывают, он ездил по Восточной Европе на фургоне, в котором людей удушают газом. Смерть на колесах. *Если вы их нам не отдадите, мы их сами заберем,*

так он сказал. Я спорил с месье Беллайше и с месье Боргелем, должны ли мы выдать наших мужчин? Поначалу я был против, но Боргель и рабби поговорили с семьями... и сегодня утром пришли первые добровольцы. Мужественные молодые люди. За каждого из них у меня разрывается сердце.

– И сколько?

– Сто. Рауф рассчитывал на большее и пришел в ярость. Грозился всех расстрелять. Потом приказал штурмовать синагогу. Хватали людей без разбора. Посмотри на них, бедняги. И это только начало.

Молодые и старые, здоровые и немощные, все сидели под дождем на корточках, тесно прижавшись друг к другу. Никто не осмеливался протестовать.

– Куда они их отправят?

– На фронт. На аэродром. В трудовой лагерь. Рыть окопы, строить позиции, взлетно-посадочные полосы.

– Не может быть, – сказал Альберт. – Мы должны...

– Погоди...

Альберт решительно шагнул к скрюченным фигуркам. Призрак в кожаном плаще гаркнул на него по-немецки. Альберт вежливо попросил по-итальянски разрешения осмотреть раненых.

Не обращая на него внимания, Рауф выкрикнул какой-то приказ, и его люди стали прикладами поднимать евреев на ноги. Альберт и теперь еще мог вернуться к себе в машину. Но вместо этого он услышал свои слова, обращенные к Рауфу:

– Полковник. Сколько вам требуется мужчин?

– Что?

– Мы можем это организовать. Но нам нужно время.

Бог знает, как Альберт, такой медлительный человек, смог так быстро решиться. Потому что это была неразрешимая дилемма: либо они сами выдадут им своих лучших мужчин, либо останется лишь бессильно взирать, как без разбору будут хватать людей прямо на улице. Старых, малолетних и больных.

– Мы составим список молодых людей, – продолжал Альберт, – мы обследуем их и отберем трудоспособных.

Поль смотрел на него с удивлением, но и с благодарностью. Ни тот ни другой не знали, как это получится, но они доверяли друг другу

без слов и разделяли убеждение, что будет лучше, если они возьмут дело в свои руки.

– Доктор Сарфати – член Всемирного еврейского союза, почтенный человек с большими связями, – сказал Поль. – И, кстати, гражданин Италии.

Рауф задумался. Его смягчило не сочувствие, а холодный расчет.

– Кто мне это гарантирует?

– Мы даем вам слово.

– Две тысячи. К завтрашнему утру, к восьми часам.

Альберт не знал, как он сможет это устроить. Он почесал в затылке и задумался.

– Тысячу завтра. И тысячу послезавтра.

Рауф смотрел на него ледяным взглядом. Потом улыбнулся:

– А на следующее утро еще одну тысячу.

– Три тысячи? – ахнул Поль. – Но это...

– А если они не явятся, я расстреляю заложников.

– Каких заложников? – растерялся Альберт.

Рауф пролаял на всю площадку приказ, и его солдаты принялись отделять детей, раненых и старого рабби Беллайше от вымокшей группы задержанных.

* * *

Альберту не дали позаботиться о раненых, но в его руках оказались жизни сотен людей. До следующего утра он не сомкнул глаз ни на секунду. Они пустились в путь. Поль, Альберт и еще двое друзей, примкнувших к ним, адвокат Жорж Криф и врач Люсьен Моатти. Случайное сообщество, на которое вдруг свалилась геркулесова работа, к которой они не знали как подступиться. Но в том, что должны ее проделать, не сомневались.

Было ли это предательством общины? Неужто они уподобились скотине, что сама идет на убой? Но, с учетом жестокости противника, их решение давало единственный шанс сохранить хоть какой-то контроль. Чтобы беззаконие разбавила хотя бы доля справедливости, а жестокость – капля человечности.

* * *

Во Всемирном еврейском союзе они застали ту же картину, что и в синагоге, – пустые помещения, растерянные люди. Пишущих машинок, за которыми они пришли, там уже не нашлось. Надо было составить списки, поскольку никакого учета евреев никто никогда не вел. Пришлось записывать имена по памяти. Друзья и знакомые, их сыновья и братья, каждое имя в списке – предательство, укол в сердце. Только молодые, говорили они себе, только мужчины в возрасте от восемнадцати до двадцати семи. И у кого нет детей.

Во второй половине дня из типографии принесли сотни плакатов, которые они расклеили по улицам. Плакаты взывали к совести общины: сильные должны принести жертву ради слабых. Потом они принялись ходить от дома к дому – только так они могли подвигнуть семьи к тому, чтобы те отдали самое дорогое. Сыновей. Некоторые пытались откупиться. Возьмите наши драгоценности, но не наших детей! Некоторые прятались. Некоторые просили Альберта дать справку о нетрудоспособности. Если он откажет, они пойдут к другому врачу, не такому совестливому, и купят у него для сына инвалидность, душевную болезнь или то, чего немцы боятся больше всего, – заразу, тиф. Альберт видел уважаемых граждан, которые не остановились бы перед ложью во спасение, и видел бедных сыновей рабочих, которые с готовностью вверяли себя судьбе, чтобы оказаться полезными общине.

* * *

К вечеру набралось лишь несколько сотен. Измученный и отчаявшийся, Альберт сидел дома перед собственным сыном, объясняя ему, в чем состоит его долг.

– Я должен сдать добровольно? – Виктор язвительно рассмеялся.

Никто не поддержал его смех.

– Это самое разумное. У немцев есть перечень всех зарегистрированных жителей. Рано или поздно они тебя найдут. А кто не явится добровольно, будет наказан.

– И каким же образом? Тюрьмой? Расстрелом?

– Этого они не говорят. Но и не остановятся ни перед чем.

– Да я лучше сам покончу с собой. По крайней мере, по собственной воле.

– Они не станут нас убивать. Мы им нужны. Рыть окопы, работать на аэродромах. У них слишком мало своих рук. И это логично.

– А почему только мы, евреи? – взволнованно воскликнула Мими. – Ты что, не слышал, что они делают в Европе? Про лагеря? Что там творится? Еще никто оттуда не вернулся!

– Здесь по-другому, – пытался успокоить ее Альберт. – Ненависти к нам у них нет. Они всего лишь презирают нас.

– А какая разница, если их пуля достанет его?

Ясмина обняла Виктора. Она его не отпустит.

– Наша судьба в руках Господа, – сказала Мими.

– Нет, Мими. Наша судьба в наших руках, – строго сказал папá и повернулся к Виктору: – Жиль Боккара записался. Рене Натаф. Арманд Бен Аттар. Шимон Самама. Андрэ Джерби. Джузеппе Париенте. Саломон Финци. Как ты сможешь смотреть их родителям в глаза, если увернешься?

Виктор ненавидел отца.

– Остайся, Виктор, – умоляла Ясмина.

Трое против одного. Альберт взял со стола шляпу и встал:

– Ну смотри. Это твое решение.

Он не сказал: я люблю тебя. Или: я на твоей стороне, что бы ты ни сделал. Нет, хотя сердце у него истекало кровью. Альберт всегда ставил принципы выше личного. Ясмина смотрела с балкона, как он идет, ссутулясь, к своему «ситроену» и уезжает в ночь, к следующим семьям, чтобы забрать у них сыновей. Она не знала, то ли ей восхищаться отцом, то ли презирать его.

* * *

Никто в эту ночь не спал – ни Альберт, ни Ясмина, ни Виктор, и ни одна еврейская мать не сомкнула глаз.

* * *

На следующее утро тысяча двести мужчин стояли перед Еврейским союзом. Они были в сапогах, у каждого багет под мышкой и лопата на плече. Рауф, который был уверен, что у них ничего не получится, приказал рассчитаться по порядку номеров и обомлел. Такой результат его едва ли не разозлил. Сегодня никого расстрелять не удастся. Альберт и его друзья сунули каждому из мужчин в карман по стофранковой купюре и пожелали им счастья. И колонна потянулась по мокрой дороге, под низко висящими облаками в сторону вокзала. Куда – неизвестно.

Женщины у окон и на балконах молча смотрели им вслед. Мусульманские, христианские. Какая-то женщина сунула одному из них банку с соленьями. Какой-то старик пробормотал:

– Храни вас Аллах.

Другие наблюдали за процессией с каменными лицами, и никто не знал, что они думали. Было ли это злорадство? Или даже ненависть? Скорее всего, равнодушие. В военное время каждый сам себе ближний.

* * *

Самым странным в шествии колонны была тишина. Если в Тунисе собирается группа людей, всегда много шума. Но тут тысяча с лишним мужчин шагали со своими лопатами по рю Мальта и слышался лишь топот сапог по асфальту. Колонна проходила мимо, и на сердца людей ложился пристыженный холод, утихали разговоры, зрители молчали. И только когда евреи и их немецкие конвоиры скрывались из виду, голоса людей снова оживали. Колонна свернула на рю де Ром, один из мужчин запел песню, остальные ее подхватили – веселую песню в лицо неизвестному. Альберт смотрел им вслед с горькой гордостью и с тревогой за сына, которого не было среди них.

* * *

Теперь он мог бы пойти домой. Он не спал тридцать часов.
– Отдохни, Альберт, – советовали друзья, – дальше мы сами.

– Еще одну тысячу до завтра... – Альберт снял очки и потер покрасневшие глаза.

– Мы сделаем. Поспи несколько часов, тебе это необходимо.

Альберт сел в «ситроен». Руки дрожали, когда он заводил мотор. Он посмотрел на пальцы без тревоги, скорее с интересом – вот что делает с человеческим организмом недостаток сна. Почему людям так необходим сон? Сколько времени у жизни он отбирает? Альберт думал о жене, которая ждала его дома, и о мадам Беллайше, которая тоже ждала своего мужа. Он проверил медикаменты в кожаной сумке. И поехал не домой, а к отелю «Мажестик». Перед входом вежливо попросил разрешения поговорить с полковником Рауфом. Охрана впустила его.

* * *

Рауф сидел за столом в просторном люксе, сесть он Альберту не предложил. Альберт снял запотевшие очки и изложил свою просьбу:

– Некоторые заложники нуждаются во врачебной помощи. Я хотел бы ходатайствовать перед вами, чтобы их отпустили.

Рауф посмотрел на него так, будто он оскорбил лично фюрера.

– Нуждаются они в чем-то или нет, решать не вам!

Альберт сохранял самообладание.

– Разрешите мне, по крайней мере, посетить заложников. Ведь мы как-никак привели вам тысячу двести...

– Это только начало. Перед нами стоят огромные задачи. Сколько людей у вас есть на настоящий момент?

– Точного числа я не знаю. Но... Я прошу вас...

– В восемнадцать часов я жду промежуточного отчета. Можете идти.

– Полковник. Обращение с военнопленными предусматривает...

– Они не больные, только пара царапин, а теперь избавьте меня от вашей чувствительности! Идите!

Альберт не сдвинулся с места. Он обдумал слова, прежде чем их произнести.

– Месье Беллайше страдает хроническим заболеванием. Ему необходимы лекарства. Если с ним что-то случится, это окажет

катастрофическое действие на моральный дух добровольцев, которых мне предстоит мобилизовать. Тут все держится на доверии.

Рауф рассмеялся. И снова обратился к бумагам, что лежали перед ним. Альберт пришел в ярость. А этого ему не следовало делать.

– Отпустите старика!

Рауф вскочил:

– Что вы себе позволяете! Разговаривать со мной в таком тоне! Еще одно слово – и я лично пристрелю вашего раввина!

Страху Альберт не испытывал. Лишь разгоравшуюся ненависть. Чувство, которого он не знал уже очень давно. Отвратительное чувство. Но оно придало ему сил. Он был неуязвим, когда произнес:

– Я предлагаю обменять его на меня.

Он не мог предвидеть последствия. Скорее, хотел задеть Рауфа неким моральным превосходством. В этом было что-то солдатское. Что бывает между мужчинами. По лицу Рауфа пробежала циничная ухмылка.

– Эта его проклятая жажда справедливости! – Мими в ярости швырнула тарелку об пол.

Ясмина нагнулась собрать осколки. Только что звонил Поль Гец, чтобы выразить благодарность и благословение раввина, которого немцы отпустили в обмен на Альберта. Голос у Поля был осипший. Виктор ничего не ответил, положил трубку и устался в ночь за окном.

– Он это сделал, чтобы наказать меня!

– Нет, Виктор, с тобой это никак не связано, – запротестовала Ясмина.

– Он хотел преподать мне урок. Но это никакая не справедливость, а всего лишь самонадеянность! До чего же глупо сдать в руки немцам, только чтобы пристыдить собственного сына!

– Перестань оскорблять отца! – воскликнула мама.

– Теперь еще и ты будешь меня обвинять! Он сам виноват! Ему захотелось сыграть в героя, и он подставил нас всех!

Ясмина закрыла окно, чтобы соседи не слышали ссоры. Заметив на улице немецкий патруль, она отпрянула от окна.

– Тише! Там немцы!

Виктор и мама смолкли. Потом снизу донесся громкий стук в дверь. Виктор схватил кухонный нож.

– Спрячься! – шепотом приказала Ясмينا.

Виктор с ножом. Немыслимо. Он никого не мог поранить – Ясмينا никогда в этом не сомневалась. Неужели обманывалась?

– На крышу, быстро! – распорядилась мама.

Виктор взял Ясмину за руку.

– Идемте со мной. Обе.

– Нет, – решительно отрезала Мими и подтолкнула обоих к лесенке, ведущей на кровлю.

– А ты, мама?

– Идите, и ни звука!

Когда дело принимало серьезный оборот, Мими становилась львицей. Особенно если рядом не было папá. Немцы уже колотили в дверь:

– Откройте!

Этот их язык. Жесткость. Беспощадность.

* * *

На крыше было холодно и тихо. Почти мирно. Звезды. Огни предместья. Море дышало во тьме. Лаяла собака. Ясмينا и Виктор сели на корточки и прислушались. Решительный голос мамы, еще громче, чем голоса немцев.

– Что будем делать, если они поднимутся сюда? – прошептала Ясмينا.

Виктор обнял ее за плечи. Никакого плана у него не было. Только нож.

– Ты правда мог бы убить?

– Нациста – да.

У Ясины холодок пробежал по коже. От Виктора исходило тепло. Она всегда чувствовала себя защищенной с Виктором, а не с папá. Она молилась.

Прошла целая вечность, и вот голоса немцев донеслись уже с улицы. Хлопнула дверь. Они ждали, пока мама не поднялась к ним. Все трое обнялись.

- Спасибо, мама, – сказала Ясмина.
– Что ты им сказала? – спросил Виктор.
Мама посмотрела на них, и в глазах ее не было облегчения.
– Они пришли не за тобой.
– А зачем же? Что-то случилось с папá?
Мама отрицательно помотала головой.
– Чего им надо?
– Наш дом.

* * *

У них было двенадцать часов, чтобы упаковать самое необходимое в пару чемоданов. Деньги, драгоценности, одеяла, одежду, фотографии. Виктор покинул дом под укрытием темноты. Немцы о нем даже не упомянули. Они явно предоставили разбираться с мобилизацией самим евреям. Пока. Конфискация дома была мстью Рауфа за героический поступок папá. На что ему дом, если он предпочитает ночевать в тюремной камере? А вот надо было держать язык за зубами! Был бы сейчас здесь, они бы ужинали вместе, а не упаковывали серебряные ложки, пока эсэсовцы втаскивают свои ящики.

Куда же податься? Дедушка и бабушка Ясины умерли, сестры и братья Альберта жили в оккупированной Франции, а с единственной сестрой Мими – Эмили, которая жила в Бизерте, – они были в ссоре. Когда Мими собиралась выйти за Альберта, чудаковатого студента-медика без средств, Эмили интриговала против него. Мими не могла просить сестру о помощи.

* * *

На следующее утро в восемь часов Ясмина с матерью и тремя чемоданами стояла на улице. За каких-то три дня Альберт своими решениями внес в семью раздор, лишил ее крыши над головой. Ясмина проклинала себя за то, что позвонила ему в то утро.

– Не говори так, – мама легонько смазала ей пальцами по губам, – папá все сделал правильно. Господь его вознаградит. Ты бы на его месте поступила так же.

В этом Ясмينا не была так уж уверена. Она не героиня. Да и что уж такого геройского в том, чтобы одного спасти, а остальных ради этого выдать? Вообще, этот рабби, где он теперь, когда они в нем нуждаются? Сидит сейчас со своей семьей в тепле? Почему он не пришел и не забрал их к себе? Где та справедливость, которую он проповедовал в синагоге? Где его Бог?

Начался дождь.

– В хорошие времена, – сказала мама, – забываешь о молитвах.

Глава 12

Марсала

Все, что мы слышим, всего лишь мнение, не факт.

Все, что мы видим, лишь перспектива, но не правда.

Марк Аврелий

– А Мориц? Что он делал во время облавы? – спрашиваю я Жоэль. Мы стоим посреди пустынного пляжа. Над нами стягиваются серые облака. Я взбудоражена и растерянна. Я не здесь, я наполовину там.

– Не знаю. Об этом он никогда не говорил.

– Он ведь был нацист? Или просто попутчик?

– Он был солдат. Получал приказы и исполнял их.

– Да, но... в чем он участвовал?

Вопрос, который я задавала и своей бабушке. Вероятно, любой немец моего поколения когда-то задавал этот вопрос своим родным.

– Если ты фотографируешь преступление, виноват ли ты в нем?

– Ты сообщник, укрыватель. Что он знал о преступлении?

– Вопрос, скорее, что он *хотел* знать?

Камера, подобно линзе и фильтру, увеличивает и вместе с тем подделывает, камера как оружие и как заслонка перед глазами.

* * *

Я представляю: немецкий солдат в Тунисе, ничего обо всем этом не ведающий. Безупречная репутация немецкого вермахта. Законы не нарушаются. Евреи добровольно покидают свои дома, добровольно отправляются в трудовые лагеря.

Каждый вносит свой патриотический вклад. Общими силами мы защитим нашу родину от агрессоров. К людям нужен жесткий подход, другого языка они не понимают. Дисциплина – безусловная необходимость для поддержания порядка. Возражение – это нарушение, приказ есть приказ, инакомыслие есть личное мнение. Да, при исполнении видишь неприглядные вещи, но что я могу сделать, будучи всего лишь колесиком в огромном механизме?

Подчинение приказу оправдывает все.

* * *

А что мы могли поделать, всегда говорила бабушка, ты представить себе не можешь, что такое жизнь при диктатуре. За одно неверное слово можно было угодить в концлагерь. Так что лучше было держать язык за зубами. Сколько людей должны перестать молчать, чтобы их стало больше, чем можно пересажать? Критическая масса революции. Но немцы не восставали. Немцы послушны. А если бы Гитлер пришел к власти во Франции? Последовали бы за ним и итальянцы? У них имелся Муссолини, среди них хватало восторженных фашистов, и действительно, рассказывала Жоэль, немало итальянцев и французов со злорадными ухмылками смотрели на ежедневное шествие еврейских рабочих к вокзалу. Кто-то сплевывал на землю, а кто-то плевал и в сторону этих бедолаг. Но большинство итальянцев вовсе не отличались фанатизмом. Было достаточно дезертиров, а итальянские трудовые лагеря, по словам Жоэль, не грешили жестокостью. Охранники за мзду проносили еду для арестантов, а больных отпускали домой. Маленькие жесты человечности, тайные акты непослушания. Вот потому-то немцы никогда полностью не доверяли своим союзникам.

* * *

– Он не был нацистом, – отвечает Жоэль. – Моріц был хороший человек.

Она ставит ударение в его имени на последний слог. Французское звучание с немецким окончанием. Это сбивает меня с толку.

– Как можно быть одновременно частью чудовищной машины и хорошим человеком?

– Он не считал себя частью машины. Он всю свою жизнь никогда по-настоящему не был частью чего бы то ни было. Он всегда производил впечатление, будто он лишь гость. Даже в качестве отца. Он присутствовал, даже проявлял нежность, заботился. Но у меня всегда было ощущение, что он с нами не целиком.

* * *

Я вспоминаю снимок, который мне однажды показала мать. Она нашла его в ящике со старыми фотографиями, которые бабушка не клеила в альбом, там мой дед, тринадцатилетний подросток, рядом с одноклассниками. Он стоит в сторонке, с виду помладше остальных и в то же время серьезнее. Буйная веселость других, их самоуверенность, и на их фоне – он, напряженный, будто готовый обороняться.

– Тебе известно, что он никогда не учился фотоделу? – спрашивает Жоэль. – Сам овладел профессией. Но если хочешь знать, фотография не была для него ни профессией, ни хобби, это был его способ выжить. Еще будучи в интернате, он научился быть невидимым.

* * *

Мальчик из деревни, не знакомый с неписаными правилами детей буржуазии. Подростковые ритуалы, иерархия, войны на школьном дворе. Поначалу они смеялись над его кожаными штанами. Потом над его робостью. А когда он написал контрольную работу по французскому на высший балл, то последовала расплата. И в какой-то момент он – всегда один против всех – решил защищаться другим

способом, не кулаками. Он научился ускользать, становиться для них невидимым.

Он не выказывал слабости, ибо слабость они чувствуют как собаки. Но уходил от любой борьбы и смотрел со стороны, как его одноклассники дерутся между собой. Он понял, что воюют только на верхней и на нижней ступеньках иерархической лестницы, – наверху бились за перевес, а внизу толкались те, кто не желал быть слабейшим. Самое надежное место располагалось посерединке. Там никому не бросаешься в глаза. Там не за что бороться, там ты не являешься объектом зависти или ненависти.

Он следил за тем, чтобы не получать ни слишком хороших, ни слишком плохих отметок, даже по языкам, к которым был особенно способным. Даже когда все знал, он намеренно делал ошибку, оберегая себя от высшего балла. Он достиг совершенства в искусстве не быть ни выскочкой, ни растяпой и испытывал тайное удовлетворение от осознания, что он не тот, за кого его принимают. На уроках он говорил, только когда его вызывали, не стремился никого опередить, поскольку сильнейшие на школьном дворе – это он быстро понял – были чаще всего не самыми умными в классе, и удары по самолюбию, какими их награждали учителя, дальше ricochetили по выскочкам.

Мориц научился обретаться там, где не было ни слишком яркого света, ни полной темноты. Местом его обитания стало серое. И еще он усвоил, что тот, кто умеет сдерживаться и не лезет на передний план, для всех – лучший друг: крикливым нравилось, что он их слушает, а тихони не видели в нем угрозы. И скоро он превратился в наперсника бывшим своим недругам. Так Мориц обрел свое предназначение в джунглях жизни. Он был оком, а не кулаком. Ухом, а не устами.

Что почти неизбежно привело его к фотографии. Ведь если не высываешься, если ты всегда в стороне, то становишься внимательным наблюдателем. Всегда начеку, быстрый, точный, с хорошим инстинктом. Конформист во внешнем мире, внутри он развил свой особый взгляд на все. И только его снимки выдавали это, а их видел только он, в уединении темной фотолаборатории, когда в красном свете, в ванночке с проявителем, образы проступали из ничего, словно мысли, а потом медленно закреплялись.

Снимки были той точкой, где мир соприкасался с его представлением о нем. Мориц никому их не показывал. Однажды он

совершил ошибку – показал девочке, в которую влюбился, ее фото. Снимок ей не понравился, хотя Мориц считал его удачным. Одного ее резкого замечания хватило, чтобы Мориц поклялся себе впредь никому не показывать фотографии.

После войны он во всех фотолапках искал подержанную камеру – такую же, что у него была первой. «Агфа», миниатюрная, складная, с выдвижным – на гармошке – объективом.

– Священник подарил ему такую на прощанье, знаешь?

Камера, которую я держала в руках не далее как вчера. Понятно, почему не вермахтовская камера. Мориц снимал фильмы для кинохроники, но у него был и личный фотоаппарат. Для снимков, недоступных цензуре. Я ощущаю легкий озноб. Ее отец, мой дед. Морис. Мориц. Рассказ Жоэль заполнял пустоты между нашими семейными фотографиями.

– Ты живешь здесь? – указывает она на *Lido del Sole*.

– Да. А вы?

– В одной жуткой дыре в порту. Вообще-то я тоже здесь хотела поселиться, но мне сказали, что все занято.

– Глупости. Он полупустой. Если хотите, я спрошу.

– Было бы хорошо. У меня с отелями какая-то плохая карма.

Она иронически улыбается. Я тяну ее к стойке. Разумеется, комната есть. *Извините, синьора. Я не знала, что вы тоже в составе немецкой группы.*

– Ты можешь спокойно говорить мне «ты». – Жоэль стоит уже с ключом в руке. – Ведь я тебе как-никак что-то вроде тетки. Смешно звучит, да? Я никогда не хотела быть теткой. Тетки старые и пахнут яблочным пирогом. Так что никогда не называй меня тетей. Зови просто Жоэль.

– Годится, Жоэль.

– Схожу за своим чемоданом. Отдохни, дорогая.

Мы обнимаемся, чуть неловко, но сердечно. Тело у нее женственное, теплое, живое. Но не родное. Радость, которую она излучает, проистекает не от легкой жизни, а из ее отношения к трудностям.

Когда перед ужином я рассказываю о ней Патрису, он злится.

– Что ты ей сказала?

– А что ты имеешь против нее?

– Она тут вынюхивает! И вчера тоже. Она мне сразу показалась подозрительной. У нее есть какие-то доказательства, что вы родственники?

– Нет, она только рассказала...

– Нина, не будь такой наивной! Она хочет у тебя что-то выведать!

– Я ей почти ничего о себе не сказала.

– Послушай, тут полно охотников за сокровищами и придурков, которые гоняются за снаряжением нацистов. Откуда она?

– Живет в Париже и в Хайфе.

– Она еврейка?

– Да, а что?

– Черт! Не смей больше с ней разговаривать, слышишь?

– Да что это с тобой? Ты стал параноиком?

Он крепко стискивает мой локоть и тихо спрашивает:

– Ты умеешь хранить тайны?

– Да.

Он выводит меня наружу. Уже стемнело. Слышен прибой, шелест ветра, шорох пальм. Патрис озирается – не видит ли нас кто.

– Ничего никому не говори, даже причастным. И разумеется, чужим, что шныряют и разнюхивают. Никому.

Я с самого начала знала, что ему есть что скрывать.

– Обещаю.

Мы спускаемся к пляжу.

– *Écoute*^[27]. Несколько лет назад я искал клад у берегов Корсики. Местные уверяли, что на нем проклятие, но это, конечно, полная чушь. Нет никаких проклятий. Есть только люди, жадные до быстрых денег. И есть правительства. Секретные службы. Двое водолазов там погибли, и явно не случайно.

Я спрашиваю себя, уже не паранойя ли у Патриса.

– Не думаешь же ты, что эта милая пожилая дама...

– Все возможно. Я знаю одно, что речь идет о больших деньгах. Куда бóльших, чем ты можешь себе представить. – Он понижает голос: – Этот клад на Корсике – одна из последних загадок войны. Клад, который пока никто не нашел. Сорок третий год. Армия Роммеля в Северной Африке. Всегда считалось, что это была честная война, рыцарская. Но СС по всему Тунису награбили золота и серебра. У еврейских семей. *Давайте сюда драгоценности или мы вас расстреляем.* Они собрали очень много. Запаяли в ящики от боеприпасов и погрузили в самолет.

Я начинаю догадываться, о чем он.

– Да вот только до Германии это золото не долетело. До сих пор считалось, что шесть запаянных ящиков были спрятаны в одном из монастырей на Корсике, а когда пришли войска коалиции, их утопили в море. И все их ищут – немцы, французы, корсиканская мафия. И бог знает кто еще. Несколько загадочных смертей. Но никто так и не нашел проклятые ящики. Я там годы проторчал. Но, возможно, Корсика была ложным следом. Или же они распределили добычу по нескольким транспортам. Известно лишь одно: эти скоты награбили достаточно, горы драгоценностей, и клад до сих пор не найден.

Эту историю я, конечно, слышала. Но никогда не связывала ее с моим дедом. Кинооператоры не были грабителями.

– Когда на Корсике ничего так и не вышло, я начал искать свидетелей. Солдат вермахта из Африканского корпуса. Можешь себе представить, какая это была работа, на годы, бесконечные архивы лагерей военнопленных, телефонные переговоры, безрезультатные визиты по найденным адресам, сомнительные типы, старики, которые вдруг принимались рыдать... Я нашел двоих, присутствовавших при сдаче Туниса седьмого мая сорок третьего. На аэродроме. Оба рассказали, независимо друг от друга, что видели, как офицеры СС грузили шесть запаянных ящиков в один из последних самолетов. Тяжелые ящики, приходилось каждый нести вдвоем. В последний день, понимаешь? Когда полагалось спасать своих людей. Но вместо пассажиров на борт грузили тяжелые ящики. В «Юнкерс Ju-52». Я прошерстил все сообщения о полетах и все радиопереговоры. Архивы в Риме, Берлине и Лондоне. Ни один «юнкерс» в тот день не летел на Корсику. Это слишком далеко. Все самолеты направлялись в Трапани. И один из них не долетел.

Я снова чувствую, как по спине пробегает холодок.

– Значит, мой дед был лишь предлогом. А на самом деле тебя интересовала...

– ...ты. – Патрис улыбается.

Но мне сейчас не до его обаяния. В голове лишь одна мысль: был ли мой дед связан с этим делом?

– Жоэль говорит, что его не было в самолете.

– Откуда ей знать?

– Она говорит, он до сих пор жив.

– Может, это просто приманка для тебя? Красивая история. Маленькая психологическая игра с твоей надеждой. Но если ты хочешь знать, то за ней наверняка кто-то стоит. Может, Моссад, может, тайный спонсор, не знаю. Но она здесь точно не ради твоего деда. А ради клада.

Сомнение во мне набирает силу.

– А пассажиры могли выжить?

– Все, чем мы располагаем, не указывает на удачное приводнение. Иначе бы самолет остался цел. – Патрис достает из кармана морскую карту, разворачивает. – Посвети-ка мне мобильником.

Я включаю фонарик. Море перед Марсалой, расчерченное на квадраты.

– Вот тут мы нашли хвост. Вот здесь камеру, куски металла, каркас сиденья. Может, их подбили, может, просто неудачно приводнились. В любом случае не мягкая посадка. Если самолет сбили, то его обломки могли разлететься далеко. Ответ мы получим, когда найдем фюзеляж... с грузом.

Глаза у него блестят. Шесть ящиков, набитых золотом. Я же могу думать только о молодом немецком солдате, едва унесшем ноги от войск коалиции, он уже видел спасительный берег, но рухнул в море совсем неподалеку. Даже если упасть с высоты в двадцать метров, поверхность воды жесткая, как доска.

Пальцы Патриса двигаются по карте:

– Вот тут посадочный воздушный коридор, между Трапани и островом Фавиньяна. Эту зону мы уже просканировали. Остались только вот эти квадраты.

Ему потребуется много везения, чтобы закончить поиски до зимы. Или идеальная погода. Я вдруг ловлю себя на мысли, что не желаю,

чтобы они его нашли. Я боюсь узнать, что делал мой дед.

– Поверь мне, – говорит Патрис. – И больше не разговаривай с этой женщиной.

* * *

Я лежу в постели без сна. Шум моря за окном, осенняя южная ночь. Встаю, открываю балконную дверь, ощущаю на коже прохладный воздух. Правду ли рассказала мне Жоэль? Или не всю правду? Ищет она своего отца или богатство? Почти невозможно ей не верить. Может быть и так, что история Ясмینی вовсе никак не связана с историей Морица. В конце концов, он был лишь одним из сотен тысяч, что явились в страну, куда их никто не звал. А может, мы имеем в виду совсем разных людей. Мориц. Морис. Может, только мое *желание* верить придает этой истории правдоподобие?

Черно-белый снимок еврейских рабочих, идущих по Тунису с лопатой на плече. Я науглила его в смартфоне, когда не могла заснуть. Кто сделал этот снимок? Не Мориц ли? Может, есть еще и фильм? О чем он думал, глядя в видеоискатель? Испытывал ли сострадание или его занимала лишь правильная экспозиция? Кого он видел в них – людей или унтерменшей? И кем был он сам, нажимая на спуск? Будучи невидимым наблюдателем, можно так сосредоточиться на объекте, что исчезнешь сам как субъект. Непричастный, невинный, незатронутый.

Я представляю Морица идущим со своими людьми по кварталу Ясмینی, с кинокамерой в руке. Может, они направлялись в кафе на прибрежном променаде, чтобы выпить. А в это время эсэсовцы выволакивали из дома мужчину. Он не хотел освобождать помещение. Или, как Виктор, увиливал от трудовой повинности. Они швырнули его о стену, бросили его на землю, били его сапогами, обзывали поганым жидом.

Мориц за стеклом. Мориц с бокалом в руке. Мориц без камеры. Мориц, который смотрит – на сей раз без заградительной линзы между глазом и несправедливостью. Мориц, погруженный в свои мысли, о которых он никому не скажет. Эсэсовцы бросают окровавленного

мужчину в автомобиль и уезжают. Мориц выходит из тени и снимает пальмы.

* * *

Что есть правда? Пальмы существовали. Это факт, несомненно запечатленный на пленке. Но не творится ли за кадром жестокость? Пропаганду способны опознать лишь те, кто видит всю картину. Другие верят тому, что им показывают. Что хотят видеть.

Когда картина мира Морица дала трещину? Кто-то же рассказал ему историю, указавшую на его место в системе и придавшую смысл его присутствию в Африке? Более того: он и сам участвовал в создании этой истории. Верил ли он ей? Или знал, в отличие от зрителей, что действительность, снятая им, – лишь конструкция?

Когда он наводил свой объектив на происходящее, выбирал экспозицию, он видел лишь то, что попадало в видоискатель, или всю картину? Не только пальмы, но и окровавленного мужчину? Не только неутомимых медсестер, но и ночные судороги пациентов? Не только арабских мальчишек, что с ликованием бежали навстречу освободителям, но и двух женщин, что цедили пожелания чумы на головы оккупантов?

Он отбирал, что снимать, или же фотографировал все подряд, предоставляя окончательное решение служащим из министерства пропаганды рейха? Уверена, Мориц знал, что правда состоит из многих историй и что киножурнал рассказывает лишь одну из них. Его задача состояла в том, чтобы сделать эту историю громче других, ярче, убедительнее, чтобы истории противников показались фальшивкой, а его историю воспринимали как подлинную, как полную правду, хотя на самом деле все они были одним и тем же – пропагандой.

И когда Джанни говорил мне, что должен пойти на деловой ужин с шефом, это не было ложью. Деловой ужин действительно имел место. Но не до полуночи. И когда он говорил мне, что любит меня, это тоже не было ложью. Да, он любил меня, но в то же время любил и другую. Плохая ложь – наглая. Она сразу видна. Слишком бросается в глаза. А хорошая, обыденная, неявная ложь кроется не в том, что она говорит, а в том, чего недоговаривает. Правда всегда остается за

кадром. Искусство обмана заключается в том, чтобы видимое сделать настолько привлекательным, что обманутому даже в голову не придет спросить, а что же там, за границей кадра. Так иллюзионист одной рукой отвлекает зрителей, а второй незаметно прячет монетку. Мы любим отвлекаться. Мы любим истории. Мы любим, когда нас одобряют. Я верила Джанни, потому что хотела ему верить.

Глава 13

Глубокая синева. Кажется, что наш катер парит высоко над бездной. Под килем, на пути от Сицилии, спят самолеты. Дюжины, по словам Патриса, сотни. Он рассказывает мне о маршрутах, о немецких и итальянских транспортных эскадрильях, об истребителях коалиции. День ясный, воздух мягок, мы скользим над пропавшими без вести. Мы нарушаем их покой, вглядываясь в глубину. Катер тянет за собой эхолот, торпеду сонара, посылающего на монитор изображение морского дна, черно-белую картинку в пикселях, чем дальше на нее глядишь, тем меньше понимаешь.

Прищуренные глаза Патриса ищут фюзеляж самолета, крылья или ящики – подозрительные холмики из осадочных отложений, рукотворной формы: прямые углы, балки, кубы. Мы столпились на тесном мостике, я стою под крышей, некоторые – перед открытой дверью, все молчат. Только дизель шумит, да радиостанция что-то обрывочно бормочет. Мне уже дурно от пристального вглядывания в экран, я выхожу на палубу и смотрю на горизонт, чтобы успокоить растревоженный вестибулярный аппарат.

Внезапно катер дергается. Патрис резко дает задний ход, чтобы остановить движение. Все содрогается и вздыбливается. Потом сильная качка, пока судно не успокаивается. Он что-то обнаружил. Какая-то форма, не больше, – прямоугольник на дне, природа не знает прямоугольников. Два водолаза готовятся к погружению. Патрис остается у руля. Каждый может совершить только одно погружение в день, двадцать минут на пятидесяти метрах. Мы стоим у поручней, когда они спускаются в воду, медленно, сосредоточенно и скоординированно. Водолазная беседка подвешена к крану. Сигналы рукой и приказы по радиосвязи. Водолазы скрываются в глубине. Ступень за ступенью, пока их тела привыкают к давлению, мы ждем, они опускаются глубже.

Я в такие моменты предпочитаю держаться в стороне, уступаю сцену профессионалам. Сама страшно не люблю, когда со мной заговаривают во время работы. На воде или на суше, раскопки требуют спокойствия и сосредоточенности. Но если на суше в нашем

распоряжении целый день и враг лишь солнце, то у водолазов счет на минуты. Медленное нужно проделать максимально быстро. Когда через двадцать минут они поднимаются на поверхность, в руках у них ничего нет. То, что на мониторе выглядело как ящик с сокровищами, оказалось лишь старым холодильником. Кто, черт возьми, выбрасывает холодильники в море? Но водолазы не удивлены. Чего только они не находили. Контейнер. Каркас кровати. «Фиат-500».

Мы плывем дальше. Час спустя новая серия игры, но на этот раз они уже по монитору понимают, что это затонувшая рыбацкая лодка. Мы продолжаем кружить. Один квадрат за другим. Подводная археология не для нетерпеливых. Это как рыбалка во времени. Мы запускаем наши зонды в память моря. Вообще-то у Патриса неподходящий темперамент для этого, думаю я. Когда мы уже готовы развернуться, он вдруг глушит мотор.

– Вы это видите?

Никто ничего не видит. Если задействовать фантазию, то можно предположить одну правильную форму среди множества неправильных. Все теснятся перед монитором. Трезвость побеждает, в этой игре терпения нельзя питать ни слишком большие, ни слишком малые надежды. Патрис и Бенва совершают второе погружение. Проходит бесконечно долгое время, прежде чем мы можем разглядеть на мониторе детали. Крошечный круг света с нашлемной камеры Патриса ненадолго выхватывает что-то из темноты, и тут же это что-то снова погружается во мрак. Скалы и песок, водоросли и растревоженные рыбы, его рука на осадочном слое. И вдруг что-то вспыхивает, серебряное, плоское и угловатое. Небольшой ящик, выросший в морское дно, тронутый коррозией, но в основном целый.

Мы наэлектризованы. Я думаю о том, что мне доверил по секрету Патрис. Я верю в такие вещи только тогда, когда могу потрогать их руками. Но я желаю ему, чтоб это оказалось его сокровище. Мы сохраняем спокойствие и опускаем водолазную беседку все глубже. Ждем. Потом вытягиваем из глубины находку. Водоросли и ракушки облепили сундук, с него стекает вода, когда мы втаскиваем его на палубу. Мы осматриваем его еще до того, как Патрис и Бенва завершают свой медленный подъем. Надо быть осторожными при удалении ракушечных наростов, чтобы не повредить какую-нибудь эмблему. Но эта, впечатанная в металл, на удивление стойко

выдержала испытание временем. Орел рейха, свастика, и затем я оттираю штампованную надпись. *Министерство пропаганды рейха.*

Меня охватывает неприятная смесь зачарованности и отвращения. Остальные ликуют, я молчу. Когда водолазы проходят декомпрессию, мы принимаемся открывать ящик. Он запаян герметично. Странно, что металлический корпус нигде не проржавел насквозь. Лежал в осадочном слое, а ракушки образовали органическую защиту. При помощи гибкой пластины Патрис осторожно подцепляет крышку.

Оттуда вырывается отвратительная вонь. Отшатнувшись, все цепенеют. Никакого золота, никакого серебра. Алюминиевые банки для киноплёнки, размером с тарелку, этикетки разложились до полной нечитаемости. Мы осторожно извлекаем одну жестянку и открываем крышку. Едкая вонь заполняет все вокруг. Это не гниль, это яд. Внутри банки слипшаяся, бесформенная вонючая масса янтарного цвета, вязко растекшаяся и затвердевшая.

– Что это?

– Расплавленное дерьмо.

Нет, это целлулоид. Коричневые комья пленки. Целый ящик таких банок. Я пытаюсь прочитать этикетки, но их либо нет, либо они полностью расплзлись. Герметично закупоренный яд на дне морском, пленки разрушились не от контакта с морской водой, а сами по себе. На этикетках различимы только несколько цифр: *122–4. 2600. РК НА W 347.* Но ни фамилии, ни инициалов. Ничего, что бы указывало на оператора.

– *НА* означает «Группа войск Африка». *РК* – пропагандистская рота.

Эти пленки мог отснять мой дед. Но с таким же успехом – и любой другой кинооператор. Сколько их работало в Тунисе? И находился ли Мориц на борту вместе со своими фильмами или это был грузовой борт?

– Самолет вылетел в последний день. Обычно в такой момент думают о людях, а не о грузах.

– Разве что на этих пленках было что-то особо ценное.

Этого мы никогда не узнаем. Отснятый целлулоид, направлявшийся в лабораторию, все эти исторические съемки спеклись в коричневые комья. Может, и к лучшему. Это не просто документы времени, это кадры, отравленные ядом. Закрыв глаза, я так

и вижу их. Эстетика Лени Рифеншталь, триумфальная музыка, пот, кровь и крики. Но хотелось бы мне взглянуть на отснятый, но не смонтированный материал, включая все отбракованные кадры: уличные сцены, прохожих, все второстепенное. Его мир и то, каким он его видел.

* * *

Патрис решает заночевать на катере. Растерянная, я сижу на кровати в своем номере и смотрю в ночь. Потом – в одну секунду – принимаю решение наплевать на советы Патриса. Это я-то, всегда лояльная. Я, не спускающая другим их нелояльность. Натягиваю кофту и осторожно выхожу в коридор. Все уже спят. Если остановиться, замереть, то слышно море.

К Жоэль меня влечет нечто большее, чем просто любопытство. Даже если ее Морис был совсем другой человек, чем мой Мориц, история ее матери затронула какую-то струну во мне. Не только *что* Жоэль рассказала, но и *как*, ее манера говорить о семье, которой мне так не хватает. Без умиления, легко. Запальчиво, однако не ожесточенно. Весело, однако в то же время с грустью. Но эта грусть отлична от печальной фоновой мелодии моей семьи, она не придавлена виной и упреками, а пронизана любовью между поколениями.

Из-под двери комнаты Жоэль пробивается полоска света. Постучавшись, я проскальзываю внутрь. Откинувшись на подушки, она читает книгу – будто в ожидании меня.

– Если ты не веришь, – говорю я, – что он лежит на дне моря, зачем ты приехала?

– Прочитав в газете о твоём друге, о том, что он собирает родственников погибших, я подумала, что это шанс встретиться с твоей матерью. Возможно, уже последний. Вдруг она знает, где сейчас наш отец.

Я долго молчу.

– Значит, ты не знаешь, где он? – спрашиваю я наконец.

– Одно время мы были неразлучны. Но потом мы... скажем так, потеряли друг друга из виду. Я думала, что он вернулся в свою прежнюю жизнь.

Его прежняя жизнь. То, что у него было с юной Фанни, и жизнью-то не назвать. Только прелюдия, преддверие жизни.

– Когда ты видела своего отца в последний раз?

Я сознательно выбрала формулировку, которая ставит под вопрос, один ли и тот же человек имеется в виду.

– В шестьдесят седьмом.

– Пятьдесят лет назад!

– С тех пор ни адреса, ни номера телефона, ничего.

– Но что случилось?

– Это долгая история. И не очень красивая, признаться.

– Тогда откуда тебе известно, что он еще жив?

– Я просто знаю.

Она сумасшедшая, думаю я.

Наверное, это хорошо – быть сумасшедшей.

– Раскрою тебе одну тайну. – Жоэль внезапно подается ко мне. – В день моего рождения каждый год я получаю с посыльным букет цветов. Знаешь, через службу рассылки цветов, отправитель анонимный. Ни карточки, ни имени, *niente*^[28]. Курьерская служба информации не выдает. Я взбаламутила рай и ад, чтобы выяснить, кто за этим стоит, и узнала, что оплачиваются цветы с банковского счета в Швейцарии. И все, дальше этого я не продвинулась. Жестокое испытание, правда?

– Может, у тебя есть упорный поклонник?

– Поклонник рано или поздно проявился бы. А этот человек прячется.

– И как давно это длится?

– Пятьдесят лет. И в букете всегда три цвета: белый, красный и фиолетовый. Жасмин, цветы граната и бугенвиллеи. И цвета Туниса.

Я с трудом верю. Слишком уж красивая история, чтобы быть правдивой. Отцы не посылают цветов. Отцы забывают дни рождения.

Теперь я вижу, в чем Жоэль похожа на мою мать: обе одержимы пропавшим. У обеих фантомная боль. Мама до самого конца держалась за фантазию, что ее отец мог пережить войну. Всякий раз, натываясь в газете на историю про солдата, объявившегося спустя

многие годы, она воодушевленно зачитывала ее мне. *Безумная история, правда же?* Морица она не упоминала. Но я-то знала, о чем она думала.

Жоэль будто читает мои мысли.

– Почему твоя мать не приехала с тобой?

– Она умерла.

Я стараюсь не думать о маме, чтобы меня не захлестнули воспоминания о ее последних месяцах. Чтобы вытеснить то странное чувство, что я с тех пор ношу в себе, – чувство, что я последняя в роду, последняя хранительница вопросов, на которые не получены ответы. По лицу Жоэль словно судорога пробегает. Будто они с мамой знали друг друга.

– Нет, не может быть. Когда?

– Два года назад.

К ее скорби я не готова. Справившись с собой, она берет меня за руку. Мягко, сочувственно.

– Мне очень жаль. А я-то всегда мечтала однажды ее встретить. Когда летала «Люфтганзой», всегда присматривалась к стюардессам и тешила себя надеждой, что одна из них, может быть, она. У тебя нет ее фотографии?

– Нет.

Разумеется, у меня в телефоне есть мамино фото. Но на снимках она уже исхудавшая, потухшая, тень себя самой, и я не хочу, чтобы Жоэль увидела ее такой. Во всяком случае, пока не буду уверена, что Жоэль и в самом деле ее сестра.

– Она была бы рада познакомиться с тобой.

– Расскажи мне о вас! Вы когда-нибудь задавались вопросом, нет ли у него других детей?

Что-то во мне тут же закрывается.

– Боюсь, не могу предложить тебе столь же волнующую историю, как твоя. Мориц в нашей жизни был большим пустующим местом. У меня ничего от него не осталось.

Про мои попытки заполнить эту пустоту я умалчиваю. Про все мои осторожные вопросы. Возвращаясь из рейса, мама часто перебирала старые фотографии. Но мое любопытство наткнулось не на гранит, нет, скорее, вязло в тумане. Я пыталась пробираться на

ощупь в невысказанном. Никто не говорил о нем плохо. Но можно было догадаться, что за этим кроется нечто темное.

– Тогда расскажи о себе. Ты сегодня какая-то притихшая.

Я могу поклясться, что она почуяла находку Патриса. Но его имени не упомянула ни разу.

– У тебя есть муж? Или друг?

Я молчу.

– Или подруга?

– Нет. Я гетеро, если ты это имеешь в виду. И недавно развелась.

– Вот и поздравляю. – Она смеется. – И как долго ты пробыла замужем?

– Тринадцать лет.

– Дети есть?

Надо увести разговор в сторону.

– Нет. Лучше расскажи, что произошло тогда в Тунисе.

– Хорошо. Но завтра ты мне расскажешь о себе. Не о твоей матери, а о себе. Договорились?

Рассказывать о себе мне хотелось еще меньше, чем о семье. У моей семьи – история молчания. А у меня – история неудачи. Но если рассказы – наша валюта, то мне придется расплатиться ею.

– Договорились.

Мы спускаемся в пустой зал для завтраков, открываем маленькую кухню, включаем свет и готовим кофе. Черный, с сахаром. Уже глубоко за полночь. Закурив, Жоэль начинает рассказывать.

Глава 14

Латиф

Гость – это подарок Аллаха.

Арабская поговорка

Тунисская Медина представляла собой лабиринт, в котором можно было укрыться, устроить засаду, найти убежище. Медина запутывала, завораживала и меняла свое лицо в зависимости от того, кто в нее входил через старые ворота. Одного она принимала с щедростью как гостя, от другого отворачивалась, словно укутанная женщина, идущая мимо. Чужакам она внушала страх, увлекая в свое темное жерло эха, а своих детей обнимала, как ласковая мать. В ее переулках жили духи. Кто входил в Медину без почтения, на того они налагали проклятия; кто чтит предков, тому они предоставляли защиту. Французы, придя сюда, поняли, что всегда будут здесь чужими, и они засыпали море перед городскими воротами песком, чтобы построить новый город, по своей мерке – светлый, просторный, с голубыми ставнями на окнах и с названиями улиц, напоминающими им родину. Рю де Марсель. Проспект де Пари. Побеленная иллюзия – будто Европу можно взять с собой, куда бы ты ни пришел, бетонная крепость собственной культуры, в превосходстве которой они были уверены.

Арабы смотрели с крыш своих старых домов, как чужаки возводят новый город, и призыв муэдзина к молитве разносился от минарета Большой мечети, вонзавшегося в небо уже больше тысячи лет, окрашенного в цвета песка и заката, – величественное напоминание о временах, когда арабы завоевали Аль-Андалус, мусульманскую Испанию.

В Медине был и еврейский квартал Ла Хара, где в Шаббат царила тишина, тогда как двумя переулками дальше мусульманские торговцы громко нахваливали свой товар. Травы от ревматизма, черепахи, притягивающие в дом удачу, заговоры от неверности мужей. Кафе со сказителями, певцами и танцовщицами, театр с сицилийскими марионетками, кинотеатры, перестроенные из сараев, где крутили американские вестерны. Тысячи кошек, поющие молочники и рыжеволосая предсказательница, ходившая от двери к двери и читавшая судьбу по ладони каждому, кто не успевал вовремя отдернуть руку.

Названия улиц хранили память о сокровенных историях города: улица Огня, улица Дыма, переулок Безумных. Был и *quartier close*^[29], где – за исключением пятниц и Рамадана – дамы с пышными именами принимали мужчин, религиозная принадлежность которых была им так же безразлична, как и их имена; равно как и мужчины не спрашивали у шлюх, заветы какого Бога они нарушают. Большая мечеть имела просторный внутренний двор, открытый и днем и ночью для всех – чтобы помолиться или просто поспать. Оазис среди базарного шума.

Там и стоял дом, в котором семья Сарфати нашла убежище.

* * *

Он располагался у сука Эль-Аттарин – рынка Ароматов, – самого внутреннего из всех рынков между городскими стенами. По всему периметру его тянулись лавки торговцев наименее утонченным товаром – мясников, торговцев домашней живностью, кожевенников. Дальше шли лавки кузнецов и сапожников, харчевни. В третьем круге – палатки итальянских торговцев платками и арабских шапочников – красные фески для мусульман, черные шапочки для иудеев – и ювелиров. А внутренний круг был отдан самым благородным торговцам – пряностями, книгами и парфюмерией.

За рынком, после сумрачного лабиринта крытых переулков, внезапно распаивалась светлая площадь под открытым небом, и ты оказывался перед старой стеной *Зайтуны*, Большой мечети, с ее университетом. Центр Медины. И рядом, в одном из неприметных

проулков, находился дом с голубой деревянной дверью. Снаружи ничто не указывало на внутренний размах, ничто не должно было вызывать зависть соседей и привлекать внимание дурного глаза. Когда Ясмينا впервые очутилась перед этой дверью, было темно и сыро, осколки лунного света мерцали холодной голубизной. Несмотря на комендантский час, они отправились на поиски убежища ночью, чтобы никто из соседей их не увидел и не смог выдать. Виктор вел их через лабиринт, Ясмينا и мама брели следом, нагруженные чемоданами и одеялами, которые они успели спасти из конфискованного дома. Виктор остановился перед голубой дверью и тихо стукнул, трижды. Дверной колотушкой служила «рука Фатимы», дверь украшали кованые символы, понятные лишь посвященным, – опрокинутый крест, рыба, броши и стрелы. В большой двери открылась маленькая дверца, и Ясмينا увидела добродушное лицо Латифа. *Алан ва салан.* Добро пожаловать в дом.

* * *

Чтобы войти, приходилось наклоняться. Дугой загибавшийся коридорчик защищал дом от жадных взглядов. А дальше – двери, и лестницы, и комнаты, где жили жена и дети Латифа, комнаты матери Латифа и комнаты, в которых жили духи. Темный закуток, откуда попадаешь в неожиданный простор внутреннего двора – арки и колонны, залитые лунным светом, потрескавшиеся плитки, мозаики и орнаменты. На полу расстелены белые платки, на которых сушится кускус. Над зарешеченными окнами с голубыми ставнями вьется жасмин.

Салон с тяжелыми коврами на старых плитках, кресла в стиле Людовика XVI, книжные полки и роскошная люстра. Золотые часы в стеклянном корпусе, серебряный чайный сервиз и мутное зеркало. Семейные фотографии и портреты – живые и покойные этого дома; прокопченные своды кухни; кованая угольная печь и толстые древние стены для защиты от зимних холодов.

На галерее, выходящей во внутренний двор, Ясмينا заметила ласточкино гнездо. Из тени выступила старая женщина. Мать Латифа. Босые ступни и сухие ладони, беспрестанно перебирающие

молитвенные четки, губы безмолвно шевелятся. Нельзя запирать птицу в клетку, сказала она, иначе в дом придет беда. А кто сохранит ее гнездо, того Аллах оградит от всякого зла.

* * *

Жена Латифа Хадийя освободила для них две комнаты в неиспользуемой части дома, где на галерее были сломаны деревянные перила; там обитали ящерики и стояли медные кастрюли, собиравшие дождевую воду, капавшую из прорех в прохудившейся кровле. Пахло сыростью, древесным углем и благовониями, здесь были расставлены кадила, тлеющие в темноте, – чтобы отпугивать джиннов.

– Наш дом – ваш дом, – сказал Латиф.

Мими приложила правую руку к сердцу, как это делают мусульмане, а Виктор достал из кармана серебряную цепочку и протянул Латифу в знак благодарности. Латиф обиженно отвернул голову и скупым жестом отстранил подарок, оскорблявший его гостеприимство. Хадийя принесла горячий чай с миндалем.

– Вы ели?

– Да, – солгала мама, грозно глянув в глаза Ясмине, умиравшей от голода.

Ясмина промолчала.

Они не должны быть хозяевам в тягость, а должны помогать в уборке и готовке – так мама внушала Ясмине по дороге сюда.

* * *

Позднее Ясмина увидела, как мама вручила Латифу фамильные драгоценности, спасенные из утраченного дома. Латиф завернул их в платок и перевязал бечевкой.

– После войны я верну вам все в целостности и сохранности. Именем Аллаха клянусь на священном Коране.

Мама пожелала ему благословения Божьего. И он унес платок в чулан с припасами.

Серебро Сарфати разместилось среди зерна и оливок. Нет более надежного укрытия, чем арабский дом, сказал Латиф. В отличие от европейского дома он повернут к улице спиной. Фасады, облицованные кафелем и украшенные орнаментом, обращены во двор, а с улицы видны лишь неприглядные стены. Согласно заветам Пророка, каждый должен относиться к соседу с почтением, нельзя ничем мешать ему. Поэтому все окна в стенах прорезаны так, чтобы не докучать соседям и оберегать дом от чужих глаз. Пакт о ненападении взглядами.

* * *

В первую ночь Ясмينا не могла заснуть. Слушала, как ветер сотрясает стекла, как ящерики снуют по балкам, как перешептываются духи. Присутствие Виктора рядом и успокаивало, и угнетало. Как она сможет пойти к нему в чужом доме, где ее могут увидеть хозяева?

И все же она встала, проскользнула мимо спящей матери, на ощупь прошла по галерее, ступая босыми ногами по холодным плиткам. Нашла его дверь, открыла и подошла к кровати. Постель была пуста, но еще хранила его тепло. Она села на краешек и вдохнула его запах от подушки. И вдруг услышала мелодию, чужую и в то же время знакомую, пение между сном и пробуждением, неземное и далекое и вместе с тем невероятно близкое. Она встала, нашла дверь, лестницу, потом еще одну дверь, и еще, прежде чем очутиться на крыше.

Мельтешили летучие мыши, синий свет заливал террасу. Между белыми куполами висели полотенца для хаммама, колеблемые легким бризом. Напротив, чуть ли не рукой подать, над равниной крыш взмывал вверх четырехугольный минарет Большой мечети. Силуэт муэдзина на фоне утреннего неба. *Ла илляха илль алла*. Нет бога, кроме Аллаха. От других минаретов, возносящихся над чащей домов, тоже несло пение, звучащее не синхронно – один голос только брал ноту, а другой уже заканчивал; многоголосый хаотичный канон взмывал из сумрака, накидывая завораживающий покров из звуков, торжественный и таинственный.

Босая Ясмина стояла на крыше, зачарованная, одинокая, и молитвы оведали ее как ветерок от движения этого покрова из звуков. В Ріссола Сицилии была одна церковь, четырнадцать синагог и одна мечеть, и та находилась далеко от их дома. Теперь же Ясмина, дитя моря и простора, очутилась в самом сердце Медины, обращенной внутрь себя. Ее убежище, ее кокон, ее чрево кита. И тут она заметила Виктора. Он сливался с силуэтом купола, на внешнем краю крыши, как будто изготовившись к прыжку. Он слушал. Она направилась к нему. Он слышал ее шаги, но не оборачивался и не удивился, когда ее руки осторожно легли ему на плечи. Обернулся с улыбкой, приложил палец к губам. Не обнять его было нестерпимо тяжело, но она чувствовала вокруг тысячи бодрствующих глаз.

– Не выходите на улицу, – предупредил Латиф, когда они все вместе завтракали во внутреннем дворе. – Здесь о вас позаботятся. Никогда не знаешь, не продаст ли вас какая-нибудь сволочь бошам за пару су.

Хадийя принесла лепешки, прямо из печи, рикотту и оливки. Латиф предупредил обеих дочерей, что никому в школе нельзя говорить о том, что у них гости.

– Евреи наши двоюродные братья. Мы одна семья. И должны держаться друг за друга.

– Почему немцы ненавидят евреев? – спросила одна из девочек. – Потому что сами они христиане?

– Нет, христиане тоже наши двоюродные братья. Их Библия – часть священного Корана. Их Иисус – это наш пророк Иса. Бог един.

– Но почему тогда у каждого свои молитвы, разные храмы и разные праздники?

– Читай Коран, – сказала бабушка и процитировала суру: – *Каждой общине Мы установили свой закон и путь. Если бы Бог захотел, сделал бы вас единой общиной. Но Ему было угодно иначе, дабы испытать вас в том, что дано вам. Так соревнуйтесь меж собою в деяниях добрых. К Богу вы возвратитесь, и Он поведаст вам о том, в чем было различие меж вами.*

Ясмина разглядывала ее сухую, в глубоких морщинах кожу и представляла, как она выглядела в детстве, когда в школе заучивала наизусть священную книгу, как и подруги Ясины, которые по вечерам

ходили в ешиву. И хотя папá всегда говорил, что современные языки куда важнее, а сама она охотнее носилась по пляжу, чем учила Тору, в ней жили и зачарованность старым языком, и тихая зависть к тем, кто мог завернуться в духовную родину, точно в плащ, переживший эпохи и смерти.

Дочери Латифа, с любопытством слушавшие свою бабушку, напомнили Ясмине ту девочку, какой она сама была когда-то. Черные кудри, огромные глаза, строптивая гордость. Ясмина представила, каково было бы родиться в этом доме, в семье, что веками живет на этом месте. Никто не мог бы ее прогнать, дом принадлежал отцу Латифа, а до того – его деду и прадеду, и это наследство, передававшееся из поколения в поколение, давало Латифу и его детям уверенность. Они не знали, каково это – всегда сомневаться, а желанен ли ты тут.

Помни, единственное, чего у тебя никто не отнимет, – то, что у тебя в голове!

Слова папá. В отличие от Мими, которая заправляла домашними финансами, он не верил в собственность. Мими любила красивые платья, мебель и драгоценности, а он пытался внушить детям, что по-настоящему необходима лишь самая малость из того, чем они владеют. Его деды прибыли сюда из Ливорно, а их предки жили в Андалусии, Турции и Палестине. Может, поэтому, думала Ясмина, Виктор одержим музыкой, словно она была его формой бунта против отцовского мира науки, и для него она была тем, чего никто не мог отнять.

– Нет уж, я точно не буду сидеть в доме! – возразил Виктор. – Не доставлю им удовольствия запереть меня!

– Ты останешься здесь! – вскинулась мама. – Они отняли у меня мужа, но сына им у меня не отнять!

Латиф поддакнул:

– Скажись больным. На улицах повсюду патрули. Даже французские полицейские хватают теперь евреев, которых нет в списках на трудовую повинность.

Виктор не поддался на уговоры. Он надел бурнус, натянул капюшон на голову и сразу стал похож на араба. Мама заплакала, но и слезы матери не остановили его.

– Не беспокойся, *farfalla*, – сказал он Ясмине. – Если мы будем их бояться, то считай, что они победили!

– Куда ты?

Он лишь ухмыльнулся, чмокнул ее в лоб, затем открыл дверь и ушел.

* * *

Позднее Ясмине с матерью тоже вышли из дома – чтобы найти папá. У полицейского участка их заставили стоять на холоде несколько часов. *Нет, мадам, мы не знаем, где содержатся заложники. Сожалею, мадам, но это не в нашей компетенции.* В конце концов им помогли друзья Альберта.

На рю д'Алжир Поль Гец устроил контору для записи евреев на принудительные работы. Еще до того, как они увидели это место, они слышали его: разъяренные матери толклись перед дверью, кричали и проклинали тех, кто организовал унижение общины. Каждый день немцы требовали все больше мужчин, угрожая расстрелять заложников. На вес золота были справки о нетрудоспособности. Богатые несли деньги, бедные – проклятия. Но Поль и его люди были неподкупны. Жена Поля, подруга мамы, лежала при смерти, а он работал до полного изнеможения. Поль Гец был в постоянном контакте с СС, он сумел выяснить, где держат заложников, – в военной тюрьме. Ему удалось получить разрешение на свидания для Ясмине и Мими – но только при условии, что они будут приносить еду. Ежедневно. У немцев не было никакой охоты кормить заложников.

Ясмине отоварила на рынке в Альфаине все их продуктовые карточки. Остальное раздобыли в переулках, где расцвел черный рынок, наживавшийся на чужом горе. Вечером они сварили густую похлебку *мадфуну* для Альберта и других заложников. Традиционное праздничное блюдо – нацистам назло. Шпинат, куриные ножки, телячий хвост и бобы. И следующим полднем, водрузив на головы кастрюли, они направились в сторону правительственного квартала.

* * *

Перед военной тюрьмой уже толпились еврейки с кастрюлями, корзинами фруктов и хлебом. Немцы заставили их ждать и ждать на улице несколько часов. Только когда почти стемнело, посетительниц пустили. Там, где недавно держали всякий сброд, теперь томились достойные граждане города. Точно воры за решеткой, тогда как настоящими преступниками были их конвоиры. Мир перевернулся с ног на голову.

Увидев отца, Ясмина испугалась. Солдаты провели их в голое помещение, где заложники сидели в ряд на ржавых стульях, – пожилые господа в жалкой тюремной одежде. Волосы у Альберта спутались, лицо было в кровоподтеках. Ясмина вздрогнула, но не позволила себе расплакаться, чтобы отец не увидел в ней правду – как в зеркале. Сам Альберт держался так, будто ничего не случилось, не было в нем и намек на слабость, а говорил он спокойно и задумчиво, как обычно, без какой-либо тревоги. Словно имелась у него точка опоры где-то вне этого кошмара. Он хотел показать, что они сильнее нацистов.

– Если зло торжествует над добром, мы должны сохранять добро у себя в сердце. Сила на их стороне, но они нас не одолели. Они могут отнять у нас многое, но не достоинство и не честь.

Слушая отца, Ясмина пыталась представить, через что ему пришлось пройти. Как люди могут издеваться над другими? Что мы сделали этим немцам? Мы их ведь знать не знаем!

– Это ад! – сказал жене мужчина, сидевший рядом с Альбертом.

Ясмина вспомнила, как папá объяснял ей, что в иудаизме не существует ада. Мама тогда зажигала свечи для Шаббата, а они сидели за накрытым столом, и Ясмина испытала невероятное облегчение, оттого что можно забыть те страшные картинки, что впечатали в ее сознание монахи: черт, геенна огненная, вечное наказание. Рядом с папá все это было далеко. Ад был для других.

И теперь, услышав «это ад», Ясмина подумала: нет, это не ад. Это человек. Не черти с рогами и хвостами, а молодые парни со светлой кожей и светлыми глазами. Сюда не доносились крики из застенков, здесь слышалось лишь бесстрастное тиканье отлаженных часов. Если нацисты убьют ее отца, подумала Ясмина, они сделают это не из злости, даже не из презрения, а спокойно и рационально, не испытывая ни удовольствия, ни терзаний, это будет просто пункт в распорядке

дня: в 6:30 – построение, в 7:00 – завтрак, в 7:30 – расстрел господина М. и господина С., в 8:00 – мытье уборной.

* * *

И только когда папá спросил про Виктора, его самообладание дало трещину.

– Виктор должен записаться. Скажите ему!

– Уже говорили.

– Вы его покрываете. Но это неправильно. Он должен быть со всеми!

Альберту было стыдно. Для друзей его сын был дезертиром. Все принесли жертву, и только Виктор продолжал петь для немцев. Это было предательство.

– Мы с ним поговорим, папá. Не беспокойся.

– В один прекрасный день война закончится. Дела у нас не очень хороши, но надо стиснуть зубы и ждать. Когда этот ужас останется позади, мы все посмотрим друг другу в глаза и спросим, кто сделал свой взнос, а кто нет.

Он не думал ни о том, что нацисты могут выиграть войну, ни о том, что сам он может умереть – и его семья, и вся община. Не потому что *не хотел* себе этого представить, а потому что *не мог*. Папá был слишком хорош для этого мира. Выпавший из времени человек. Про него говорили, что он из прошлого. Но Ясмينا считала, что он явился из будущего, из лучшего мира, просто заблудился в нашем веке.

– Тихо! Освободить помещение! *Finito!*

Охранник, не старше Виктора, принялся прогонять протестующих посетительниц раньше положенного. Они даже не успели обняться.

* * *

За ужином они рассказали Виктору о папá, он подавленно молчал. Стыд, который испытывал за него отец, лег на Виктора тяжким грузом. От еды он отказался, так ничего и не сказав. И только на следующий день, когда они шли через Медину к отелю, прошептал Ясмине:

- Я сделаю кое-что.
- Что?
- Увидишь. Перед этими свиньями я не встану на колени.
- Мы можем рассказать папá, что ты записался. Ему станет легче.

Он приободрится.

– Нет, папá и его друзья преподнесли им на блюдечке наших лучших мужчин, они коллаборационисты. Мы не можем сотрудничать с врагом, мы можем только сопротивляться.

– Но что ты можешь? У нас кухонные ножи, а у них танки и самолеты.

- Я могу подложить бомбу. В «Мажестик».
- Ты с ума сошел?
- Почему? Все командование вермахта будет уничтожено разом!
- И мы тоже! Виктор, ты должен...
- Хватит говорить мне, что я должен!

Его ярость была обращена, конечно, не к ней, а к папá. Ясмينا это понимала.

– Виктор, ты не солдат. Ты артист.

Она думала, что говорит ему комплимент, но он счел ее слова оскорблением.

* * *

Немецкие охранники у входа в отель приветствовали их уже почти дружески.

– Доброе утро, Карузо!

С итальянцами немцы говорили снисходительно, но с симпатией. Веселый итальянский певец. Хорошенькая горничная. Вот кого они в них видели. Итальянцы, конечно, союзники, но не ровня. Их не презирали, как французов, но и не уважали, как британцев. Немцы симпатизировали итальянцам, но не ценили их. Итальянцы же, напротив, ценили немцев, но не симпатизировали им.

Виктор подыграл, радостно ответив:

– *Buongiorno*, Хайнц! Как дела?

После чего прошел в бар, сел за рояль и улыбался офицерам все то время, пока Ясмينا перестилала постели в их комнатах. Немцы же

угощали его шампанским и учили своим песням.

– Сыграй что-нибудь немецкое, Карузо! *Canzone Tedesco!*^[30] Цару Леандер знаешь? Нет? Лиззи Вальдмюллер? Вилли Форста? Пусти-ка меня за клавиши. Вот так. До мажор. Смотри как следует, разучи что-то новенькое. Раз, два, три, четыре... *Везет же тебе с женщинами, милый друг! Уж как тебе везет-то с ними, милый друг...*

Глава 15

– Когда Ясмина встретила твоего отца впервые?

Жоэль улыбается:

– Я тебе уже рассказывала про бомбы?

– Нет.

– Рассказать тебе про бомбы?

– Расскажи мне про бомбы.

Странная она. Будто речь идет про интересный фильм.

– Сегодня мы можем увидеть мир с точки зрения бомбы. Точнее, с точки зрения стрелка. Помнишь, в последнюю войну в секторе Газа такое постоянно показывали по телевизору?

Не дожидаясь ответа, она продолжает:

– Ты видишь просто крестик на цели, компьютерная картинка – как в игре. Внизу цель – дом, автомобиль, люди. И почти мгновенно – взрыв, дым, воронка. Но ничего не слышно. Ни самого взрыва, ни криков. Все чистенько и эффективно. Сегодня они могут навести снаряд на бродячую кошку. А в ту войну эти штуки просто сбрасывали с самолета, с большой высоты из-за немецких зениток. Целью были порт, аэродром, немцы, а бомбы сыпались на город, на мусульман, христиан и евреев. Войска коалиции точно знали, где комендатура. Но за всю войну ни одна бомба не попала в «Мажестик», представь себе! Целься они точнее, я бы никогда не родилась.

Она усмехается. Дочь выжившей. Перехитрившей смерть.

– Сирены начинали выть – а выли они каждую ночь, – когда бомбардировщики появлялись над бухтой, по большой дуге приближаясь к городу, словно стальные хищные птицы, когда их гул звучал совсем близко, люди выскакивали из домов. Но никаких бункеров и бомбоубежищ ведь не было, и люди прятались под сводами караван-сараев и торговых складов, среди ковров, конского навоза и крыс. Некоторые бежали в синагоги, мечети или мавзолеи святых – Сиди Мехреза, Саида Мануба, где, прильнув к стенам, уповали на милость Божью. Если уж смерть их настигнет, так хотя бы с молитвой на устах. Пожарные не могли протиснуться в узкие переулки, так что в Медине убитых было больше, чем в центральных кварталах города.

Тунисцы гибли, не имея никакого отношения к войне европейцев. В их смерти не было ни почета, ни даже смысла – они умирали не во имя родины. В центральных кварталах немцы закрыли окна кафе конфискованными коврами, чтобы не вылетали стекла. В «Мажестике» все покидали отель через черный ход, постояльцы и персонал, и перебежали через дорогу к кладбищу. Еврейское кладбище находилось на другой стороне улицы. Теперь там парк, никто больше не вспоминает там мертвых. Между могильных камней еврейских мужчин заставили вырыть траншеи. В них обитатели отеля и прыгали. Живые прятались среди мертвых. Вот там они и встретились впервые.

– Твои родители?

– Да. Очень романтично, правда?

Ее смех заразителен и немного безумен.

– Ясмина сидела на корточках в грязной жиже на дне траншеи и держала над головой кастрюлю. Солдаты ведь были в касках, а персонал мог прикрыться разве что кастрюлями с кухни. Только что стемнело, вошла луна, полнолуние – лучшее время для бомбардировок. Виктора там не было. Она искала его, когда вместе с другими девушками бежала по коридору, по лестнице, через дорогу. Звала. Наверное, уже покинул отель, думала она. Но кладбище было большое, и когда она добралась до траншеи, уже рвались первые бомбы. И намного ближе, чем обычно. Стало вдруг светло как днем. И тут в траншею рядом с ней спрыгнул он.

– Мориц?

– Да. Мориц. Она прежде его не видела, но он ей кивнул, и она решила, что, наверное, он один из «постояльцев». Незванный гость на еврейском поле вечности, какое богохульство. Он не назвал и не спросил, как зовут ее. Он не знал, что она еврейка. Единственное, что было важно в тот момент, – укрыться в траншее, вокруг все взрывалось, вдали с грохотом рушились дома. Может, он принял ее за арабку, одну из многих. Не обменявшись ни словом, они сидели рядом на корточках. Так близко, что она чувствовала тепло его тела. Между взрывами они быстро переглядывались и снова зажимали глаза. И его взгляды, в которых не было ни осуждения, ни нетерпения, вселили в нее посреди этого ада неожиданный покой.

Ясмина все переживала с детской непосредственностью. Между ней и миром не было защитного слоя. Она была частью мира. Если она слышала пение птицы, ее сердце подпевало птице, а когда видела страдание человека, она страдала вместе с ним. На пляже она была счастлива, а когда мир вокруг нее погибал, внутри нее тоже все рушилось. Однако в присутствии этого чужого солдата она вдруг почувствовала себя защищенной. Спокойно и сосредоточенно он наблюдал за взрывами. Он просто переживал бомбардировку, будто все это не имело к нему никакого отношения, – что, в принципе, так и было. Летчики не имели в виду его лично. Чужие сыпали смерть на чужих. Гроза из стали и огня не имела ни персонального отправителя, ни персонального адресата. Задеть могло кого угодно. Никаких причин переживать.

Ясмина тряслась, сама не своя от страха, а Мориц, казалось, безучастно ждал завершения грозы. После каждого взрыва он прислушивался, куда упадет следующая бомба, – если дальше, значит, самолеты уже удаляются. Ясмина же заново переживала то, что чувствовала в детстве, когда прокрадывалась в постель Виктора, за окном бушевала гроза, а она считала секунды, отделяющие гром от молнии. Сейчас было почти так же, с той лишь разницей, что Виктор любил грозу, при каждой вспышке ахал или вскрикивал «о-ля-ля!», тогда как этот немец хранил невозмутимость. Он словно не был частью мира. И его спокойствие передавалось ей. Она почувствовала себя под защитой. Под защитой немца! Она никому не смогла бы рассказать об этом.

Когда взрывы отдалились, они молча кивнули друг другу. И вдруг взрыв прогремел прямо на кладбище. Траншею накрыло ливнем из комьев земли и камней. А может, и костями мертвецов, подумала Ясмина. Она невольно придвинулась к Морицу. Лишь чуть-чуть, но этого было достаточно, чтобы он сделал неслыханное, ошеломившее ее, – взял ее за руку. Просто взял за руку. Теплое, крепкое пожатие, снова внушившее ей покой. Лишь секунду спустя пришла мысль – нет, нельзя. Рука немца – это рука, державшая оружие. Рука, решающая, жить тебе или умереть. Но ее прикосновение было благотворно. Если не смотреть, то это была не рука немца, а рука человека, сидевшего рядом с ней – в темноте, посреди грохота и криков раненых. Это была родная рука.

* * *

Когда прибывшие санитары начали собирать убитых и раненых, они вылезли из траншеи, оглушенные, изумленные тем, что живы, и двинулись прочь, каждый сам по себе – он к своим, она к своим. Они так и не сказали друг другу ни слова, и при свете дня он наверняка не узнал бы ее. Ясмина вдруг поняла, что держит что-то в руке, она посмотрела на большой обломок мрамора. Она орудовала им, выбираясь наверх. В свете луны она прочитала надпись: *Не тревожьтесь о нас. Там, где мы, хорошо.*

Не лучше ли не возвращаться назад к живым, подумала Ясмина.

В отеле она увидела Виктора. Он выходил из двери, ведущей в полуподвал, – единственный в чистой одежде. На губах блуждала улыбка. Ясмина знала это выражение его лица. Так мальчишка невинно улыбается родителям, прекрасно зная, что натворил. Он пригладил растрепанные волосы. Ясмина заметила у него на шее следы губной помады. Точно укусы.

– У тебя все в порядке? – спросил он.

За его спиной прошмыгнула Селима. Горничная-арабка. Во всем этом хаосе никто не обратил на нее внимания. Французские санитары громко переругивались с немецкими солдатами.

– Ты просто невозможен! – процедила Ясмина.

– Почему? Снаружи я мог погибнуть точно так же, как и внутри.

– Ты что, не понимаешь, что творишь?! Она же одна из нас!

Виктор сделал вид, что и в самом деле не понимает. Взял ее за руку:

– Пора домой.

* * *

Мимо них по проспекту де Пари проносились санитарные машины. Виктор шагал быстро, явно чтобы избежать разговора, но Ясмина на сей раз не собиралась спускаться ему.

– Француженки – дело другое, но Селима – этого нельзя!

– Потому что она мусульманка?

– Ты не понимаешь? Она в тебя влюбится, кто ж в тебя не влюбится, а ты ее бросишь, и она будет мстить!

– *Farfalla*, ты в этом ничего не смыслишь. Ты думаешь, это впервые? Займись своими делами и не суйся в мои.

Ясмина схватила его за локоть и гневно выкрикнула:

– Она выдаст тебя немцам! И меня заодно!

Виктор втолкнул ее в ближайшую подворотню. Она чувствовала на своем лице его дыхание.

– Ясмина. Ты говоришь, что любишь меня. Но это не любовь. Ты хочешь мной распоряжаться! Ты хочешь владеть мной. Так?

Она была слишком взволнована, чтобы возразить. Зачем он произнес это вслух? Их тайну. Она хотела только одного: чтобы он ее обнял. Чтобы поцеловал. Хотя бы раз почувствовать его губы на своих. Каково это. Но он отпустил ее.

– Прекрати, Ясмина. Прекрати, наконец!

Он вытолкнул ее обратно на улицу. Она потерянно плелась за ним. Он молчал, холодно и отстраненно, далекий от нее. В воздухе стоял едкий дым. Ясмина чувствовала себя ужасно. Пристыженной и отвергнутой.

Глава 16

Марсала

Человек – извечная жертва своих же истин.

Альбер Камю

Я закрываю глаза. Тело сливается с мягким покачиванием катера. Подо мной синяя глубина, наш зонд волочится сквозь темноту. Я представляю себе, что это дельфин, а я плыву, держась за него, точно беззаботное дитя. Мы прослушиваем горы и леса на дне морском, мы чувствуем углы и края, отличаем твердое от мягкого, металл от камня. Все, что создано человеком, жесткое и прямое, а все, что рождено в море, мягкое и вневременное. Металл, ускользнувший от людей на дно, имеет две даты: начало его забвения и момент завершения, когда звуковой щуп нашего сонара натывается на самолет. Пора, сообщает он, можешь снова вернуться к живым, пусть ты уже и не принадлежишь к ним, но они зовут, тебе еще есть что сообщить им, есть что вернуть, ведь ты не выполнил обещания доставить свой груз в целостности. Ты их должник, и сон твой окончен, пора очнуться, чтобы ответить на последний вопрос. Хватит зарываться в молчание.

– *Ça va?*

Я открываю глаза. Патрис стоит надо мной против солнца.

– Все в порядке, просто плохо спала ночью.

Он протягивает мне чашку кофе и садится рядом. Мы молча смотрим на море. Мне нравится, когда мужчина позволяет мне быть одной. Но при этом находится рядом.

– Ты виделась с этой женщиной?

– Нет.

Я ненавижу ложь. И все-таки лгу. Почему нельзя просто всегда говорить правду? Причина – в появлении третьего. Вдвоем все просто. Но обязательно возникает третий. И начинаются проблемы. Я ловлю себя на мысли: а неплохо бы поселиться с Патрисом на уединенном острове. Но тут его зовут на мостик, на мониторе снова что-то

подозрительное. Катер делает круг, потом еще один, но это оказываются останки судна. До конца дня больше ничего не происходит. Я готовлюсь к возвращению на сушу.

– Можешь сегодня заночевать на катере, если хочешь.

Он говорит это вскользь, мимоходом. И я отвечаю так же между прочим:

– Как-нибудь в другой раз.

– Ты изменилась, Нина. Раньше ты была более открытой, радостной.

– М-да, наверное, из-за развода.

– Нет. Из-за брака.

Он иронично усмехается и уходит.

* * *

Когда я спускаюсь в ресторан, Жоэль стоит в своей псевдогоржетке в дверях и курит. За старой городской стеной – Марсала, чистенькая и красивая. Выбеленные камни мостовой и подновленные особняки. Шикарные магазины и винные бары, молодые семьи с детьми, веселые, беззаботные. Я здесь, они там. Я как сомнамбула, пойманная в собственный сон.

– Сегодня твоя очередь, – говорит Жоэль.

– Твоя история куда интереснее. Моя банальна.

Она улыбается. Насмешливый рот, сочувственные глаза. Она хочет узнать меня поближе, может быть, выспросить, но и поддержать. Она действует на меня благотворно, но и пугает. Жоэль входит в любое помещение как на сцену, заполняет его, даже если ничего не говорит. А я всегда женщина, которую замечают со второго взгляда. Из второго ряда. Жизнь из вторых рук. Знающая все о пирамидах, но ничего о собственном муже.

Когда мы садимся за стол, я решаюсь рассказать. Обо всем проклятом последнем годе. Она слушает внимательно, смотрит тепло, чуточку иронично, но без осуждения и с такой невозмутимостью, будто и сама все это пережила. Побывала на обеих сторонах. Когда я замолкаю, она долго ничего не говорит. И только после паузы спрашивает:

– Ты подала на развод, потому что у него была другая?

Как будто любовница на стороне – самое обычное дело. Да так оно и есть – с точки зрения статистики. Необычно это, только если касается тебя.

– Разумеется, а ты бы что сделала?

Она пожимает плечами:

– Тоже бы изменяла ему.

И с кем же, усмехаюсь я про себя. Чтобы изменять, надо иметь к этому охоту. Я не гожусь для такого. Безнадёжно романтична.

– Как ты об этом узнала?

– Классически. Он ошибся и отправил сообщение не ей, а мне.

– Ты шарила в его телефоне? – Коварная улыбка.

– Нет, он просто ошибся номером. Перепутал женщин.

– Может, он хотел, чтобы ты все знала?

Я не люблю копаться в подсознательном. Мы попытались это сделать. Так называемая парная терапия. Мучительная лебединая песня.

– Зачем бы ему это понадобилось?

– Чтобы спровоцировать решение.

– Нет, он не хотел разводиться. Его вполне все устраивало. У него были мы обе.

– И как ты среагировала?

– Честно говоря, с облегчением. Наконец-то исчезли все сомнения, неуверенность, гложущие подозрения, грызущее желание умыкнуть его телефон, подобрать пароль к почте. Недоверие – яд. Как только оно вползает в отношения, становится тяжело все, что раньше было легко. И теперь пришло... избавление. Наверное, у меня с самого начала нашего брака было чутье, но оно спало. Он изменял мне, обманывал меня, за моей спиной он соорудил целый мир из ласкательных имен, желаний и воспоминаний, в которых чувствовал себя как рыба в воде.

– И ты не устроила истерики? Не била тарелки?

– Я была потрясена. Не понимала собственных чувств. У меня не было сил воевать с ним. Притворилась, будто не читала это сообщение.

– Ты *ничего* ему не сказала?

– Этим бы я все разрушила. Молчание означало оставить все как есть. Все наши сложившиеся ритуалы, жизнь должна была идти

обычным ходом. Скажи я это, тут же стала бы стороной, которая разрушила дом. Этого бы я себе не простила.

– А потом? Это сделал *он*?

– Нет. Я провела бессонную ночь, и в какой-то момент накатила первая волна ярости. Еще совсем маленькая, такой слабый крик о помощи, как в кино, когда кто-то тонет вдалеке.

Меня душат воспоминания. На память приходит утро после бессонной ночи, как я стояла на кухне и вдруг выронила чашку с кофе. Джанни тут же выскочил из ванной: *что случилось?* А я молча смотрела на него. Я помню тот его взгляд. Помню каждую мелочь. Его мокрые волосы, зубную щетку в руке, его выдох, безропотное смирение. В тот момент он понял, что я все знаю. Мы одновременно почувствовали, как между нами что-то порвалось. Иначе бы он отпустил шутку, поцеловал меня или просто пожал плечами. Его фирменный трюк. Но он на меня смотрел пристально, и я не отводила взгляд, это стоило мне огромных усилий, но я хотела, чтобы он заглянул в самую глубину моей души, чтобы оценил разрушения, которые там учинил, – и я увидела в его глазах стыд, лишь на какой-то миг, а потом он отвернулся.

* * *

Я встаю и выхожу на веранду. Прохладный вечерний воздух наполняет легкие, и мне уже не так больно. Столько раз уже рассказывала эту историю. В какой-то момент начинаешь цитировать саму себя. Сперва привираешь, рисуешь картину чуточку мрачнее, чем было на самом деле, потом эта помрачневшая версия становится каноническим вариантом. Она же лучше, в ней есть все, что требуется от хорошей истории, чтобы все встали на твою сторону. А тебе сейчас это нужно больше, чем что-то еще. И это не совсем ложь, – просто себя ты рисуешь чуточку лучше, а его – чуточку бóльшим негодяем; возможно, это твоя месть: если уж не можешь навредить ему самому, так хотя бы нанеси ущерб его имиджу. Его ложь ты обращаешь в предательство, а предательство – в преступление. Твой муж – монстр. Опасным это становится, только когда ты сама начинаешь верить в свою историю – чтобы отдалиться от него. Чтобы убить в себе любовь,

которая сейчас, когда ты одиноко реवेशь в подушку, не что иное как зависимость. Но позже ты начнешь ненавидеть уже не его, а себя.

* * *

Жоэль выходит следом, обнимает меня. Утешение постороннего целительно. С друзьями такого чувства не возникает. Они слишком хорошо тебя знают. Знают, что ты всегда ставишь одну и ту же пьесу, только на разных сценах, с другими актерами. С Жоэль по-иному. Я чувствую, что она понимает и не осуждает. Ей я могу рассказать и новую историю. Получше, со счастливым концом. Если бы я только могла в нее поверить.

* * *

Кельнер приносит нам омаров. И бутылку вина. Только теперь я чувствую, как проголодалась. Мы принимаемся разделявать ракообразных.

– А ты знаешь, почему эти твари вырастают до таких размеров? – спрашивает Жоэль.

– Ну, просто вырастают.

– У них не растет панцирь. В этом их проблема. У всех животных покров растет вместе с остальным организмом, а омарам панцирь становится в какой-то момент тесен. И что он тогда делает? Заползает на дне моря под камень и сдирает с себя его. И теперь омару надо быть начеку, потому что он совершенно незащищен. А вокруг одни враги. И он сидит в своей темной норе, пока на нем постепенно не отрастет новый, более просторный панцирь. И только тогда выбирается наружу. Разумная тварь.

Она улыбается, разделявая омара. Я понимаю, что она хочет этим сказать. Ты должна сбросить кожу, чтобы вырасти. Тебе нужен камень, под которым ты можешь пересидеть. Компания Жоэль – это мое укрытие. Есть книги, в которые я с удовольствием забиваюсь как в щель, в которых полностью растворяюсь каким-нибудь дождливым воскресеньем, не вылезая из постели. Эти дни в Марсале – что-то

вроде такой книги. Я читаю про мою семью. Про то, кто моя семья. Границы между «мы» и «другие» стираются, я чувствую себя близкой чужим и чужой – своим. Настоящее и прошлое сплетаются в ковер из историй, рассказанных, пережитых, а может, и выдуманных.

* * *

Я вспоминаю ужин в Берлине, незадолго до того, как все взорвалось. Мы с Джанни на нашей кухне. Мы только недавно въехали в новую квартиру, идеальная пара, а в это время моя лучшая подруга Женни расстается с мужем. Мучительно мечется. Она не в силах уйти от него, а он не может бросить любовницу. Помню наш разговор об этом, вдруг принявший абсурдный оборот. Как я разозлилась, когда Джанни сказал, что настоящее мужество – не упорствовать, склеивая распавшиеся отношения. Я возражала, что мужество – не сбегать, а работать над отношениями. Непримириемость наших точек зрения, внезапно испорченное настроение. И вот мы уже спорим о собственных чувствах.

Быть может, мы оба боялись потерять друг друга, только у нас были разные стратегии избежать этого. Его стратегия – иметь больше женщин. Одна всегда в резерве. Моя – воздвигнуть стену вокруг наших отношений. Ничем хорошим это кончиться не могло.

– В Южной Америке некоторые племена празднуют, когда кто-то умирает, – говорит Жоэль.

– Да?

– Твой муж обманывал тебя. Теперь ты от него избавилась. Бога благодари.

– Спасибо, дорогой Бог, что я вышла замуж за паскудника?

Жоэль смеется.

– По мне, так он и есть паскудник. Ты права, что злишься на него. Ты можешь злиться бесконечно, пока злость не разъест тебе кишки. Но что тебе пользы от этого?

Я вдруг вспоминаю бабушку. Она до конца носила на сердце панцирь из злобы. Почему дед не вернулся к ней? Не хотел или не мог? Я помню бабушку только мрачной, до времени постаревшей

женщиной. Она была добра ко мне, это так, но она была одинока и подавлена. Если надо было бы определить ее через цвет, я назвала бы серый. Теперь же выясняется, что она была даже не вдовой, а брошенной. Но ведь когда-то она была счастлива. Почему же она не привязала себя к этому счастью, почему потонула в несчастье, намертво приковав себя к *одному* мужчине, почему не начала новую историю? Она угнездилась в своем несчастье, окопалась в нем – если ей не досталось любви, пусть ей подарят хотя бы сочувствие. Она заслужила сочувствие своими бедами. Она приняла роль, которую назначил ей он, и играла ее со страстью до самого конца. В стране преступников она была жертвой.

* * *

Может, мать стала бы совсем другой женщиной, если бы росла с обоими родителями? Может, тогда и ей больше повезло бы с мужчинами? А я, где бы я была теперь?

Глава 17

Рождество

Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это звездное небо надо мной и моральный закон во мне.

Иммануил Кант

Мориц стоял у причала, когда с корабля под проливным дождем спускали грузовик. Камер и пишущих машинок для пропагандистов было уже недостаточно, теперь к ним прибыл тяжелый груз. Мориц сфотографировал грузовик «магирус-дойц» песочного цвета, когда тот качался на стреле крана. Им повезло, что груз вообще добрался сюда. Почти половину кораблей на подходе к порту потопили британцы. Танки, самолеты и молодые мужчины покоились на дне Средиземного моря. Прямо в порту Мориц и его люди установили на крыше грузовика огромный громкоговоритель и поехали по разбомбленным дорогам в город.

* * *

Верховное командование приказало расширить сферу действия. Уже недостаточно было просто производить картинки для родины, следовало завоевывать умы и сердца местного населения. На следующее утро они кружили с этим громкоговорителем по центральному кварталу, транслируя *Radio Tunis Allemande*.

В войне виноваты евреи! Войска коалиции вас бомбят! Они друзья евреев, а мы – друзья мусульман! Да здравствует бей! – ревел громкоговоритель, попеременно по-арабски и по-французски. Никто из них в глаза не видел бея, сидевшего в своей резиденции, не имевшего никакой власти. Ни у кого из немцев не было друзей среди мусульман.

Но цель состояла в том, чтобы убедить местных, что немцы возвращают арабам свободу и достоинство.

Слушая трансляцию на арабском, Мориц мог лишь гадать, что там напридумывали его коллеги в студии. В числе прочего, они привлекли простых женщин, и те радовались из громкоговорителя: «Немцы угощают наших детей конфетами!», «Немцы позволяют детям играть на их танках!» Женщинам заплатили за это по пятьсот франков – сто буханок хлеба. Немецкие власти приказали французскому эмиссионному банку тоннами печатать купюры, наводнить ими страну. Мориц с товарищами установили на десятках крыш громкоговорители, подключенные к приемникам, – в стратегических точках центральных кварталов и в Медине, куда не мог проехать их грузовик. Перед вечерней молитвой они устраивали соперничество с муэдзинами – кто громче.

* * *

Они обошли все кинотеатры, большинством которых заправляли евреи, с чемоданами, полными бобин, и велели показывать немецкие киножурналы. На языке, которого никто не понимал, но картинки, оседавшие в сознании, были важнее слов. Британцы показывали у себя падающие с неба «мессершмитты», немцы – подбитые «спитфайры».

Эту часть работы Мориц охотно передоверил другим. Ему было неинтересно заставлять людей думать иначе. Победы в спорах ему не доставляли никакого удовольствия. Мориц был наблюдателем. Он не стрелял словами, они оседали в нем. Он давно уже научился читать между строк в пропагандистских посланиях, извлекать из них информацию об истинном положении дел. Глядя на фотографии, он мысленно дополнял их недоговоренности, к показанному добавлял скрытое. Картинки, считал он, могут лгать не хуже слов, разве что не так громко. Их очень легко принять за реальность. Глядя на собственные снимки, он часто и сам удивлялся, насколько настроение фотографии отличалось от того, что было в реальности, когда он снимал.

В любом помещении, полном народу, Мориц всегда был самый молчаливый. Он смотрел, тогда как другие пытались высказаться.

Молчащий лучше видит. Он и дни спустя мог вспомнить каждую деталь в комнате. Предметы на столе, трещину в стене, пятно на руке. Око – вот чем он был. Не устами. Прячась в тени, он видел то, что было на свету.

* * *

Его товарищи-пропагандисты, разъезжавшие по Тунису на орудии грузовой машины, и в самом деле были уверены, что немецкий дух оздоровит мир. Арабов они считали отсталыми, невежественными, темными. Об их культуре они понятия не имели, их истории не знали. Мориц был иным. Он не видел в арабах ни друзей, ни врагов, они были для него не ниже и не выше, в нем они вызывали лишь любопытство. Тот, кто питает к людям интерес, не ставит себя выше других. Всезнайкам, упертым спорщикам и торговцам истиной любопытство не свойственно. К чему интересоваться другими, если они и так уже все о них знают. Но у хорошего фотографа, как и у хорошего журналиста, глаза всегда открыты. Для него картина мира никогда не бывает законченной, а его снимки – в большей степени вопросы, нежели ответы.

* * *

Мориц не сопротивлялся приказам, никогда не протестовал. Он инстинктивно держался в стороне от тех, кто все знал лучше. Пока громкоговорители оглушали улицы победными реляциями, Мориц изучал лица людей и в их равнодушии находил собственное отражение. Здоровый скепсис тех, кто верит не обещаниям, а своим глазам.

Мориц был свидетелем тому, как Роммель входил в Триполи. Он снимал его победный проход по роскошной улице. Наблюдал, как танки сворачивают на перекрестке, огибают квартал, чтобы снова прогрохотать мимо трибун, создавая впечатление куда более сильной армии. Победы Роммеля всегда держались не на превосходстве оружия, а на искусстве обмана. Муляжи танков в пустыне,

«фольксваген», который оборудовали пропеллером, чтобы поднимать пыль воображаемой армады. Хитрый на выдумки Лис пустыни. Чаще всех мелькающий в хронике генерал рейха.

Однажды Мориц сфотографировал его в один из редких моментов отчаяния, когда в очередной раз не прибыли обещанные Берлином запасы. Когда ночью в своей палатке Мориц проявил снимок, он понял, разглядывая лицо Роммеля, что тот уже знал то, о чем никому не сказал, – без запаса воды и бензина Африканскому корпусу не выиграть в пустыне войну против превосходящих сил британцев. Так разве теперь, после вступления в войну еще и американцев, он мог удержать Тунис?

И действительно, положение в том декабре обнадеживающим назвать было никак нельзя. Не хватало ни продовольствия, ни оружия, ни горючего. Бомбардировки изматывали город, никто не высыпался – ни местные, ни пришлые. Бывали ночи, когда на Морица накатывала паника – он представлял карту местности вокруг их роскошного отеля и не видел ни единого шанса выжить в этой войне. С востока, юга и запада давил противник, для отступления оставался один лишь север, но на севере было море. А в море были британцы. Немцы оказались в ловушке. И все же они верили собственной пропаганде. Пугающей реальности они предпочитали воображаемый мир, которым можно было управлять. Искусство обмана сотворило западню самообмана.

* * *

Незадолго до Рождества, 22 декабря, солдаты из пропагандистской роты расклеивали плакаты и передавали через громкоговорители сообщение, которое заставило жителей города прислушаться. Речь шла о деньгах. О больших деньгах. Войну спланировало мировое еврейство, а французы, итальянцы и мусульмане – невинные жертвы вражеской агрессии. Поэтому еврейская община должна незамедлительно выплатить двадцать миллионов франков в качестве возмещения. Каждый, кто пострадал от бомбардировок и понес убытки, получит возмещение от *Комитета неотложной помощи*. Дворец Французского общества, проспект де Пари.

Когда речь заходит о деньгах, дружбе настает конец, а нужда заставит связаться и с самим чертом – это оккупанты понимали хорошо. *Разделяй и властвуй.* На проспекте де Пари быстро выстроилась очередь пострадавших от бомбардировок, в руках они держали фото своих разрушенных домов, с губ срывались проклятия в адрес евреев. Наконец-то они нашли козла отпущения. Отчаявшаяся делегация еврейской общины принесла в комендатуру большой чемодан, набитый купюрами. Их ссудили деньгами французские банки под залог их недвижимости, оцененной в бросовые суммы. На защиту общины встали богатые евреи, на которых обычно косились с недоверием.

* * *

Рождество 1942 года было самым необычным праздником за всю историю отеля «Мажестик». Была елка – немцы заказали ее сюда спецрейсом, – но не было воды. Последняя бомбардировка разрушила водопровод на проспекте де Пари, и ремонт затянулся. Вермахт доставлял воду в двадцатилитровых канистрах из цистерн Медины. На кухне отеля ее кипятили, опасаясь инфекций. Самые большие потери Африканский корпус нес не из-за вражеских обстрелов, а из-за холеры, тифа и дизентерии. Пол-литра воды на человека в день – больше ее не было. Никто не мылся. Не слушая протестов швейцарского директора отеля, офицеры постепенно опустошали винный подвал.

Мориц большую часть времени проводил у себя в комнате, писал Фанни. Ее письма были полны вопросов, Африку она представляла как романтическую волшебную фантазию. Она была уверена, что местные жители – негры, а любимого видела на фоне прекрасной пустыни, в окружении львов и жирафов. Как бы ей объяснить, что они располагаются в колониальной версии отеля «Адлон», а в гамбургском зоопарке Хагенбека он видел больше экзотических зверей, чем во всем Тунисе? Мориц хотел ответить ей честно, но поймал себя на том, что использует те же формулировки, что и в еженедельной кинохронике. *Отсечение от юга. Беспощадная борьба. Преподать англичанам урок.* Словно лишился собственного языка. Словно писал не он и не ей. Но

кто он на самом деле? Он не находил слов, соразмерных тому, что в нем творилось.

Мориц посмотрел в зеркало и показался себе чужим. В холле гоготали его товарищи. Один из них распахнул дверь, ввалился в комнату, с бутылкой бордо бухнулся на кровать и принялся разглагольствовать о жене.

- Потаскуха она. А твоя девчонка тебе верна?
- Думаю, да.
- Счастливчик.

* * *

Морицу не хотелось никуда идти. Но одиночество толкало его к другим. Наполнив вином походные фляжки, пропагандисты двинулись в город. Там не было и намека на Рождество – улицы темны и пусты. Мориц шел в компании солдат, которых едва знал, – они прибыли с подкреплением с Корсики, общительные, даже чересчур общительные парни. Больше всего их интересовало, где тут бордель.

- В Медине.
- Ну так пошли, покажешь нам!
- Мориц колебался.
- Ну ты чего? Ссышь триппер подцепить?

В Северной Африке бордели служили своего рода проверкой на мужественность. Вермахт раздавал солдатам презервативы – фирменный немецкий продукт, но резинки часто оказывались непрочными и рвались. А тропическая зараза пугала сильнее бомб.

- Нет.
- А чего тогда? Импотент, что ли?

* * *

Мориц не заразы боялся. Просто он дал слово. Пусть другие над ним потешаются, но он не считал, что на расстоянии в две тысячи километров клятва, данная при помолвке, потеряла силу. Разве его

обещание верности не есть последний признак порядочности в бесстыдные времена?

* * *

Когда они приблизились к *запретному кварталу*, к ним присоединились итальянские солдаты. Один из них уже бывал в местном борделе и бредил восточными красавицами. «Эти Фатимы» – так он их называл. Не зная, что многие из девушек были еврейками. Бордель находился в двух переулках от Ла Хары, еврейского квартала Медины. Там жили не европейские евреи – торговцы, банкиры и врачи, – а местные сефарды, ремесленники, рабочие и поденщики, в семьях которых один из ртов всегда лишний.

* * *

Красные от ржавчины железные ворота закрывали вход из переулка. Поверху надпись: *Bienvenu*. Над ней уже кто-то намалевал по-немецки: *Добро пожаловать*. Воняло гнилью и мочой. У ворот громоздился мусор, который мусульманские соседи навалили сюда в знак презрения. Шныряли тощие кошки. Дома вокруг покосились – отсыревшие стены и разбитые окна. Здесь жил всякий сброд, воры и наркоманы. Слонялись какие-то призраки с гнилыми зубами и голодными глазами, готовые за пару монет услужить в качестве соглядатаев. Итальянец постучал в ворота, и оттуда выглянула старая арабка. На солдат она не смотрела, ее глаза подозрительно шарили по темному переулку за их спинами.

– *Solo quattro*, – проворчала она.

Итальянец перевел: только четверо. Они поспорили, кинули жребий, и трое немцев в компании одного итальянца вошли внутрь. Мориц и еще двое остались ждать у ворот, пока до них дойдет очередь, – ботинки тонут в грязи, руки готовы в любую минуту выхватить оружие.

* * *

Возможно, Морицу только того и надо было. Возможно, ему стоило держаться мысли, как он потом говорил, что сюда он пришел только за компанию. Что лишь стоял с краю. В бордель ходили все солдаты, просто большинство не считало это зазорным, и потому оправдания им были не нужны. Вернувшись после войны к своим женам, они стали хорошими отцами.

– Ну и поганое Рождество, – буркнул один из солдат и пнул кошку, рывшуюся в мусоре.

* * *

Виктор не хотел идти. Давайте просто выкинем эту штуку в море, предлагал он. Но друзья хотели получить за громкоговоритель денег. Добротная немецкая работа. Один из них, Серж, торговал в Ла Харе. Он не желал просто так выбрасывать хорошую вещь. Пусть она и добыта в результате диверсии. Всегда найдется покупатель. Втроем они тащили эту проклятую штуку по переулкам, сняв ее с крыши школы. Несмотря на комендантский час. В Рождество даже патрульные не высывались на улицу. Виктор запросто пробрался бы невидимкой к дому Латифа. Если бы не Серж. Отчаянный парень, но совершенно неопытный по части сопротивления немцам. Впрочем, как и остальные.

Серж, Хаим и Виктор познакомились еще в еврейском скаутском отряде – вместе учились вязать узлы, обращаться с ножом, они были не чета тем маменькиным сынкам, что целыми днями торчали в ешиве и зубрили Тору. Но пороху никто из них не нюхал, в армии не служил, ни у французов, ни у итальянцев. Хаим – потому что был гражданином Туниса, Виктор раздобыл себе справку, а Серж знал, кого надо подмазать.

– Да ладно, пять минут, и все, – сказал Серж. – Я знаю одного мужика, он интересуется такими штуками, живет недалеко, а деньги разделим поровну. Не упускать же выгоду, а?

* * *

Спекулянт с черного рынка жил на краю *запретного квартала*, в кривом переулке, где не было фонарей, куда не совались жандармы. Волоча тяжеленный громкоговоритель, парни несколько раз поскальзывались, едва не шлепаясь в грязь, ругались, шутили и тащили добычу дальше. Наконец Серж указал на дверь, постучал, и перекупщик впустил их. Виктор и Хаим тут же вышли обратно на улицу. Стояла пугающая тишина. В темном проулке сеял мелкий дождик. К ним присоединился Серж. Ухмыляясь, он разделил смятые купюры.

– Надо отпраздновать, – предложил Хаим.

– Я знаю где, – сказал Серж.

* * *

Когда солдаты возникли из тени перед воротами борделя, было уже поздно. Виктор и его друзья не увидели их в темноте.

– Стой, кто идет!

Щелкнул предохранитель пистолета. Парни оцепенели. Если побежать, получишь пулю в спину. Немцы направились к ним. Их тоже было трое, лиц не разглядеть.

– Руки вверх! К стене!

Один из солдат грубо толкнул их к ограде. Другой обыскал карманы.

– Что вы здесь делаете? Комендантский час!

Парни не понимали по-немецки.

– *Italiani!* – крикнул Виктор в надежде выкрутиться. Если их опознают как евреев, то сочтут дезертирами, уклоняющимися от принудительных работ. А за такое полагался расстрел.

Один из солдат говорил по-итальянски.

– *Carte d'identità!*

Они отрицательно помотали головами.

– *Nome?*

То был вопрос сродни вопросу гётевской Гретхен^[31]. Фамилия выдала бы еврея.

– Витторио.

– Луиджи Фантоцци.

– Антонио Кристиано.

А потом один из солдат обнаружил в кармане брюк Хаима ту проклятую карточку. Годовой абонемент кинотеатра «Колизей». Хаим любил кино, а годовая карта сэкономила деньги. Удостоверение он не носил с собой сознательно, но про абонемент просто-напросто забыл.

– Хаим Леллуш?

– *Italiano*.

– Хаим? – Немцы рассмеялись. – Хочешь нас провести?

Парни молчали.

– Как будет по-итальянски «еврей»?

– *Ebreo*, – сказал Мориц.

– Ты есть *ebreo*?

Хаим отрицательно помотал головой, но он знал, что шансов у него нет. Солдат что-то прокаркал ему в ухо. Какого черта не на принудительных работах! Другой солдат ткнул его коленом в живот. Хаим упал. Мориц не вмешивался. Потом они принялись за Виктора и Сержа.

– Погоди-ка, – сказал Мориц. – Я же тебя знаю.

– Нет.

– Ты же Витторио. Музыкант.

Виктор судорожно искал какую-нибудь отговорку.

– Лили Марлен, помнишь?

Виктор смотрел на него как парализованный.

– Ты его знаешь? – спросил один из немцев.

– Он итальянец.

– Имя?

– Витторио.

– Фамилия? *Nome di famiglia!*

Виктор молчал.

– Ты еврей? *Ebreo*?

То был момент, когда у Виктора перегорели предохранители. Он отпихнул солдата, прижимавшего его к стене, и побежал. Раздался выстрел. Виктор услышал, как пуля просвистела у самого уха и ударила в стену. Он завернул за угол. Немцы гнались за ним. Виктор поскользнулся в грязи мостовой, упал, вскочил и побежал дальше. Но не за пределы Медины, где улицы шире и освещены, – он углублялся в лабиринт. Там он знал все повороты, а они нет. Их крики эхом

рикошетили от стен. То и дело звучали выстрелы. Если его догонят, суд будет коротким. Виктор нырнул в темный закоулок и вжался в дверной проем какого-то склада. Он слышал удары сердца, кровь стучала в ушах, а потом раздался топот подкованных ботинок. Все ближе... ближе... Солдаты пробежали мимо. Виктор отделился от стены, взобрался на жестяную кровлю и, прыгая с крыши на крышу, добрался до дома Латифа.

* * *

Мими пришла в ярость. Он сделал это только для папа, оправдывался Виктор. Чтобы отомстить за него. Мими кричала, что смерть сына не вызволила бы папа из тюрьмы! Не сдержи ее Ясмينا, она бы накинулась на Виктора с побоями.

Позднее Ясмينا и Виктор сидели у холодной печи на кухне, завернувшись в одеяла. Вошел Латиф. Лицо у него было серьезное.

– Тебе больше нельзя появляться в «Мажестике».

– Я знаю.

– И тебе тоже, Ясмينا.

Только теперь до нее дошло, что и она замешана в это.

– Завтра они выведают про Виктора все. И я не смогу этому помешать. У них есть списки сотрудников. И реестр городского населения. А если немцы что-то делают, они делают это основательно.

– Но они же не отправляют женщин в трудовые лагеря, – попыталась возразить Ясмينا.

– Спаси Аллах, никто не знает, что они сделают с тобой, чтобы найти твоего брата. Нет, ты останешься здесь.

– Он прав, – подавленно сказал Виктор.

Ни он, ни Ясмينا не спросили того, о чем подумали оба: кто теперь будет кормить семью?

– Вы мои гости и будете ими столько, сколько понадобится, – заверил Латиф.

– Спасибо, – сказал Виктор. – Но если они меня сейчас ищут... как знать, не выдаст ли нас кто. Я не хочу навлечь на тебя неприятности. Немцы видели нас вдвоем. Они знают, что мы дружны.

Еще никогда Ясмина не видела Виктора таким растерянным. О себе он никогда не беспокоился. Но теперь он навлек беду на других.

– Завтра мы уйдем.

– И где вы собираетесь ночевать? На улице? Нет, я найду решение.

– Латиф, я благодарен тебе, но...

– Это варвары. Они не победят нас. У них есть оружие, но мы сильнее. Нам нужно только потерпеть. Рано или поздно они сбегут отсюда, *иншалла*. Аллах милостив.

Из какого источника Латиф черпал свою уверенность, Ясмина не знала. И восхищалась им. На исходе ночи она видела, как он молился во внутреннем дворе. Может, вера дает ему силы, подумала Ясмина. Человеку нужна опора, нужно то, в чем можно черпать мужество. То, что помогает пережить это время. Для папá это была вера в разум, в науку, в прогресс. Для Латифа – Аллах. А что может стать опорой для нее? Хотела бы она уметь с такой безоглядностью полагаться на своего Бога. Но она не умела. Опоры не находили ни ее разум, ни сердце. С того дня, как схватили папá, она снова чувствовала себя сиротой – как давным-давно в монастыре. У монахов был Бог, но какой прок от Бога, когда у тебя нет родителей?

* * *

На следующий день, когда Ясмина принесла в тюрьму обед, она рассказала папá о Викторе. Втайне она надеялась, что новость примирит его с сыном или хотя бы наполнит толикой гордости. Но Альберт молчал. Он взял кастрюлю, а прощаясь, тихо сказал:

– Он оказал общине плохую услугу. Чем больше мы их злим, тем больше их жестокость к нам. Пуля, которая не попала в него, поразит кого-то другого.

* * *

За ужином Латиф подавленно рассказал, что эсэсовцы допрашивали весь персонал «Мажестика». Двух евреек, работавших в

прачечной под чужими именами, уволили, а в их домах устроили обыски. У самого Латифа была рассечена бровь. Его били. Но он не сказал ни слова.

Виктор был вне себя от ярости. Но гнев скрывал более глубокое чувство – вины за то унижение, какое Латифу пришлось претерпеть из-за него. Мими плакала и просила у Латифа прощения. Ясмينا вглядывалась в лицо молчащей Хадийи, выискивая признаки недовольства мужем из-за его гостеприимства. Открыто хозяйка никогда бы этого не сказала, но жест, случайное слово, взгляд могли сообщить, что гостям здесь больше не рады. Что здесь для всех отныне опасно.

Ясмина вспомнила, как впервые пошла с папá в синагогу и он показал ей свитки, исписанные от руки еврейскими буквами; почти пятьсот лет назад предки принесли их сюда из Андалусии, когда христиане отвоевали Испанию у арабов. Во время Реконкисты евреи предпочли уйти с мусульманами в Северную Африку, потому что чувствовали себя среди них в большей безопасности. В Европе их в любой момент могли прогнать прочь, а среди арабов было спокойнее – пока евреи платили налог за свою безопасность. Кроме того, их культуры были близки, иврит и арабский одного корня, а кошерное – это же почти халяльное. Если еврей не женился на еврейке – а такое, конечно, случалось, – то обычно брал в жены мусульманку, а не христианку, потому что она готовила так же, как его мать. Тем не менее, сказал папá, тунисский бей уравнил еврейскую общину в правах с остальными общинами лишь сто лет назад. И так же, как черные в душе все еще носят невидимые цепи рабства, так и в нашу кровь и плоть вошло чувство вечной чужеродности. Нас терпят, ценят, может, даже любят, но мы никогда не укоренимся наравне со всеми. Наши корни уходят не в землю, а в небо.

– Спасибо вам за гостеприимство, – сказала Мими, поднимаясь. – Благослови вас Господь, но нам пора уходить.

– Сядьте, мадам Сарфати, – сказал Латиф. – Я дал слово вас защищать.

– Я ценю и уважаю твое слово, – подал голос Виктор. – Но сейчас нам нужны не слова, а оружие.

– Они будут обыскивать каждый дом, – впервые заговорила Хадийя.

Ясмина не поняла, означают ли ее слова желание, чтобы они ушли.

Виктор тоже встал.

– Куда вы пойдете? Они же повсюду. – Латиф попытался остановить Мими. – Сядьте, мадам, прошу вас.

– Мадам Сарфати, – сказала Хадийя, – вашему мужу вы нужны здесь.

Завыли сирены. Возвращались бомбардировщики.

* * *

Ночь они провели во внутреннем дворе, под открытым небом. Чтобы не быть погребенными под стенами дома, если он рухнет. Закутавшись в одеяла, пили кофе с кардамоном, согреваясь друг о друга, и смотрели на небольшой квадрат неба вверху. Холод звезд и гул моторов. Невидимые шершни в ночи. Слишком высоко для лучей зениток. Куда упадут бомбы – игра случая. Сегодня взрывы доносились со стороны порта, от Pìccola Сицилии. Ясмина думала о немцах, что спали в ее доме, и желала, чтобы бомба угодила в него.

Глава 18

Отныне они всегда спали в одежде, чтобы успеть убежать по крышам, если явятся немцы. Медина, в которой они нашли убежище, превратилась в ловушку. Ночами, когда они собирались в салоне вокруг радио, даже пламенные речи де Голля по Би-би-си перекрывались плохими новостями: американские танки завязли в грязи, британцы не смогли взять Триполи, а немцы и итальянцы укрепляли позиции. Все приморские города – Хаммамет, Сус, Сфакс – они удерживали прочно. Миф Роммеля был сильнее британской армии. Люди верили, что державы «оси» возьмут верх.

* * *

Мими считала деньги. Надолго ли их еще хватит? Сколько еще продержат папа́ в тюрьме? Что будет с евреями, если немцы победят? Что творится в немецких лагерях, откуда никто так и не вернулся? Смерть гуляла по переулкам и стучалась в двери. Сомнение прокрадывалось в сердца, в дом вползал зимний холод. Надежда исчезала, словно больная кошка, скрывшаяся в темном углу, чтобы умереть. Уже никто не знал, понимать ли приветствие на улице – *салям алейкум, барракалаху фик* – как искреннее или за ним кроется яд, который расползлся все шире. Ненависть еще не возобладала на улицах, Ясмина пока не слышала злых слов у себя за спиной. Но молчание людей было не лучше – она не знала, что они думают на самом деле. И выдадут они или защитят, если в их дома нагрянут немцы.

На открытый протест не отваживался никто, даже сами евреи. Это означало бы смертный приговор. Пока старшие мужчины находятся в заложниках, молодые рискуют прежде всего их жизнями. А не своими. А нет никого священной родителей.

* * *

Невероятно утешительными были маленькие жесты соседей – не евреев, а мусульман и христиан: приветливое слово, улыбка, дополнительный сопочек миндаля от торговца на рынке. Тайный знак – *вы не одиноки*. Если кто-то был добр к тебе в мирное время, теперь это ничего не значило. Важна была лишь солидарность против чужих во времена войны. Если Бог и впрямь последний судия, он не станет смотреть на то, что ты сделал, когда это тебе ничего не стоило, а только на твои дела в тяжкую пору.

* * *

Конечно, о политике каждый имел свое мнение. Но позицию – лишь немногие. Иметь мнение было просто – достаточно на рынке обругать политику как погоду, подобно зеленщику, который называл французов то «собаками», то «моими дорогими друзьями», в зависимости от того, кто подходил к его прилавку. А вот позиция требовала внутренней свободы, а эту роскошь бедняки не могли себе позволить. Немцы выцепили тех, кто за пару франков готов был показать в лабиринте Медины дорогу к домам евреев и выдать своих соседей. Чаще всего это были воры и прочий сброд, от которого не приходилось ждать ничего хорошего. Но иногда и вполне благополучные соседи, прежде такие приветливые, могли переметнуться к новым союзникам. От этих не стоило ожидать, что они бросят тонущему спасительную веревку. Против евреев такие ничего не имели, им просто надоело жить под управлением французов, и они поверили немецкой пропаганде, обещавшей освободить их от ненавистных колониальных господ.

Когда заканчиваются последние запасы надежды, душу подпитывают лишь воспоминания. Иногда Ясмينا и Виктор выбирались ночью на крышу и сидели, закутавшись в одеяла, рассказывали истории из своего детства в *Riscola* Сицилии.

О том, как Ясмينا уже тогда любила ходить на арабские свадьбы к соседям, потому что там можно было танцевать до упаду. Не так, как на свадьбах европейцев, к которым причисляли себя мама и папа, где дамы держались чопорно, состязаясь в искусстве светской беседы, и по очереди падали в обморок от жары. Ясмينا не могла

поддержать беседу ни о новейшем романе, ни о фильме из Франции. А вот с арабками в их свободных платьях можно было говорить на языке обычной жизни – о детях, ценах на молоко, а то и о колдовстве, приворотях для неверных мужей. С ними Ясмина чувствовала себя легко, там ей никто не устраивал экзамена. Она всегда ждала момента, когда женщины, которые только что лениво сидели за едой, удивительным образом преображались, стоило выйти на сцену певцу, барабанщику и музыканту на уде, арабской лютне. Когда мужчины с напояженными волосами и цветком жасмина за ухом принимались за свои переливчатые песни, все вскакивали – девочки, матери и бабушки – и пускались в пляс так, будто лишь для того и родились – танцевать до глубокой летней ночи.

Ясмина любила арабскую музыку, которую, в отличие от европейских шансонов, невозможно было слушать спокойно, не вращая бедрами. Она переняла от арабок, что в танце важнее всего не шаг, а ритм, который возникает внутри сам по себе и лишь передается ногам. Она научилась воспринимать такт барабана сперва бедрами, потом плечами и, наконец, ладонями, которые, порхая, отпускали его на волю. Она научилась раскидывать руки и извиваться змеей, вбирая мир, показывая себя и наслаждаясь взглядами.

Ясмина так любила танцы, что пробиралась и на свадьбы, куда ее не приглашали, а Виктор всегда прикрывал ее от родителей. А потом была свадьба, на которой Виктор впервые пел, а Ясмина была танцовщицей. Оба помнили, как то и дело встречались тогда взглядами, как его глаза охватывали разом все ее тело и как поначалу ее захлестывал стыд, а потом музыка освободила ее, и она уже двигалась с наслаждением, показывая ему себя. И по его глазам, ловившим каждое ее движение, она видела, что нравится ему не меньше, чем себе самой.

– А помнишь, Виктор?..

– Да.

– И как мама вдруг ворвалась и поволокла меня за ухо?

Виктор улыбнулся:

– Тебе было лет десять, не больше.

– Я так тоскую по этому. Когда кончится война, мы пойдем с тобой на арабскую свадьбу, проникнем тайком, как раньше.

– Да, *farfalla*. Уже поздно, тебе пора спать. – Виктор встал.

Лежа в постели, Ясмина слышала шаги брата на галерее, потом они пересекли двор и стихли – Виктор ушел. Она тихонько встала и втянула носом след его запаха, оставшийся во дворе. Утешение, которое она находила себе в воспоминаниях, он искал у женщин.

* * *

Когда воспоминания иссякали, Ясмине оставались только сны. Странно, но в эти зимние ночи ее не терзали кошмары. Кошмаром были дни. Только ночью, закрыв глаза, Ясмина чувствовала себя в безопасности. Засыпала она с трудом, но пробуждение было лучшим моментом дня, секунды между сном и явью, перед тем, как снова стать Ясминой, когда тишину сознания не нарушала ни единая мысль. Дух был чистым озером, невинным, как в детстве, сладким ничто, бесконечной свободой – пока не являлись воспоминания о вчерашнем дне и ожидания дня сегодняшнего, и с первой же мыслью в душе снова водворялся страх. Короткая борьба, чтобы побыть еще немного в прекрасной тишине, но в этой борьбе со страхом она всегда проигрывала. Через несколько секунд ее уже окружала тяжесть яви, с мыслями наваливался ужас, она снова была в плену реальности.

* * *

Ясмина питалась своими снами, как другие питаются хлебом и мясом. Она испытывала голод по просторам своей души. Вывернутый наизнанку мир: внутреннее снаружи, а внешнее внутри. Страхи дня исчезали, и снова можно было прикоснуться к сладости детства. Ей снился куст жасмина в монастыре, бугенвиллеи и олеандры, она бежала по широким полям к отцу, и он раскрывал руки, чтобы подхватить ее. Во сне он был сильный и здоровый, сердце его билось свободно – здесь была другая страна, без дождя и без солдат, здесь можно было бежать до самого моря, и никто бы ее не остановил.

Ясмина норовила лечь спать пораньше, чтобы забыться в этом мире. Она тосковала по нему, как другие тоскуют по вкусу шоколада. Она уже зависела от него. Во сне ее душа подпитывалась красотой

этого идеального внутреннего мира, чтобы справиться с мерзостью внешнего. По утрам она растягивала сладкие секунды между сном и явью все дольше и дольше – постель была коконом, уличные голоса за закрытыми ставнями звучали глухо и далеко. Она не открывала глаз, и хотя знала, что уже не спит, ей удавалось задержать картинки из сна, втащить их в явь и с этим запасом пуститься в день.

* * *

Мими находила утешение в молитвах. Каждый день, отнеся Альберту еду, она шла в синагогу и читала там молитву *Шма Израэль*. Но какой Бог, вопрошала про себя Ясмينا, мог все это допустить? Эту несправедливость, вопиющую к небесам? Что такого они сделали, чтобы впасть у Бога в такую немилость? Она представляла, как Альберт сидит в камере, как мужчины шепчут и там свои молитвы, как тюремщики выключают свет, как он в темноте лежит без сна, не имея возможности читать свои книги, а кто-то рядом с ним стонет во сне. И никто не приходит, чтобы освободить их.

* * *

Латиф и Хадийя жили историями, что курсировали по Медине. Когда животы пусты, сердце накормят истории. Этим мы и отличаемся от зверей, говорил Латиф, – у них тоже есть язык, но нет историй. А другим мы отличаемся от нацистов: в их истории нет юмора.

Однажды вечером Латиф рассказал, что произошло во дворце бея. Полковник Рауф и его офицеры явились к нему, чтобы получить список – фамилии всех евреев за время его правления. Бей кивнул и встал со словами:

– Я должен спросить у моего отца.

Он вышел в соседнюю комнату, где находился его друг, фотограф, старый Виктор Себаг. Нацисты не знали, что он еврей. Бей закрыл дверь, побеседовал со старым другом о погоде, вернулся к немцам и миролюбиво сказал:

– Мой отец этого не хочет.

Рауф впал в ярость, но ему пришлось уйти ни с чем.

Немцы выслали бея из города, и он ответил на это тем, что произвел в лейб-врачи Роже Натафа и Бена Муссу. Оба были евреями. Эти маленькие жесты не могли никому спасти жизнь, но то были полные достоинства послания отстраненного от власти короля своему народу.

* * *

Ясмина крепко держалась за оптимизм Виктора, поскольку свой весь израсходовала. Однако чем чаще она искала его близости, тем больше Виктор избегал ее. Иногда он даже не ночевал в доме. Ясмина умирала от тревоги за него и не спала до рассвета, когда истекал комендантский час и он возвращался. Никто не мог удержать его, даже мама. Виктор говорил, что ищет работу – в итальянских театрах и музыкальных кафе. Но Ясмина прекрасно знала, что ночи он проводит в объятиях женщин. Они не перестали его любить и, наверное, даже готовы были спрятать его, если бы не мужья, которые уж точно бы выдали Виктора. Возможно, думала Ясмина, именно любовь всех этих женщин и была его противоядием от страха. Но была ли то любовь? Объятия любовниц дарили Виктору ощущение безопасности, но Ясмина считала это его ахиллесовой пятой. Ни одна из этих женщин не отдаст за него жизнь. Самая опасная ложь – та, которую рассказываешь себе сам.

* * *

Ясмина не видела предателя в глаза. Видела только предательницу предателя. Муэдзин как раз призывал к вечерней молитве, незадолго до наступления комендантского часа. Женщины собрались в кухне, чтобы приготовить ужин, когда в дверь постучали. То была свояченица Латифа, закутанная в просторную чадру.

- Быстро, вы должны бежать! – прошептала она. – Вас выдали.
- Кто?
- Не спрашивай. Торопись, немцы сейчас будут здесь!

– Где Виктор? – спросила Мими.

Он еще не вернулся. Времени собирать вещи не оставалось. Мими и Ясмина быстро набросили на себя покрывала, которые им принесла Хадийя, и выбежали из дома со свояченицей Латифа. Только на улице Ясмина заметила, что даже не обулась. Камни мостовой были холодные и влажные. Мими взяла ее за руку, и в этой железной хватке Ясмина почувствовала страх матери. Не за себя, за дочь. Немцы охотились и на молодых женщин. Слухи об этом курсировали по городу – конечно, только шепотом. Семьи пострадавших девушек ничего не рассказывали, стыд за поруганную девственность, страх не найти мужа были сильнее страданий. Ни один насильник ни разу не был схвачен.

Ясмина с матерью не знали даже имени свояченицы Латифа. Они вверили себя неведомо кому.

– Скорее, сюда!

Женщина поманила их за собой, открыв старую деревянную дверь, окрашенную зеленым и красным. Хаммам этого квартала. Влажное тепло и запах мыла дохнули навстречу. Стены бирюзового цвета и приглушенные женские голоса. В этом хаммаме не было отдельных бассейнов для мусульман и евреев, лишь маленькая купальня, в которой мусульмане совершали омовения, прежде чем войти в расположенную напротив мечеть. Как раз был час женщин. Они разделись, нагота была защитой, и скользнули внутрь. Теплый пар укутал их точно покрывалом. Сели на горячую мраморную скамью, старуха с кривыми зубами принесла полотенца и ведра, никто не спросил их имен. Голые мы все одинаковы, подумала Ясмина.

– Где Виктор? – прошептала Мими.

– Не знаю.

Ясмина надеялась, что он не придет сегодня домой и не попадетс немцам в лапы.

– Я боюсь за него, мама.

Свояченица Латифа подсела к ним:

– Мне очень жаль. Есть на свете ужасные люди.

Больше она ничего не сказала.

– Благослови тебя Бог, – ответила Мими.

К молитве женщины покинули хаммам, Ясмина с матерью остались одни. Помещение постепенно остывало, старуха-хозяйка раскатала два соломенных тюфяка. Она почти не говорила и ничего не спрашивала. Чем меньше она знала, тем лучше для нее самой. Свояченица Латифа обещала забрать их завтра утром. Они услышали, как хозяйка заперла тяжелую дверь. Ясмина долго не могла заснуть. Думала о Викторе. Со сводчатого потолка падали капли, с улицы не проникало ни звука, плотная темнота окружала их. Кокон из уходящего тепла. К утру они дрожали в своих скудных одеяниях.

* * *

Дом Латифа был опустошен. Немцы перевернули все вверх дном и, рассвирепев, оттого что нашли лишь брошенную одежду евреев, разгромили все, что могли. Осколки фарфоровой посуды и семейные фотографии усеивали пол. Повсюду обломки. На престарелую мать Латифа, собиравшую снимки родных, было больно смотреть.

– Альберт вам все возместит, как только выйдет на свободу, – пообещала Мими.

– *Иншалла*, – сказал Латиф, не глядя на них.

Он знал, что Альберт ничего возместить не сможет, потому что солдаты разграбили и кладовую. В поисках продуктов, с которыми становилось все туже, они нашли и припрятанные драгоценности Мими. Латиф попытался возразить, но один из солдат сбил его с ног прикладом. Когда он признался в этом Мими, она промолчала. Латиф был безутешен и просил у нее прощения, что не сдержал своего обещания. Ясмина стояла рядом и боялась, что мать рухнет без чувств. Драгоценности значили для той слишком много. Это было ее приданое, страховка на самый черный день. Но слова матери ошеломили Ясмину:

– Я их никогда и не носила.

И больше не заговаривала на эту тему, взявшись помогать Хадийе и бабушке наводить порядок.

– Разрешат ли они теперь работать тебе в «Мажестике»? – спросила Ясмина Латифа.

– Кто же меня заменит? Не беспокойся за меня. Но они заявятся снова. Они как волки, которые попробовали крови.

В дверь постучали. Трижды, семейный условный знак. Виктор. Спутанные волосы падали ему на лицо.

– Ах ты ж сучье паскудство, – прошипел он, увидев опустошение.

Мими шагнула к нему, вытерла руки о подол и вlepила звучную пощечину. Все вздрогнули.

– Ты больше никогда не оставишь нас одних!

Виктор потрясенно смотрел на нее. Она не била его ни разу с тех пор, как ему исполнилось пять лет. Мими вlepила еще одну пощечину. И еще одну, и еще.

– Слышишь? Ты мужчина в доме! Ты должен смотреть за своей семьей!

– Мама, прекрати!

Она ухватила его за ухо, как нашкодившего мальчишку, и потянула к Ясмине:

– Ты в ответе за свою сестру! Ты знаешь, что с ней могло вчера случиться? Поклянись, что больше никогда не оставишь нас одних!

– Мама,пусти!

– Поклянись ей!

Ясмине застыла в испуге. Все остальные тоже не двигались.

– Давай же! Смотри на нее и скажи это ей!

Виктор едва осмеливался взглянуть на нее. Впервые Ясмине видела в его глазах что-то вроде стыда.

– Я клянусь, – выдавил он.

– Жизнью своего отца!

– Клянусь жизнью моего отца. Я больше никогда не оставлю тебя одну.

Сердце Ясмине колотилось. Она не решалась сказать ни слова, так боялась за него. Мими была в такой ярости, что могла убить Виктора.

– А теперь помоги нам прибраться! – Мать отпустила сына.

Они тихо собирали черепки и обломки. Всем было ясно, что оставаться здесь им больше нельзя. Ради своей безопасности и безопасности хозяев.

Глава 19

МАРСАЛА

Я испытываю странный стыд, сама не понимаю почему. В то время их всегда называли «немцы». Не «нацисты». Как будто это нераздельные понятия. Я не имею к происходившему никакого отношения. Но я связана с ним. Иначе здесь сейчас бы не сидела. За другими столиками люди расслабленно радуются жизни. А мы с Жоэль – будто выпавшие из другого мира.

Вдруг вспоминается один летний вечер с друзьями в Берлине. Мы пили и смеялись, а за соседним столиком сидела молодая пара, буквально оцепеневшая, он держал ее за руку, она опустила голову – кто знает почему. Мы смущенно отворачивались от них, словно скорбь – заразная болезнь, что-то непристойное, что-то такое, с чем мы не хотели иметь ничего общего.

Сейчас я была как та девушка. Погруженная в смущенное молчание, тогда как Жоэль, которую происшедшее в войну задело непосредственно, рассказывает, посмеиваясь. Но смех этот не беззаботный, а саркастичный, вызывающий, дерзкий.

– Ничего никогда не изменится, дорогая, – говорит Жоэль. – Человек не извлекает из истории уроков, все повторяется по кругу, все возвращается. Но тебе не надо щадить мои чувства. Мы родня, не правда ли, – по крайней мере, подруги, разве нет? Мне не нужна жалость, просто составь мне компанию, не бросай меня одну. Не беспокойся, мы не обвиняем вас. Но мы скорбим. О родных и друзьях, которых мы потеряли. Если у народа есть тело, распределенное по всей земле, но единое, то это наше тело, и оно истерзано. Иногда мы слышим то, что для других звучит безобидно, а то и забавно, а в нас отзываются раны. Вы же не понимаете этого. Да и где вам понять.

* * *

Это привилегия – когда тебе не надо думать над проблемой, потому что она не твоя. Сегодня мы говорим не о расе, а о религии или культуре, но речь все о том же – о признаках, что выделяют нас из других. Нам необходимы другие, чтобы выстроить «мы», которое дает нам чувство защищенности. Мы клеймим чужих, совершенно не зная их, но защищаем сородича, который ведет себя безобразно. Его поведение для нас не связано ни с цветом его кожи, ни с его религией или культурой – ведь тогда и мы в том повинны. *Таков уж он, отщепенец, паршивая овца.* Но других мы объединяем в группы. *Таковы уж они, всегда такими были, это их культура.* Теперь-то не кивают на другой цвет кожи или другого бога. Но кто такие «мы»? Что вытекает из столь простой идеи – рассматривать каждую личность исключительно как личность, судить о человеке только по его поступкам? Мы сами творим чужих. Лишаем их человечности. Ибо если мы посмотрим чужаку в глаза, он окажется всего лишь человеком.

* * *

Мы с Жоэль покидаем ресторан последними, идем по опустевшим улицам, сегодня ветренее, чем вчера, фонари раскачиваются, мы одни, слегка пьяные, ощущающие странную легкость, несмотря на тяжелый рассказ Жоэль.

– К вам вернулись ваши семейные драгоценности?

– Нет.

– Ты думаешь, драгоценности были в самолете?

– Да.

Кажется, это ее не особо заботит.

– Ты хотела бы получить их назад, если бы они нашлись?

– Ни в коем случае.

– Почему?

– Они принадлежат Мими.

В ее голосе проскальзывает жесткая нота, которой я не понимаю.

– *Porta sfortuna*, – добавляет она. – Приносят несчастье.

– Как ты относилась к своей бабушке?

– Не было никакого отношения, – следует короткий ответ.

Должно быть, что-то произошло тогда. Что-то, разделившее их. Я спрашиваю ее об этом, но она отмалчивается. Впервые я чувствую в ней так хорошо мне знакомое – непримиримое – молчание, какое бывает только в разрушенных семьях.

Мы идем вдоль порта, высматриваем такси, проходим мимо завалившихся сараев, но такси нет, лишь иногда проезжает мимо явно заплутавшая машина. Начинается дождь. Порыв ветра вздымает бумажный мусор. Жоэль вскидывает руку. Рядом тормозит автомобиль, и мы садимся. Она не боится, и я не боюсь рядом с ней. В машине громко играет радио, но Жоэль не просит водителя приглушить, она подпевает.

– Ты же не знаешь, что я певица. Нет, концертов я больше не даю. Забочусь о моих девочках, ученицах. И теперь получаю больше удовольствия, когда что-то отдаю. А ты когда-нибудь пела? Нет? А надо было. Голос говорит о человеке все. Все, что есть в тебе тесного или просторного, как ты видишь мир, что ты скрываешь и кто ты есть на самом деле. Поэтому Виктору приходилось петь. И дело было вовсе не в женщинах. Нет, когда он пел, он становился самим собой, он чувствовал себя живым! Это нечто другое, чем просто существовать. Все существуют, но лишь немногие живут.

* * *

Посреди ночи я просыпаюсь и не могу сообразить, где я. Дождь барабанит в окно, но в комнате душно. Внезапно снова вернулся страх, как будто это произошло только что – одинокие летние ночи в Берлине. Муки в ожидании звонка Джанни, который не звонит и не отвечает на мои сообщения. Тревожные метания по квартире, поиски снотворного, поминутные взгляды на экран телефона и выматывающая духота. Попытки отогнать мысли о том, где он сейчас и с кем. Попытки убедить себя, что голос, твердящий, что Джанни сейчас спит с другой женщиной, лжет, что ему не надо верить. Потом мысль, что даже если это правда, я не имею ни права, ни власти ему это запретить. *Ты должна его отпустить. Если он тебя любит, то сам вернется.* И уверенность, что это бессмысленно. Потому что, разумеется, он любил меня, но любил и другую – для него в этом не было противоречия.

Итак, только от меня зависит, выдержу я или нет. Попытки усмирить мысли, что я слишком слаба, что не справлюсь. Только святые на такое способны, святые и шлюхи. Балкон, на котором я хватаю воздух, капли пота на коже, пылающее тело. Мое тело было и *его* телом, мы были единым целым, пусть это и звучит наивно, но то была *моя правда*. Как он мог ту интимную нежность, что связывала нас, делить с другой? Те же слова, жесты, то же наслаждение. То, что казалось неповторимым, вдруг оказалось заменимым. Разве могла я так и продолжать молчать, лишь бы только не потерять его окончательно?

* * *

Теперь я его больше не чувствую. Тело его исчезло. Запах испарился. Но мысли о нем еще тут – зудят, словно комар, не дающий заснуть. Я думаю о нашей последней осени в Берлине – когда все взлетело на воздух, мы расставались и снова сходились и, наконец, разбились о самих себя. Время бесконечных ссор, возрождающихся надежд и жестоких разочарований – и вот передо мной серый лунный ландшафт, весь в кратерах, поле после битвы, голая пашня, черные скелеты деревьев, колючая проволока и покинутые окопы. Я вспоминаю нашу квартиру и вижу все как бы покрытым серым пеплом: кровать, ночной столик с книгами – его на итальянском, моими на немецком, лампа с блошиного рынка в Палермо, кухонный стол и посуда, которую нам подарили на свадьбу его родители, миска для кошки. Просыпанный пепел на полу, босые ступни, мои ступни, пепел ведет к двери – когда боль становится слишком велика, я выскакиваю из квартиры.

Но сейчас я свободна от того страха расставания, что парализует сильнее, чем само расставание. Но свободна ли я, чтобы любить? Стена, которую я тогда возвела вокруг нас, теперь окружает мое сердце. Ты покидаешь мужчину, но боль забираешь с собой. Ты поймана в свои чувства, в невысказанные слова, в ночную карусель мыслей. Когда заканчиваются отношения?

Когда ты простила.

Это легко сказать. *Шли ему свет и любовь*. Глупость. У него был выбор, и он совершил подлость. Он знал, что ранит меня, и все-таки

сделал это. Он был недостоин моего доверия. Он не заслужил моего прощения.

* * *

В половине третьего я пишу сообщение Жоэль. Она отвечает сразу же. Две бессонные души, которые встречаются в кухне отеля, свитер поверх пижамы, и варят кофе. Почти как раньше – когда я не могла заснуть и просила маму почитать мне. *Еще одну сказку! И еще одну!* Только эта история не может закончиться хорошо. Жоэль открывает окно в сторону моря и курит. С пальм капает, дождь утих. Свет горит только на кухне, стулья в зале для завтраков стоят в полутьме как немые слушатели. Пустой отель – это мой камень, под которым я прячусь. Рассказ Жоэль – это моя книга, в которой я забываюсь. Истории других – это двери, через которые я ухожу от круговорота мыслей, и зеркало для моего потерянного «я».

Глава 20

Хамса

Ты всю свою жизнь в ответе за тех, кого приручил.

Антуан де Сент-Экзюпери

Масличные деревья на ветру. Красная земля, виноградники и далекие холмы, по которым влачатся тени облаков. В прорехах – зимнее солнце. Здесь, в деревне, Ясмине казалось, что война – лишь страшный сон.

– Здесь можешь снять покрывало, – сказал Латиф и вышел из дребезжащего автофургона.

Он открыл заднюю дверцу. Из кузова выбрался Виктор и стал растирать затекшие ноги.

У них все получилось. Немцы не задержали их ни на кордоне при выезде из города, ни на проселочных дорогах, ведущих на север.

– А ты хорошо выглядишь, мадам Латиф, – пошутил Виктор. – *Mystérieuse!*

Ясмине стянула с себя белое покрывало и тщательно его сложила. Она пока не знала, хочет ли остаться здесь.

Латиф представил им Жака, тот вышел из дома в тяжелых крестьянских сапогах. Француз с мощным телом, обветренной и обожженной на солнце кожей, маленькими светлыми глазами. Он вырос здесь, на винодельне своих родителей, – *piéd noir*^[32], любящий свою страну и презирающий немцев.

– Ненависти у меня к ним нет, – сказал он, – много чести. *Entrez, mes amis!*^[33]

Можно ли было ему доверять? Виктор сразу перешел с ним на «ты», Ясмине была осторожнее.

– *Mon vin*^[34], – сказал Жак, наливая гостям красного вина. Так другие сказали бы: «Мой малыш».

Он жил один, что было необычно для француза. Поставлял в отель «Мажестик» вино, оливковое масло и лимоны. Его ферма –

одноэтажный белый домик с голубыми ставнями и красной черепичной крышей – находилась в двух часах езды от Туниса, неподалеку от Бизерты, военного порта. На горизонте сияло море.

* * *

Мими осталась в доме Латифа – кто-то должен был заботиться о папá. На прощанье она напомнила Виктору о его клятве. Если с Ясминой что случится, она ему никогда не простит. Всю поездку Виктор молчал.

Жак подлил им вина.

– Да здравствует де Голль! – воскликнул Виктор и чокнулся с хозяином.

В Первую мировую Жак служил офицером. Он пережил Верден, и в шкафу у него хранилось ружье. То, что его правительство теперь сотрудничало с бошами, он воспринимал как национальный позор. Латиф пообещал наезжать и привозить письма от Мими. Темнело рано, и ему следовало вернуться в город до комендантского часа. Перед тем как сесть в машину, Латиф достал из кармана пальто маленький сверток. Развернул газетную бумагу.

– Это тебе. – Он протянул Виктору серебряный кинжал. Старая рукоять была украшена орнаментом. – Мой отец подарил мне его на обрезание. Я им ни разу не воспользовался. Но тебе он может пригодиться.

Виктор взял кинжал и взвесил на ладони.

– Спасибо.

Потом Латиф достал из свертка еще что-то и протянул Ясмине. Цепочка с серебряной подвеской, изящной выделки амулет хамса, который называют «рука Фатимы», дочери Пророка.

– Она тебя защитит.

Осторожно взяв подвеску, Ясмина увидела, что в ладони выгравирован не глаз, как принято у мусульман, а звезда Давида.

– Это от моей бабушки. Еврейский ювелир, добрый друг семьи, подарил ей на свадьбу. Она носила ее всегда и прожила долгую, счастливую жизнь. Никому не показывай этот амулет, держи близко к телу. Пусть принесет тебе счастье!

Ясмина была тронута. Она видела много таких амулетов, но эта хамса была красивее. Она обладала тем, что мусульмане называют *нафас*, а евреи – *нафеш*. Кто-то вдохнул в нее жизнь.

– Спасибо, Латиф.

– Храни тебя Аллах.

Он сел в свой фургон и скрылся в сумерках. Виктор и Ясмина стояли на ветру и смотрели ему вслед. Ясмина расстегнула цепочку и надела ее на шею Виктору. Он запротестовал, но она прижала хамсу ладонью к его груди.

– Я всего лишь женщина. Меня они не убьют. Тебе защита нужна больше, чем мне.

* * *

Первая ночь в старом хлеву была жуткой. Сырая солома. За стенами свистел холодный ветер. Бегали крысы и сновали летучие мыши. Ясмина и Виктор легли прямо в своей одежде. Совсем продрогнув, она осторожно придвинула к нему руку – вопросительно. Она ждала. Его родной запах, его дыхание, вокруг их тел лишь темнота. Как грозовая ночь ее детства, только без молний, без духоты и моря, без родителей в доме. Быть на чужбине означало быть также и без присмотра. Здесь ей можно было стать тем, чем она была, а не чем должна быть. Теперь она жалела, что была так докучлива в ночь бомбардировки, а то бы он мог, как раньше, просто взять ее за руку. Виктор сделал вид, что спит. Ясмина ждала до утра, продрогла до костей, но ее протянутая рука так и осталась одинокой.

* * *

Виктор и Жак пели «Марсельезу», как будто могли этим победить нацистов. Ясмина стояла под деревом и ловила лимоны, которые мужчины бросали ей сверху. Потом они выдавят из лимонов сок для лимонада, который на террасе «Мажестика» будут подавать немцам. Только в обеденный перерыв, когда Жак кормил овчарку, Ясмина осталась наедине с Виктором. Они устроились под деревом, разделили

хлеб и оливки, лимон Виктор разрезал пополам. Свою половинку он выжал себе прямо в рот.

– Ну что, – угрюмо спросил он, – тебе здесь не нравится?

– Нравится. А тебе?

Он отломил кусок хлеба и с жадностью принялся жевать.

– Ну это же не навсегда.

– Слушай, Виктор, насчет твоей клятвы... Я уже и сама могу постоять за себя.

– Я знаю.

– Просто мама так высказала тебе свое недовольство.

Виктор мрачно кивнул.

– Ты знаешь, что она подыскивает тебе невесту?

Виктор рассмеялся.

– Это ради папá. Она хочет, чтобы он тебя снова зауважал. Тогда ты, по крайней мере...

– Ты думаешь, мне безразлично, что происходит с папá? Я бы их поубивал, бошей!

– Почему же ты не сделаешь этого?

Виктор молчал. Его терзала совесть. Не за нарушение любовных обещаний и не за то, что наставлял рога чьим-то мужьям, а за то, что был в долгу перед своей страной. Ясмина следила за его руками, ломающими хлеб.

– Те женщины дадут тебе ту любовь, какую ты ищешь?

Он нехотя посмотрел на нее:

– Я ищу, как бы отвлечься. А не любви.

– Ты сбегашь.

– Да, может быть. И что? Разве мы не имеем на это права? Ты тоже сбегашь – в свои сны.

– Да, верно.

Виктор выплюнул оливковую косточку. Ясмина разглядывала его красивое лицо. Зимнее солнце отражалось в его ясных глазах.

– Чем тебя так привлекают замужние женщины?

Ее вопрос почему-то не вызвал у него раздражения. Как будто он и сам задавался им.

– Не знаю. Игра. Опасность.

Звучало не очень убедительно.

– Нет, – сказала Ясмина. – Ты чувствуешь себя особенным. Быть желанным для незамужней женщины просто. А замужняя ставит на кон все, и это куда более серьезное доказательство любви, не так ли?

Виктор смотрел на нее озадаченно, как смотрят на ребенка, который неожиданно выдал что-то умное. Он не возразил.

– А ведь тебе это вовсе не нужно. Ты и так особенный.

Виктор встал и отошел в сторону. Ясмина поняла, что задела его. Ее бы слова – да из уст папá, вот что было ему нужно. Только теперь до нее дошло, что старший брат не так уж и неуязвим. Она-то всегда думала, что это ей надо заслужить признание родителей, но Виктор считал иначе. Симпатия папá к Ясмине определялась просто самим фактом ее существования, а Виктор должен был ее завоевать своими поступками. Но он просто не мог отвечать высоким запросам отца. Девочек любят за то, что они есть. А мальчиков – за то, что они совершают. И теперь Ясмина понимала, что ни бурные аплодисменты, ни любовницы не способны развеять убежденность Виктора в его неполноценности.

– Я негодяй, Ясмина. Папá прав. Я думаю только о себе. За добро, которое творит папа, Господь его вознаградит. А меня нет, мне самому нужно добывать для себя все. Не откладывая на потом! Это ведь быстро пройдет, понимаешь?

Он выжидающе посмотрел на нее.

– Не говори так. И не думай, такие мысли приманивают неудачу. А ты счастливчик, Виктор. И будешь жить долго.

– Зачем? Какой от этого толк? Спою я чуть меньше или чуть больше, мир не станет лучше. Вот уж кто действительно заслуживает аплодисментов, так это солдаты, врачи и медсестры. Я могу умереть хоть завтра, от этого ничего не изменится!

Ясмина встала и подошла к нему.

– Изменится! Как ты думаешь, сколько людей будут тосковать по тебе?

– Ни одна из тех женщин не будет стоять у моей могилы. Одни меня давно забыли, другие боятся своих мужей.

– Мы будем там стоять. Твоя семья любит тебя всегда.

– А что, если, не приведи Господь, папá больше не выйдет из тюрьмы? Его жизнь в руках преступников. Мы с тобой стараемся не

думать об этом, Ясмينا, но однажды его больше не будет с нами. И мамы тоже.

– Но я-то всегда буду с тобой.

Виктор долго смотрел на нее, потом взял за руку:

– А я с тобой.

Хотелось бы ей в это верить.

– Думай обо мне как о солнце, – сказал он. – Даже когда его закрыли тучи и ты его не видишь, оно все равно есть.

Его непобедимая улыбка снова была на месте.

Со стороны поля к ним направлялись Жак с собакой.

– *Allez, les enfants!*^[35]

* * *

О том, что происходит в стране, они узнавали из писем мамы и из рассказов Лати́фа, который каждую неделю приезжал на фургоне. Алчность немцев все росла. Они высасывали страну и людей, идя от города к городу – Джерба, Сус, Сфакс, врывались посреди Шаббата в синагоги и требовали людей. Но по-настоящему их интересовали не люди, а золото. Диадемы, ожерелья, цепочки и броши, сделанные еврейскими ювелирами. Офицеры СС предлагали еврейским общинам выбор: их мужчины – или серебро с золотом. На раздумья не больше двух часов. Раввины в отчаянии ходили по домам, собирая драгоценности. И все семьи с готовностью отдавали все ценное ради спасения бесценного: жизни их детей. Целыми ящиками немцы свозили награбленное в Тунис, в охраняемую комнату отеля «Мажестик». Позже, когда драгоценности были вывезены за пределы страны и превратились в миф, их стали называть сокровищами Ромме́ля.

На еврейских кладбищах по всей стране все чаще проводились похороны – и не только жертв бомбежек. Давно умерших покойников погребали еще раз, только на сей раз в гробу лежало не тело покойника, а фамильные драгоценности. Такое происходило и на кладбище напротив отеля «Мажестик». Немцы, рассказывал с улыбкой Латиф, смотрели из окон, ни о чем не подозревая. Если ты хочешь что-то спрятать, делай это на виду у всех, чтобы никто не искал.

* * *

Папа́ был жив. Это самое главное. Виктор искал забвения в тяжелой крестьянской работе, а Ясмينا находила утешение в своих снах. Она стала записывать сны предрассветными сумерками, когда ферма еще спала, в старой школьной тетрадке, которую нашла в доме Жака. Она перевернула ее задом наперед, и упражнения по математике, которые кто-то там выполнял, оказались в конце. Каждый день она записывала своим мелким почерком новый сон. Тетрадка наполнялась жизнью, такой же перевернутой, как она сама, сокровенной жизнью, которая следовала другим законам, не математическим: в ней Ясмينا была другим человеком, то женщиной, а то ребенком, могла влезть и в шкуру мужчины. Иногда была даже кошкой или волком. И не всегда красивой. Зачастую приходилось убегать от преследователей, один раз она лежала окровавленная на земле, но даже в самом безвыходном положении всегда случалось нечто, спасавшее ее. Однажды ее подхватил большой орел и она парила в небе, абсолютно свободная. Ее утешал этот ночной мир, где страх и ужас были хрупки, где не действовал закон причины и следствия, где можно раствориться, размыться – подобно жидкости, в которую подмешивают все новые краски.

* * *

Каждый вечер, уже засыпая, Ясмينا протягивала в темноте руку. И однажды ночью Виктор наконец ответил. Он взял руку, потом обнял ее. Она зарылась в тепло его тела, осторожно, чтобы не спугнуть драгоценное мгновение. Впервые за долгие недели она спала спокойно и крепко, как ребенок. И в Викторе, казалось, тоже что-то изменилось. Здесь, на ферме, где ему нечем было развлечься, в нем что-то успокоилось. Он больше не искал, не убегал – он остановился.

– Кто там у мамы на примете? – спросил он однажды ночью, когда они лежали рядом в соломе.

– Эстер Хаммами. Она уже в таком возрасте, что сразу может рожать тебе детей. Она говорит, дети бы тебя уgomонили. Когда у тебя дети, ты знаешь, зачем живешь.

- Эстер из аптеки? Я ее почти не знаю.
- Так познакомишься. В браке-то.
- Не знаю, создан ли я для семьи. Скорее всего, буду ей изменять.

А кому же охота ранить человека, которого любишь?

- А что, тебе не хватит одной женщины?
 - Видишь ли, *farfalla*, мы, мужчины, не такие, как вы.
 - Мы тоже мечтаем о многих мужчинах. Иначе откуда бы у тебя взялось столько замужних любовниц. Нам тоже мало одного.
 - Да я бы с удовольствием жил с одной женщиной. Маленькая семья, домик, дети...
 - Почему же ты этого не делаешь?
- Он немного подумал и честно ответил:
- Не знаю, *farfalla*. Не знаю.

Глава 21

МАРСАЛА

Я – Ясмина. Ее вытянутая в ночи рука – моя, ее Виктор – это мой Джанни.

– Виктор любил Ясмину? – спрашиваю я Жоэль.

– Да. Больше всех.

– Как сестру.

– Нет, и как женщину. Чтоб ты знала, моя мать была красавицей. Необыкновенной. Его-то любовницы были чаще всего очень обыкновенными.

– Но почему же тогда...

– Почему ему недостаточно было одной женщины? – Улыбка Жоэль ироничная и грустная. – Потому что он не мог найти себя. Если бы он получил одобрение отца, ему бы не пришлось искать признания женщин. И чем больше он крутил с женщинами, вместо того чтобы делать что-то полезное, тем меньше его уважал отец. И Виктор это чувствовал. И продолжал – из протеста и в поисках утешения. Заколдованный круг.

– Но Ясмина была к нему привязана, потому что знала, что он хороший, так? Потому что надеялась: если он поймет, что любим, то успокоится.

– Ты никого не можешь изменить. Если кто-то сам себя не любит, твоей любви ему будет мало. Это все равно что лить воду в ведро с дырявым дном. Сколько сверху долъешь, столько вытечет снизу.

Я знаю. Это как с Джанни. Мы все это знаем и все равно совершаем ту же ошибку. Снова и снова.

– Но вообще-то вопрос в том, – говорит Жоэль, – почему мы так долго продолжаем лить.

Хороший вопрос. У меня нет на него ответа.

– Ясмина всегда думала, что причина в ней. Думала, что не способна от него отлепиться. Знаешь, дорогая, некоторым людям

привычное несчастье милее, чем неведомое счастье. Она не могла себе представить, что ее можно полюбить просто так. Безоговорочно.

– Тогда у них обоих, в принципе, была схожая травма?

– Некоторым образом – да. Но они-то этого не сознавали. И пытались разными способами усмирить боль. Ясмина цеплялась за него, он от нее убегал.

* * *

Когда Жоэль рассказывала мне о матери, я чувствовала Ясмину сквозь границы времени и культуры. Нас с ней связывали не привычные видимые нити – цвет кожи, язык или религия, – а невидимые. Яд отверженности, попавший в кровь Ясины в раннем детстве, был не чужд и мне. Он тек и в моих жилах. Такое мы никому не показываем, наловчились скрывать, казаться взрослыми, сильными и независимыми, – и не замечаем, насколько отравка определяет нашу жизнь. Все наши поступки – это попытки заглушить горький привкус под языком. Но яд слишком давно в нас, избавиться от него не удастся.

Мое детство не походило на детство Ясины, не было в нем ни сиротского приюта, ни сводного брата, и мой отец – хотя ушел от нас рано – никогда по-настоящему не исчезал из моей жизни. После расставания с моей матерью он перебрался в Лос-Анджелес, звонил мне на Рождество и в день рождения. Думаю, яд в кровь впрыснул мне не он, отравка проникла в меня путем более интимным и коварным – от женщины к женщине, от матери к дочери. И моя мать понятия не имела, что делится со мной своим ядом, посланием, передаваемым из поколения в поколение с материнским молоком, – мужчины бросают нас. На них нельзя положиться. Женщинам надо выживать в одиночку.

* * *

Дождь перестал. Над морем прорезалась тонкая полоска света. Жоэль стоит у окна и курит.

– Морис отправлял письма в Берлин, – говорит она. – Но полевой почте требовались недели, а то и месяцы. Да и многие самолеты не

долетали. Бабушка показывала тебе хоть одно его письмо?

Я могу припомнить только открытки. Готическим шрифтом пара строчек про верблюдов, которые много дней могут обходиться без воды.

– Он что-нибудь писал о Ясмине?

– Нет. Ничего.

Когда их пути вновь пересеклись? Жоэль утверждает, что родилась в конце 1943 года. Девять месяцев. Я отсчитываю назад.

– Если его не было в этом самолете, то почему Мориц не вернулся в Германию к моей бабушке?

– Из-за Ясины. – Жоэль многозначительно улыбается. Ей доставляет удовольствие томить меня в ожидании.

Я не могу представить, чтобы еврейская девушка, которая не замечала никого, кроме Виктора, могла закрутить что-то с немцем.

– Разумеется, ей и во сне такое не могло привидеться, – говорит Жоэль. – По крайней мере, поначалу. В ее сердце был один Виктор. А ему – как нарочно – спас жизнь твой дед.

Я думаю, что ослышалась. Жоэль задумчиво гасит сигарету и смотрит на часы:

– Как поздно, дорогая. Идем-ка спать.

– погоди! Он спас Виктору жизнь?

– Да. История невероятная. Но правдивая. У тебя хватит терпения до завтра?

– Нет.

Глава 22

Farfalla

Если мы принимаем ложь за правду, разве мы не мертвецы?

Буалем Сансаль^[36]

Война – такое время, когда видишь врага, а любимым только пишешь. В страхе и ненависти недостатка не было, а любовь словно исчезла – в каждом росло это чувство, но люди держали его при себе. За исключением дня, когда самолет доставлял почту, – это было как окно, распахнувшееся в утраченный, невинный мир. Они называли этот мир не Германией, а просто родиной. Города их детства еще стояли целыми, еще никто не думал, что ночные бомбардировки Туниса сменятся ночными бомбардировками Любека, Кельна и Дрездена.

В письмах Фанни не было цинизма, даже страха не было, она верила кинопропаганде, ведь еженедельные киножурналы – это был Мориц. Ее Мориц. Не надо быть нацистом, чтобы верить в победу немецкого народа. Надо только регулярно ходить в кино. Фанни и ее подруги каждый субботний вечер проводили в «Глория-Палас» на Кудамм, не подозревая, что скоро – уже в этом году – он обратится в пыль. Окошком в другой мир для Фанни были Хайнц Рюман, Вилли Фрич и Марика Рёкк. Звезды киностудии «Бабельсберг». Пока немецкие солдаты завоевывали другие страны, киноиндустрия оккупировала немецкое подсознание. Граница между вымыслом и документалистикой размывалась все больше, фильм и кинохроника сплавлялись в один многообещающий параллельный мир, который противостоял реальности, как солдаты противостоят превосходящим силам врага. Борьба сфабрикованной мечты с действительными сновидениями, которые слишком часто были кошмарами. Мастера обмана знали: публика по-настоящему любит лишь хорошие вести. Факты – штука грязная, путаная, полная противоречий. Они зеркало, в которое мы смотрим. А вести обещают нам прекрасное будущее,

сияющее, невредимое. И чем больше человек не любит себя, тем больше он любит добрые вести.

* * *

Мориц же видел то, чего Фанни нельзя было видеть. На последних снимках, которые он отправил в Потсдам, – покалеченные тела демобилизованных, переполненные лазареты и пустые глаза выживших. Зимние дожди, которые для Роммеля были спасением, прекратились. Американцы наступали с запада, британцы с юга. Никто не знал, что Роммель, уже отмеченный недугом, предложил фюреру вывести Африканский корпус из Туниса, во избежание второго Сталинграда. Он уже потерял тысячи самолетов, в его распоряжении имелась всего сотня танков на ходу. У итальянцев дела обстояли и того хуже. При этом в Тунисе дислоцировалось больше трехсот тысяч немцев и итальянцев. Роммель хотел их спасти. Но в мире Гитлера не существовало слова «отступление». Он приказал удерживать Тунис до последнего патрона. Вскоре после получения этого приказа Роммель тайно вылетел в Германию. Ни слова об этом не должно было просочиться в прессу. Больше на африканскую землю его нога не ступала.

* * *

Ходили противоречивые слухи. Без Лиса пустыни, в которого все фанатично верили, в войсках поселилась безысходность. И алчность. Безмерная алчность. Не хватало всего: горючего для машин, консервов для солдат и заплаток для формы. Как следствие, в обычай вошло разграбление сельских районов. Поначалу немцы еще платили крестьянам – свежееотпечатанными франками, но вскоре солдаты уже ходили по дворам, забирая все, что попадалось на глаза. Вино, овощи, кур. Даже живых коров затаскивали на свои грузовики.

Мориц с камерой сопровождал снабженцев. Для него это была возможность побыть вдали от воплей громкоговорителя, в тишине, снова стать лишь глазами. Он чувствовал, что эту территорию они уже

потеряли, и снимал детей в лохмотьях, крестьян на повозках с запряженными ослами, библейские ландшафты. И его снимки изменились – не было в них уже того удивленного, любопытного взгляда на экзотику, исчезли верблюды, пальмы и закутанные женщины, снятые со спины. Теперь он смотрел людям в глаза, их взгляд в камеру встречался с его взглядом, и во всех лицах – оккупантов и оккупированных, европейцев и арабов – он находил одно и то же чувство: страх перед неизвестностью.

* * *

Стоял безветренный вечер конца марта, когда Мориц очутился на ферме Жака. Они явились с юга – две машины, груженные мясом, овощами и фруктами, одна машина вермахта, в ней двое военных полицейских и Мориц от пропагандистской роты, вторая машина – СС, с офицером по снабжению и его ординарцем. Немцы приехали за вином, они знали, что Жак поставляет его в «Мажестик». И еще им нужна была крыша над головой. По дороге машина Морица наскочила на камень, пробивший кожух днища. Черный масляный след тянулся по песку, и когда они его заметили, мотор работал уже почти всухую.

Если просишься к крестьянину на ночлег, грабить его ферму как-то не с руки. Хотя бы до утра следует делать вид, будто собираешься заплатить за вино. А Жак не мог отказать в помощи вооруженным солдатам. Хотя бы до утра придется изображать, будто ты на их стороне.

* * *

В сарае затаились, прислушиваясь, Виктор и Ясмينا. Рев машин. Немецкая речь. Виктор погасил керосиновую лампу и оттащил Ясмину от окошка. Укутанные темнотой, они слушали, как Жак разговаривал с одним из немцев. Пытались понять, сколько их там всего. Было ясно, что у Жака нет выбора. Дождавшись, когда Жак уведет немцев в дом, Виктор подобрался к двери и запер ее изнутри на задвижку. Со

стороны дома доносились смех, стук молотка и голоса солдат, возившихся с машиной.

– Не бойся, *farfalla*, у Жака все под контролем.

* * *

Жак и правда делал все возможное, чтобы немцы опьянели и поскорее уснули, а не шатались по двору. Когда Мориц, с ног до головы вымазавшись в масле, починил машину и вошел в дом, остальные солдаты сидели за столом, а Жак щедро подливал им вина.

– Где бы мне умыться? – спросил Мориц.

Жак встал:

– Во дворе есть колодец. Я вас провожу.

Жак огляделся, пока Мориц вытаскивал из глубины ведро. Свежая вода, холодная ночь, звездное небо. Было совсем тихо. Жак протянул Морицу кусок мыла:

– Из оливкового масла. Домашнее.

– Спасибо.

– Откуда вы?

– Из Берлина.

– О, красивый город! Я там был. В двадцать девятом.

Виктор и Ясмينا слышали их голоса. Они тихо подкрались к окошку. Двое мужчин в лунном свете. По запыленному стеклу полз паук.

– У вас в Берлине семья?

– Невеста.

– У вас есть ее фото?

– Да.

Мориц достал из кармана потрескавшийся снимок. Мостки на Ванзее. Фанни в купальнике.

– Красивая. Как ее зовут?

– Фанни.

– Идите-ка выпейте, это помогает от тоски по дому.

Жак приобнял Морица и повел его к остальным, подальше от сарая. Ясмينا и Виктор ждали, затаив дыхание, когда удалятся их шаги и хлопнет входная дверь. Потом донеслось пение.

Виктор принялся тихонько подпевать.

– Раса господ, – ухмыльнулся он. – Жак их напоит до бесчувствия.

Начался дождь. Сперва едва капал, потом все сильнее и сильнее, налетая с моря, барабаня по черепице. Тяжелые капли плясали во дворе, в сточных желобах вскоре забурлило. Защитный занавес из воды.

– Как наша гроза тогда, – сказала Ясмينا и прильнула к теплому телу Виктора.

Стук капель по крыше успокаивал ее. Но Виктор нервничал.

– Надо уходить, – сказал он.

– Но... куда?

– Здесь опасно.

– Они не войдут сюда. Под дождь никто не выйдет.

Небо прорезала молния. Гром был еще отдаленный.

– Если хочешь остаться, так и быть. А я пошел. – Виктор взял свое пальто.

– Виктор, не оставляй меня одну! – Она схватила его за руку.

– Тогда идем со мной, – сказал он, накидывая пальто.

* * *

Они уходили в ночь, сквозь проливной дождь, прочь от дома, через поля, к дороге. За несколько минут они промокли насквозь. Чулки Ясмины быстро изорвались о колючки. Они добрались до проселочной дороги, что шла к Тунису.

– Куда мы идем? – крикнула Ясмينا сквозь дождь.

Он сам не знал. Остановился, огляделся в поисках какого-нибудь укрытия, вокруг бушевала стихия. Черная тьма, рассекаемая молниями, – моментальные снимки бурлящего ландшафта. Молния с треском ударила в дерево.

– В Бизерту! Может, там найдем укрытие.

– В Бизерте полиция!

– Ты хочешь здесь замерзнуть? Двигайся!

И тут раздался гром, который не был громом, и полыхнула молния, которая не была молнией. То была артиллерия. Фронт. Они побежали дальше и вскоре нашли дорогу, ведущую к Бизерте. Вдали

уже различались городские огни, когда послышался рев танков. Они едва успели отпрыгнуть в канаву, и тут из-за поворота вывернул первый танк. Фары высветили придорожные кусты, земля задрожала под гусеницами. Грохот моторов оглушал. Десятки танков ползли мимо них, стальные чудища в ночи. Черный крест вермахта мелькал в свете фар, свастика на фоне пальмы – символ Африканского корпуса. Танковая армия Роммеля следовала в столицу Туниса. Стремительное отступление под прикрытием ночи. Внезапно колонна остановилась. Над Ясминой и Виктором навис танк.

– Почему они остановились? – прошептала она.

– Не знаю.

Они ждали. Земля дрожала под работающими моторами, сквозь дождь перекрикивались немцы. Ясмина тряслась всем телом. Виктор прижал ее к себе.

– Там впереди мост. Он обрушился.

Сухие русла под дождем быстро превратились в бурлящие реки. Мост не выдержал тяжести бронированных машин. Дорога на Бизерту была теперь закрыта. Виктор выругался.

– Надо возвращаться. Мы здесь замерзнем.

Они ползком по грязи пробрались к хвосту колонны, в спасительную темноту. Потом выбрались из канавы и кинулись в поле. Промокшие до костей, они в конце концов добрались до фермы. В доме Жака было уже тихо и темно. Они прокрались в свой сарай и заперли за собой задвижку. Измученные, рухнули в сухую солому. Их трясло от холода, но сил стянуть мокрую одежду не оставалось. Чуть передохнув, помогли другу другу стащить липнущую к телу одежду, разделись догола. В их движениях не было вожделения, они просто выжили – брат и сестра.

Виктор достал сухую одежду и попону, пропахшую лошадиным потом. Разводить огонь нельзя, иначе их заметят. Так они и лежали в соломе, обнявшись, пока дрожь постепенно не унялась. Ясмина слышала, как у нее колотится сердце. Виктор убрал с ее лица мокрые волосы.

– Если они нас найдут, *farfalla*... У них пистолеты, а у меня только этот старый кинжал. Может так случиться, что я не смогу тебя защитить. Мужайся.

– Они нас не найдут.

– И всегда помни, что я тебя любил. Больше всех на этом свете.

Никогда Ясмينا не видела брата таким растерянным. Но вместо страха она вдруг ощутила странный внутренний покой. Она не знала, откуда он взялся, знала только, что теперь ее черед защищать его.

– Я тоже люблю тебя, Виктор. Очень.

– Я этого никогда не заслуживал. Я слишком мало делал для тебя. Всегда думал только о себе.

– По крайней мере, ты жил своей жизнью. Ничего не упустил.

– Упустил. Я упустил все. Если сейчас придет конец, то что останется от моей жизни? Если мне в лоб наставят пистолет, я буду думать не о женщинах, я даже имен их не помню. Я буду думать о маме, о папá. И о тебе.

– Ты не умрешь, Виктор.

– Нет, конечно, нет.

Его голос звучал не так уверенно, как ему того хотелось.

Какое-то время оба молчали. То было молчание глубокое и объединяющее, такого не бывает между любовниками, только между старыми друзьями.

– Ты права, – сказал он в темноту. – Может, я убежал только от тебя. Потому что это было слишком явно. С самого детства. Никто меня не знает лучше, чем ты.

Ясмينا улыбалась. Едва ли он мог видеть это в темноте.

– Может, это и впрямь предназначение.

– Не знаю, Виктор. Ты всегда был предназначен для мира. Для большого света. Для многих людей. А мне хватает маленького кусочка мира.

– И что, если мой большой мир здесь закончится?

– Нет, Виктор. Помнишь, что тебе предсказала синьора Кучинотта?

Синьора Кучинотта была матерью сицилийской портнихи на рю Сципион, христианка с колючими глазами и кривыми зубами. К ней ходили все окрестные женщины. Мама однажды, ничего не сказав папá, взяла с собой детей, когда забирала из починки платье. Виктор и Ясмина стояли в темной лавчонке и не понимали, для чего синьора поставила на швейный стол своей красивой дочери чашку из-под крепкого кофе и попросила Виктора опрокинуть ее на блюдце. Виктор подчинился. Синьора подняла эту чашку и рассматривала узор

кофейной гуши на белом фарфоре. *Он поедет за границу*, сказала она. *Он увидит мир. Он совершит великое.* Ясмينا и сейчас помнила, как просияла мама. И как сама она гордилась своим великим братом. О судьбе Ясмины мама не спросила. Предназначение женщины было слишком хорошо известно. На обратном пути мама предупредила детей, чтобы ничего не говорили папá. А то, дескать, это принесет несчастье.

– Эта Кучинотта та еще лгунья. – Виктор не сдержал улыбки. – Она сказала, что однажды я стану солдатом и буду сражаться за родину. В детстве мне это казалось самым лучшим, что может случиться. Но синьора ошиблась.

– И еще, что у тебя будет *bella figlia*^[37]. Помнишь?

– Дочь? Нет, уже не помню.

– Да, она так сказала.

– А не предсказала ли она и нацистов? Может, я и до рассвета не доживу.

– Не говори так! *Porta sfortuna!* Накаркаешь несчастье!

Виктор встал, подошел к двери, проверил замок. Снаружи шумел дождь. Он вернулся, пробираясь на ощупь. Ясмينا почувствовала на ладони тепло его руки.

– *Farfalla*. Прости меня.

– Тебе не за что просить прощения, Виктор.

– Когда кончится война, когда папá выйдет из тюрьмы...

– Ничего не обещаю. Мы не знаем, что будет. Достаточно того, что ты меня обнимешь.

* * *

Далеко за полночь Мориц вышел во двор. Дул ветер, темные тучи разошлись, и сквозь них прорвался лунный свет. Дождь закончился, с крыш и деревьев срывались тяжелые капли. Мориц подошел к колодезю, осторожно спустил ведро, вытянул и напился свежей воды.

Он не мог спать. Роковые вести с фронта, близкая артиллерийская канонада и ощущение бессмысленности его пребывания в Африке не давали покоя. Сделает он здесь парой снимков больше, парой меньше – это ничего не изменит в исходе военной кампании. Офицеры знали,

что миф об Африканском корпусе держится только на славе минувших дней, – так большое дерево, которое с виду еще крепкое, внутри давно прогнило и рухнет при первом сильном порыве ветра.

Мориц уже собирался вернуться в дом, но тут уловил какой-то звук. Походило на что-то животное. Темный зов из глубины, тяжелый, словно ниоткуда. Тихий звук растворялся среди других звуков ночи – совиного уханья, далекого волчьего воя – и потом снова вплетался в них. Но теперь в нем было что-то человеческое. Что-то почти забытое. Мориц глянул в сторону хлева. Какое мне дело, подумал он. Но его все-таки тянуло выяснить. То было и любопытство фотографа, и нечто большее. Нечто могущественное, но ускользавшее от его понимания.

Окошко хлева было темным. Звук исходил оттуда, едва слышный. Он двинулся к зарешеченному, почти слепому оконцу и заглянул внутрь. Мокрая паутина колышется на ветру. Холодная каменная кладка под ладонями. Не так много он мог увидеть в лунном свете, но потом глаза привыкли, и он различил, как что-то светлое двигается в темноте. Нагое тело, спина, плечи, мужчина или женщина, нет, мужчина *и* женщина, которые сплелись так тесно, что казались единым существом. Женщина тихо стонала. Мужчина молча двигался. Тела были красивы, их движения яростны, но в то же время полны покоя, абсолютно синхронны.

Мориц ощутил возбуждение. Почти полгода прошло с тех пор, как он виделся с Фанни. Он не имел права смотреть, но все-таки не мог отвести глаз. Пока он всего лишь наблюдатель, пока его взгляд ничего не нарушает, он может смотреть, сказал он себе. Он считал себя невидимым.

А потом он увидел ее глаза. Сперва белки, ярко блеснувшие в темноте, потом черные провалы зрачков посреди белизны, когда она его заметила. Ее тело продолжало ритмично двигаться, но голова замерла. Ужас был лишь в ее распахнутых глазах, но не в теле, будто оно двигалось во сне, неподвластном ее сознанию.

Взгляд, устремленный на Морица, был средоточием тишины, невысказанностью, переросшей в мольбу, сочившуюся из ее глаз. Его неподвижность, казалось, ее успокоила, она продолжала постанывать, чтобы не встревожить любовника, тогда как глаза были прикованы к мужскому лицу за грязным стеклом. Неподвижность Морица сигналила – они сообщники, и женщина тоже ничего не делала.

Морицу было стыдно, но он не мог отвести взгляда. Евреи, наверное. В те времена такая мысль приходила первой. В девушке он не узнал молчаливую горничную из «Мажестика», рядом с которой сидел в траншее во время бомбежки. Он видел лишь сияние женского тела в темноте, где-то в тунисской глуши. Любой из его товарищей либо поднял бы тревогу, либо воспользовался ситуацией. Но Мориц ничего не сделал. Взгляд его был прикован к женщине, а она так же пристально смотрела на него через обнаженное плечо мужчины, слившегося с ней. Смятенное согласие связало двух незнакомцев – пара глаз в темноте и силуэт в лунном свете. Они дали этому свершиться.

– О боже, моя башка!.. – Чей-то голос разорвал ночь, словно выстрел.

Мориц резко обернулся. Луч карманного фонарика метался в темноте. Человек на пороге пошатнулся, затем шагнул во двор, расстегивая ширинку. Мориц смотрел на него, не произнося ни слова. Вальтер Рудель, офицер СС, коротко посветил фонариком ему в лицо, потом встал рядом и стал мочиться на каменную стену хлева.

– Прихватим пару ящиков этого вина, а?

Морицу надо было как-то его отвлечь. Сохранить безмолвный пакт между ним и той чужой женщиной. Они там наверняка услышали голос Руделя, поскольку в хлеву установилась полная тишина. Мориц повернулся к дому.

– Когда мы отправляемся? Мне надо пораньше быть в Тунисе.

– В семь часов по коням... Что это было?

Что-то легонько стукнуло внутри хлева.

– Где?

– Там, внутри. Вы не слышали?

– Нет.

Рудель застегнул брюки и шагнул к окну:

– У него есть коровы?

– Нет у него коров. Идем.

Мориц чувствовал комок в горле. То была его вина. Не стой он под окном хлева, Рудель даже не подошел бы к стене. Рудель посветил в окошко. Мориц не знал, что он там увидел, но почувствовал, как

Рудель вдруг напрягся, точно охотничий пес, взявший след. И тут внутри послышались шаги.

Раздался скрежет, дверь распахнулась, и на улицу выскочили двое. В чем мать родила. Рудель завопил, поднимая тревогу, и кинулся вдогонку. Мориц устремился за ним в оливковую рощу. Ветки хлестали по лицу. Он видел только скачущий луч карманного фонарика в темноте, но догадался по шорохам, что беглецы разделились. За кем из них гнался Рудель, за мужчиной или за женщиной, Мориц не видел. Но знал, что Рудель быстрее, – он был в сапогах.

Когда Мориц, запыхавшись, догнал его, тот уже швырнул беглеца на землю. Голый мужчина рычал как раненый зверь. Рудель прижал его к земле. Мужчина плюнул Руделю в лицо. Рудель в ярости пнул его в живот, потом снова и снова, пока тот не скорчился от боли.

– Хватит. Он же не оказывает сопротивления.

Вдали слышался треск. Женщине удалось ускользнуть. Рудель посветил фонариком в лицо мужчины. Кровь заливала безумные глаза, длинные спутанные волосы и борода перепачканы в грязи. Мориц не узнал его.

– Кто ты такой? Почему убегаешь? Отвечай, быстро!

Виктор загородил лицо локтями.

– Гляньте на его конец! – крикнул Рудель. – Еврейская свинья.

– Мусульмане тоже обрезанные.

– Эй! Ты еврей? Переведите ему!

– *Lei è ebreo? Juif?*

Мужчина молчал. В глазах пылали ненависть и боль.

– Почему прятался?

Тут Рудель заметил что-то, висевшее на шее мужчины на цепочке. Схватил подвеску и посветил на нее. Серебряная ладонь со звездой Давида. Он победно ухмыльнулся.

* * *

В сарае они нашли коричневый чемодан с одеждой и французским фотоаппаратом «Лонгчамп», а также кожаную записную книжку с именами, телефонами и адресами. Имена были мусульманские, европейские и еврейские. И серебряный кинжал. Еврей,

скрывающийся от принудительных работ. Еврей, который не сдал свой фотоаппарат. Вооруженный еврей вблизи линии фронта. Рудель чуял хороший улов. Саботажник, шпион, ценная добыча. Его личная победа посреди всеобщего поражения.

– *Non, mon colonel*, я не знаю этого господина, – уверял Жак.

Рудель не верил ни единому слову француза и грозил заодно арестовать и его. Мориц видел его игру насквозь, слишком часто ему приходилось наблюдать такое. В конце концов Жак смог откупиться – за двенадцать ящиков вина. Все, что могло поместиться в машины. Рудель потребовал еще рубашку и штаны для арестованного. Не для того чтобы сохранить его достоинство, а чтобы не привлекать внимания на дороге.

– Снимок! Райнке, сфотографируйте нас!

Рудель позировал со своим пленником, как охотник с крупной добычей. Темная борода, затравленный взгляд, руки, связанные впереди веревкой. Мориц, держа камеру в руке, колебался. Имел ли он право фотографировать этого человека в столь униженном состоянии? Пленник посмотрел на него так, будто узнал его, но тотчас отвел глаза. Мориц задумался, не видел ли он его раньше. Рудель поволок свой трофей к машине, все с той же торжествующей улыбкой. Мориц поднял фотоаппарат и быстро нажал на спуск, чтобы покончить с этим недостойным спектаклем. В Потсдаме вряд ли понравится такая фотография. Он погрузил сумку с камерой в машину и оглянулся на оливковую рощу, залитую рассветными лучами. Где-то там она, должно быть, спряталась. Женщина без одежды.

* * *

Мориц вел машину. Рудель сидел рядом, его ординарец и связанный пленник – на заднем сиденье. Ящики с вином ехали в другой машине. Они миновали танковую колонну, которая остановилась еще ночью. Солдаты из танков в начале колонны ремонтировали рухнувший мост. Новые дурные вести с фронта. В зеркале заднего вида Мориц наблюдал за глазами арестованного, которые все внимательно фиксировали. Казалось, пленник понимает, о чем они говорят. Любая дурная для немцев новость повышала его

шансы выжить. Всякий раз, когда их взгляды в зеркале встречались, пленник отводил глаза. Чтобы развеять общую подавленность, эсэсовец на заднем сиденье затянул песню. *Heia Safari*. Как будто Роммель все еще среди них. Рудель не подпевал. Мориц перебил песню, заведя *Rolling Home*^[38]. Когда эсэсовец на заднем сиденье запротестовал, пришлось объяснить, в чем разница между вражеской песней и песней моряка на нижненемецком диалекте. *Rolling Home to Dear Old Hamborg*^[39]. Они не понимали шуток, не знали традиций, эти эсэсовцы. В конце концов сошлись на песне, которая годилась всегда, для всех. *Lili Marleen*. Мориц думал о Фанни. И внезапно вспомнил, где он уже видел этого арестованного. Он уставился в зеркало.

Виктор, должно быть, почувствовал это, потому что на сей раз не отвел глаза. Они молили: *пожалуйста, не выдавай меня!* Витторио. Еврей, у которого хватало наглости скрываться среди них, за пианино в баре. Которого они застукали на связи с партизанами. Вероятно, он и в самом деле шпионил! Может, собирался заложить бомбу в «Мажестик». Иначе зачем путался среди них? *Пожалуйста, не выдавай меня!* Мориц перевел взгляд на дорогу. У него тридцать километров пути на раздумья. Время, чтобы ничего не говорить. Или все сказать. Еще никогда в жизни его слова не имели такого веса. Слова, которые легко и быстро выговаривались, но одним ударом покончили бы с жизнью Виктора. Без всякого результата для Морица – ордена за такое не получишь, это был просто долг. Но если он промолчит, никто не обвинит его в нарушении долга. Ну не узнал он в заросшем типе того парня, и что? Заметка на полях в его путевом дневнике – жизнь или смерть другого. *Пожалуйста, не выдавай меня!*

* * *

Промолчать было легко. Мориц не раздумывал, жалость то была или трусость. Он знал, что молчание проистекало из его природы, принципа, согласно которому он жил, – не вмешиваться. Мориц припарковался у «Мажестика» и принялся выгружать кинооборудование, пока Рудель вытаскивал Виктора. В военной тюрьме все камеры были забиты грабителями, ворами и укрывателями краденого – нежданное везение для Виктора. Охранники не узнали

парня, когда Рудель провел его через центральный вход и потащил к лестнице, но не к изогнутой парадной лестнице, а к узкой служебной лестнице вниз, в подвал. Маленькую фотокамеру, найденную в вещах Виктора, Рудель отдал Морицу. Пленка была наполовину отснята. Морицу следовало ее проявить. Если на фотографиях прифронтная полоса, то это докажет шпионаж. Мориц взял камеру. Он не видел, что было во взгляде Виктора – благодарность или мольба о помощи. Не захотел видеть. Этот взгляд напоминал взгляд человека в видоискателе. Испуг, удивление, упрек. Мориц пошел наверх к себе в комнату, предоставив Виктора его судьбе.

* * *

Мориц наслаждался роскошью горячей ванны. Медленно превращаясь обратно из животного в человека, он то и дело поглядывал на камеру Виктора из черного бакелита, которая стояла на раковине. Выйдя из ванной, он надел чистую рубашку. Потом опустил жалюзи, включил в ванной красный свет и вынул из аппарата кассету с пленкой. Осторожно заправил пленку в фотобачок, проявил, обработал в фиксаже и повесил пленку сушиться.

Склонив голову набок, он проглядывал негативы. Ни танков, ни мостов, ни улиц. Сплошь одна и та же женщина. Когда пленка высохла, Мориц вставил ее в фотоувеличитель, выбрал один из кадров и сделал отпечаток. На фотобумаге, погруженной в проявитель, медленно проявлялось – словно его рисовала невидимая рука – невозможно красивое лицо. Черные кудри, темные сияющие глаза и застенчивая улыбка. Женщина явно не сознавала своей красоты. И во всем облике – дикая гордость, готовность оставить красоту при себе, сохранить ее для того единственного, кого она сама выберет. Это была та женщина, на которую Мориц смотрел в темноте. С которой он заключил безмолвный пакт. Которую, сам того не желая, выдал. Хотя он был теперь один, но чувствовал себя – еще больше, чем минувшей ночью, – человеком, вторгшимся в запретный мир. Улыбка женщины в камеру была намного доверительнее, чем взгляд, устремленный на Морица. В улыбке была та непритворная радость, какую дарят лишь единственному человеку на свете. Мориц внезапно почувствовал

непонятную ревность к мужчине, сфотографировавшему ее. Он отпечатал фотографии с каждого кадра, повесил сушиться. А снимая просохшие снимки, понял, что не хочет показывать их Руделю. Сам не зная, почему.

* * *

Вечером он спустился в бар отеля и заказал себе пиво. На пианино тренькал какой-то солдат. Двумя этажами ниже, в подвале, сидел взаперти Виктор. Скоро его будут пытаться. Может, выдаст кого-нибудь, кто сейчас закладывает бомбу. Может, спасет этим жизнь какого-нибудь немецкого солдата. А может, и свою собственную.

* * *

Когда Мориц уже собирался лечь спать, в дверь постучали. Требовалась помощь при допросе арестованного. В качестве переводчика.

- Сейчас? Да ведь уже полночь.
- Сейчас. Приказ оберштурмбаннфюрера.

* * *

Войдя в сырой подвальный чулан, он едва узнал Виктора. Глаза у того заплыли, лицо залито кровью. Он сидел на корточках на холодном полу, скрючившись как эмбрион, и дрожал. Чем его били, Мориц не видел, заметил лишь опрокинутый стул, на спинке которого запеклась кровь. На шее пленного все еще болталась цепочка с серебряным амулетом. Звезда Давида в ладони Фатимы.

– Он все время говорит: *Italiano, non capisco*, – проворчал Рудель, заноса ногу для пинка.

Виктор вжал голову в плечи. Рудель засмеялся, пинать не стал.

– Но вы когда-нибудь видели католика с обрезанным концом? Так, жид поганый, сейчас *capisco molto bene*^[40], этот господин переведет

нашу дружескую беседу, так что все снова здорово. Имя?

Мориц не мог заставить себя взглянуть на него.

– *Nome?*

– Витторио ди Дио.

– Национальность?

– *Nazionalità?*

– *Italiano.*

– Это и я понимаю, это вам не надо переводить, – рявкнул Рудель. – Религия?

– *Religione?*

– *Cattolico.*

Но не успел Мориц перевести, как Рудель с внезапной свирепостью нанес Виктору удар. Мориц многое повидал за годы войны, но еще никогда не видел человека, который бы так упивался муками другого. На фронте не принято наслаждаться болью, даже врага. А этот человек буквально пьянел от нее. Мориц отвернулся. Еще одна картинка, которую лучше не снимать.

* * *

Он знал, почему не стал записываться в СС, когда в его школе набирали в эту службу. Добровольцы есть? – выкрикнул офицер. Все знали, сколько живут в этой элитной службе. Пару месяцев. Фанатизм, слепая готовность пожертвовать собой, вера в свою избранность. Никто в классе не встал. А один из мальчиков начал гудеть. Очень тихо, не раскрывая рта, чтобы его не опознали. Второй подхватил, и скоро гудел весь класс. Это был протест. Взгляд, устремленный перед собой, невинное лицо – и полный класс пчел. Пока побагровевший эсэсовец не выбежал вон. В СС шли только карьеристы, драчуны, тупицы и те, кто, натерпевшись насмешек, рвался очутиться на стороне силы. Именно таким был Рудель. Может, в школе его дразнили жирдяем, прыщавым или пидором. Мориц давно привык к хладнокровию, с каким его товарищи убивают. Каменная бесчувственность, с какой они нажимают на спуск, полное бесстрашие. Но никто не выказывал при этом удовольствия.

– Скажите ему, мы знаем, кто он! И что у него нет шанса. Разве что он выдаст нам имена. *Capisce!* Мне нужны имена! Адреса! Я хочу истребить всю их банду!

Мориц перевел.

Виктор молчал.

* * *

В какой-то момент, между двумя и тремя часами ночи, – Мориц не понял причины – Рудель прервал допрос.

– Идемте, Райнке, покурим.

Когда они стояли снаружи, глядя на темный проспект де Пари, Рудель сказал:

– Завтра прикажу его расстрелять.

– Почему?

Рудель пожал плечами. Он просто потерял к пленнику интерес.

– Можно и прямо сейчас, но порядок есть порядок. В местной комендатуре заправляет вермахт. Так что завтра увезу его к Рауфу на виллу, там разговор короткий.

Казнить без подписи начальства нельзя. Каждый еврей, живой или мертвый, педантично архивировался. Даже если свидетельство о смерти зачастую поддельвалось, цифры должны были сходиться. Есть правила, и они должны соблюдаться. Словно бюрократия могла заменить мораль. Справедливо или нет, определялось исключительно записями на бумаге.

– Кстати, вы проявили пленку?

– Да.

– И что там?

– Ничего.

– Как, совсем ничего?

– Да, он только что зарядил пленку. Отснять ничего не успел.

Рудель затянулся, бросил окурочок на землю и затоптал. Потом пожелал спокойной ночи и оставил Морица одного.

* * *

Мориц вернулся в отель. В холле стояла тишина. В баре было пусто. Он сел за пианино. Он уже очень давно не играл. Терции «Лунной сонаты». Он удивился, с какой легкостью звуки стекали с его пальцев. Значит, он еще не совсем разучился быть человеком. Двумя этажами ниже лежал запертый в закутке Виктор. Уже половина четвертого, через пару часов они его заберут. Мориц играл по памяти. Пианино было слегка расстроено. Мориц смотрел на свои ладони и вслушивался в звуки, удивляясь – словно играл не он сам, а нечто, протекавшее через него. Акустика пустого помещения. Взгляд скользил по столам и стульям, на которых не раз сидел и он, и его товарищи, когда играл Виктор. Чем же они различаются, если один на свободе, а второй лежит в луже собственной крови? Чем он, Мориц, заслужил такую привилегию? Он, чужак в стране Виктора. Через два часа над морем взойдет солнце, но Виктор его уже не увидит – это последняя ночь в его жизни.

* * *

Когда Мориц спускался в подвал, у него еще не было решения. Он не знал, почему вместо изогнутой парадной лестницы, ведущей наверх, он свернул к лестнице вниз. Может, потому, что в комнате его никто не ждал, а в подвале был человек. Может, потому, что чувствовал: человеческое, которому он почти разучился, находится не в баре и не в офицерском собрании, а в темноте подвала.

Рудель не выставил охрану, чтобы не спорить с вермахтом насчет того, чья это обязанность. Мориц осторожно отпер дверь чулана. Виктор лежал на полу, едва различимый в слабом свете. Глядя на его истерзанное тело, Мориц вспомнил одну картину, которая когда-то привела его в смятение. В детстве он стоял на коленях на жесткой скамье в их деревенской церкви, пока пастор махал кадильницей, и смотрел на освещенный свечами крест над алтарем – Иисус, в муках уронивший голову набок, залитый кровью, в терновом венце. Маленький Мориц тогда испугался, и он спрашивал себя, почему взрослые такие спокойные, хотя тоже смотрят на страдания Христа. Как к этому можно привыкнуть. И вот он лежал перед ним. Виктор медленно приподнял голову и посмотрел на него. Мориц потрясенно

молчал. Его потрясли не ужасающие раны на лице Виктора, а то, что они скрывали. *Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне*^[41]. Эти слова из забытого воспоминания, из потерянного мира внезапно прозвучали у него в голове.

* * *

То, что он сделал потом, не было никаким планом. Он действовал неторопливо, почти с сомнамбулической точностью. То был один из тех моментов, когда поступки не следуют какому-то замыслу, а вытекают из ситуации, в центре которой ты находишься, – как удачный кадр, который получился спонтанно, без усилий, только Мориц сейчас был не фотографом, а самим кадром. Он закрыл дверь, поднялся к себе в комнату и достал из шкафа рюкзак. Сложил в него походную фляжку с питьевой водой, две банки сардин в масле из английских трофеев, пачку сигарет и карту, на которой пометил линию фронта. Фотоаппарат пленника он оставил у себя. И снимки. Потом снова спустился в подвал, так никем и не замеченный.

Открыл дверь и вошел в темный чулан. Виктор вздрогнул и приподнялся в ожидании удара. Мориц приложил палец к губам, твердо посмотрел ему в глаза и протянул рюкзак. Виктор не двигался. Он был в растерянности. Мориц знаком велел ему взять рюкзак и посмотреть внутрь. Виктор нерешительно подчинился и замер. Это ловушка?

– Если вы поторопитесь, то до восхода солнца покинете пределы города. Британцы стоят в восьмидесяти километрах к западу, недалеко от Бизерты. Всюду хаос. Вам только нужно избегать больших дорог.

Виктор продолжал на него тарашиться. Мориц не стал дожидаться ответа. Ему следовало поскорее убраться отсюда.

– На улице у входа охранник. Я заговорю с ним и отвлеку. Через пять минут выходите через гараж директора отеля. И чтоб никакого шума, понятно?

Виктор кивнул. Он поправил воротник, будто ему было неловко выходить на улицу в мятой рубашке.

– *Grazie.*

– *Di niente.*

Мориц отступил в сторону. Виктор встал и шагнул к двери, там обернулся:

– У вас есть чем писать?

Мориц достал из кармана брюк карандаш. Виктор оторвал уголок от карты и нацарапал адрес.

– Мои родители. Альберт и Мими Сарфати. Прошу вас, скажите им, что я жив.

Внизу он подписал еще пару слов: *È un amico*. Это друг.

– Покажите им это. Они знают мой почерк. И скажите им, что Ясмина смогла убежать.

– Ясмина?

Та голая женщина в оливковой роще.

– Ваша жена?

Вспышка в глазах Виктора сбила Морица с толку.

– Скажите им, чтоб не беспокоились. Я вернусь.

* * *

Мориц вышел из отеля на проспект де Пари, попросил у охранника огонька и поделился с ним сигаретами. Они болтали о девушках из борделя, смеялись, и только Мориц услышал, как в темноте тихо скрипнула гаражная дверь. Никаких шагов – босые ноги ступают беззвучно.

Обрывок карты Мориц сунул в конверт с письмом Фанни, отпечатанные фотографии сложил в папку с собственными снимками и лег в постель. Впервые за многие месяцы он спал крепко. Допрос на следующий день он выдержал спокойно. Рудель был вне себя, но что он мог поделать. Ночью Мориц вывинтил карманным ножом дверной замок, чтобы все выглядело так, будто арестованный освободился сам. К вечеру дело было кончено. Рудель разорвал протокол, чтобы не оставлять документальных следов своей неудачи. Никакого арестованного никогда и не существовало.

* * *

Мориц едва мог поверить происшедшему. Он выступил из тени, вмешался и все же остался невидимкой. Без его вмешательства мир был бы другим. На одного человека меньше. Почему он это сделал? Потому что слышал его пение, игру на фортепиано? Ощутил сходство с ним, из-за любви к музыке и знания итальянского? *Возлюби ближнего твоего как самого себя.* А будь это просто человек с улицы, необразованный и, может, даже неприятный, он бы его тоже освободил? Нет, наверняка нет. Есть люди, которые прячут евреев просто потому, что они евреи. Из принципа. *Враг моего врага – мой друг.* Эти люди готовы умереть за убеждения. Он же действовал просто из симпатии. Он не был героем. Он хотел сделать не что-то особенное, а что-то простое – Виктор ему нравился.

Однако этот поступок спас не только жизнь другого, но и его собственную. В ту ночь, освободив Виктора, он и сам обрел нечто потерянное – свободу следовать не приказу, а чему-то иному, что уничтожает в человеке война, внутренний компас, различающий правое и неправое. Только теперь Мориц осознал, что где-то на пути в Африку он предал себя самого. Обменял на слепое послушание. Потерял веру, что принадлежит к лучшей части человечества. Получив взамен мнимое превосходство наблюдателя. Он вспомнил, кто он на самом деле: не оператор, не зондерфюрер из пропагандистской роты, даже не немец. Просто человек среди людей.

* * *

Мориц не пошел к родителям Виктора. Он не хотел рисковать. И как бы они отреагировали, если бы к ним постучался враг? У него не было доказательств. И неизвестно, кому семья расскажет, что их посетил немец. Город наводнен соглядатаями. Мориц предпочел промолчать. Если о чем-то не говорят, значит, этого и не происходило. Во время бомбежек он порой думал о Викторе. Удалось ли тому перебраться за линию фронта, через алжирскую границу?

И еще он думал о той женщине на снимках. О Ясмине.

Глава 23

МАРСАЛА

Я не нахожу слов. Расскажи мне эту историю кто-нибудь другой, я бы не поверила. Но какие причины лгать у Жоэль?

– Это значит, что мой нацистский дедушка...

– Я же тебе сказала, он не был нацистом. Вы ничего не знали об этой истории?

– Нет. Ничего.

– Да, он не хотел, чтобы о ней узнали.

Я встаю, выхожу на террасу отеля, чтобы отдышаться. Утро пахнет сыростью и солью. Розовый молочный свет покоится над пляжем. Жоэль выходит вслед за мной.

– А твоя мать? Что случилось с ней после побега?

– Ее нашел Жак, почти замерзшую в оливковой роще. В яме, которую она вырыла голыми руками. Она долго болела. Через какое-то время друзья Альберта все-таки смогли добиться освобождения заложников. И в тот же день Альберт поехал на ферму, чтобы забрать Ямину.

– Но ведь ваш дом конфисковали немцы?

– Да. Они снова поселились у Латифа в Медине. До прихода союзников. Через месяц с небольшим танки коалиции стояли у города. Тунис был последней крепостью немцев и итальянцев. Сотни тысяч солдат оказались в котле. Больше, чем в Сталинграде. Они даже называли город Тунисградом.

В улыбке Жоэль проступила жесткая горечь.

– Им нечего было есть, у них не было горючего, не было надежды. Оставалось сидеть со своими мадемуазелями в кафе, наливать коньяком и нежиться на весеннем солнце. Бомбардировщики теперь прилетали и днем и ночью, зениток почти не осталось. Уже никто не скрывал упаднических настроений. А потом произошел безумнейший поворот. Без которого я бы сейчас здесь не сидела. Но на сегодня

хватит, дорогая. У меня кончились сигареты, и мне надо поспать. Завтра поговорим.

* * *

Я была слишком взбудоражена, чтобы заснуть. Мне хотелось прокричать услышанное миру. Но рассказать было некому. Кому интересно, что я сама не своя от облегчения, удивления и смятения? Жоэль отправилась к себе в комнату, а я стою одна на террасе, глядя на восход. Может, Жоэль – единственная родственница, какая у меня осталась. Хорошо бы рассказать хотя бы подруге. Я возвращаюсь к себе в комнату, чтобы взять телефон и проверить почту. Во «входящих» неожиданное сообщение – из справочной службы вермахта. *На Ваш запрос направляем Вам, согласно договоренности, документ W-Gen. St. Abt.Nr.5837/78g.Kdes (IC), а также поименный список потерь № 687420 по группе войск «Африка» от 7.5.1943.*

Список пассажиров.

* * *

Я открываю документ. Имена экипажа мне уже известны: *Бовензипен. Фон Митцлафф. Трибель.* Затем следуют имена пассажиров. Мой палец скользит по строчкам.

Райнке, Мориц, зондерфюрер пропагандистской роты (гр. войск «Африка»).

Это как неожиданный удар. Он был на борту. Официальное подтверждение. Поименный список потерь доказывает это: личный опознавательный номер, номер полка, дата рождения, квадрат, где упал самолет. Начало и конец жизни в точных цифрах. Этот список – повестка о его гибели, похоронка.

* * *

Когда я добираюсь до порта, утренняя заря уже уступила место яркому свету дня. Катер Патриса покачивается у причала. К берегу притарахтела рыбацкая лодка. Я запрыгиваю на борт и зову его. Но вместо Патриса из каюты выбирается молодая итальянка со спутанными волосами. На ней ничего, кроме майки, едва прикрывающей бедра. Я спрашиваю про Патриса, и она его зовет. Не хочу ли я кофе, спрашивает меня.

– *No, grazie.*

Он выходит на палубу с чашкой в руке. Короткие брюки и рубашка, открывающая тренированный торс.

– Мне прислали список пассажиров.

Патрис мгновенно просыпается. Я показываю ему список в моем телефоне.

– Заводской номер совпадает. Это наш самолет!

Он прокручивает список вниз... находит Морица.

– Я же тебе говорил. Почему ты мне никогда не веришь? – Он улыбается. Замечает, что я не разделяю его радости, и удивленно спрашивает: – Неужто ты и правда думала, что он еще жив?

Я бы с удовольствием рассказала ему то, что знаю теперь о Морице. Что он не был нацистом. Что он рисковал своей жизнью ради другого. Но я молчу, потому что не могу сказать, от кого я это знаю. И еще потому, что не уверена, насколько можно верить Жоэль. Ведь этот документ опровергает ее утверждение, будто его не было на борту. Что весомее – цифры или слова? Служебная записка или устный рассказ из вторых рук? Если он был в самолете, что же тогда правда в остальной части ее рассказа? Интуиция подсказывает, что рассказ правдив, но я научилась не доверять интуиции. И не только в археологии.

– Кто составлял такие списки?

– Начальник тыла аэродрома. Обычно их потом посылали в Берлин. Но в данном случае аэродром был захвачен войсками коалиции. Поэтому международный Красный Крест получил списки от войск коалиции. Они собирали сведения о потерях со всех сторон и позднее свели их воедино. Видимо, этот список именно так и попал после войны в Берлин.

– Вот чего я не понимаю, Патрис: если он официально объявлен погибшим, почему мы так никогда и не получили похоронку?

– Это легко объяснить. Красный Крест реагирует только на запросы. Ты должна написать заявление о поиске пропавшего.

– Но бабушка делала это.

– Твоя бабушка писала запрос в Красный Крест?

– Да. Мне об этом рассказывала мать. Она в детстве непременно хотела знать, что случилось с ее отцом. И ответ был: пропал без вести.

– *C'est bizarre*^[42].

Больше он ничего не добавляет. Его явно интересует что-то другое. Патрис прокручивает список дальше и замирает.

– Что такое?

– Черт. Никого из СС. Видишь? Все только вермахт. Офицеры, в том числе высоких чинов, но ни одного эсэсовца на борту!

– Ты хочешь сказать, кто же тогда сопровождал награбленные драгоценности?

Выразительным взглядом он дает понять, чтобы я не говорила лишнего при итальянке в майке.

– А что же те два свидетеля, которые якобы видели?..

– Может, то был другой борт.

– А что, вермахт не мог вывезти эти ящики из страны?

– Маловероятно. Но, может, твой нацистский дедушка все же имел отношение к этому делу.

– Он не был нацистом! – вырывается у меня. Более страстно, чем мне бы хотелось.

Он удивленно смотрит на меня:

– Откуда тебе это знать? Ты же сама всегда говорила...

Надо прикусить язык. Но он уже догадался. Глаза его сужаются.

– Ты все-таки говорила с этой женщиной?

– Да.

Он раздраженно отворачивается. Я чувствую себя виноватой. И вместе с тем не понимаю, что я такого сделала.

– И она тебе рассказала, что твой дедушка был невинным агнцем? Чтобы подольститься к тебе.

– Я ей ничего про тебя не говорила.

– *Quelle merde*^[43], Нина!

Тут у меня лопается терпение.

– Что за секретность? Познакомься уже с ней сам!

Итальянка в майке изумленно таращится на нас. Патрис молча скрывается в рубке. Итальянка спешит следом. Я остаюсь одна, никому не нужная. Вскоре появляется господин Бовензипен и приветствует меня. Остальные сегодня отправились на экскурсию, сообщает он, к ветряным мельницам. Патрис заводит двигатель. Катер вздрагивает. На палубу выходят водолазы Бенва и Ламин.

– Надо воспользоваться хорошей погодой, – кричит из рубки Патрис. – Когда начнутся шторма, искать не сможем.

Итальянка обхватывает Патриса сзади руками. Он целует ее.

Они живут, думаю я, а я нет. Я все еще сижу под камнем. Не жалуйся, Нина, ты сама так решила.

Я поднимаюсь на причал, не попрощавшись. Когда они отчаливают, я уже на дороге.

* * *

Бреду вдоль пляжа в сторону отеля, уставшая, но возбужденная. Хочется с кем-нибудь поговорить, чтобы приглушить смятение. Но с кем? Я еще не решила, показывать ли список Жоэль, и тут вижу ее. Она сидит на веранде купальни, закутавшись в широкий палантин. Пустые кабинки для переодевания, облупившаяся белая краска на деревянных мостках, растрепанная пальма. Жоэль поднимает глаза от книги, улыбается мне и машет рукой. Я медлю, но потом все же направляюсь к купальне и опускаюсь на сломанный шезлонг рядом с Жоэль. Она протягивает мне бриошь из бумажного пакета и принимается болтать о книге, которую читает. Про список пассажиров я не сообщаю, молча смотрю на серое море. Ни шумных детей, ни продавцов мороженого, ни зонтов от солнца, только ветер и ноябрьские облака. Одинокий солнечный луч прорывается сквозь них, серебря волны. Жоэль спрашивает, почему я так молчалива. И тогда я рассказываю. Она даже не выказывает удивления.

– Вы, немцы, любите списки, – говорит она насмешливо. – Но даже если кто-то где-то что-то записал, написанное не становится правдой.

– Может, он был на борту, но выжил после крушения?

– Его там не было.

Голос ее звучит категорично. И она принимается рассказывать, что произошло в тот день, 7 мая 1943 года.

Глава 24

È un amico [\[44\]](#)

Кто оказывает гостеприимство, потчует самого Бога.

Еврейская поговорка

Утром 7 мая 1943 года Ясмина увидела первого в своей жизни англичанина. Он слез на рю де Пассаж с мотоцикла, лицо его покрывала белая пыль. Только когда он снял очки и шлем, Ясмина поняла, что он не белый, а смуглый – индеец. Он и его товарищи, спрыгнувшие из подъехавших следом джипов, огляделись, явно дивясь, куда это их занесло. Ясмина прибежала на рю де Пассаж вдвоем с отцом, чтобы увидеть все своими глазами. Обрывки английских слов из радиоприемника звучали для них музыкой.

Обезумевшие от радости евреи трясли руки освободителям и обнимали их, а за углом трещали пулеметные очереди. В городе разыгрывались абсурдные сцены, которые не могли попасть ни в один пропагандистский фильм; немцы и итальянцы, сидя на проспекте Жюля Ферри за кофе со сливками, удивлялись, чего это женщины бегут по улице, да еще громко напевая. Свадьба, праздник обрезания? Кто-то опознал, что это сплошь еврейки. Только когда началась пальба, загрохотали взрывы, они поняли, что враг в городе. Одни вскочили и кинулись к своим войсковым частям, другие остались сидеть, допивая свой кофе, и без сопротивления сдались в плен. Для них война закончилась.

* * *

Началась неразбериха. Всюду огонь, перестрелки, стычки, сирены санитарных машин. В «Мажестике» царило настроение как на «Титанике»: сохранять самообладание до полного погружения. То, что Африканская кампания проиграна, все давно знали. Вопрос был один:

закончится все Сталинградом или Дюнкерком – окажутся они в котле окружения или все-таки удастся уйти морем. Люди в форме бегали по коридорам, отдавая лихорадочные приказы; всё следовало правилам, которых придерживались до последнего. Мориц упаковал оборудование и письма Фанни в сумку для камеры. Отснятые и чистые пленки, штативы и кинокамеры, погруженные в ящик, уже были в холле. По пути вниз он видел, как два офицера СС выносили из комнаты, которая всегда строго охранялась, тяжелые ящики с боеприпасами. Самолично. Это было странно. Мориц удивился и решил, что в этих ящиках что-то другое, не боеприпасы. В холле кто-то сжигал списки имущества, конфискованного у местных. *После войны вы все получите назад*, как говорилось владельцам. Вашу мебель, ваши драгоценности, ваши картины. Теперь офицеры все грузили в транспорт, не стесняясь взглядов рядовых. *До последнего патрона* – да кому это надо. Но об отступлении так никто и не заикнулся. *Оборона порта* – вот как это называлось. *Оборона аэродрома*. Все стремились вырваться – на последнем корабле, улететь последним самолетом.

* * *

Вскоре Мориц уже сидел в конфискованном «ситроене», который мчался по городу мимо пустых кафе и суetyщихся людей. В парке дю Бельведер солдаты сжигали свою форму. Мориц опустил стекло, чтобы сделать последний снимок. Теплый весенний воздух ударил в лицо. Свежий бриз с моря. Запах жасмина и дыма. Теперь, когда все заканчивалось, он мог полюбить эту страну.

* * *

Дорога к морю была еще открыта, однако артиллерийский обстрел с запада усиливался, и в порту поднимались клубы дыма. У них не было другого выхода, кроме как ехать прямо в гущу взрывов. На причале царил неопиcуемый хаос. В асфальте зияли глубокие воронки, краны и склады горели, повсюду убитые и раненые. Грузовое

судно с развороченной палубой лежало на боку, как кит, выброшенный на берег.

Это был наш корабль.

Они понеслись дальше, в сторону *Piccola* Сицилии, к рыбацкому порту, который был пока не затронут бомбежкой. У причала уже стояли вездеходы и грузовики, рядом велись ожесточенные переговоры. Десятки тысяч, сотни тысяч франков быстро меняли владельца, поминутно поднимались цены, которые рыбаки требовали за перевоз до Сицилии – на утлых скорлупках, которым боязно было доверить свою жизнь. *Американские самолеты, месье! Британские корабли! А у меня жена и дети!* Немецкие и итальянские офицеры грызлись за последние места. На борт попадали лишь те, кто наградил денег, много денег. Высокие чины. Неразборчивые в средствах. Мориц видел, как перегруженные шлюпки выплывают в море. Офицеры снимали форму, чтобы их не опознали с самолетов. Сколько их было – тех, кто мог выкупить себя, купить волю? Несколько десятков, может, сотен. На берегу толпились тысячи мужчин. Плохо вооруженных, исхудавших. Отличная цель для истребителей «спитфайр». Не лучше ли им отправиться в Италию вплавь?

* * *

Последним бастионом оставалась Эль-Ауина. Летное поле все было в воронках от бомб, выгоревшие скелеты самолетов чернели у разрушенной радиовышки. Но какие-то самолеты еще взлетали. Места в них распределялись строго по рангу. Штабной офицер, составлявший списки, был неподкупен. Мориц ждал два часа под жарким солнцем и смотрел на перегруженные «Юнкерсы Ju-52», которые тряслись по полю и взлетали, держа курс на север. Сколько из них разобьется и без «спитфайров» и американских «тандерболтов»? *Они пришлют защитный конвой*, так это называлось. *В Сицилии уже поднимается эскадрилья истребителей.*

Выкликнули и его имя. Мориц едва мог поверить своему счастью. Его кино съемки ставились выше, чем его воинское звание. Без него как человека могли бы обойтись, но в качестве сопровождающего

отснятого киноматериала ему позволено было сесть в последний самолет. *Чем я заслужил?*

* * *

Незабываемое: взгляды остающихся товарищей, когда он обернулся в люке самолета со своей фотосумкой на плече. В их юных лицах не было зависти, одно лишь отчаяние. Он сел, пристегнул ремень и выглянул в иллюминатор. Парни стояли на разрушенной взлетной полосе и смотрели на последний самолет. Морицу захотелось снять это – кадр, который вместит все, что он чувствовал в эти недели: осознание поражения, затерянность под чужим солнцем. Но он не извлек камеру из сумки. Он не хотел ввергать своих товарищей в еще больший стыд, снимая их отчаяние. Последний снимок он не сделал.

* * *

Моторы уже работали, когда к самолету подкатил открытый «мерседес». Молодцеватый офицер СС выпрыгнул из машины и помахал пилоту. Короткая взволнованная перепалка со штабным офицером. Это странно, и вот уже солдаты выгружают из автомобиля шесть ящиков из-под боеприпасов. Штабной офицер подал знак пилоту, и люк снова открыли. Двое солдат втащили на борт тяжелые ящики. Из кабины вышел пилот. *Вы с ума что ли все походили? У нас уже перегруз!* Офицер СС поднялся на борт и настаивал на отправке. *Я не смогу взлететь, машина переполнена,* протестовал пилот. Офицер СС протянул ему бумагу: *приказ фюрера*. Против этих слов все были бессильны – пилот, штабной офицер... и два пассажира, которым пришлось покинуть самолет. Один уступил место эсэсовцу, второй – его грузу. Фильмам Морица позволено было остаться на борту. *Министерство просвещения и пропаганды, адрес известен, доставим, будьте спокойны!*

* * *

Мориц стоял на взлетном поле, когда «Юнкерс Ju-52» покатился к взлетной полосе. Солдаты рядом молчали. Теперь и он стал частью кадра, который не снял. Внезапно один из солдат отделился от толпы, отшвырнул оружие и побежал за самолетом. В отчаянии он вцепился в шасси, когда машина уже ускорялась. Она тяжело оторвалась от земли, затем снова царапнула бетон и мучительно медленно стала подниматься. Пилот покачал крыльями, чтобы стряхнуть непрошеного пассажира. Мориц и другие смотрели, как парень загребает ногами, повиснув под брюхом самолета, медленно летящего к морю. В какой-то момент, когда тело на фоне неба уже слилось с самолетом, он сорвался и рухнул вниз. Глухой удар о землю, солдат остался лежать неподвижно. Никто не сказал ни слова. Санитары не побежали к нему.

* * *

Лучше уж к англичанам. Это ближе к родине. Они хотя бы хорошо обращаются с пленными. Мориц не хотел этого слышать. Плен был ему глубоко противен. *Немецкий офицер не сдается.* Он думал о Фанни. Он стремился только к ней. Унижение плена страшило его меньше, чем перспектива больше не увидеть Фанни. *Штабелируйте мешки с песком, быстро!* Все куда-то побежали, офицеры выкрикивали команды, и несколько отчаянных уже разворачивали полуразрушенную зенитку в сторону дороги, откуда ожидалась танки. Бессмысленное сопротивление неизбежному.

Потом показались «харрикейны» на бреющем полете. Их пулеметы поливали смертоносным дождем открытую местность. Беззащитные солдаты падали один за другим. Мориц побежал. Ногу пронзила жгучая боль. Он бежал дальше, не обращая на боль внимания, мимо разрушенных строений, бежал, пока «харрикейны» разворачивались для нового захода, бежал подальше от этого открытого всем на обозрение огромного блюда! Задыхаясь, остановился и глянул на свою ногу. Штанина пропиталась кровью. Пуля все-таки догнала его.

Он собрался разорвать штанину, но тут увидел вдали клубы пыли. Танки! Стиснув зубы и пересиливая боль, Мориц кинулся в поле. Среди камней и бурьяна темнел обгорелый остов автомобиля. Мориц

забрался внутрь. Остов был черный от сажи, вонял дымом и мазутом. От сгоревших сидений остался лишь железный каркас. Руль оплавился. Но крыша и дверцы были целы. Пригнув голову, он наблюдал, как танковая колонна ползет к аэродрому. Американские «шерманы». Земля дрожала как при землетрясении. Мориц подумал о товарищах, укрывшихся за мешками с песком. У них ни единого шанса. Вдруг один из танков на полном ходу повернул свою башню, направив дуло прямо на Морица. Он пригнулся, в любую секунду ожидая смертельного разрыва снаряда. Это решило бы дело быстро. Но ничего не произошло. Танки всё ползли мимо. Загремели выстрелы со стороны аэродрома. Пулеметы против танковых орудий. За танками двигалась пехота. Мориц оказался в тылу врага – фронт просто переехал через него. Он был отрезан от своих. Как только он выберется отсюда, его заметят. Над головой гудели «харрикейны».

* * *

Он ждал темноты. Глотка горела от жажды. Спина болела от скрюченной позы, из голени все текла кровь. Он оторвал от рубашки рукав и перетянул бедро чуть повыше колена. Обшарил фотосумку в поисках чего-нибудь съестного. Но там были только фотоаппарат, объективы, тряпица для оптики, карманный нож, зажигалка. И письма от Фанни. Он вытащил их и читал, вышептывая губами слова из другого времени, а вокруг рушился мир. Он читал их как человек, забывший молитвы. Он был как Иона во чреве кита. Достав из конверта последнее письмо, он заметил обрывок карты, который дал ему Виктор. Нацарапанный адрес и короткое: *È in amiso*. Три слова, в которые вцепилась почти умершая надежда.

Он попытался мыслить трезво. Город же наводнен врагами; с другой стороны – там полный хаос. И, в отличие от только что прибывших англичан и американцев, он знает город. Шанс небольшой, но другого у него нет. Мориц дождался, когда совсем стемнеет, потом стянул с себя форменный китель и выбрался из укрытия. Держась подальше от дороги, он брел через пустыри и поля, пересекал сады, крался вдоль стен, выглядывая на перекрестках, нет ли патрульных, слышал джаз и одиночные выстрелы. Призрачная атмосфера. Жители

явно сидели по домам. Но ночь была теплой, и сквозь вонь дыма и пороха пробивался запах цветущего жасмина. К полуночи он добрался до Медины. В старых переулках среди заколоченных лавок стояла мертвая тишина. Только уличные кошки прошмыгивали мимо. Нога болела.

– *Allemand?* Немец?

Внезапно из тени выступил мужчина и двинулся за ним. Хриплый голос, лицо в шрамах. Мориц знал этот тип грязного отребья. Их часто использовали в качестве шпионов.

– *Cache cache? C'est dangereux, mon ami! Allemand?*^[45]

Мориц понял, что выбор у него небольшой: либо быть ограбленным, либо сделать этого типа другом. Он достал обрывок карты и прочитал адрес. Мужчина задумался. Потом молча кивнул и пошел вперед. Быстрым шагом, сквозь путаницу переулков, так что Мориц быстро перестал ориентироваться. Может, он делал это намеренно? Внезапно человек остановился и прошептал с угрозой:

– *Бакиши!*

Мориц отдал ему свои последние деньги.

– *C'est tout?*^[46]

Мориц развел руками. Больше у него не было. Мужчина указал на его обручальное кольцо. Мориц решительно помотал головой: нет. Мужчина отвернулся и двинулся прочь.

– *Attendez!*^[47] – крикнул Мориц.

Мужчина остановился. Мориц стянул кольцо с пальца. Он ненавидел этого типа и еще больше ненавидел себя за то, что отдает ему кольцо. Он старался не думать о Фанни. Купит новое, как только выберется отсюда, и ничего ей об этом не расскажет. Тип сунул кольцо в карман и кивнул на входную дверь:

– Латиф Абдеррахман.

И исчез во тьме так же быстро, как появился.

* * *

Мориц оглядел себя в темноте. Грязная рубашка с оторванным рукавом. Окровавленные форменные брюки. Он бы и сам себе не поверил. Вдохнул, набрался мужества и постучал. Чуть слышно,

чтобы не разбудить соседей. Прошла вечность, прежде чем раздались шаги. И женский голос за дверью:

– *Шкоун?*

Он кашлянул. Дверь приоткрылась. Арабка с керосиновой лампой в руке с недоверием смотрела на него.

– *Bonsoir*, – произнес Мориц на ломаном французском. – *Excusez-moi*.

И сказал, что он друг месье Сарфати. Виктора Сарфати. Женщина закрыла дверь. Тихонько, без враждебности. Потом что-то крикнула внутрь дома. Мориц ждал. Наконец дверь снова открылась. Мориц увидел худощавого мужчину лет пятидесяти с лишним. Тот, держа в одной руке керосиновую лампу, другой надел круглые очки и оглядел посетителя. То был любопытный, открытый взгляд, такой в эти дни редко встретишь. Человек, добрый к людям, невзирая ни на что. На нем был измятый светлый костюм и дырявые носки. Мориц достал из кармана обрывок карты и протянул.

È un amico.

Худощавый человек перечитал записку несколько раз и снова окинул взглядом рваную одежду Морица. Потом осторожно спросил:

– *Vous êtes allemand?*^[48]

Врать не было смысла.

– *Oui*.

Как-то вдруг слово «немец» перестало означать власть, а обратилось в позорное пятно. Впервые в жизни Мориц произносил его не уверенно, а еле слышно. Это было непривычно. Мужчина в дверях раздумывал.

– Виктор ваш сын? – спросил Мориц.

Альберт кивнул. Мориц попытался объяснить, что тогда произошло. На хуторе и позднее в подвале «Мажестика». Сперва на ломаном французском, а потом, когда понял, что можно говорить по-итальянски, уже на языке, которым владел лучше.

Альберт слушал внимательно и взволнованно. Потом осторожно раскрыл дверь, не широко, ровно настолько, чтобы Мориц смог протиснуться внутрь. Он поставил лампу на пол и предложил Морицу сесть на кушетку. Первая комната в старых арабских домах, сразу за

дверью, всегда была комнатой для посетителей. Только за ней следовал холл, через который впускали внутрь более близких друзей и родственников.

– Мими? Иди сюда, у нас гость! – позвал Альберт и сел напротив Морица.

В комнату вошла его жена. Непокрытые волосы и европейское платье. Мориц встал.

– Это синьор...

– Райнке. Мориц Райнке.

Осознав, что он немец, она отдернула руку.

– Сядь, Мими. У него новости от Виктора.

Лицо Мими напряглось. Приготовилась к дурной вести.

– Он говорит, что Виктор жив. Он его видел.

– Да, – тихо сказал Мориц. – Он был арестован, но смог бежать.

Альберт и Мими смотрели на него молча. Керосиновая лампа шипела и беспокойно мигала. Они сидели друг против друга словно в пещере, и то, что определяло их жизнь в последние шесть месяцев, – иерархия – исчезло. Пока вчерашние господа превращались за стенами дома в гонимых, эти трое еще не знали, как обходиться с новыми ролями. Они преодолевали это с натянутой вежливостью. Мориц же чувствовал еще нечто неожиданное. От этой чужой супружеской пары исходило то, что было так привычно на родине, но на фронте кануло в забвение, – приличие.

– И где Виктор теперь? – помедлив, спросила Мими. К недоверию в ее голосе примешивалась надежда.

– Я не знаю. Он хотел пересечь алжирскую границу.

– Почему вы пришли к нам?

– Он просил передать, что он в безопасности. Ясмина...

Альберт и Мими переглянулись. Мориц попытался угадать их мысли. Теперь они понимали, что он не совсем выдумал все это.

– Что вы с ним сделали? – спросила Мими.

– Ничего. Его должны были расстрелять, но я помог ему бежать.

Он сказал это без гордости, и, может, поэтому Альберт и Мими почувствовали, что он не врет.

– Почему вы это сделали?

– Потому что... – Мориц сам не знал ответа.

Мими что-то шепнула Альберту.

– Нет, – тихо ответил ей Альберт, – я познакомился с ними. Есть и хорошие.

Это «есть и хорошие» царапнуло Морица. Хорошие для одного – плохие для другого. Если бы товарищи его тогда застукали, то казнили бы вместо Виктора – как предателя. Но добро ни с чем не спутаешь. На их языке, в их культуре оно означало то же, что и в его: когда один человек помогает другому.

Но откуда им знать, что он говорит правду? Он принялся рассказывать о ночи, когда освободил Виктора. Как тот выглядел, как звучал его голос. Рассказал, как его схватили на ферме Жака. Только одну деталь он опустил: как подсматривал за Виктором и Ясиной. Добавил, что Ясминe удалось бежать.

– Она в безопасности? – спросил Мориц.

– Да, – коротко ответил Альберт.

Мими раздумывала. Затем приняла решение. Она позвала Ясмину. Мориц чувствовал, что Альберт этого не одобряет. Но Мими дочь нужна была как свидетельница – удостовериться, что немец говорит правду.

Когда в комнате появилась Ясмина, Мориц не сразу ее узнал. Длинные кудри сейчас были собраны в строгий узел. Она словно повзрослела. И была очень красивой. Он встал.

– Это синьор Морис, – сказала Мими. – У него новости от Виктора.

– Морис, – вежливо поправил он.

Узнал он ее по взгляду. Глаза, которые искали. Глаза, которые горели. Глаза, которые поглощали. В тот же момент и она узнала его. Лицо ее потемнело.

– Ты знаешь этого синьора? – спросил Альберт.

– Нет.

Почему она лгала? Руки у нее дрожали.

– Где Виктор?

– Я не знаю.

Внезапный стыд охватил Морица. Ясмина неожиданно шагнула к нему и закричала:

– Что вы с ним сделали? Вы его пытали? Вы его убили?

Мориц не ожидал такой неукротимой ярости. Как будто он был предателем. Нарушившим их тайный пакт.

– Я не выдавал вас, – пробормотал Мориц. – Поверьте мне.

– Вы не люди! Вы хуже, чем звери!

Мими удержала дочь, схватив ее сзади за локти:

– Ясмина! Что с тобой?

– Ваш муж в безопасности, – сказал Виктор. – Он просил меня передать вам привет.

– Муж? – удивленно спросил Альберт.

– Виктор.

– Виктор ее брат, – объяснила Мими.

Мориц лишился дара речи.

– Что ему здесь надо? – резко спросила Ясмина посреди установившейся тишины.

– Он говорит, что Виктор бежал. Он говорит, что помог ему бежать.

Глаза Ясины полыхнули:

– Он его выдал.

– Но откуда... Ты что, уже видела этого синьора раньше, Ясмина?

– Нет!

По лицу ее потекли слезы. Она не могла с ними справиться. Мими обняла дочь. Альберт повернулся к Морицу:

– Пожалуйста, извините ее. Она очень любит брата.

– Он описал нам, как схватили Виктора, в точности как и ты, – сказала Мими. – На ферме француза, двадцать пятого марта.

– Я был при этом, – сказал Мориц. – Но не я его арестовал. Я только видел...

Ясмина впиалась в него глазами. В них были страх и угроза разом. Он понял, что она хочет ему сказать: не касайся моей тайны. Родители явно ни о чем не догадывались. Упомяни он об этом, они бы тотчас вышвырнули его.

– Смотри! – сказал Альберт, протянув ей обрывок карты. – Ведь это почерк Виктора, не так ли?

È un amico.

Ясмина сразу узнала его руку.

– А если он украл у кого-нибудь эту записку? Виктор ведь не написал здесь его имя.

Альберт и Мими молчали. Мориц понял, что его присутствие нежелательно. Слишком глубоко он проник в мир этой семьи, дела которой его не касались.

– Извините, если я вам помешал. Надеюсь, ваш сын и брат скоро вернется.

Он направился к двери, втайне надеясь, что кто-нибудь его остановит. Однако никто не сказал ни слова. Пока Альберт не заметил пропитанную кровью штанину.

– Вы ранены?

– Ерунда.

– Погодите. Нельзя так уходить. Сядьте.

Мориц остановился. Он физически чувствовал ярость Ясмینی.

– Я врач. – Альберт подвел его к кушетке. – Ясмінa, принеси мой чемоданчик.

Чувство долга доктора Сарфати снова развернуло ситуацию. Может, он и позволил бы Морицу уйти, если бы того не подстрелили за несколько часов перед этим. Причудливая цепь случайностей и внезапных решений формировала в те часы то, что впоследствии они назовут судьбой.

Мориц осторожно сел. Преодолевая боль, закатал штанину. Альберт снял грязную повязку, пропитанную темной кровью. Рана оказалась хуже, чем думал Мориц. Ясмінa неохотно принесла старый докторский чемоданчик. Альберт промыл рану, обработал йодом и наложил новую повязку.

– Вы привиты от столбняка?

– Нет.

– Вам надо держать ногу в покое. У вас есть место для ночлега?

Разумеется, Альберт знал ответ. Мориц отрицательно помотал головой. Альберт взглянул на Мими.

– Это не наш дом, чтоб вы знали, – сказал Альберт.

– Пусть уходит, – прошептала Ясмінa, внезапно перейдя на арабский.

Они с Виктором в детстве так делали, чтобы их не поняли родственники, приехавшие из Италии.

– Если правда то, что он говорит, – сказала Мими, тоже по-арабски, – мы не можем его прогнать. Немец или нет, но мы обязаны ему жизнью Виктора.

– Он это говорит только потому, что сам теперь в беде. А они нас приютили, когда мы оказались на улице? Они выгнали нас из нашего дома!

Мориц не понимал слов, но тон был красноречив.

– Помолимся, чтобы наш дом остался невредим, – сказала Мими.

Альберт отрезал бинт и обтер ножницы.

– То, что он рассказывает, маловероятно. Но возможно. Если Виктор вернется и подтвердит, что этот человек его спас, мы себе никогда не простим, что выставили его за дверь. Там его не ждет ничего, кроме смерти.

– И по заслугам, – буркнула Ясмина.

– Один Бог нам судья, – сказала Мими.

– Мы должны спросить у Латифа и Хадийи, – решил Альберт. – Мы ведь здесь гости. А завтра посмотрим, что там с нашим домом. То есть это всего на одну ночь.

– Можно ему остаться?

Лунный свет освещал внутренний двор, Хадийя на кухне готовила мятный чай для неожиданного гостя.

Латиф раздумывал и ждал, когда Хадийя принесет из кухни чайник. Он позвал ее к себе.

– Вы за него ручаетесь? – спросила Хадийя.

– Нет. Мы его не знаем.

Хозяева озабоченно переглянулись. Альберт и Хадийя ждали решения Латифа, когда во двор проковыляла бабушка. Она спокойно и решительно забрала у Хадийи поднос. В дверях прихожей обернулась и сказала:

– У него тоже есть мать.

* * *

Ясмина не могла уснуть. Немец лежал в соседней комнате, в постели Виктора. Враг, который видел ее обнаженной, в самый лучший и сокровенный момент ее жизни. Выдал он их тогда или нет? Сам ли Виктор дал ему адрес или он его где-то украл? Она тосковала по Виктору. Только он один знал правду. Ясмина встала и приникла

ухом к стене. Сперва было тихо, потом она услышала тихий, болезненный стон. Спит ли он? Видит ли сон? Она подтащила к двери стул и подперла ручку. Потом снова легла, но сон так и не шел. Она начала мысленно разговаривать с Виктором – привычка, появившаяся в последние недели.

Виктор, ты меня слышишь?

Это правда, что говорит немец?

Почему ты не отвечаешь, Виктор? Жив ли ты еще?

* * *

Только в надежде увидеть его во сне она уснула на рассвете. Проснувшись от громких голосов, она в первый момент ничего не могла вспомнить. Надела свое черное платье – *как вдова*, подумала Ясмينا – и вышла из комнаты. Дом наполняли запахи свежего хлеба и арабского кофе. Корица с кардамоном. Все сидели в салоне, собравшись вокруг радио, – все, кроме немца. Наконец-то они могли включить его на полную громкость. Радио Туниса, на частоте которого недавно передавали свою пропаганду власти «оси», теперь снова было в руках французов. Диктор с пафосом вещал о победе свободы над тиранией, демократии над фашизмом, надежды над тьмой. *Путь к освобождению европейской родины-матери еще долог, но эта славная победа – начало конца!* Казалось странным и причудливым – в момент триумфа держать у себя в доме врага. Словно занозу в теле.

– Где немец? – спросила Ясмينا.

– Он еще спит.

Альберт озабоченно посмотрел на часы. Взял со стола очки и отправился в комнату, где спал Мориц. Тихо постучал и вошел. Ясмينا и Мими остались на пороге. Ставни были закрыты. Немец лежал на кровати и тяжело дышал. Альберт потрогал ему лоб. Мориц очнулся от своего полубредового сна, увидел Альберта и попытался подняться. Альберт открыл ставни. В солнечном свете стало видно, как бледен немец. Лоб был в испарине.

– *Buongiorno*, – пробормотал он, заметив женщин.

Даже в лихорадке он старался быть вежливым, от чего недоверие Ясины только усилилось.

– Покажите мне ногу.

Альберт снял повязку. Рана опухла и побагровела. Воспаление.

– Полагаю, внутри сидит английский сувенир, – сказал Альберт. – Вообще-то вам надо бы немедленно в больницу.

Всем было понятно, что бы это означало для немца.

– В этом доме нет ни спирта, ни другого алкоголя, и никаких обезболивающих у меня тоже нет. Вам придется стиснуть зубы.

Мориц кивнул.

Альберт обернулся к женщинам:

– Мими, принеси таз горячей воды, полотенце и мой чемоданчик.

– Сейчас Шаббат, – ответила Мими.

– Тогда будем надеяться, что у Бога сегодня тоже выходной и он ничего не увидит. Ясмина, будешь мне ассистировать.

Ясмина не шелохнулась. Альберт шагнул к ней, отвел ее в сторону и прошептал:

– Мне нужна твоя помощь. Я знаю, ты справишься.

– Как ты можешь воздавать добром за зло?

– Если мы не будем обращаться с ним как с человеком, откуда у нас право считать себя лучше них?

* * *

Мориц изо всех сил закусил зубами полотенце, пока скальпель Альберта вскрывал рану. Ясмина двумя зажимами развела края раны, и Альберт извлек черную, окровавленную пулю. Мориц ни разу не застонал, лишь хрипел. Ясмина смотрела в его широко раскрытые глаза и желала ему боли. Кто знает, что он сделал Виктору.

Потом немец забылся сном. Они смыли с рук его кровь, надели свою лучшую одежду и отправились посмотреть, что случилось с их домом. И своими глазами убедиться, что кошмар закончился.

* * *

Город дышал свободно. Рынки снова наводнили люди, звучала музыка. Взрыв радости после долгой зимы. Все стремились из домов на улицу, чтобы приветствовать новых властителей. Дети с восторгом взбирались на их танки – так же, как раньше на танки немцев, а фотографы и кинооператоры коалиции были наготове, чтобы сделать те же снимки, какие за полгода до этого делали немцы. Солдаты совали детям шоколадки и жевательные резинки, сажали себе на плечи. Группа мужчин в коричневых робах с песнями двигалась от вокзала – они возвращались с принудительных работ. Еврейские женщины бежали им навстречу, и вскоре они, приплясывая, шли все вместе. Французы махали триколорами и все разом заделались «голлистами». Лишь итальянцы понимали, что для них настали трудные времена.

Арабы неспешно шли по своим делам, здоровались с солдатами коалиции приветливо, но без лишнего восторга. Одни оккупанты уходят, другие приходят, а обещания остаются обещаниями. Только на первый взгляд происходящее напоминало грандиозный праздник, но умевшие заглянуть поглубже видели, что семена раздора, посеянные фашистами, уже дали всходы в душах людей. Невинность была потеряна.

Мими танцевала с остальными женщинами. Альберт сказал Ясмине:

– Будь осторожна, теперь мы попадаем под подозрение уже не как евреи, а как итальянцы. Если солдат спросит у тебя удостоверение личности, просто говори ему, что ты еврейка, поняла?

За столиками перед кафе на проспекте Жюля Ферри, где еще вчера сидели немцы, кельнеры обслуживали новых посетителей, и вместо немецкого «*как дела?*» они теперь приветствовали клиентов иначе: *How are you?* – с такой непринужденностью, будто были старинными приятелями. И это в то время, когда в нескольких километрах севернее еще шли бои. Удивительно, думала Ясмине, какая короткая память у людей. А может, все как раз наоборот: тысячелетний опыт жизни под властью сменяющих друг друга завоевателей заставляет нас с равнодушным дружелюбием приветствовать очередных чужаков. Как постояльцев в отеле, которые приезжают и уезжают. С той лишь разницей, что эти ведут себя не как постояльцы, а как хозяева отеля.

* * *

Альберт, Мими и Ясмина сели в пригородный поезд в сторону Риссола Сицилии. На половине пути – там, где разбомбленные рельсы причудливо вставали дыбом, – им пришлось пересесть на другой поезд, который пришел им навстречу от порта. Сердце Ясины колотилось, когда она вдохнула запах моря. Соль и водоросли, запах ее детства, к которому сейчас примешивалась едкая вонь обгоревшего металла и горючего. Над Эль-Ауиной поднимался дым. Аэродром превратился в кладбище свастик. Неестественно задранные стабилизаторы, обугленные стальные скелеты, рухнувшие великаны. На разбомбленном поле стояли сотни, тысячи, десятки тысяч немцев и итальянцев в военной форме песочного цвета, кто с покрытой, кто с непокрытой головой под солнцем, их охраняли вооруженные британские и американские солдаты в шлемах. Они пересчитывали пленных. Число получилось огромное – 230 000. Вдвое больше, чем в Сталинграде. Позднее историки назовут поражение Африканского корпуса поворотным моментом в войне. Самое крупное поражение сил «оси», начало обратного завоевания крепости Европы. Но сейчас каждый думал лишь о том, как протянуть до завтрашнего дня.

* * *

Сойдя с поезда, Ясмина не узнала улиц, на которых играла в детстве. Сюрреалистическая картина опустошения, бессмысленный кошмар, от которого Ясмина никак не могла очнуться. Пахло пеплом и разложением. Всюду завалы, мусор и сгоревшие автомобили, раскиданные и перевернутые, как игрушки, брошенные каким-то великаном, который в злобной ярости протопал по улицам и двинулся дальше. В асфальте зияли глубокие воронки, между ними валялись трупы собак, облепленные мухами. Обвалившиеся фасады домов обнажали внутренность комнат – гротескные кукольные домики. Сквозь прорехи в крышах сияло небо. Дом семьи Скемла, калабрийские виллы и Бен Сайдан... одни руины. Здесь, в порту, бомбардировщики оставили еще больше разрушений, чем в центре. Кого теперь ненавидеть больше – англичан и американцев или немцев

и итальянцев? Почему они устроили свою проклятую войну в раю ее детства? Всю дорогу от вокзала до рю де ля Пост Альберт, Мими и Ясмينا думали об одном и том же, не произнося этого вслух: *хоть бы уцелел наш дом!*

* * *

С улицы он выглядел почти как обычно.

– Камни терпеливы, – с облегчением сказал Альберт.

– Слава Богу! – воскликнула Мими.

Только мезуза больше не висела на дверном косяке – кто-то сорвал ее, остался лишь гвоздь. Мими осторожно открыла дверь. Та без усилий распахнулась и тут же сорвалась с петель. То, что они увидели за ней, разбило им сердца. Прихожая представляла собой гору камней. Стены и потолок наполовину обрушились. Их дом больше не стоял, он висел на ниточке. Держался на себе самом, упорный, как боксер, не желающий падать в нокаут. Бомба проломила крышу и перекрытия, перед тем как взорваться на кухне. Стена со стороны сада почти отсутствовала. Зияющая дыра походила на театральную сцену без занавеса, только непонятно было – то ли ты смотришь на сцену, то ли сам стоишь на сцене, а из зрительного зала на тебя таращится пустота.

Ковры исчезли. Обеденный стол, стулья, столовое серебро... Осталось только пианино Виктора. словно реликт из потерянного мира, оно стояло посреди опустошения, с расколотой деревянной облицовкой, покрытое пылью. Из туалета исходила жуткая вонь. Открыв туда дверь, Мими не сдержала возгласа омерзения. Солдаты справляли там нужду как скотина.

– Здесь нельзя оставаться, – сказала она.

Альберт не произнес ни слова. В глазах его стояли слезы. Ясмине больно было видеть отца таким беспомощным. Мужчина, стыдящийся того, что не может обеспечить семье кров. Она взяла его за руку и сказала:

– Папа, мы построим его заново.

Он кивнул, благодарный за ее жест, но безо всякой надежды. Насколько решительно он боролся за своих пациентов, настолько же потерянным и обессиленным был в делах собственной жизни.

Они направились к морю, чтобы отдышаться от вони. Вялый прибой покачивал на волнах безжизненные тела в военной форме. Безымянные немцы, которые пытались спастись в воде, но и там их скосило. Мими прижала ко рту ладонь. Солдаты были возраста Виктора. Родители их никогда больше не увидят. Кто придет их похоронить?

– Смотрите!

Мими извлекла что-то из мусорной кучи на обочине. Мезуза. Нет, не просто мезуза, а *их* мезуза. Которую Альберт прибил к двери, когда они въехали в дом. Поцарапанная, грязная, но целая. Мими растерянно вытерла ее, открыла и достала изнутри свиток с молитвой, пергамент был невредим. Как она тут оказалась?

– Ангел нам ее подкинул.

– Мими, – проворчал Альберт, недоверчиво обследуя мезузу.

– Немцы сорвали ее с двери и выбросили. Но какой силач смог бы докинуть ее до пляжа?

– Может, она валялась на дороге, – предположила Ясмينا, – и ее утащили собаки?

Кто знает. Мими забрала свою находку у Альберта и решительно объявила:

– Альберт! Это Божий знак. Мы отстроим наш дом заново!

Альберт молчал. Ясмина знала, о чем он подумал: на какие деньги?

Всю обратную дорогу в поезде Мими составляла список самого необходимого, что нужно купить. Матрацы. Кастрюли и тарелки. Лопаты. Брезент, который они натянут вместо стен и потолка. Деревянные балки, цемент и кирпичи. Рабочих они оплатить не смогут. Рассчитывать можно только на собственные руки.

– Вы станете первыми гостями в нашем доме, – сказала Мими Хадийе.

– Иншалла.

Для последнего ужина Хадийя приготовила острый кускус с тыквой и барашком, а к нему масфуф, кашу с гранатами и пахлаву с

миндалем. Настроение за столом царило приподнятое, почти праздничное. После еды Альберт обнял Латифа с такой сердечностью, что тот едва не расплакался. Заметив взгляд Ясины, он смущенно вытер глаза.

Ясина произнесла вслух то, что думали все:

– Что будем делать с немцем?

Альберт отправился к Морицу, лежавшему в темноте, Ясина последовала за отцом. Альберт измерил раненому температуру и снял повязку. Он говорил негромко, Мориц дрожал и, казалось, мало что понимал.

– У него жар. Температура под сорок. Рана воспалилась. Кто знает, какую инфекцию он подхватил. Мы не можем оставить его тут.

– Но и с собой взять не можем!

– Без ухода он не выживет.

– А если ты сдашь его в больницу...

– Они обязаны тут же передать его военным. Ты видела, как содержат пленных? Десятки тысяч в поле под открытым небом. Они их даже не кормят. А у него тяжелая инфекция, если не заражение крови. Без надлежащего ухода он потеряет ногу или умрет...

– Альберт, – воскликнула Мими, – он не твой пациент! Мне тоже жаль беднягу, но ведь мы не больница!

Альберт посмотрел на нее, снял очки и задумался.

Ясина снова заглянула в комнату немца. В голове ее звучали три слова из записки.

È un amico.

– Мими, возможно, он больше чем наш пациент, – сказал Альберт. – Но мы узнаем это, только когда вернется Виктор. А пока заберем его с собой.

Решение Альберта было вызвано не состраданием. Морица он укрыл, следуя голосу рассудка. Если окажется, что немец сказал правду, у Альберта совесть будет чиста. На самом деле речь шла не об отношении к немцу, а об отношении к самому себе.

Если хочешь что-то спрятать, прячь не в темноте, где это могут заподозрить, а при ярком свете дня. Умные люди, думал Мориц. Трясаясь в лихорадке, он сидел на заднем сиденье «ситроена», прислонившись головой к стеклу. Глаза пришлось закрыть, так сильно сверкало солнце. Холодный пот стекал по лицу. Альберт вколол ему морфий. Но тычущая боль в ноге была сейчас не самым тяжелым. Гудки машин и гул моторов, яркий свет, толчки на ухабах – все казалось ему громче, ярче и нестерпимей. Он провел ладонью по голове и посмотрел на ладонь. Пот был черным. Они выкрасили ему волосы, обрядили в гражданское, а его форму сожгли.

Он узнал проспект де Пари, парк, платаны, отель «Мажестик». У входа стояли американские солдаты и танк «шерман». Мориц смотрел на все это как на горячечный сон, когда они проезжали мимо. Рядом с ним сидела Ясмينا в красивом белом платье и шляпе, впереди – Мими, она говорила без умолку, но он не понимал ни слова, а Альберт молчал, ведя машину. Мужчина, в руках которого была его жизнь. К крыше машины были привязаны матрасы, чемодан и канистра с водой.

* * *

Два танка заблокировали улицу. Колючая проволока, американский флаг и солдаты с автоматами, проверяющие каждую машину. Альберт медленно продвигался вперед в очереди, опустив стекло. Солдат постучал пальцем по крыше и заглянул в машину. Широкоплечий веснушчатый парень.

– *Where ‘ya headin?*^[49]

Альберт не понял.

– *Destination*^[50], – сказал американец.

Альберт ответил по-французски, что везет свою семью домой. В *Petite Sicile*. Он сознательно говорил не по-итальянски. Взгляд американца лишь скользнул по Морицу и завис на Ясмине.

– *Hi, Ma’m. How are you?*

– *Bonjour, Monsieur.*

Не будь она так красива, он бы, наверное, прошел мимо.

– *French?*

– *Oui, Monsieur.*

– *IDs please.*

– *Pardon?*

– *Passports.*

Альберт протянул ему через окно четыре удостоверения. Солдат заглянул в них и напрягся:

– *Two French and two Italians?*

Альберт попытался объяснить, что его дети автоматически по праву рождения имели французское гражданство, тогда как он и его жена родились в Италии. Для американца это было слишком сложно.

– *Shut the engine. Moteur!*

Альберт понял и заглушил мотор. Американец удалился с документами за танк. Они напряженно молчали. Солнце жгло крышу. Они-то надеялись обойтись без проверки документов. Если они сравнят фото Виктора с Морицем, то он пропал – и они вместе с ним. Американец долго отсутствовал, потом наконец вернулся в сопровождении старшего офицера. Худой строгий мужчина – из тех, кто служит по убеждению. Он испытующе оглядел пассажиров машины.

– *Bonjour*, мистер Сарфати. Вы итальянцы?

Его французский имел своеобразный акцент.

– Да.

– Вы служили в армии?

– В прошлую войну – да. Берсальеры, третий пехотный полк, в качестве офицера медсанчасти. В этой войне нет, я не...

– Выйдите из машины.

Это была не просьба. Это был приказ.

Альберт убрал руки с руля и вышел.

– Все.

Мими, Ясмينا и Мориц вышли. Мориц едва держался на ногах. Офицер заметил его лихорадку.

– Что с ним?

– Мой сын болен. Ему скорее нужно домой...

– Ваш сын француз, а вы итальянцы?

– Да.

Офицер недоверчиво шагнул к Морицу:

– Мистер Сарфати, вы служили во французской армии?

Мориц отрицательно помотал головой. Если он раскроет рот, его узнают по акценту. Офицер чуял, что здесь что-то не так.

– Почему нет?

У Морица тряслись руки.

– Да потому что мы евреи! – выпалила Мими.

– Евреи?

– *Yes*, мистер.

Американец листал удостоверения. Снова глянул на Морица. Лицо его смягчилось. Мориц увидел выражение, которого никак не ожидал от врага, – сострадание. Офицер вернул Альберту все четыре удостоверения и сказал:

– *Мазел тов*.

Он приказал солдату пропустить машину. Солдат поднял шлагбаум. Тут Мориц увидел, как офицер пожимает Альберту руку:

– *Шалом*, мистер Сарфати.

– *Шалом*, мистер...

– Бирнбаум. Пауль Бирнбаум.

Только теперь Мориц заметил его немецкий акцент. Стараясь не встречаться с ним взглядом, он забрался в машину.

Когда автомобиль медленно проезжал через пост, Пауль Бирнбаум ободряюще улыбнулся и козырнул. Как будто напутствовал.

Глава 25

МАРСАЛА

Брызги в лицо. Жесткие удары волн о нос надувной лодки сотрясают тело. Катер Патриса мы нагнали недалеко от острова Фавиньян. Водное такси подобралось к катеру, сверху сбрасывают лестницу, и я карабкаюсь на борт. Я должна ему рассказать, немедленно. Все обрело смысл. Ящики, список пассажиров, Мориц, который сел в самолет, но не улетел. Мне хочется поделиться своим счастьем со всем миром. Бенва говорит, что надо подождать, но я не могу ждать, бегу в рубку, стоящий там Патрис напряженно вглядывается в экран. Итальянки рядом нет.

– Патрис, я должна тебе кое-что рассказать!

– Не сейчас.

– Но...

– Взгляни!

Он отступает в сторону, чтобы показать мне картинку на экране. Белесый шум, потом черный крест, слегка наискосок на дне, а потом я понимаю, что крест – вовсе не крест, а самолет, но без хвостовой части. Фюзеляж с крыльями в осадочном слое, на глубине 53,4 метра. Кабина пилотов, моторы – все явственно указывает на «Юнкерс Ju-52».

– Мы его нашли!

* * *

К погружению готовятся Патрис и Ламин. Два других водолаза помогают им надеть кислородные баллоны. Господин Бовензипен звонит жене в Хайдельберг. Я помогаю Патрису застегнуть его водолазный пояс. Двое марсиан в черном, маски на лице, шланги и ласты. Потом они шагают за борт и погружаются на первые три метра.

Перегнувшись через поручни, мы смотрим на черные силуэты сквозь рябь прозрачной воды. Их тела обретают легкость, движения – плавность, они парят, как рыбы, только не безмолвно, потому что мы слышим их голоса по радио, приглушенные, в шорохе шумов, видим распадающиеся на пиксели картинки с нашлемных камер, которые поступают из глубины, зеленой и темной. Потом они начинают погружение, и мы их уже не видим, только слышим дыхание. Кажется, проходит вечность, прежде чем на экране проступает что-то осмысленное – камни, песок, стайка мелких рыб. Свет камеры пробивает лишь несколько метров. Они погружаются сквозь тьму. Внезапно из ничего возникает оно – рифленый серебристый металл, пугающе невредимый; голоса Патриса и Ламина, когда они скользят над крылом, приближаются к корпусу. Он деформирован, но мы видим иллюминаторы. Кажется, сейчас на нас глянет лицо – пассажир, очнувшийся от глубокого сна, с удивлением взирающий: что случилось, кто вы такие, куда это мы приземлились? В кабине пилота стекол нет – наверное, разбились при ударе или пилоты пытались выбраться. Я представляю, как отовсюду проникает вода, а самолет погружается все глубже, отчаянные попытки разбить стекло, давление снаружи становится все сильнее, им нужен какой-нибудь железный предмет; наконец стекло трескается, они пытаются выбраться из своей западни, но легкие уже пустые, воздух кончился. Они захлебнутся до того, как достигнут света.

Ныряльщики медленно скользят над корпусом – гигантская спящая рыба с оторванным хвостом. Они кружат вокруг хвостовой раны: металл разорванный и вдавленный, вход загроможден обломками фюзеляжа, проводами, гнутым железом. Патрис медленно отгибает его и светит внутрь. Там полный хаос. Мы видим каркасы сидений, провода и два сапога, аккуратно лежащие рядом, как будто хозяин их только что снял, но плоть уже растворилась, кости, волосы и одежда. В салоне скользят рыбы.

– Ты видишь какие-нибудь личные жетоны?

– Нет, пол занесен песком. Но он цел. Это хорошо.

– А что ты еще видишь?

Нашлемная камера проникает глубже внутрь корпуса. Его дыхание. Предостережение Ламина: края у рваного железа острые. Патрис двигается неестественно медленно. Касается пола, поднятый

смерч ила, Патрис берет что-то, поднимает – предмет блестит в свете его фонаря.

– Жетон! Личный жетон!

– Поднимайтесь. Время истекает.

Экран размыт, видимости нет, все замутил поднятый ил.

– Патрис! Надо подниматься!

– Погоди. Одну минуту.

Ил медленно оседает, и мы видим, что Патрис проник еще глубже.

Он взволнованно кричит в микрофон:

– Ящик! Я вижу ящик!

Рука показывает на угловатый объект из металла, продолговатый, скособоленно зажатый между полем и каркасом сиденья.

– Он запаян, я вижу сварной шов. Но не могу до него дотянуться.

Сука!

– Поднимайся!

От Патриса нет ответа. Только его дыхание.

– Минута прошла!

Голос Ламина становится требовательным:

– Патрис?

Мы ничего не видим во взбаламученном осадке; может, он пытается развернуться, может, за что-то зацепился. Сердце у меня бешено колотится.

– Патрис!

– Я застрял!

– Где?

– Не знаю. Ничего не видно.

Он в ловушке. Чем больше он двигается, тем больше ила поднимает и тем хуже ориентируется. Он чертыхается. Застрял в корпусе, проникнув глубже, чем было можно.

– Не шевелись. Я иду к тебе!

– Нет! Оставайся там!

Мы смотрим на часы. Им уже пора подняться.

– Можешь освободиться?

– Нет!

– Я вытащу тебя!

– Оставайся там!

Мы слышим учащенное дыхание обоих, но ничего не видим. Я боюсь думать, каково Патрису – ничего не видно, зажат в тесной трубе.
– Мы спускаемся!

Бенва и Филип бросаются к своей амуниции, лихорадочно надевают. Пока они погрузятся, пройдет много времени. Мы помогаем, натренированные, быстрые движения рук, полные баллоны, двойные мундштуки, никто не произносит ни слова. Все знают, насколько серьезно положение. Парни переходят на корму и спрыгивают в воду.

В рубке никого, некому управлять катером. Судно медленно дрейфует. К счастью, ветра нет. Бовензипен имеет представление об управлении катером не больше моего. Я чувствую себя брошенным ребенком, но насколько страшнее сейчас Патрису. По радио я заверяю его, что помощь уже близко, высчитываю, сколько времени им понадобится, – слишком много, и правду не говорю. Патрис борется с металлом, мы слышим его стоны, проклятия, слышим Ламина, который уже проник к нему, его спокойный голос, четкие указания, и Патрис, понимающий, что должен сейчас его слушаться.

Я таращусь на экран, но ничего не видно, кроме отсчета времени в углу. То, что я думаю, произнести нельзя. Голоса смолкают. Дыхание, они хотя бы еще дышат.

Внезапно я что-то засекаю на экране, наконец-то темнота проясняется, снова видны железки, провода, стенки. Ноги Патриса – должно быть, Ламин тянет его наружу. Голоса, преувеличенно спокойные и сосредоточенные, без малейшей паники, и вот камера покидает корпус самолета. Они снаружи.

– Они спускаются вам навстречу! – кричу я в микрофон.

Патрис и Ламин поднимаются – гораздо быстрее, чем допустимо. Достигнув глубины двадцать метров, они видят вторую пару. Плывут навстречу друг другу. Патриса больше не слышно. Даже его дыхания. Если кислород закончился, он сейчас теряет сознание. Мы этого не знаем. Потом видим руку перед камерой, пузырьки воздуха, протянутый мундштук. И после тишины, которая кажется бесконечной, наконец снова раздается его дыхание.

Я направляю надувную лодку к вынырнувшему. Четыре черные головы в воде. Втаскиваю Патрису на борт, руки у него вялые. Но он дышит. Теперь на счету каждая секунда, его жизнь висит на волоске. Скопившийся в крови азот смертоносен. Он что-то сует мне в руку. Личный жетон, который он вырвал из темноты.

На катере мы даем им подышать чистым кислородом. Патрису усадили на юте, я обнимаю его, а Филип держит мундштук. Больше мы ничего не можем для него сделать. Вот когда аукнулся недостаток денег – на барокамеру не хватило. На максимальной скорости мы несемся к порту, где уже ждет машина «скорой помощи».

* * *

В неоновом свете холла мы ждем врача. Больницы всюду в мире одинаковы. Это места ожидания. Появляется сицилийское семейство – с обернутыми фольгой кастрюлями и тарелками, с вином и белым хлебом. Потом приезжает из отеля супружеская пара Трибель и жена Митцлаффа. И с ними Жоэль. Мое удивление ее забавляет.

– Ну и что, что он меня боится, – говорит она. – Не могу же я из-за этого желать ему смерти, верно? Как они себя чувствуют?

Я могу лишь повторить слова врача. Ламин, похоже, в порядке. А у Патрису все еще затрудненное дыхание. Они обследуют его легкие. Нам остается только ждать. И сравнить жетон, найденный Патрисом в самолете, со списком пропавших без вести. 53642/819. Этот жетон не принадлежал никому из экипажа. И моему деду тоже. 53642/819 – пассажир по имени Карл-Хайнц Дрефс, лейтенант 4-й эскадрильи истребителей-бомбардировщиков, родился 4.10.1916 в Регенсбурге. Никто его не знает, никому не известно, есть ли у него родственники, которые его ищут. Один из миллионов без вести пропавших. Из соседней комнаты доносится смех сицилийского семейства. Я голодна. Мы с Жоэль решаем раздобыть пиццы.

Снаружи уже темно. Я рада, что мы вышли на воздух. Не люблю больницы. Слишком долго мне пришлось сидеть в больничных коридорах и ждать. И там не смогли вылечить мать. Мы находим маленький ресторан и заказываем пиццу навынос. Я не сразу понимаю, что усталый хозяин и пекарь – не итальянцы. Над кассой

висит старинное черно-белое фото пары – наверное, родители хозяина. Шестидесятые, обои с пальмами в качестве фона. Арабская надпись внизу – вероятно, название фотостудии. По телевизору в открытой кухне идет передача тунисского телевидения.

– Они были здесь всегда, а мы всегда были на той стороне моря, – говорит Жоэль. – Знаешь, что означает Марсала?

– Нет.

– *Марса Аллах*. Порт Господа. Это был первый исламский город в Италии.

– Когда это было?

– Ох, дорогая, откуда мне знать. Задолго до нашего времени.

Хозяин ресторана ставит перед нами два стакана марсалы. От заведения. Должна признаться, я знаю это знаменитое вино лишь понаслышке. Тунисец наливает и себе, и мы с ним чокаемся. Его усталости как не бывало, и он гордо объясняет, что слово «алкоголь» происходит из арабского языка. *Аль-кухль*. Подсчитано.

Глава 26

Аль-Альмани

*Как хрупки мы под покровом небес. За ним
лежит бесконечная темная Вселенная, а мы так
малы.*

Пол Боулз^[51].

Ночами Мориц слышал шум моря. Иногда лай собак и арабскую музыку до глубокой ночи. Этот народ танцевал даже среди руин. Снаружи бурлила жизнь, все шумело и смеялось, тогда как он отдалялся от мира, проводя дни в лихорадочном полусне.

Они поселили его в единственной комнате, стены которой уцелели. В комнате Виктора. Он лежал и слушал. Пустота нагоняла страх. Целые дни без приказов, пропадающее впустую время, безделье – вообще-то невозможно тяжело. Но тело отказывалось служить. Солдатский ритм, вошедший в кровь и плоть, сменился волнами озноба и жара, он дрожал и потел, а дни перетекали в ночи и назад, как и сны в явь и обратно. Резкий солнечный свет, проникавший сквозь ставни, звуки, которых он не понимал, радио по-французски, иногда итальянская служба Би-би-си, а к этому еще голоса семьи по-итальянски, и дни напролет ни одного немецкого слова. Обрывки арабского или еврейского, он их с трудом различал, молитвенные завывания, танцы или сны.

Сперва он потерял чувство времени, потом чувство места, а потом уже и не знал, кто он. Без формы, без языка, без контроля над своим телом – что вообще от него еще оставалось? Когда это доходило до его сознания, он впадал в панику. Он будто провалился в дыру сквозь себя самого и упал в темноту. Он все падал и падал. Но в какой-то момент падение сменилось парением – может, то была ладонь на лбу, нежная ладонь, но он не мог сказать, настоящая то рука или плод его воображения. Неведомо откуда пришло чувство: как хорошо. И с этим ощущением полной безопасности он снова провалился в сон.

Каждое утро и каждый вечер – единственная регулярность в тягучем течении времени – доктор Сарфати тихонько стучал в дверь, утром уже в костюме и при галстукe, чтобы измерить температуру, сменить повязку и дать антибиотик. В течение дня синьора Сарфати приносила чечевичный суп, спагетти и жареную рыбу, но Мориц мог проглотить только жалкий кусочек. Синьора говорила мало, но сочувствие, с каким она смотрела на него, пробуждало в нем давно забытое ощущение заботы, смущавшее его. У него не было права на ее дружелюбие – они по-прежнему чужие, хотя уже и не враги, и кто его знает, не сдаст ли она его новым властям.

Иногда, очнувшись от лихорадочного сна после щелчка дверной ручки, он ждал, что сейчас она войдет в сопровождении солдат, – но то была все та же синьора Сарфати в фартуке поверх платья в цветочек, с подносом в руках.

– Это шакшука, – говорила она с улыбкой. – Виктор у нас любит шакшуку.

Синьора никогда не спрашивала его ни про службу, ни про семью. Она вообще не упоминала, что он немец, как не упоминала и Ясмину. Она говорила лишь о Викторе. Что у него в детстве тоже однажды случилась сильная лихорадка. Что он любит шакшуку, обильно приправленную хариссой. Что он ненавидит войну. Словно Мориц был его близким другом, а не видел его почти что мимоходом.

Она даже принесла фотоальбом. Виктор – совсем малыш – на пляже, смеется, в руке мороженое. Виктор с одноклассниками, все в школьной форме, торжественно-серьезные, и только он озорно улыбается. Виктор-подросток, расслабленно стоит у отцовского «ситроена», будто машина принадлежит ему. Этот мир мне ничего не сделает, говорит его поза. Рядом с ним Ясмينا, робкая, но явно гордая своим старшим братом.

– *È fortunato*, – сказала синьора. – Баловень судьбы.

Мориц никогда не видел матери, которая бы так любила своего сына, да что там, боготворила. Даже его собственная мать не была такой. И когда синьора Сарфати в очередной раз ему улыбнулась, он вдруг расплакался – столько нежной доброты было в ее глазах. Он не заслужил ее любовь, эта любовь предназначена другому человеку.

Он пытался представить, каково это – вырасти в этой семье, и ощущал тайную зависть к Виктору, которому в избытке досталось материнской любви и теплоты, тогда как он сам лишился ее слишком рано. Воспоминания о матери он закопал так далеко вглубь памяти, что уже едва помнил, как она выглядела. Но помнил чувство, исходившее от нее, – оно было таким же, что исходило и от синьоры Сарфати, когда она садилась на его кровать и рассказывала о Викторе. А он лишь молчал да бормотал *Grazie*.

Но она и не ждала большего, даже за еду, которую готовила для него, не ждала благодарности. Напротив, она сама была благодарна за возможность дать ему то, чего не могла дать сейчас сыну. Но по имени она его никогда не называла. Однажды спросила, как его зовут, но не смогла правильно выговорить ни «Мориц», ни «Райнке», так что все осталось по-старому. *Buongiorno, come va? Buona note, Signore*. Вполне достаточно. Разумеется, они говорили друг другу «вы», и Мориц называл ее «синьора Сарфати». Когда он слышал через дверь, как семья говорила о нем, его называли только *аль-альмани*, немец.

* * *

Однажды, когда синьора вышла из комнаты, Мориц медленно встал. Огляделся. У Виктора почти не было книг, зато имелось много пластинок. Бенни Гудман, Эдит Пиаф, Энрико Карузо, Хабиба Мсика. На письменном столе стояло семейное фото в рамке, снимок был сделан перед домом. Родители, впереди Ясмينا и Виктор с ней рядом, об их тайне никто не догадывается. В ящике письменного стола Мориц обнаружил авторучку, запонки, флакон туалетной воды для бритья и пачку писем, связанных веревочкой, отправительница из Парижа. Мориц не прикоснулся к ним. Но достал другое – заграничный паспорт Виктора. Республика Франция, фото с зубчатым обрезом, старомодный снимок, но и здесь все тот же заносчивый вид; штампы о въезде в Италию и Францию. Он положил паспорт на место и тихонько задвинул ящик. На плечиках на стене висел белый костюм, который Виктор надевал в «Мажестик». Как будто он ненадолго куда-то вышел и в любой момент мог войти.

Однажды ночью у его кровати остановилась тень. Мориц почувствовал ее сквозь сон, еще до того, как открыл глаза и испуганно приподнялся. В темноте он разглядел кудри Ясины. Изящную фигуру в ночной рубашке. Она подняла над ним мерцающую керосиновую лампу, чтобы посмотреть ему в глаза.

– Если вы расскажете об этом моим родителям, я вас убью.

Голос ее звучал решительно. Ничто не напоминало о милом дневном облике. Лицо пылало в свете лампы, словно лик ангела смерти. Он кивнул.

– Обещайте мне!

– Обещаю.

– Поклянитесь!

– Клянусь.

– Жизнью вашей матери!

– Она уже умерла.

Ясина смотрела на него пронзительно.

– А ваш отец? Жизнью вашего отца! Он еще жив?

– Не знаю.

Такая искренность смутила его самого. Он даже своим товарищам никогда не рассказывал о родителях. Эту часть жизни он скрывал не только от мира, но и от себя. По молчанию Ясины он чувствовал, что в ней что-то происходит. Он не знал, что именно, но ее гнев сменился другим, более мягким чувством, хотя она никак его не выказала. Девушка повернулась и шагнула к двери. Но потом снова вернулась к кровати.

– Я вас знаю. Вы держали меня за руку. На кладбище. Вы не помните?

Теперь и у него что-то забрезжило. Ночь под бомбами. Горничная. Кости покойников. Крепкое пожатие ее руки.

– Так это были вы?

Ясина кивнула. Ему стало стыдно, что он не узнал ее сразу. Что она была для него лишь одной из многих. И все-таки он не забыл то чувство: тепло ее руки, немое понимание среди чужих. Никогда бы он не подумал, что она еврейка. Как она могла ему доверять? Он непроизвольно потянулся к ее руке. Ясина заметила это, отвернулась

и исчезла так же тихо, как и появилась. В следующие ночи Мориц надеялся, что она снова придет. Но она больше не показывалась, даже днем.

* * *

Каждый вечер, когда Альберт менял повязку и давал лекарство, он рассказывал Морицу о том, что происходит в городе. Электросети не ремонтировались, дизельное топливо для генератора взлетело в цене, воду по-прежнему брали из цистерн. Но войска коалиции засыпали на дорогах воронки, чтобы их джипам можно было проехать. Порт забит военнопленными. Четверть миллиона немцев и итальянцев на пути в Америку и Англию.

Корабли проплывали в каких-то пятистах метрах от убежища Морица. Он слышал их низкие гудки. Мориц размышлял, кто из его товарищей сейчас на борту, а кто бессмысленно погиб. Когда сигналы становились все тише, он чувствовал себя ребенком, которого оставили родители. Однажды его охватило желание побежать в порт и сдать. Тогда бы и для него война закончилась. Но тут же подумал о Фанни. Мориц не хотел в Америку, не хотел, чтобы от родины его отделила Атлантика. Нет, он найдет собственный путь домой. Лодкой до Италии, а потом поездом на север. Его вермахтовское удостоверение все еще было при нем. Он может сказать, что бежал из плена. Об этой истории с евреями никто никогда не узнает. Только надо выздороветь, и еще понадобится немного денег – и везение.

* * *

В мыслях Мориц улетал далеко, но реальный мир сузился для него до маленького дома Сарфати, точнее, до того, что от него осталось. Дырявые стены, полуобрушенная крыша, голоса семьи. Никто из соседей не должен был заподозрить, что рядом живет немец. Мориц подолгу смотрел на потолок, следя за перемещением солнечного луча по облупившейся штукатурке и сопоставляя его с боем часов на церковной башне. Скоро трещины на потолке связались

с определенными часами. Следя, как незаметно ползет солнечное пятно, он боялся, что сойдет здесь с ума. И все же дом Сарфати был его защитным коконом.

Ночами с улицы доносились голоса солдат, горланивших на улицах портового квартала. Мориц научился отличать англичан от американцев. Днем слушал детей, играющих среди развалин в футбол, перекликающихся соседок и старьевщика с деревянной тележкой, хрипло выкрикивающего *Roba vecchia!*^[52] И еще Мориц слушал двух женщин, которые с утра принимались таскать камни, разбирая руины своего жилища. Однажды он услышал, как синьора и синьор Сарфати ссорятся. Она упрекала его, что он вечно где-то пропадает, а тут нужен мужчина, чтобы ворочать эти проклятые обломки. А кто будет зарабатывать деньги, чтобы за все платить, возражал Альберт, за новые стены, за мебель, за крышу?

Он опять работал в больнице, его взяли туда сразу. То же самое начальство, что уволило всех евреев, теперь принимало их на работу с распростертыми объятиями, будто прошлое – просто дурацкое недоразумение. Врачи требовались даже острее прежнего. Надев старый свой халат, Альберт занимался пациентами, а о прошлом помалкивал. Но если когда-нибудь этим лицемерам понадобится от него какая-то услуга, он даст понять, что ничего не забыл.

Восстановление дома полностью лежало на плечах женщин.

* * *

Мориц чувствовал себя виноватым: он валяется в кровати бесполезным бревном, тогда как две женщины ворочают камни. Когда жар спал, воспаление пошло на убыль и он снова мог ясно мыслить, Мориц однажды утром встал, пригладил перед маленьким зеркальцем волосы и спустился по останкам лестницы. Голова кружилась от слабости, нога нещадно болела, но он радовался тому, что снова дееспособный человек. Альберт только что ушел. Первый этаж выглядел немного прибранней: сквозь завалы пролегли пути, по которым можно было перебираться из комнаты в комнату. Камни выносили в сад, где уже высилась большая куча. Но стены-то по-прежнему были разрушены.

– *Buongiorno, Signora*. Можно, я вам помогу?

Мими, замешивавшая цемент, распрямилась, уперла руки в бока и недовольно уставилась на него. Сперва этот взгляд его смутил, но он тут же понял, что смотрит она не на него. А на пижаму Альберта, которая была на нем.

– Только не в этом виде! – Мими рассмеялась, опустила мастерок в ведро, вытерла руки о передник и жестом велела ему следовать за ней. – У вас один размер, – сказала она, доставая из платяного шкафа коричневые брюки Виктора и его рубашку. – Примерьте.

Когда Мориц спустился вниз в одежде Виктора, придерживая брюки за пояс, чтобы не свалились, Мими рассмеялась:

– Вам надо есть побольше шакшуки!

Тут вошла Ясмина, вернувшаяся с рынка с овощами и хлебом. Она удивленно посмотрела на них.

– Ясмина, *Аль-Альмани* будет нам помогать. Сделай ему брускетту, ему нужны силы!

Колючий взгляд Ясины задел Морица. Что тебе здесь надо? – спрашивали ее сверкающие глаза. Но и что-то другое было в ее взгляде – темное и жадное, смутившее Морица. Ожидание, упрек, голод. Он чувствовал себя одновременно и желанным, и ненавидимым.

Превозмогая слабость, Мориц таскал камни. Большие обломки, которые женщинам были не по силам. Перемещал их в кучу в саду. Он не бросил работать даже в полуденную жару, хотя все его тело было мокрым от пота.

– Отдохните! Вы еще слишком слабы, – сказала Мими.

Он отрицательно помотал головой и потащил очередной камень. Упрямо и ожесточенно, будто хотел возместить вину за все эти разрушения. Конечно, бомбы сбрасывали не бомбардировщики «хейнкель», а «ланкастеры» и «Б-25». Но ведь если бы вермахт не вторгся на африканскую землю, город сейчас был бы цел.

Ясмина поглядывала на него со смешанным чувством недоверия и забавы, как смотрят на экзотическое животное, а может, и с некоторой искрой уважения. Когда в конце дня он снял с себя на кухне рубашку и майку, чтобы помыться над раковиной, – ванная комната была в руинах – она неслышно вошла и повесила полотенце на спинку стула. И тут же вышла.

Вернувшийся вечером Альберт возмутился. Дескать, Морицу в его состоянии нельзя работать! Мориц принялся уверять, что он уже здоров благодаря антибиотикам, которые он, само собой, оплатит.

– Он нам сегодня хорошо помог, – заметила Мими.

Альберт проигнорировал ее слова.

– Вы наш гость, а не работник!

– Мы не можем перетаскать все камни сами, – возразила Мими. – Нам нужен мужчина!

– Тогда найдем рабочих.

Они спорили, не уступая друг другу. Мориц настаивал, что должен внести свою долю. В конце концов Альберт сдался, но только при условии, что за свою работу Мориц получит такую же плату, как и рабочий, которого Альберт завтра разыщет в порту. Мориц отказался. Его плата – это кров и стол.

– Хорошо, – сказал Альберт, – договоримся так: вы работаете за кров и стол, а когда наш дом будет готов, я дам вам денег на дорогу. Согласны?

– Я верну их вам, как только доберусь до дома. Честное слово.

Он протянул руку. Альберт, не соглашаясь, скрестил руки на груди, но Мими ткнула его. И они с Морицем пожали друг другу руки.

– Почему вы все это делаете? – спросил Мориц, смущенный великодушием Альберта. – Для немца?

– Вы ведь знаете книгу Моисееву? Она и в вашей Библии есть.

Мориц не понимал, к чему тот клонит.

– «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле Египетской»^[53]. Так говорил Господь.

Мориц молчал, взволнованный.

– Но... вы же не верите в Бога, разве не так?

– Научно не доказано, что наши праотцы когда-то побывали в Египте. Может, это всего лишь миф, – Альберт улыбнулся, – но это хороший миф.

Ясмина скептически наблюдала за ними, так и не произнеся ни слова. Да ведь ее мнения никто и не спрашивал.

Мими накрыла на стол. Печеные пирожки с яйцом, каперсами, тунцом и петрушкой.

– А вы знаете, что человек – единственный вид на планете, который делится пищей? – спросил Альберт, снова повеселев. – Ведь вы видели, как кошки или собаки грызутся за кусок мяса? Даже обезьяны – а они наши ближайшие родственники, хотя некоторые и отрицают это – не делятся друг с другом. Интересно, не правда ли?

Мими зажгла свечи – по одной на каждого члена семьи – и прочитала на иврите застольную молитву. Мориц молчал и думал о том, чье место за столом он сейчас занимал. Жив ли еще Виктор? У него нет права здесь сидеть. Его присутствие оправдывало лишь то, что он сделал, а не то, кем он был. За кров, пищу, постель он должен расплатиться работой. И за милость не быть выданным. В Альберте, а теперь и в Мими он не сомневался. Но как к нему относится Ясмينا и что он должен сделать, чтобы она его не выдала, Мориц понять не мог. Она избегала его взгляда, а он ее. Никто не спрашивал его о том, что он делал в вермахте. Как и о том, женат ли он и кем был до войны. Мориц спросил себя почему. И ответил: это не отсутствие интереса к его персоне, а необходимость – чтобы не навредить их хрупкому соглашению, ибо очевидно, что здесь могут развернуться бездны.

Защищала его не история, которую с таким же успехом можно было и выдумать. Он вовсе не был героем и не питал особой симпатии к евреям. Но он никогда ни о ком не судил только исходя из религиозных убеждений или внешности. Мориц вообще не судил людей – его отношение к миру определялось любопытством, распространявшимся на все. У него не было чувства превосходства, с которым жили в то время очень многие. Уверенность, что ты лучше других, – откуда было ей взяться у него, деревенского мальчишки. Однажды он сумел вставить в разговоре за столом, что никого не убивал, что был кинооператором. Но семья Сарфати никак не отреагировала на эти слова, да и разве мог он их доказать – любой на его месте скрыл бы правду. Иногда посреди разговора семья переходила с итальянского на смесь еврейского и арабского, и Мориц предполагал, что речь идет о чем-то сугубо семейном, не касающемся его. И делал вид, что ничего не заметил.

Альберт рассказывал о бедственном положении в городе. Если евреи дышали теперь свободно, то итальянцы попали под прицел новых господ. Шли аресты, людей допрашивали, на них доносили. Все разом вдруг превратились в убежденных антифашистов. Муссолини? Да он преступник, *very bad man, of course, Mister*^[54]. Ясмина хотела вернуться в «Мажестик», но американцы, расположившиеся там, не брали никого с итальянскими фамилиями. Еврей ты, мусульманин или христианин, твой Бог им был безразличен, считалось только, откуда происходят твои родители.

– Потерпи, – сказал Латиф. – Времена меняются быстрее, чем мы.

Но Ясмина догадывалась, что назад дороги для нее уже нет. Новые горничные все в той же форме, арабки и француженки, выполняли работу так же хорошо. И никто не вспоминал про голос Виктора, стоявшее в баре пианино молчало, зато патефон целыми днями крутил пластинки со свингом. Ясмина спросила у Латифа, не слышал ли он хоть какого-нибудь намека про Виктора, – может, тот кому-то звонил, дал понять, что жив. Но Латиф ничего не слышал – Виктор исчез. То ли он снова попался немцам, то ли перешел за линию фронта и там его схватили. Или же лежит где-то раненый?

* * *

В больнице, рассказал Альберт, военные конфисковали медикаменты, так что для местных почти ничего не осталось, а поставки из Европы и всегда-то были скудными. Морфий и амфетамин из немецких армейских запасов продавались на черном рынке в качестве наркотиков. Рассказывал Альберт и об ужасах, творящихся в городе: спекулянты выкупали у пострадавших от бомбежек семей их разрушенные дома – за мелочь, больше похожую на подаяние. Проституция добралась и до *Riscola* Сицилии, где солдаты вечерами напивались в барах. Владельцы пансионатов сдавали комнаты в почасовую аренду, задирая цены в долларах или фунтах. Соседи закрывали на это глаза, а кто не хотел закрывать, того убеждали деньги или шантаж. По утрам никто ничего не видел. Но все судачили. Особенно если девушка с подбитым глазом под покровом темноты стучалась в дом к доктору Сарфати, чтобы не идти в больницу.

На следующий же день Альберт поехал на своем «ситроене» в порт. Десятки поденщиков ждали грузовики, которые увезли бы их в город на стройки. Восстанавливать разбомбленные дома. Не найдя никого из своего квартала, Альберт выбрал двух молодых, запуганных парней из деревни. Мусульмане, которым Морица представили как родственника из Италии. Вопросов арабы не задавали, сразу взялись за дело. Для соседей, которые время от времени заглядывали к ним, чтобы помочь или принести что-то из еды, Мориц просто был одним из рабочих – дальний родственник, поэтому ему и разрешили ночевать в доме. И он наконец обрел имя – Морис. Французское, как у большинства тунисских итальянцев. Он стал евреем с корнями из Восточной Европы – объяснение его светлой кожи. Альберт говорил, что сам парень родом из Триеста, и этого хватало. В этом не было ничего необычного. Многие евреи бежали через Средиземное море в освобожденную от нацистов Северную Африку. Мориц в основном молчал, но удивлялся, как легко сработала ложь. Сознание людей сродни комоду с выдвигаемыми ящиками, думал он, тебя определяют в один из них и больше о тебе не думают. Люди ленивы, и мысли их ленивы тоже. А поскольку новые власти не доверяли итальянцам, а жандармы так и вовсе свирепствовали по отношению к ним, соседи держались друг за дружку и никого не выдавали.

Вечерами Мориц читал итальянские книги, какие удавалось найти. Даже если он понимал лишь половину из прочитанного, фантазия выстраивала вторую половину, чтение было для него своего рода головоломкой. Слова, которые он не мог связать с известными ему латинскими, он подчеркивал. На следующий завтрак или ужин прихватывал книгу и спрашивал значение слов. Мими улыбалась его немецкой дотошности, но получала большое удовольствие, обучая Морица произношению – *lenzuole, fiordilatte, arcobaleno*^[55].

– Эти слова надо не произносить, а выпевать! – смеялась она.

Морицу нравилось звучание итальянского, язык определял взгляд на мир, отношение к жизни. Новый язык, думал он, словно дает тебе крылья, и ты взлетаешь, преображаешься в кого-то другого. В того, кто на самом деле всегда жил в тебе, но просто не знал, как вырваться

наружу. Иногда другой язык не ведет нас в далекие края, а делает ближе к самим себе.

– А вы знаете, – сказал как-то Альберт за ужином, – сколько итальянских слов происходит из арабского? Вот, например, *Una tazza di caffè con zucchero*^[56], здесь целых три арабских слова! *Am-macc*, *аль-кахуа*, *ас-суккар*! Кстати, на иврите звучит похоже – *кавах*, *сукар*. И французы тоже переняли это: *Une tasse de café avec du sucre, voilà!* А как будет по-немецки?

– *Eine Tasse Kaffee mit Zucker.*

Альберт только развел руками:

– И из-за таких мелких различий мы придумали разные языки? *Quelle connerie!*^[57]

– А вы кем себя считаете? – спросил Мориц. – Евреем, или итальянцем, или тунисцем?

Альберт взглянул на него серьезно, но и весело:

– Вот это очень немецкий вопрос.

– Почему?

– Вы используете «или». Мы предпочитаем «и».

Глава 27

Однажды вечером Мориц снял с вешалки костюм Виктора и надел. Ремень пришлось затянуть потуже, но в остальном костюм оказался впору. А к костюму черные полуботинки, итальянская кожа, – все изящнее и франтоватей, чем вещи, какие Мориц носил в Германии. В темноте, как он надеялся, он не будет бросаться в глаза. Он как раз собирался покинуть дом через черный ход, когда из кухни вышла Ясмينا.

- Вам нельзя на улицу!
- Мне надо. Иначе я сойду с ума.
- Лучше сойти с ума, чем быть убитым.
- Не беспокойтесь, со мной ничего не случится.
- Виктор тоже так говорил.

Почему она удерживает его, спросил он себя, если она ему не доверяет? Ведь она должна бы радоваться, если его арестуют?

Голос Альберта спугнул обоих:

- Куда это вы собрались?
- Просто вдохнуть воздуха. Почувствовать себя нормальным.
- Это невозможно. Что вы будете делать, если патруль спросит ваши документы?
- Не знаю. Но...

К ним присоединилась Мими. Она была в ночной рубашке.

- Отведи его к месье Леви, – предложила она.

Альберт с сомнением взглянул на жену.

- Кто это? – спросил Мориц.
- Месье Леви чинит радиоприемники, – ответил Альберт.
- Радиоприемники?

Мими продолжала гнуть свое:

- Скажи ему, что Мориц – немецкий еврей, что он в бегах.

Альберт наморщил лоб.

- А это может сработать...

Мориц вопросительно переводил взгляд с одного на другого.

Альберт снял очки и сказал почти шепотом, словно за дверью стоял жандарм:

– Месье Леви годится не только по части радио. Однажды он нарисовал на салфетке такого да Винчи, что не отличить от оригинала!

Мориц начал понимать.

– Он помогает евреям бежать из Европы. Они прибывают через Палермо и Марсель, а отсюда уже едут дальше, в Америку или Палестину. Но американцы заблокировали порты, а в Палестине британцы заворачивают корабли назад. Там протесты местных против новоприбывших. Словом, нужны правильные бумаги. Вы понимаете?

– Да. Давайте сходим к нему.

– Вам к нему нельзя. Месье Леви очень недоверчив.

Альберт поднялся в спальню и вернулся с удостоверением личности Виктора, которое они сохранили. Раскрыл серый, потертый документ. Фото Виктора в черном костюме и галстук, размашисто написанное имя, поверх – красный штамп: ЕВРЕЙ.

– Вы примерно одного возраста. Если Виктор вернется, мы заявим, что документ утерян, и он получит новый.

* * *

На следующий день Мориц починил старую камеру Альберта с объективом-гармошкой. Альберт где-то раздобыл пленку, зарядил в камеру и усадил Морица на стул перед задернутыми занавесками. Морицу непривычно было находиться по другую сторону от камеры, и он нервничал. Ясмина откровенно забавлялась, наблюдая, как он непрерывно дает указания по поводу выдержки и диафрагмы.

– Да замрите же вы наконец! – прикрикнул Альберт.

Вечером Альберт с отснятым негативом и удостоверением отправился к месье Леви на рю де ль'Авенир.

* * *

И потом они сделали то, о чем не стали рассказывать женщинам. Мориц попросил об этом Альберта, чтобы уже быть совершенно уверенным. На тот случай, если его арестуют и будут допрашивать. Альберт не отмахнулся от его опасений, как боялся Мориц, а

подхватил идею по поводу обрезания. Вопрос был слишком интимный. Они тайком посетили месье Меллулу, старого мохела, который больше не практиковал. Альберт лечил его бесплатно, так что Меллул задолжал ему ответную услугу. Под строгим секретом они рассказали ему правду. Старик был так тронут тем, что Мориц сделал для Виктора, что поклялся унести эту тайну с собой в могилу. В своем маленьком темном жилище месье Меллул по всей форме провел «брит-мила», как будто Мориц действительно был евреем. На прощанье он вручил Морицу Тору со словами:

– Праведного гоя Бог любит больше, чем того неправедного, который ходит в синагогу.

* * *

На второй Шаббат после обрезания, когда все сели ужинать, Альберт с улыбкой выложил на стол удостоверение Виктора. Ясмينا раскрыла документ. Подделка была превосходной. Темно-синий официальный штамп безукоризненно налезал на фото Морица.

– Он гений, не правда ли? – сказал Альберт.

Когда Ясмينا увидела фото немца рядом с именем Виктора и датой его рождения, ее охватило неприятное чувство.

– А где фото Виктора?

– Месье Леви его сжег.

– Зачем?

– Из-за штампа. Оно не должно никогда всплыть.

Ясмينا поджала губы. Мориц заметил это.

– Когда Виктор вернется, я сфотографирую его.

Ясмينا протянула ему удостоверение. *Виктор Сарфати, 21 ноября 1916 года, Тунис. ЕВРЕЙ.* Теперь Мориц был евреем с итальянской фамилией и французским гражданством. Виктор Сарфати стал его страховкой.

– Носите его всегда при себе, – сказал Альберт. – И если солдаты спросят вас о родителях, то называйте нас.

– Спасибо. Я очень ценю это.

– Лехаим, Виктор! – воскликнула Мими с улыбкой и подняла бокал.

Они чокнулись. Глядя Морицу в глаза, Ясмина ощущала странную смесь из благодарности и гнева. Может, этот парень и спас Виктора, но почему теперь *он* сидит здесь, а не ее возлюбленный? Мориц, угадывая ее неприязнь, ощутил себя лишним. Мошенником поневоле.

Альберт встал и зажег на столе четыре свечи.

– Еще одну, – потребовала Ясмина. – Так Виктор тоже будет с нами.

Альберт кивнул и принес еще одну свечу. Мими зажгла ее, подержала над всеми свечами ладони, потом закрыла руками глаза и произнесла благословение. Когда Альберт разрезал хлеб, Мориц тайне спросил себя, жив ли еще Виктор.

* * *

После еды Мориц сунул удостоверение в карман брюк, чтобы наконец совершить долгожданную прогулку. Снаружи стрекотали цикады, было еще тепло, в воздухе пахло ранним летом.

– Я сейчас вернусь. Только на четверть часа.

– погодите, – остановил его Альберт. – Я вас провожу.

Ясмина и Мими с тревогой смотрели на мужчин, когда те выходили из дома. В темноте они выглядели отцом и сыном.

* * *

На вечернем проспекте де Картаж, ведущем к Карфагену, бурлила жизнь. Пахло рыбой, маслом и дешевыми духами. На раскаленных грилях шипели початки кукурузы, сквозь толпу пробирались лоточники с печеньем, беззубые торговцы выставляли бумажные кульки с фисташками, арахисом и тыквенными семечками. Местные и солдаты фланировали между кафе *Vert* и казино, как будто никогда и не было никакой войны. Мориц приноровился к медленному шагу Альберта, нырнул в толпу, сплавился с ней. Его удивило, насколько это оказалось легко. Его светлая кожа явно никому не бросалась в глаза – как-никак половина людей здесь были европейцы. Со своими русыми волосами он не мог соответствовать средиземноморскому типу, но

вполне сходил за итальянца-северянина или француза. Только говорить было нельзя, чтобы его не выдал акцент. Тут и там он замечал жандармов, проверявших документы. Свернув в переулок, они направились в сторону берега. На черной поверхности ночного моря покачивались лодки, туда-сюда прогуливались любовные парочки. Никто не обращал внимания на двух мужчин. Мориц вглядывался в темноту. Огни кораблей на рейде. Где-то там, за ними, совсем не так далеко, Сицилия, Европа. Уличный продавец-подросток заговорил с ними:

– Сигареты? Жевательная резинка? Американские!

– Нет, спасибо, – ответил Альберт, взял Морица под руку и повел его назад, к дому.

* * *

Эта короткая прогулка придала Морицу решимости. Отныне он каждый вечер выходил из дома. Шел всегда по одним и тем же улицам, для уверенности, и на прохожих, попадавшихся навстречу, оттачивал свое умение не бросаться в глаза. Он и раньше был мастером по этой части, прячась за камерой, но теперь задачу себе поставил посложнее – сделаться невидимкой, ничем не прикрываясь. Он понимал, что тут важна не только внешность. Не имеет значения, в шляпе ты, в пальто. Невидимость идет изнутри. Чтобы исчезнуть с радаров других людей, он должен прежде сам научиться не обращать на них внимания. Так, будто его взгляд – луч света, который он может выключить, заодно погасив и себя. Молчать глазами – вот что это такое, думал Мориц.

Как фотограф, он знал, что есть свет, который падает снаружи, и есть тот, что исходит изнутри, из глаз. Этот свет не измерить, но именно он определяет, взволнует зритель портрет или не тронет. Глаза говорят всегда, они могут признаваться в любви, они могут вопить. Человек умеет контролировать свои голосовые связки, но не способен заставить замолчать свои глаза. В них, в отличие от объектива, вмещается весь хаос чувств: вожделение, любовь, страх, нежность, холодная и горячая ярость. Если бы человеку удалось все это погасить, его взгляд не вызывал бы у других людей ничего. Он стал бы ходячим мертвецом. Без желаний, без страхов.

* * *

Я выключаю свой свет. Я старик, тихо исчезающий. Я прозрачен.

Мориц фланировал по проспекту де Картаж и считал, сколько встречных посмотрели на него. Чем меньше, тем выше его успехи в невидимости. Но вскоре он оставил это занятие, поскольку для того, чтобы узнать это, ему приходилось – пусть и мельком – заглядывать человеку в глаза. А этого было вполне достаточно, чтобы его заметили. А должно быть так, будто его нет, совсем. Ни притворства, ни приветливой улыбки, ни слова в пекарне – отказаться от всего, что выделяет из толпы, что оседает в памяти людей. Чем меньше цепляться за их взгляды, тем лучше.

* * *

Однажды, когда он возвращался домой, ему попался большой уличный пес. Он грозно рычал, но не бросался. Мориц вспомнил то, что усвоил еще ребенком в деревне: не убегать. Для собаки бегство – признак слабости, и пес нападет. Но и смотреть собаке в глаза тоже нельзя – пес воспримет это как агрессию, вызов. Мориц просто двинулся дальше, не реагируя на рычание. Будто пса и не было, будто его самого не было. Глядя прямо перед собой, он миновал пса, захлебывающегося в рыке, но не пытавшегося наброситься. И тут все стихло. Мориц улыбнулся. Его охватило внезапное ощущение могущества.

Мир принадлежит невидимкам, думал он, а вовсе не громким и решительным, как все считают. На последних приходятся вся зависть, весь гнев и нападки, тогда как невидимки идут своим путем. Весь секрет в том, что надо не только не быть частью мира, но еще и не занимать никакой позиции по отношению к нему. Позиция предполагает некое «я», которое отстраняется от внешнего мира. И тем самым делает себя видимым. Досягаемым. Ты судишь и становишься судим. Вот если бы ему удалось перенести на свое дневное сознание то чувство из лихорадочных ночей, когда он не знал больше, кто он. В то время как другие молодые люди стремятся выделиться из массы, обзавестись знаками отличия, символами личности, он пойдет другим

путем: избавиться от самого себя. Станет никем. Научится не сопротивляться миру. Как когда-то в интернате – те годы он выдержал только благодаря тому, что выпал из поля зрения более сильных. И если сейчас сделать следующий шаг, если он просто позволит совершаться тому, что должно свершиться, доброе или злое, если укутает себя в туман бесстрастия посреди громкого, алчного мира, – если ему все это удастся, он станет невидимым.

* * *

Боевое крещение состоялось посреди проспекта де Картаж. На тротуаре перед кафе *Vert* стояли двое вооруженных американских солдат и проверяли у прохожих документы. Вместо того чтобы свернуть в переулок или в какое-нибудь заведение, Мориц пошел прямо на них. Смотрел внутрь, полностью уйдя в себя – настолько, что, казалось, он двигается в своем собственном мире, не в их, солдаты не были врагами, а потому в нем не было ни страха, ни гнева. Он просто шел мимо. Один из солдат повернулся к своему товарищу и задел Морица прикладом.

– *Sorry*, – сказал он.

А Мориц шел дальше, будто ничего не заметив. Он и вправду не ощутил боли, вообще ничего не почувствовал, словно укрытый ватой. Глаза его молчали. Его мысли молчали. Его чувства молчали. Лишь эйфория нарастала внутри. Он был непобедим.

* * *

Только постучав в дверь дома Сарфати, он вышел из транса. Дверь приоткрылась самую малость, и черные глаза Ясины сообщили: что-то случилось. В следующий миг она открыла дверь шире, впуская его. Только войдя, он понял, что она плакала.

Альберт, сторбившись, сидел на диване, держа очки в руках и вперив взгляд в пол. Мими сидела подле него, рука ее утешительно лежала на спине мужа. Она была бледна, в глазах страх. *Виктор*,

подумал Мориц, *они получили вести от Виктора. Плохие вести.* Подойдя ближе, он заметил кровь на костюме Альберта.

– Вы поранились?

– Нет. – Альберт неловко надел очки.

Мориц увидел, что глаза у него покрасневшие. Слова давались Альберту с трудом, он будто пытался составить не дающиеся ему фразы о случившемся, ужасном.

– Американский бомбардировщик рухнул на центральные кварталы. Прямо на кафе. Много убитых. Раненых оперируют. Это была бойня.

Мориц испугался себя, потому что в первый момент испытал невероятное облегчение: погиб не Виктор. Люди в кафе. Чужие. И тут же устыдился того, что – в отличие от Альберта, Мими и Ясины – всего лишь удивлен, но не потрясен. А если бы погибшие были немцами? Война притупила его чувства? Или плащ невидимки сделал бесстрастным и его сердце?

– В кафе был Латиф, – еле слышно сказала Ясмина. – Он часто там обедал.

Мориц почувствовал, как кровь отливает от лица.

– Мы вытащили его из-под обломков. Но он был уже мертв. Я больше ничего не мог сделать.

Голос Альберта прерывался. Он встал, снял запачканный кровью пиджак и прошел в кухню, чтобы умыться. Мориц все стоял посреди комнаты и вдруг почувствовал себя абсолютно никчемным. Ему хотелось утешить женщин, но как? Мими ушла за Альбертом в кухню, Мориц остался с Ясиной. Избегая смотреть на него, она принялась убирать со стола чайные чашки, чтобы занять себя. Все, что он мог сказать, казалось ему пошлым. Он забормотал было соболезнования, но умолк. Ясмина вышла.

* * *

Полная луна светила в окно. Веселый гомон, доносившийся с проспекта де Картаж, казался призрачнее, чем когда-либо. Мориц встал с кровати. О сне нечего было и думать. Он спустился в кухню, чтобы смыть пот с лица. Испугался, увидев, что кто-то сидит в

полутемной гостиной на диване. То был Альберт, склонившийся над книгой. В стеклах очков отражался язычок свечи. Увидев Морица, он ничего не сказал, но Мориц прочел в его взгляде приглашение и сел рядом. Посмотрел на книгу. Еврейский шрифт. Тора.

– Вы верите в Бога, Морис? – спросил Альберт.

Мориц кивнул. Альберт отложил Тору.

– Я искал в этой книге объяснение. Но не нашел. – Альберт сказал *объяснение*, не *утешение*. – Господь есть Бог правды, говорится в Писании. Но разве жизнь справедлива? Почему преступники гуляют на воле, а Латиф должен был умереть? Говорят: кто делает добро, того Бог помилует. Но если кто и воплощал в себе добро, так это Латиф. Как может Бог нас любить, если он допустил, чтобы Латиф погиб такой ужасной смертью? Это может быть только безучастный Бог, покинувший свое творение. Что вы думаете, Морис?

Мориц не знал ответа. Может, он слишком далеко зашел в своей невидимости. У него просто не было никакого мнения.

– Я знаю, это еретические мысли, простите меня.

– Нет, нет, напротив, вы правы. Я тоже не знаю ответа, который имел бы смысл.

– Когда мы жили у Латифа, он как-то раз зачитал мне одно место из Корана. *Если кто убьет невинного человека, это все равно что он убил бы все человечество. И если кто спасет человека, это все равно что он спас бы все человечество.* Это же самое я нашел и в Талмуде. А есть ли такое утверждение в вашей религии?

– Это звучит так: *Возлюби ближнего твоего, как самого себя.*

Альберт устало вздохнул:

– Этим словам тысячи лет, но люди ведут себя так, будто никогда их не слышали. Может, вовсе не Бог покинул людей, а люди его оставили.

Да, подумал Мориц. Мы все оставили нашего Бога, когда сели в проклятые самолеты, чтобы нести в мир войну.

– Латиф был не просто консьерж «Мажестика». Латиф сам и был «Мажестик». Он владел пятью языками. Его дружелюбие никогда не было притворным, он всегда был участлив к собеседнику, будь то хоть богатый постоялец, хоть простой работник. А его остроумие, юмор. Щедрость. И если правда, что «Мажестик» воплощал в себе все лучшее в нашей стране, то теперь Тунис обеднел.

– Я очень его ценил, – сказал Мориц и подумал: *какие пустые, ничего не значащие слова!* Он вряд ли даже замечал консьержа. Они тогда налетели на «Мажестик» как саранча – не постояльцы, а господа.

Альберт встал и положил Тору на белый платок на полке. Все остальные книги стояли вертикально, только Тора лежала.

– У нас есть легенда про тридцать шесть цадиков. В мире в любой момент времени есть тридцать шесть праведников. Если один из них умирает, тут же рождается новый. Никто не знает их имен, никто не знает, богатые они или бедные, цари они или чистильщики обуви. Они редко бывают на виду, только когда евреи оказываются в большой опасности. Бог посылает их, чтобы спасти евреев, и как только задача выполнена, они снова уходят в тень. Только ради их благородства Господь не дает миру погибнуть, невзирая на его разложение. Вообразите себе, Морис! И ни один цадик при этом не знает, что он один из тридцати шести. Так что если кто-то утверждает, что он праведник, это совершенно точно не он.

Мориц представил земной шар между двумя чашами весов: горстка праведников против миллионов неправедных.

– У вас есть дети, Морис?

– Нет.

– Надо, чтоб были.

Альберт подошел к старому пианино и провел пальцами по крышке. Темно-коричневое дерево, потрескавшееся, кое-где надколотое.

– У меня никогда не было времени научиться играть на нем. Виктор в такие моменты подбадривал нас музыкой.

– Я... немного могу играть, – сказал Мориц. Наконец хоть что-то, чем он может быть полезен.

– *Prego*, Морис, сыграйте.

Альберт передвинул стул к инструменту, и Мориц сел. В последний раз он играл на пианино очень давно. Он поднял разбитую крышку. Несколько клавиш не хватало. Солдаты, должно быть, выломали. Помедлив, Мориц взял первые ноты. Звучало расстроено – словно севший голос человека после долгой болезни. Наверное, пыль проникла в деку.

– Что вы сыграете? Моцарта?

Реквием, может быть. Мориц начал было «Лакримозу», но Моцарт показался вдруг неуместным. Нужно что-то, отвечающее чувствам Альберта. Или его собственным – если бы только он знал, что чувствует. Пальцы Морица пробежались по клавишам, педалью он добавил звукам дыхания, с каждым аккордом чувствуя, как его игра освобождает запорошенный звук старого пианино. Одна триоль следовала за другой, и неизвестно откуда вдруг в правой руке возникло адажио бетховенской «Лунной сонаты». Левая рука нашла нужную октаву. До-диез минор, припомнил он, потом ниже, тяжелое си под раскатистую гармонию правой, он закрыл глаза и отдался темной мелодии, этому своеобразному *adagio sostenuto*, которое всегда звучало как ночь, меланхолично и задумчиво, играть такое днем невозможно, иначе сразу заблудишься, точно в лесу, и как же давно он не вдыхал лес, заснеженные немецкие ели, зимнюю ночь, полную звезд, снег, залитый лунным светом.

Он скорее угадал за спиной почти бесшумные шаги – босые ноги по плиткам, это спустилась Ясмينا в ночной рубашке, привлеченная неожиданными звуками. Мориц повернул голову и заметил разочарование на ее лице – разочарование, что это он, а не Виктор пробудил инструмент к жизни. Но тут Альберт подал ей знак, и она остановилась у пианино так, что Мориц мог видеть ее боковым зрением, белая фигура, освещенная свечой. До него долетал ее запах, юный и сводящий с ума, так близко к нему она стояла, глядя на его руки. Потом она отступила к отцу, села рядом, зарылась лицом в его плечо. Альберт нежно обнял дочь. Мориц не мог видеть ее лица. Но он слышал, что она тихо плачет. Дыхание его пресеклось. Как будто ее слезы растворили в нем все то окаменевшее, запечатанное. Она оплакивала его.

Внезапно с улицы донесся шум. Это были соседи.

– Мы думали, Виктор вернулся.

– Нет, – сказал Альберт, – это один из рабочих, Морис.

– *Maialla! Meraviglioso!*^[58]

Мориц закончил адажио. Во внезапно наступившей тишине он ощущал, как кожу гладит прохладный ветерок из открытого окна. Ему было неприятно, что на него смотрят.

– Не хотите ли войти? – спросил Альберт.

– Нет, спасибо. *Bonne nuit, Albert. Laila saida, ya Yasmina. Buona notte, Maurice.*

* * *

Далеко за полночь, когда Мориц лежал в постели и смотрел на светлое от луны небо над крышами, бесшумно открылась дверь. Ясмина. Белая ночная рубашка, волосы распущены. Убедившись, что он не спит, она скользнула в комнату, закрыла за собой дверь и села на стул у кровати.

– Когда вы сегодня играли, – тихо сказала она, – вы вернули сюда Виктора.

Мориц сел. На нем было только исподнее. Но это ее не смущало.

– Спасибо, – сказала она.

– Я только немного поиграл...

– Я имею в виду, спасибо, что вы ничего не сказали. Моим родителям. – Она пристально смотрела на него. Темные глаза в лунном свете. – Вы меня осуждаете?

– Нет. Какое я имею право?

– Это не так, как между другими братьями и сестрами, вы должны знать. Происходит многое, и люди не говорят об этом. Но я его действительно люблю.

Зачем она мне это объясняет? – подумал он. Какое ему до этого дело? Какая ей разница, одобрит он это или осудит?

– А у вас есть кто-то, кого вы любите? – спросила Ясмина.

– Я обручен.

Ясмина испытующе глянула на его руку.

– Вы не носите кольцо.

– Вы мне не верите?

– Не знаю. – Она улыбнулась.

– Показать вам фотографию?

– Да.

Он потянулся к своим брюкам, достал портмоне и вынул из него фото. Немного помедлил. Потом протянул ей. Ясмина пересела на край кровати, повернула снимок к лунному свету. Ванзее. Деревянные мостки. Открытая улыбка Фанни.

– Она красивая. Как ее зовут?

– Фанни.

Она молчала, как будто имя ей не понравилось.

– Вы тоскуете по вашей *fidanzata*?^[59]

– Да. Но... знаете, когда так долго не видите, не переписываетесь...

Она не сводила с него глаз, явно желая, чтобы он объяснил.

– Вы ее забыли?

– Нет. Разве вы забыли Виктора?

– Я его никогда не забуду!

Ее уверенность нравилась ему. Если и Фанни так же тверда в своем чувстве, подумал он, то все будет хорошо.

Ясмина вернула фото.

– Сейчас полнолуние. Она тоже сейчас думает о вас и гадает, когда вы вернетесь.

– Она гадает, жив ли я вообще.

– Почему вы ей не напишете?

– А если письмо перехватят? Дезертирство карается смертью.

– Вы недостаточно ее любите!

– Как вы можете так говорить?

Ясмина провела пальцами по волосам.

Его смущало, как человек может быть одновременно и таким гордым, и таким ранимым. Он пытался отгадать ее мысли, пока она не сказала:

– А что бы вы сделали, если бы ваша невеста изменила вам?

Мориц растерялся:

– Не знаю.

– Вы бы ей тоже изменили? Из мести?

– Нет.

Он не понимал, к чему она клонит. Было еще что-то, чего она ему не сказала?

– А вы? Что вы собираетесь делать? – спросил он.

– Ждать...

Мориц кивнул. А что им еще остается?

– Но я не могу ждать! – вдруг вырвалось у нее с отчаянием, испугавшим его.

– Он вернется. Надо только потерпеть.

– Невозможно!

– Почему?

– Потому что... – Она не сводила с него глаз, будто проверяя, может ли он хранить тайну. Потом резко встала и направилась к выходу. – *Buona notte, Maurice.*

Она исчезла так же тихо, как и вошла.

* * *

Мориц почти не спал в ту ночь. Наутро Альберт приветствовал его особенно дружелюбно, Ясмينا делала вид, будто между ними ничего не произошло. Да ведь и в самом деле ничего не произошло. Или все-таки?

Мориц остался дома один, семья села в «ситроен» и поехала на похороны Латифа. В черных одеждах на черной машине. Стоял ясный день, ничто не указывало на вчерашнюю катастрофу. Дети на улице играли в футбол. Мориц тоже поехал бы с ними, но это было чересчур рискованно. Слишком много народу – не только семья Латифа, но и весь персонал «Мажестика», да и американцы могут тоже прийти.

* * *

В гостиной звучало лишь тиканье часов. Мориц чувствовал себя чужим в пустом доме. Он сел за пианино и попытался припомнить вариации Гольдберга. Но музыка не давалась. Мысли его занимала Ясмينا. Внезапно в дверь постучали. Он замер. Снова постучали, уже настойчивее. Может, соседи – а может, кто-то выдал его. Нерешительные шаги за дверью. Мориц выглянул в окно – и увидел спину солдата в форме. Он быстро опустил на пол в углу, который не просматривался через окно. Потом услышал какое-то шорканье, будто кто-то скреб по стене дома. Следом стук на втором этаже. Кто-то взобрался по фасаду наверх и открыл окно. Мориц услышал шаги над головой. Мужские шаги. Он лихорадочно раздумывал. Если он убежит через дверь, там могут оказаться другие солдаты, явившиеся за ним. Спрятаться. Кухня, кладовка. Он бросился было туда, но на лестнице

уже послышался топот тяжелых башмаков. Едва успев скользнуть в кухню, Мориц понял, что шаги следуют за ним. Положение было безвыходным. Солдат его услышал. Мориц схватил кухонный нож и повернулся к двери. Она открылась. Солдат заметил Морица с ножом и испуганно вздрогнул. На нем была французская форма.

– Кто вы такой? – спросил мужчина по-итальянски.

И тут Мориц узнал его, хотя у того были короткие волосы и он сильно похудел.

– Виктор?

Да, это был он. Виктор в форме Армии Свободной Франции. Вид у него был серьезный, куда более жесткий, чем тогда. На шее серебряная хамса со звездой Давида. Виктор напрягся, увидев одежду Морица, – чужой мужчина надел его вещи. Мориц положил нож и медленно развел руками. Виктор подошел ближе.

– Это я, – сказал Мориц.

– Мы знакомы?

– Да. «Мажестик». На мне была немецкая форма. Вы дали мне записку.

Взгляд Виктора недоверчиво обшаривал лицо Морица. Медленно, очень медленно до него доходило. Он расслабился.

– Так вы действительно... нашли мою семью?

– Да.

Мориц попытался выдавить улыбку и осторожно протянул руку. Виктор не взял ее, а крепко схватил его за плечи, притянул к себе и обнял с такой горячностью, что у Морица перехватило дыхание. Пальцы Виктора взъерошили ему волосы, он поцеловал его в щеку.

– *Incredibile. Dio mio!*^[60]

У Морица не было брата, но в этот момент он понял, каково это – иметь его.

– Как тебя зовут? – спросил Виктор, жадно глядя ему в глаза.

– Морис.

Глава 28

Марсала

– Шесть ящиков? – взволнованно спрашивает Патрис и садится в постели. – Вы уверены?

– Мой отец видел своими глазами, как их грузили. И в «Мажестике» ходили слухи о шести ящиках, что находились в запертой комнате под охраной.

Мы сидим в больничной палате Патриса. Жоэль рассказывает. И чем больше она рассказывает, тем меньше у него остается возражений. Может, ему надо было полежать в больнице с разрывом легкого, чтобы наконец понять, что никто не собирается отнимать у него сокровища.

– Значит, вы просто родственница? А почему вы мне сразу не сказали?

– А вы бы мне поверили?

– Нет.

– Ну вот.

Больше всего ему, конечно, нравится, что она подтвердила его догадки по поводу того, что он видел под водой. А не нравится то, что врачи запретили ему погружения на ближайшие три месяца. Но даже если бы подъемом ящиков занялись Бенва и Филип, то ничего бы не вышло – корпус самолета был слишком деформирован, чтобы можно было вытащить их наружу. И ящики проржавели настолько – это он видел, – что могли развалиться. Патрис взвешивает все «за» и «против» и решает, что самый безопасный способ достать ящики, и он же самый рискованный, – поднять весь фюзеляж целиком. Сплюсненные стенки корпуса стянуть ремнями, буквально обмотать ими самолет и затем – как они уже проделали с хвостом – медленно поднять краном. В самом худшем случае корпус развалится. Но если все пойдет как надо, если продержится погода, то успеют до декабрьских штормов.

Патрис звонит Ламину, который уже снова на катере. Пусть сегодня же следует на место с Бенва и Филипом, надо спуститься к самолету и проверить, насколько прочен корпус.

В дверях палаты возникает итальянка в майке, имя которой я наконец-то слышу. Пиа. Благочестивая. У Патриса всегда было хорошее чувство юмора.

* * *

Мы оставляем Патриса предаваться благочестию и уходим. День необычайно мягок, безветренно, солнце светит с почти сюрреалистическим рвением, точно стоит лето. Мы живем одновременно в двух мирах – в прошлом и настоящем, и меня не удивило бы, если бы Мориц вдруг вышел из-за дерева и пересек улицу. Мориц, совсем молодой, и тоже гость, который прячется от мира. Омар без панциря, забившийся под камень глубоко в море. Но потом я вспоминаю, что этот молодой человек теперь стар, очень стар, – если вообще жив, в чем Жоэль не сомневается, – и что искать его надо среди стариков, может статься, он скрывается за седой бородой, за тросточкой, за обвислым костюмом, знававшим лучшие времена, может, он один из тех двоих синьоров на скамейке, а может, тайно следует за нами, не выходя из тени.

* * *

Мы идем вдоль пляжа, разуваемся, бредем босиком. Я вбегаю в воду, сегодня море такое миролюбивое, будто и не является ничьей могилой, невинное, как в первый день творения. Если бы и мне удалось вернуться в это состояние. Мы садимся на веранде пустующей купальни, даем ногам обсохнуть, стряхиваем песок.

– Я не понимаю еще одного, Жоэль. Ты сказала, что родилась в декабре 1943 года. Если отсчитать назад девять месяцев... Но по твоему же рассказу, Мориц явился к Сарфати только после падения Туниса, то есть в мае 1943 года.

Жоэль жмурится на солнце.

– Ты хорошо умеешь слушать. Вы бы с ним сошлись – ты и твой дед. Он тоже всегда был дотошным. Не терпел полуправды. Всегда переспрашивал, прямо-таки въедливо, если я что-нибудь натворю.

Пока я не сознаюсь во всем. И тогда он шел со мной – к другим детям, и я должна была извиняться. Он был корректен даже в самых мелких деталях. Я от него научилась, что нельзя ничего бросать незавершенным.

Это странно слышать. Именно он, оставивший незавершенной целую жизнь.

– Да, – говорит Жоэль задумчиво, – это парадокс. И по сей день.

Она роется в сумке, достает сигареты.

– Знаешь, – говорю я, – иногда у меня разыгрывается фантазия и я воображаю, что он тайно идет за мной следом. Просто так, чтобы посмотреть на меня. Сокровенная мечта. Но по крайней мере, я нашла тебя.

– И у меня тоже нет ответов, только вопросы.

Мы улыбаемся, переглянувшись.

– *Кто не спрашивает, тот остается в дураках*, так он всегда говорил. Но когда я спрашивала его о прошлом, он всегда уходил от ответа. Почти все, что я знаю, мне рассказала мать.

Глава 29

Виктор

Ясмина учуяла это первой. Когда она в черном траурном платье вышла из «ситроена» – а всю дорогу от кладбища они в машине промолчали, – в воздухе стоял знакомый запах, которого в этот день – Шаббат – не должно быть. Томаты, лук, тмин, кориандр... Теперь и Мими учуяла: шакшука. Потом открылась дверь и из дома вышел Виктор. Ясмина пронзительно вскрикнула, кинулась к нему.

– *Farfalla!* – Виктор закружил сестру.

Ясмина верещала, вне себя от радости.

Потом она заметила, что от Виктора пахнет иначе – не духами любовниц, а сигаретами и бензином. И тело ощущалось по-другому. Мускулистее. То было время покалеченных тел. Мужчина без ранений – редкость. Но от Виктора буквально исходила сила. Он был как натянутый арбалет перед выстрелом. Вот только внутренние раны никто не видит.

– *Amore*, где ты пропадал так долго? И что это за форма на тебе?

Виктор гордо ухмыльнулся. Тут подросла Мими, заключила сына в объятия, принялась покрывать поцелуями его лицо. Альберт, медленно выбравшись из машины, смотрел на происходящее удивленно, почти саркастически, не в силах поверить, что это действительно его сын в форме «свободных французов» де Голля. Недоверчивая улыбка проступила на его лице, счастливая, смущенная. Опасения не сбылись. Он медленно двинулся к дому, а Виктор, с трудом оторвавшись от вцепившихся в него женщин, шагнул навстречу. Он никогда не видел отца плачущим. Альберт снял очки и вытер слезы, потом обнял сына так крепко, будто решил никогда больше не отпускать.

Мориц, стоя на пороге, радовался за Сарфати, как если бы то была его собственная семья. Впервые в жизни – даже в ту ночь, когда он освободил Виктора, это было не так остро – он чувствовал, что его существование имеет смысл.

– Ой-е-ей! Он приготовил шакшуку! – воскликнула Мими и засмеялась.

На самом деле это Мориц возился на кухне с шакшукой для голодного Виктора, потому что только он – как нееврей – имел право разжигать плиту в Шаббат. Альберт быстро подтолкнул всех в дом, чтобы уберечь счастливый момент от взглядов соседей. Внутри он деликатно отвел Виктора в сторонку, шевельнул бровями в сторону Морица и прошептал:

– Это правда, что он тебя выпустил?

Мориц заметил, что все смотрят на него. Вопрос, от которого все зависело.

– Без него, – сказал Виктор, – меня бы давно не было в живых.

Мими закрыла лицо ладонями, подошла к Морицу и поцеловала его в лоб, как сына.

– Я всегда это знала! – шепнула она ему на ухо.

Ясмина молчала, стыдясь того, что не поверила Морицу.

– Мы никогда не забудем, – сказал Альберт, – что вы сделали для нашего сына. Наша семья – это ваша семья.

Мориц покраснел. Ему было неловко.

– Вы сделали для меня то же самое.

Альберт откупорил бутылку анисовой настойки, пока Виктор, сидя за столом, наваливал на тарелку шакшуку. Ясмина села рядом с братом, пододвинула ему хлеб, налила воды.

– Где ты был так долго?

Он сделал вид, будто не слышал вопрос.

– Дайте же ему спокойно поесть! – воскликнула Мими.

Она обращалась с сыном так, будто он только вчера ушел из дома и ничего в нем не изменилось. Ясмина же отчетливо видела перемены: его ладони больше не танцевали, а неподвижно лежали на столе, голос больше не выпевал слова, он будто стерег их, глаза больше не зазывали, а высматривали. Форма была не только на нем, но и внутри него. Внешне он был прежний, смеялся, отпускал свои слегка нахальные шутки, но на самом деле уклонялся от вопросов, а если отвечал, то туманно, а глаза же беспрерывно обшаривали все вокруг. Неизвестно, что ему довелось пережить, но это оставило на нем след.

После побега из «Мажестика», рассказал Виктор, ему удалось пробиться через линию фронта, и он добрался до аэродрома американцев недалеко от сука Эль-Арба, между Бизертой и алжирской границей. Там он предложил американцам помощь при взятии Туниса

– в качестве проводника или, если нужно, бойца. Но у него не было документов, только история, и итальянского еврея с французским гражданством отправили в Алжир, в штаб Армии Свободной Франции, которую возглавляет генерал де Голль. Что происходило потом и почему он так долго не возвращался, Виктор рассказывать не стал.

– И теперь? Что ты планируешь теперь? – спросил Альберт.

– Теперь он останется с нами, – заявила Мими.

Виктор промолчал, и это не понравилось Мими. Он старательно подчищал тарелку кусочком хлеба.

– Война еще не закончилась, – только и сказал он.

Все молчали. Альберт и Мориц уже поняли, что означает военная форма. Виктор больше не хотел прятаться. Его война против Гитлера только началась.

– Кончилась. Для нас война кончилась, – сказала Ясмينا, положив руку на плечо брата. – Мы натерпелись.

Глаза ее настойчиво смотрели на него, будто хотели удержать дома.

– Времена изменились, *farfalla*. Мы должны теперь думать не только о себе, но и о своем народе. Американцы мне рассказывали, что на самом деле творится в Европе. Миллионы беженцев, миллионы в лагерях. Они умирают от истощения, их расстреливают, там происходят вещи, которых ты и представить себе не можешь. Матери отдают своих детей совершенно чужим людям, отправляют на корабле в Америку, только бы они выжили. Потому что самим им не выжить. Мне-то повезло, но на что я теперь употреблю жизнь, которую мне подарили? Мы должны победить Гитлера. Или он – или мы!

Виктор бросил на Морица вызывающий взгляд. Что-то в нем и впрямь изменилось. Прежде Виктор не сказал бы «народ», имея в виду евреев. Сказал бы «община» или «братья». И подразумевал бы не европейских евреев, а только своих – родных, друзей и соседей. Альберт и Мими смотрели на него с удивлением. Их сын повзрослел. Может, даже больше, чем им хотелось бы.

– Останься, – прошептала Ясмينا.

Отчаяние в ее голосе, настойчивость привели его в раздражение. Виктор резко встал и прошел на кухню. Альберт подал знак всем сидеть и последовал за ним.

– Ты уверен, что хочешь быть солдатом?
Виктор, все еще голодный, искал в шкафу хлеб.
– Да, папá.
– Это правда, что коалиция собирается войти в Европу?
Виктор откусил от черствого багета, не ответив.
– Где? – спросил Альберт. – На Корсике? На Крите? На Сицилии?
– Им нужны агитаторы, – прошепал Виктор. – Люди, которые не бросаются в глаза. Выглядят как итальянцы, говорят без акцента.
– Значит, Сицилия?
Вошла Ясмина с пустой тарелкой.
– Ты не уйдешь, – решительно заявила она.
– Я вернусь, *farfalla*.
Ясмина в сердцах швырнула тарелку в раковину. Альберт вздрогнул.
– Уймись, Ясмина.
Не удостоив отца вниманием, она продолжала сверлить Виктора взглядом.
– Кое-что изменилось.
Виктор удивленно посмотрел на нее. Альберт тоже удивился. Вошла Мими и спросила, что случилось. Ясмина резко развернулась и вышла. Входная дверь защелкнулась. Виктор растерянно смотрел ей вслед.
– Она успокоится, – пообещал Альберт и положил руки на плечи сына. – Я тобой горжусь, *figlio mio*^[61].
Виктор высвободился и тоже направился к двери кухни. Мориц – единственный, кто остался за столом в гостиной, – почувствовал на себе взгляд Виктора. Его недоверие – не выболтал ли Мориц тайну.
Мориц выдержал его взгляд.
– Она сейчас успокоится, – сказала Мими, идя вслед за сыном, и нежно погладила Виктора по голове. – А ты пока прими ванну, *tesoro!*^[62]
Виктор отстранил ее и вышел из дома.

Он знал, что она ждет его на их любимом месте, на длинном пирсе, уходящем в море у канала. Ясмина стояла на ветру на самом краю, там, где прибой шумел так, что уже не слышно было музыки из прибрежных кафе. Пахло солью и ракушками. Пенные гребешки на волнах, парусные лодки, выходящие в море, – все как в мирное время. Она почувствовала его шаги за спиной и не удивилась, когда он встал рядом с ней.

– Немец проболтался?

– Нет.

– Можно ему доверять?

– Да. – Ясмина резко повернулась: – Не уезжай на Сицилию.

– Это мой долг.

– Ты думаешь, одним солдатом больше или меньше – это что-то изменит? Там ты будешь всего лишь одним из сотен тысяч. А здесь ты для меня – все.

Он беспокойно отвернулся. Пригладил волосы, растрепанные ветром. Она видела, что он борется с собой. Как бы ей хотелось взять его за руку, но кругом были глаза.

– Виктор, мы были так счастливы вместе. В том хлеву, голодные, замерзшие, мы не знали, доживем ли до утра... но лучше в жизни у меня ничего не было. Ты помнишь? Сено, ящерики и летучие мыши, все эти ночные звуки и гроза, и мы любили друг друга. Весь мир был наш! Каждая мелочь, каждый миг были неповторимы, мы с тобой были неповторимы! Как будто добрый бог нас хранил. Никогда я не чувствовала такой свободы. Ты пробудил лучшее, что во мне есть.

Она увидела, как в его глазах проступает знакомая теплота – слова проняли его. Почему бы им просто не продолжить с той точки, на которой они прервались?

– Я знаю, *farfalla*. Но какое право мы имеем на наше маленькое счастье, когда вся Европа в беде?

– Ты говоришь прямо как папá. Откуда в тебе взялся этот идеализм? От американцев?

– Это не идеализм. Я хочу мстить.

Ясмину испугала непримиримость в его голосе.

– А то, что ты мне говорил тогда, в хлеву... это еще правда?

– Ты о чем?

– О нас.

Она ждала. Он молчал.

– То, что было у тебя со мной... это просто как с остальными?

– Да нет же, *farfalla*, я все это время тосковал по тебе. Я люблю тебя. Больше всех на этом свете.

Он сказал это, подумала она. Наконец-то. В Викторе ее больше всего смущало то, что он либо скрывал свои чувства – как папа, – либо, если выказывал их, облакал в слова, которые слишком напоминали его песни, это ему досталось от мамы. Для него существовали только эти две крайности: молчание или величайшая любовь.

– И что мы теперь будем делать с нашей любовью?

– Время покажет.

– Когда?

– Потом.

– Когда потом?

– После войны.

Виктор уже порывался уйти. Он ненавидел, когда его загоняли в угол. Она накрыла его ладонь своей, незаметно, чтобы никто не увидел.

– Я не могу больше так долго ждать, Виктор.

– Ты должна набраться терпения, *farfalla*.

С набережной на пирс свернули двое американских патрульных. Виктор нервно сунулся в свой нагрудный карман.

– Я беременна, Виктор.

Он замер.

– Нет.

Это слово вырвалось у него. Нет. Как будто беременность была вопросом, который решал он. Ясмина ждала. Она принесет в этот мир, где столько уже убили, новую жизнь. Но в лице Виктора она не видела радостного волнения, только недоверчивое оцепенение. Она взяла его ладонь и осторожно приложила к своему животу. Он отдернул руку и оглянулся. Патрульные были уже близко.

– Что будем делать? Что мы скажем родителям?

– Ничего.

– Виктор, это уже заметно.

– Нет, ничего не заметно.

Она хотела возразить, но тут подошли и заговорили американцы. Виктор что-то сказал по-английски, все еще растерянный, достал из нагрудного кармана армейское удостоверение. Они изучили его, с чувством пожали ему руку, назвали номера своих полков и принялись перешучиваться. Ясмينا почти ничего не понимала, кроме одного слова: он представил им ее как *sister*. Раньше бы она гордилась этим. Теперь это ее задело. Солдаты пригласили Виктора пойти с ними. Ясмينا не поняла куда. Но Виктор явно обрадовался возможности выбраться из угла, куда его загнали.

– Иди домой, хорошо? Скажи, что я скоро вернусь.

Ни поцелуя, ни прикосновения, ни ласкового слова. Виктор ушел с солдатами, просто бросил Ямину с ее вопросом. И тогда ее захлестнул гнев. Неукротимая ярость, все это время запертая в клетке, ключа от которой ей не дали. Виктор принадлежит всем. Ей всегда придется делить его с другими. И она бы согласилась, приняла это, если бы только он признал, что принадлежит и ей. Ей и их ребенку.

* * *

Мими застелила стол белой скатертью, зажгла пять свечей для Шаббата. Над крышами домов разносился призыв муэдзина к вечерней молитве. Ясмينا принесла из кухни все тарелки, какие нашлись. Друзья, родственники, соседи тянулись через распахнутую дверь. Евреи несли вино, мусульмане – мергез и пахлаву, христиане – макароны и маникотти с сыром. Виктор был для всех блудным сыном – потерянным и вернувшимся. Виктор, большая звезда маленького квартала. Виктор, который восторжествовал даже над нацистами. Пришел рабби Якоб, который его когда-то обрезал и вел его бар-мицву. Из Бизерты приехала Эмили, сестра Мими, сделав вид, будто они никогда не ссорились. Пришел старый школьный друг Скандер, автомеханик в комбинезоне, перепачканном мазутом. Пришел – в белом костюме-тройке, в итальянских туфлях и с очаровательной женой Сильветтой – Леон Атталь, богатый покровитель Виктора, который и не догадывался, как сильно не хватало Виктора его спутнице. Пришла вдова Латифа Хадийя с двумя дочерьми. Не хватало только Виктора.

– Он сейчас придет, – повторяла Мими. – Встретил друзей.

Или подруг, подумала Ясмينا. Она предпочла бы выставить гостей, которых ей приходилось обслуживать. Она так долго ждала этого дня. Ждала, что он найдет выход, что разрешит неразрешимое. С его ребенком во чреве, думала она, он не сможет оттолкнуть ее.

Альберт прочитал киддуш, освящая вино, и передал кубок Морицу. Тот отпил и передал кубок Ясмине. В ее глазах отражалось то, что другие не решались произнести. Все думали, что с возвращением Виктора все будет как прежде. Но как прежде уже не будет никогда. Виктор вернулся не для того, чтобы остаться. Теперь его домом был не квартал, в котором он родился и вырос, а народ, раскиданный по всей земле. Альберт разрезал хлеб, посолил ломти и раздал гостям. Все принялись рассказывать истории, связанные с Виктором, – из школьных времен, пляжные, истории, происходившие в «Мажестике», и чем чаще произносилось его имя, тем абсурднее Ясмине казалось его отсутствие.

И вдруг он вошел в раскрытую дверь и удивленно огляделся. Все вскочили, бросились его обнимать. Женщины радостно щебетали, мужчины благодарили Аллаха, Мадонну и умершего раввина Хая Тайеба, чей дух хранит общину. Виктор пошатнулся. И тут все увидели – не только Ясмина, которая заметила это сразу, – что он пьян.

– Нет-нет, я не пьян! – Виктор упал на стул.

Мими поддержала сына, чтобы тот не свалился. Он неразборчиво бормотал что-то, принимал восхищение одних, игнорировал сокрушенность других и все говорил, говорил – на Ясмину он не смотрел. Она едва могла выносить это его безразличие, но еще больше ее бесило, что он оскорблял гостей.

– Нет, в «Мажестик» я не вернусь! Как я могу сидеть в этом баре и пить шампанское, когда весь мир в огне! Нет, мама, я не голоден! Что вы так на меня пялитесь? Никогда не видели свободного француза?

– Но какие у тебя планы, Виктор? Тебе стоит остаться, отдохнуть.

О планах он не распространялся, вместо этого принялся нападать на старых друзей:

– Как вы можете здесь сидеть, есть и гулять, когда ничего не изменилось?

– Ты же ненавидел войну, – сказала Сильветта. – А теперь, когда она закончилась, ты хочешь догнать ее?

– Закончилась? Она не закончилась! Пока наш народ в Европе притесняют...

– В Европе? Но наш народ здесь! – крикнул араб Скандер, друживший с Виктором еще со школьных лет.

– Тебе не понять, ведь они истребляют не мусульман, а евреев!

– Мы тунисцы! Евреи, мусульмане, христиане, *je m'en fous*^[63].

Скандер и Виктор. Они вместе играли в футбол, юниорами за клуб «Rissoia Сицилия». И никогда речь у них не заходила о религии, только о девочках да о всяких отчаянных выходах.

– Нет, Скандер, мы теперь наученные. – Виктор вдруг заговорил почти трезво, так резко зазвучал его голос: – Наша покровительница Франция не может нас защитить. Мы должны взять нашу судьбу в свои руки.

– Если европейцы не могут нас защитить, с чего мы должны отдавать свою жизнь за Европу?

– Решение лежит не в Европе! – воскликнул Леон. – Пока мы, евреи, не имеем собственного государства, со своей армией и своими границами, мы никогда не будем чувствовать себя уверенно!

Скандер запротестовал:

– Нам нужна страна для всех! Для евреев, мусульман, коммунистов, с равными правами, демократический Тунис нам нужен! Как в Ливане – вы слышали, наши братья теперь независимы от Франции! Оставайся, Виктор! Мы должны освободить нашу собственную страну. От французов!

– Прекратите винить во всем французов! – подключился Альберт. – Франция столько вам дала! Кто построил школы и университеты? Железные дороги и шоссе?

– Но это все для вас, европейцев! А мы в деревнях голодаем!

Дискуссия становилась все ожесточеннее, обиднее. Слова «мы» и «вы» вспарывали дружеский круг, включая одних и исключая других. Вдруг оказалось, что за столом сидят не соседи, делившие один лоскут земли, а отдельные группы, которые больше не читают свое будущее в общей для всех книге. Это больше не был Скандер, который чинит машины, а был Скандер-мусульманин. Больше не было Леона из футбольного клуба, а был еврей Леон.

– У вас должна быть своя независимость, Скандер, – сказал Виктор, – а у нас своя. В нашем собственном государстве.

– И где же это? В центральных кварталах?

– В Палестине, – сказал Леон, и тут все взорвалось.

– Все европейские народы получили собственное государство! – кричал Виктор. – Даже Люксембург – государство! И только у нас его нет! Нас прогнали из Иерусалима римляне, проклятые предки Муссолини. С тех пор и мыкаемся по свету, народ без страны!

– И теперь ты хочешь прогнать из Палестины арабов? – с негодованием воскликнул Скандер.

– Никто не собирается их прогонять, – вмешался Леон. – Это они нападают на еврейские поселения!

– И тебя это удивляет? А что бы ты сам сделал с иностранцем, который приплыл из-за моря и заявил: твоя земля теперь моя?!

– Мы там были еще три тысячи лет тому назад! – крикнул Виктор. – Это *мектуб*. Это наша судьба!

Ясмина не узнавала его. Раньше такие споры были ему безразличны, более того, неприятны. Он не любил, когда друзья спорили. В какой-то момент вставал и заводил песню, которая снова всех объединяла.

– *Мектуб*? – вскочил Скандер. – В вашей книге разве что, но не в нашей! Поди-ка ты с Торой в службу поземельных книг и скажи: *Bonjour, Monsieur et Mesdames*, мы должны аннулировать три тысячи лет, это *мектуб*!

Альберт попытался успокоить молодых людей:

– Разве у нас на самом деле не один Бог на всех? Разве не он суть всех трех наших книг?

– С каких это пор ты веришь в Бога, папá? – засмеялся Виктор.

Альберт улыбнулся:

– Ну, если наука в один прекрасный день выяснит, что Бога не существует, что же, евреям тогда придется снова покинуть Землю обетованную?

Рабби Якоб, который все это время страдальчески молчал, проговорил тихо, но отчетливо:

– У нас нет ни страны, ни столицы, ни границ. Господь даровал нам в пустыне заветы, чтобы втолковать нам: его законы действуют

всюду! Наша религия привязана не к стране, а к книге, которую мы всегда можем взять с собой.

– Книга – это хорошо, это красиво, – с сарказмом ответил Виктор. – Но свою жизнь я лучше доверю *этому*.

Он достал из кобуры пистолет и положил на стол. Все смолкли, уставившись на оружие.

– Убери! – негодуяще воскликнула Мими.

Рука Виктора лежала на пистолете. Альберт потянул сына за локоть, но рабби Якоб удержал его.

– Может, оружием ты и сможешь победить врага, – сказал он. – Но ты никогда не будешь в безопасности. В этом мире есть только одна истинная защита. Ты знаешь, в чем она, Виктор?

– В вере! – с раздражением воскликнул Леон. – Да, разумеется, рабби, но мы здесь говорим не о потустороннем, мы говорим о реальном.

– Нет, – ответил Якоб, – я имею в виду нечто другое. Дружбу. Хорошим соседям не нужно оружие.

Чем громче звучали голоса, тем тише становился Альберт. Расхождения во взглядах были всегда, но пока будущее было общим, они не разделяли людей. Напротив, разница во взглядах была доказательством их общей идентичности, которой они гордились. Однако принцип «разделяй и властвуй», подхваченный нацистами, превратил трещины в разломы. Хрупкое равновесие между общинами пошатнулось. Альберт, убежденный космополит, догадывался, что с этими молодыми идеалистами пришел конец эпохе. Теперь каждый хотел жить в своих собственных границах. И из трех недостижимых идеалов, почитаемых Альбертом, – *liberté, égalité, fraternité* — оставался лишь один: свобода от других.

Когда Виктору спор надоел, он встал, пошатнулся, опрокинул стул и объявил, что должен теперь поспать. По Ясмине он лишь мазнул взглядом.

* * *

Чуть позже, когда гости разошлись и родители удалились к себе, Ясмине постелила Морицу на диване. Она попросила у него извинения

за брата. Завтра он снова будет прежним. Но она знала, что это не так. Мориц попытался ободрить ее, но не нашел подходящих слов. Она ушла наверх в свою комнату.

Мориц лег, но уснуть не мог. Он мало видел Виктора, но из-за рассказов, фотографий, семейных историй тот был ему точно близкий друг, названный брат. Однако человек, которого он наблюдал сегодня весь вечер, не был Виктором. Этот человек мог бы спасти чью-то жизнь, но не душу. Произошло нечто такое, что сбило его с пути.

Внезапно из темноты проступила тень. Мориц услышал тяжелые шаги, и перед ним возник Виктор – в исподней рубашке, с бутылкой вина в руке. Мориц сел в постели. Его испугал угрожающий взгляд Виктора.

– Вы прикасались к моей сестре?

– Нет! – Мориц возмущенно вскочил.

Виктор придвинулся к нему – так близко, что Мориц чувствовал его разгоряченное дыхание.

– Ваше счастье, что я обязан вам жизнью. Иначе бы я вас убил!

– Я не прикасался к вашей сестре. Ни разу.

– Поклянитесь.

– Даю вам честное слово. И... я не говорил вашим родителям о том, что тогда видел.

Глаза Виктора блеснули в темноте. Мориц не отвел взгляда. Безмолвная дуэль длилась вечность, пока Виктор не поверил, что Мориц говорит правду. Он выдохнул, поставил бутылку и упал на диван. Мориц остался стоять.

– Она беременна, – сказал Виктор устало.

Над пианино тикали настенные часы.

Морицу показалось, что он ослышался. Ему потребовалось время, чтобы прийти в себя. Постичь размер беды.

Потом он медленно сел рядом с Виктором:

– Что вы будете делать?

– А *вы* бы что сделали? Вы ведь тоже солдат.

– Ясмина только и говорила все время о вас. Вы нужны ей сейчас особенно.

– А вы добрый. – Виктор как-то странно смотрел на Морица, тот не мог истолковать его взгляд. В ироничном тоне сквозило отчаяние: – Вы бы никогда не попали в такую передрагу. В вашей стране все

упорядочено. А мы живем, не думая о завтрашнем дне, *facciamo casino, c'est le bordel*^[64], вам этого никогда не понять.

– Расскажите родителям. Пока они не догадались.

– А как они узнают, кто отец? Может, вы им скажете? Мало ли с кем Ясмينا еще якшалась!

– Она любит вас. У нее никого не было.

– Не знаю, как с этим в вашей стране. А в нашей меня семья проклянет.

– Ваша семья вас любит.

– Уже нет.

Мориц услышал ее первым. Босые ступни на плитках. Ясмينا спускалась по лестнице, распущенные черные локоны поверх белой ночной рубашки. Мориц встал. Ясмينا остановилась посреди комнаты – вопрос, немой укор, раскаленное ожидание.

– Я не трогал вашу сестру, – сказал Мориц в тишине, повернувшись к Виктору, но обращаясь скорее к Ясмине.

Виктор испытующе глядел на сестру. Она просто стояла и смотрела на них, ничего не говоря. Мориц ждал.

– Он говорит правду, Виктор. – Она протянула брату руку: – Идем?

Виктора, казалось, сейчас разорвет от напряжения, как подстреленного зверя в невидимой клетке. Он не взял ее руку, повернулся к Морицу:

– Спасибо, что не выдали нас родителям.

Но под внешним дружелюбием скрывалась угроза: *попробуй только сказать!*

Меня это не касается, хотел ответить Мориц. Но не смог, потому что его это касалось. Хотел он того или нет. Виктор встал, еще раз пристально посмотрел на Морица, и они ушли.

* * *

Мориц остался в полной растерянности. Свое чувство к Ясмине он не сумел бы выразить словами. Разговор с Виктором казался нереальным, впрочем, как и все, что случилось начиная с той ночи в подвале «Мажестика». В ту ночь его «я» незаметно разделилось на две

части – внешнюю и внутреннюю. Первая по утрам являлась, как обычно, на построение, как будто ничего не произошло, а вторая надеялась, что Виктору удалось перебраться через линию фронта живым. Одна села в самолет, который должен был унести его в Европу, другая осталась в Северной Африке. Первая запрещала ему вмешиваться в жизнь Ясины, вторую сводила с ума близость этой девушки. Одна знала, что с мужчиной, которого Ясина выбрала, ей не найти счастья, другая хотела бы дать ей все то, что не способен дать Виктор.

Мориц считал, что эта его вторая половина – фикция, фантазм. Ведь она укрыта от мира. От мира, но и от него самого тоже. Но каждое утро, проснувшись и слушая голоса на улице, он мучительно осознавал, что это не сон, а реальность, в которой он заблудился.

* * *

Наверху было слышно прибой. На террасе ветер колыхал развешанные простыни. Над белыми домами *Riccola* Сицилии низко висела луна. Разбомбленную крышу уже наполовину восстановили, обрушившийся участок закрывал дощатый настил. В детстве Ясина и Виктор спали на крыше – августовскими ночами, когда духота в комнатах была нестерпимой. Здесь же было прохладно, здесь они чувствовали себя свободными – невесомыми, парящими между землей и бесконечностью, под спинами теплый камень, над головами звездное небо. Глядя вверх, они фантазировали, что сейчас снится соседям, делились историями: пекарь Абделькадер видит во сне самый большой в мире багет, а его жена Рима гуляет по Парижу с другим мужчиной, которого зовут Жорж или Хавьер. А рабби Якобу снится, будто он пьет чай с Моисеем и узнает все тайны мира – лишь для того, чтобы наутро их забыть.

С моря набегали облака, ветер посвежел. Здесь, между сохнувшими простынями, их никто не увидит.

– Я могу пойти с тобой, – сказала Ясина.

– На войну?

– Вам же нужны медсестры. Я быстро научусь.

– *Farfalla*, тебе нельзя идти на войну беременной.

Ясмина обрадовалась, что он произнес это слово. Словно признал правду.

– Тогда останься ты.

Виктор ходил по крыше. Не знающий покоя зверь в незапертой клетке, подумала Ясмина.

– Как мы можем сказать это маме и папá? Это невысказано!

– Тогда давай убежим вместе. Что, если нам уехать в Алжир? У тебя нет друзей в Алжире?

– Ясмина, ты не понимаешь. Я принял присягу.

– Ты же сам говорил, тогда, в нашем хлеву, разве не помнишь? Что больше не хочешь убежать. Что хочешь свою семью. *Voilà!*

– Когда мы одолеем Гитлера. Но в этот мир рожать детей нельзя.

Она встала у него на пути:

– Виктор. Ты меня любишь?

– Да.

Есть сто способов ответить на этот вопрос, и Виктору его задавали десятки женщин. Но еще никогда ответ не давался ему с такой легкостью. Он любил ее, несомненно. Но так же, как есть разница между братской любовью и эротической, есть разница и между любовью к женщине и к матери твоего ребенка. Выросшие в средиземноморской семье знают, что сыновьям позволено все, пока родители не видят, но как только сын начинал свой взрослый путь, для него заканчивались юность, свобода, любовь – или то, что он принимал за любовь, – в ожидании чего-то куда более глубокого и трудного. И тогда в силу входили девочки, для которых прежде было под запретом то, что мальчикам позволялось, – они становились женами и матерями. И этот переход власти к женщинам оттягивали как раз мужчины. Но рано или поздно он свершался.

– А если пойти к доктору Абитболу? – спросил Виктор.

Абитбол избавлял *Riscola* Сицилию от нежеланных детей. Венгерский еврей, семья которого пришла в Тунис с Мальты. Никто об этом не говорил, но все знали о его занятии. И хотя все три религии строго запрещали это, женщины шли к доктору, если не оставалось другого выхода сохранить честь семьи. Доктор Абитбол также умел сшивать лишившуюся девственности плеву. Папá терпеть его не мог, и не столько по религиозным причинам, сколько за то, что Абитбол брал за свои услуги двойной гонорар – за медицинскую услугу, оказанную

вполне искусно, и за молчание, в котором он был совсем не так искусен. Ясмину вовсе не потрясло предложение Виктора, она успела подготовиться к нему долгими ночами, когда мысленно вела этот разговор.

– Нет, – просто сказала она.

– Ты подумай. Если мама и папá об этом узнают...

– Если ты хочешь убить своего ребенка, сперва тебе придется убить меня.

Ясмина смотрела на него с вызовом. В ней был ребенок, *его* ребенок, он давал ей силу и уверенность, которых ей недоставало раньше. Она была не из тех девушек, кого нежелательная беременность ввергала в водоворот из чувства вины и самообвинений, нет, она гордилась тем, что станет матерью, что она – единственная из всех женщин Виктора – носит в себе его ребенка.

– Это быстро и совсем не больно, – сказал он.

И тут Ясмина поняла, что Виктор знаком с доктором Абитболом, что она вовсе не первая женщина, зачавшая от Виктора. И твердость ее от этой догадки только возросла, она не уступит ему, как уступали другие. Ее ребенок – дитя любви.

– Ты идешь воевать против Гитлера, потому что он хочет нас убить. И готов убить собственного ребенка?

– Но так все делают.

– Я – нет. Это *мой* способ борьбы с Гитлером. Они хотят нас убить? Тогда мы рожаем детей!

Виктор понял, что не переубедит ее. Больше всего он ненавидел, когда на него давили. Но обвинить в этом Ясмину он не мог. Беременность не была уловкой, сейчас на него давила сама природа.

– Хорошо. Я уйду воевать, а когда вернусь, мы все решим, ладно? Все будет хорошо, поверь мне.

– Виктор! Как ты себе это представляешь? Я должна сказать ребенку: погоди, не расти, пока не вернется папа? Ведь уже заметно!

– Ничего не заметно.

– Когда я голая, заметно!

Он уставился на ее ночную рубашку. Ей только того и требовалось. Она взяла его руку и приложила к своему животу:

– Чувствуешь?

Виктор не почувствовал ничего особенного, разве что небольшую округлость. И он капитулировал. Этого не должно было случиться, но оно росло. Ясмина осторожно, но решительно привлекла его к себе. Вдохнула его запах, ощутила волну возбуждения. Нежно и уверенно обвила Виктора руками, закрыла глаза в ожидании поцелуя.

Внезапно за спиной Виктора раздался шорох. Скрипнула доска. Ясмина открыла глаза. На лестнице, ведущей на крышу, перед дощатым настилом стоял Альберт. Неподвижный силуэт на фоне ночного неба. Альберт не произнес ни слова. Виктор и Ясмина тоже. Над провалом в крыше они смотрели друг на друга – дети, застигнутые в объятиях, и бесконечно одинокий отец. За секунды постаревший человек, мир которого обрушился.

– Папа! – воскликнула Ясмина.

Альберт отвернулся и поспешно стал спускаться по лестнице. Он сбежал. Должно быть, он все слышал.

– Надо с ним поговорить, пока он маме...

– Останься здесь! – Виктор кинулся к лестнице.

– погоди! – Ясмина бросилась следом, но он уже скрылся внизу.

Она спустилась на второй этаж. Там царила темнота. Потом раздался сбивчивый голос Виктора, пытавшегося объяснить, оправдаться, его оборвала хлесткая пощечина. Ясмина вскрикнула. Еще одна. Потом еще одна. И еще. И еще.

Виктор не защищался. Он ринулся по лестнице вниз, в гостиную, а отец не отставал ни на шаг, нанося все новые удары. Ясмина бросилась за ними, тщетно пытаясь остановить отца. Альберт оттолкнул ее, нанося сыну удары все более яростные, Виктор упал на пол, прикрывая лицо локтями, но по-прежнему не пытался отбиваться.

– Ты должен был ее защищать! Свою сестру! Ты мог бы держать свой проклятый конец в узде хотя бы в своей семье? Кто тебя этому научил? Чей ты сын? Есть у тебя хотя бы искра чести? Кто дал тебе право разрушать семью? Отвечай, черт возьми!

Ясмина никогда не видела отца в таком бешенстве. Он так разошелся, что даже подросевшая Мими не могла его удержать. Не встань между ними женщины, он забил бы сына насмерть. Мими, поняв, что произошло, пошатнулась, словно это ей нанесли удар, – а ничем иным невозможная новость и не была – и уткнулась лицом в стену, почти теряя рассудок.

– Это правда? – выдавила она, обернувшись к Ясмине.

Ясмине даже кивнуть не посмела. Но и молчания хватило, чтобы подтвердить немислимое.

Виктор, лежа на полу, скулил как ребенок.

Тогда Мими сделала неожиданное: она нагнулась и вытерла кровь с лица Виктора. Затем распрямилась, повернулась к Ясмине, омертвело стоявшей рядом с Альбертом, и сказала:

– Тебе непременно нужно было ввергнуть нас всех в беду?

Ясмине почувствовала, как земля уходит из-под ног. Мать в решающий момент отвернулась от нее, это чудовищное предательство потрясло даже Альберта.

– Я знала, что это ничем хорошим не кончится, – сказала Мими срывающимся голосом. – С самого первого дня знала. Но тебе во что бы то ни стало хотелось сделать добро, Альберт. Ты всегда должен делать добро! Теперь видишь, к чему это привело?

– Нет, мама, нет... – пробормотал Виктор.

– Замолчи, *maledetto!*^[65] – Она смазала его по губам. И снова повернулась к Ясмине, голос ее был тих и скрипуч: – Ты разрушила мою семью.

Больше она ничего не сказала. Слова ее перечеркнули пятнадцать счастливых лет, все, что вселяло в Ясмину уверенность. Каждое из этих слов было бездонным рвом, в секунду отделившим ее от людей, которых она любила больше всего на свете. Она стала чужой. Незваной гостьей. Искусительницей. Виновной.

Мориц растерянно смотрел на происходящее. Хотел бы он иметь мужество сделать три шага вперед, не больше, три шага, которые отделяют наблюдателя от мужчины, – и обнять Ясмину, из которой вытекала жизнь.

Альберт взял Мими за руку. Он медленно приходил в себя.

– Ты не можешь сваливать вину на нее.

– Ты предпочитаешь ее собственному сыну! *Sfortunato!*^[66]

– Это не так, Мими!

Старый спор, который они всегда скрывали от детей, вырвался наружу: Альберт винил жену в том, что она изнежила и избаловала их сына, а Мими ставила Альберту в вину, что он позволил Ясмине стать его любимицей, тогда как с сыном он слишком суров. Альберт никогда бы в этом не признался, но Виктор считал, что мать права. На Ясмину

отец изливал любовь и сочувствие, тогда как Виктора презирал за божественный образ жизни. Возможно, по стопам отца Виктор не пошел именно из протеста, из страха не оправдать его ожиданий. А теперь он совершил самое худшее, что только мог вообразить отец. Тот скорее простил бы сыну убийство.

– Это моя вина, – сказал Виктор, вытирая с лица кровь.

– Но, Виктор...

– Мама, это только моя вина!

Подрагивающей рукой Альберт поднял с пола свои разбитые очки, взглянул на Виктора и сказал:

– Ты мне больше не сын.

В голосе его были мука и гнев, но каждый знавший его услышал бы и отчаяние, в пропасть которого он рухнул. Альберт медленно побрел вверх по лестнице, старый, сломленный человек. В комнате воцарилась тишина. Виктор встал. Его трясло.

Мими шагнула к нему:

– *Figlio mio*.

Виктор поправил разорванную рубашку и, не глядя на мать, подошел к Ясмине, которая испуганно вжалась в стену. Провел рукой по ее волосам и сказал:

– Я тебя люблю.

Поцеловал ее в губы и, по-прежнему не глядя на окаменевшую от ужаса мать, вышел из дома.

* * *

Виктор так и не появился больше. Не оставил ни сообщения, ни адреса, ни приветов. Просто исчез, а с ним исчез и его заграничный паспорт. В доме осталась пустота, открытая рана, куча осколков, которые уже никто не смог бы склеить.

Несколько дней спустя пришло письмо для Ясины. С его почерком на конверте. Она быстро надорвала конверт. Там лежала серебряная хамса со звездой Давида. Больше ничего. Ни клочка бумаги, ни обратного адреса. Ясмине осторожно достала медальон, подержала на ладони, поцеловала и закрыла глаза. Потом повесила

хамсу на шею и поклялась, что снимет ее, только когда снова найдет Виктора.

Глава 30

Марсала

Я в потрясении. Если бы мои родители так себя повели, я бы на месте Ясмینی тут же сбежала из дома.

– Так уж было принято – честь семьи превыше всего. Доктор Абитбол нажил себе целое состояние. Но мне повезло.

Жоэль усмехается. Выжившая.

– Таким было мое прибытие на планету Земля. Началось с большого скандала. *Me voilà!*^[67]

Она улыбается мне, как могут улыбаться только люди, которые знают, насколько ценна их жизнь. Потом встает и делает несколько шагов по песку, словно безлюдный пляж – сцена. Я иду за ней.

– Почему ты сказала, что Мориц твой отец?

– Потому что он мой отец.

– Но...

Она улыбается. Но в ее глазах я вижу какую-то потерянность.

– Я объясню, дорогая. У некоторых людей два отца. Или две матери. Это хуже, чем один отец, но лучше, чем совсем без отца. Я никогда не была уверена, то ли я *fortunata*, то ли *sfortunata*. Знала только, что никто меня сюда не звал, а я взяла и пришла. Мне-то было хорошо, неприятности касались взрослых.

– Так ты чувствовала, что ты нежеланный ребенок?

– Ах, что значит нежеланный ребенок? Меня зачали в кошмаре, мои родители боялись за свою жизнь. Дитя любви во время страха. Но моя мать меня хотела. Я была ее ответом на смерть вокруг. Если бы она меня убила, то убила бы и себя. Свое будущее, о котором она и представления не имела. Она ведь годы приспособилась к семье – она выживала. Свою непохожесть на родителей она всегда старалась как-то скрыть, заретушировать, иначе это означало бы, что она не заслуживает их защиты. Но ей требовалась их защита, чтобы выжить. А потом она сделала то, что уничтожило родителей, но одновременно она освободила себя. Она перестала быть послушной дочерью. Ей пришлось предать родителей, чтобы стать собой.

Я вижу, что Жоэль гордится матерью. Думаю о своей матери – я ведь тоже была нежеланным ребенком. Иногда я завидовала другим детям, которые росли в крепких, надежных семьях, нормальных и дружных. Такие семьи сперва строят гнездо, потом откладывают в него яйца. У меня же было как у Жоэль: сперва яйцо, а потом следовало найти гнездо. Иногда я спрашиваю себя, уж не потому ли я так торопилась свить собственное гнездо с Джанни.

Жоэль закуривает новую сигарету, берет меня под локоть.

– И вот родители говорят: детка, мы идем к доктору Абитболу. Пока не узнали соседи. И тащат бедняжку в машину, и везут к этому типу. Абитбол работал ночами, и приходили к нему, закутанные в покрывало, даже еврейки и христианки – чтобы соседи не узнали. Ясмина сидела на заднем сиденье, куталась в покрывало, пока они ехали по темным улицам, – уличных фонарей тогда еще не было, представляешь? Когда они подъехали, доктор уже ждал их. Мими открыла дверцу машины и велела Ясмине выходить. Нет, сказала Ясмина. Мими схватила ее за руку, но она оттолкнула мать, выскочила из машины и побежала. Альберт кинулся за ней, но она была быстрее, даже в длинном одеянии. Вообрази себе: девушка, укутанная в белое покрывало, бежит сквозь ночь, мимо парней, привалившихся к стенам, мимо солдат, не понимающих, что происходит. Альберт быстро потерял ее из виду, он метался по городу в поисках. Ясмина вернулась домой раньше родителей. А там был Мориц, и она рассказала ему, что сбежала, и Мориц слушал ее, счастливый, что она ему доверилась. Ясмину грызла совесть, она ведь еще и перед доктором Абитболом опозорила родителей, но Мориц сказал: нет, вы правильно сбежали, я вами горжусь, и Виктор бы тоже гордился. Вы так думаете? – спросила Ясмина. Да, конечно, ответил он, это ведь его ребенок, разве есть что-то важнее? А потом вернулись родители, и Ясмина объявила, что скорее умрет, чем убьет дитя Виктора. Но, деточка, давай поговорим... Нет! Ясмина заперлась в своей комнате. Мими прокляла тот день, когда она появилась в семье. И Альберт, м-да, Альберт понял, что бессилен. Невозможное подрастало в животе Ясмины, под крышей его дома. Мими даже не могла пойти к раввину, с которым обычно обсуждала все. И Альберт заплатил Абитболу оговоренный гонорар, только бы тот со зла не проболтался.

– А потом?

– Потом в доме поселилась гнетущая тишина. Мими ненавидела Альберта за то, что изгнал Виктора. Альберт упрямо молчал, но втайне раскаивался. Я думаю, он взвалил на себя слишком много вины. Неважно, отверг он сына или нет, но на самом деле Виктор давно перестал быть ему сыном. Дитя своей эпохи, он выбрал себе другую семью – куда более обширную и могущественную, о которой мы все узнали лишь позднее.

Глава 31

Поздравляем!

Отсутствие умножает уважение.

Тунисская поговорка

Когда в семье все вывернуто наизнанку, любой гость не к месту и некстати. Мориц изо всех сил старался сделаться невидимым. Но от свинцового молчания за столом никуда не денешься, а теперь он тоже был частью семьи. Однажды вечером Альберт увел Морица в гостиную, чтобы поговорить с глазу на глаз. Он чувствовал потребность объяснить, что Ясмينا и Виктор не родные брат и сестра. И речь, следовательно, идет не о том, что обычно называют инцестом, – омерзительное слово для мерзкого, но неискоренимого зла. А речь о несчастной любви, ужасном событии, вина за которое целиком лежит на нем, на Альберте. Это *он* взял Ясмину в семью, вопреки сомнениям жены и сопротивлению сына.

– Но если это любовь, – сказал Мориц, – вы не должны себя корить.

– Любовь – это красивое слово, которое часто путают с чувствами. Но чувства приходят и уходят. Когда вы однажды женитесь и у вас будут дети, вы увидите, что между мужем и женой важнее более устойчивые, постоянные вещи. Уважение, терпение, общие ценности. То, что Ясмينا принимает за любовь, – это *emozioni* и *passioni*, эмоции и страсти, о которых Виктор поет, чтобы сводить с ума женщин. Но это лишь мечты, и так же как его *petit amours*, они не выдерживают реальности. Они оба еще слишком молоды, чтобы понять, чем играют. Как же они могут быть родителями?

– Может, они научатся.

Альберт устало посмотрел на Морица:

– Морис, вы не понимаете, кто такая Ясмينا.

– А кто она?

– Она дитя без корней. Нам, выросшим в безопасности и уверенности, никогда не понять, как чувствует себя в этом мире

сирота, вырванная из почвы, брошенная всеми. Ей никогда не ходить по земле с такой же уверенностью в себе, как человеку, выросшему с сознанием, что земля под его ногами принадлежит ему, что его существование неопровержимо, что эта страна – его, а не других, что из этого рая никто не может его изгнать. Если наши корни уходят в глубину, то сироты цепляются за поверхность. Если нас укрывает дом нескольких поколений, то они скитаются под открытым небом. Если мы совершенно естественно говорим «я», то у них одни вопросы, на которые нет ответа. Нам, явившимся в этот мир желанными, никогда не измерить, как сирота тоскует по тому, что нам кажется само собой разумеющимся, – быть любимым, а не тем, кого только терпят. Нам не дано судить, насколько сирота нуждается в опоре, за которую можно ухватиться, в дереве, которое никогда не срубят, в небесном покрове, в любви, которая кажется им настолько огромной, что способна исцелить все их раны. Ясмина думает, что все это она обрела в Викторе. Она слышала все его песни. Она вознесла его на пьедестал. Но Виктор не создан для нее. Он никогда не сможет утолить ее голод.

Мориц расслышал отчаяние в словах Альберта и понял, что катастрофа не сводится лишь к разрушенной чести семьи, – отец пребывал в тревоге за обоих своих детей. Мориц примерил все это на себя. Если бы отец так же сильно любил его, он бы никогда не ушел из дома. Но что, думал Мориц, если дети без корней вовсе не обязательно другие. Может, в каждом из нас таится пропасть, может, мы все брошены в мир неизвестно кем, предоставлены самим себе. И только много позже мы находим людей, которым готовы доверять, и место, которое называем домом. Ведь и Альберт с Мими прибыли сюда из другой страны. Потому что там не чувствовали себя дома.

– А вы знали, – сказал Альберт, – что наш пророк Моисей тоже был сиротой?

– Да. Подкидыш в корзине из камыша, которую несло по Нилу.

Альберт улыбнулся с присущей ему смесью меланхолии, лукавства и доброты:

– Зигмунд Фрейд говорит, что родители Моисея, возможно, были не евреями, а египтянами, представьте себе, *che casino!* С Иисусом Христом та же беда: он еврей, но нельзя с уверенностью сказать, кем он был зачат. Отец пророка Мухаммеда, неверующий, умер еще до его рождения, а вскормила Мухаммеда кормилица, из кочевников.

Понимаете, почему мы на самом деле являемся одной большой семьей? Мы все немножко потеряны. *Buona notte*, Морис.

* * *

Попрощаться Мориц не смог. Ясины не было, когда в дверь постучался мальчик-рыбак с сообщением, что есть лодка до Сицилии. Альберт повел Ямину к себе в больницу, на обследование. Беременность уже было не скрыть. И то, чего все боялись, случилось: соседи всю судачили.

* * *

Ничто *Piccola* Сицилия не любила так сильно, как сплетни, и уже давно в квартале шептались о рабочем, которого приютили Сарфати, об этом молчаливом, высоком и светловолосом итальянце Морисе, о котором никто толком ничего не знал – ни откуда он взялся, ни почему живет в семье. И хотя в доме никто не заикался на эту тему, Мориц понимал, что должен уйти.

Мими боролась со слухами единственным способом, эффективным в *Piccola* Сицилии, – запустила другой слух, который должен был перешибить первый и звучал куда привлекательнее. А если какая-нибудь соседка спрашивала ее, правда ли это, она яростно отрицала, лишь разжигая фантазию слушательницы, поскольку чем очевиднее правда, тем меньше ей доверяют. Мими через подруг развонила, что у Ясины есть тайный жених в Армии Свободной Франции, красивый офицер из Бизерты по имени Ален. Фамилия не называлась, потому что парень из аристократической, состоятельной семьи, познакомились они в «Мажестике». Каждой из трех своих подруг Мими рассказала лишь часть истории, не сомневаясь, что женщины быстро сложат свои кусочки пазла и, потрясенные открытием, запустят его в мир.

Искусство слухов, сказала Мими, сродни пекарскому искусству: надо взять правильные ингредиенты, в правильном соотношении, и главное – понравиться должно гостям, а не тебе самому. Еще она

прекрасно знала, что в любой сплетне должна содержаться крупица правды. Ясмина обращалась в слух, если по радио говорили об Армии Свободной Франции, в киоске она тайком проглядывала газеты, как бы невзначай расспрашивала родственников солдат, служивших в Армии Свободной Франции, – она желала узнать хоть что-то о своем возлюбленном, а для соседей ее поведение подтверждало слухи. По крайней мере, Мими уповала на это.

И она не владела бы искусством сплетни в совершенстве, если бы уже сейчас не продумала сценарий на будущее, когда война закончится и солдаты вернутся домой. Ален должен пасть смертью храбрых, и дитя будет полусиротой героя, отдавшего жизнь за родину.

А Виктор? После возвращения она оженит его быстрее, чем он успеет произнести «нет». Она готова пустить в ход даже угрозы, если он не искупит свою вину и опорочит доброе имя Сарфати. У Виктора будет приличная семья, а Ясмине придется жить вдовой – в наказание за позор, который она навлекла на себя. Наверное, придется обеспечить ей небольшое содержание, в одиночку ей не выжить, да еще и с внебрачным ребенком. Общество отвергает таких женщин, будто они заразные. Жизнь в стыде и позоре – она ее заслужила. По крайней мере, так считала Мими.

Но как искусно она ни выстраивала интригу, слухи не утихали. Слишком уж совпало появление таинственного Мориса с беременностью Ясины. Только отъезд Морица дал бы разрастись слуху о никому не ведомом Алене – Морица бы скоро забыли, и скандал бы увял, не успев расцвести.

* * *

Дом Сарфати Мориц покинул в чем был – в одежде Виктора. С небольшой суммой денег, которой Альберт ссудил его, чтобы расплатиться с рыбаком за переправу до Сицилии. Регулярный рейс в Неаполь или Марсель даже не рассматривался – военные контролировали всех отъезжающих.

Было 9 июля 1943 года, жаркий и ветреный день. После того как они переговорили с несколькими рыбаками и ждали случая, когда один из них сможет подкупить портовую полицию, действовать пришлось

очень быстро. Уже несколько дней ходили слухи, что вскоре состоится штурм крепости по имени Европа. Только никто не знал, где высадится десант.

Сицилия была очевидным вариантом – из-за своей близости к материку; соседние острова Пантеллерия и Лампедуза уже были захвачены. А потом рыбаки принесли новость, что немцы спешно перебрасывают с Сицилии на Пелопоннес танковую дивизию, а также укрепляют оборону на Сардинии. Британские линкоры взяли курс на Грецию, американские самолеты бомбили Южную Францию. Что это было – маневр или только отвлекающий маневр? Никто не знал.

Вот Виктор наверняка знал – если действительно участвовал в наступлении. Мориц же был уверен лишь в одном: время терять нельзя. Луна уже доросла до половины, а в полнолуние, как говорили, войска коалиции начнут наступление. Десантникам-парашютистам требуется освещение для ориентации.

* * *

Мориц целыми днями ждал вести от рыбаков и вот однажды утром получил. Мальчишка постучал в дверь и принес двенадцать сардин, завернутых в газету. Это был условный знак для Морица: в двенадцать часов дня он должен быть у лодки рыбака Бэлгесьема. Ожидался шторм, Бэлгесьем считал, что поэтому военные не выйдут в море. И пересечь пролив Мориц сможет либо сейчас, либо уже никогда. Берега Сицилии они достигнут в темноте, это будет Марсала или Мадзара-дель-Валло, оттуда предстоит пробираться на итальянский материк.

* * *

Мориц хотел бы проститься с Ясминой и поблагодарить Альберта, но они все не возвращались, и он покинул дом, так и не дождавшись их. Как он узнает позже, они уже были на пути к дому, но дорогу, связывающую город с Риссола Сицилией, перекрыли военные.

Мими расцеловала Морица в обе щеки и дала ему на дорогу несколько монет: пусть отдаст нищему, на удачу. А она зажжет за него свечу и прочитает *Tefilat HaDerech*, молитву на странствие, чтобы она защитила его в дороге. Если он встретит Виктора, мало ли, на этой проклятой войне все возможно, пусть скажет, чтоб возвращался домой целым и невредимым. Мориц пообещал. И вышел из дома – налегке, не бросаясь в глаза, будто направляется на рынок.

На проспекте де Картаж в лицо ему ударил сильный ветер. В воздухе летала пыль, мусор носился по тротуарам, у кафе опрокинулись стулья. Штормовая переправа предстоит, подумал Мориц. Когда до порта оставалось немного и над крышами уже показались дымящие пароходные трубы, он ощутил что-то неладное. Десятки военных машин стекались к порту с разных сторон, да что там – сотни; Мориц слышал лязганье танков, а вскоре и сами исполинские машины загромыхали мимо него. Дрожала земля. Воняло дизелем и водорослями.

* * *

А потом он увидел солдат. Колонны их двигались к судам, явно готовым отчалить. Коалиция готовилась к вторжению в Европу, о котором столько говорили. Сицилия, Крит, Корсика, Южная Франция? Мориц прикинул расстояния, посмотрел на часы и решил, что наверняка Сицилия, – они не стали ждать полнолуния, десантники высадутся с началом темноты, когда в небе будет висеть половинка луны, а позже, когда луна зайдет, под покровом темноты подойдет флот.

Мориц смотрел на лица солдат, вымазанные черной маскировочной краской. Любой из них мог быть Виктором. Военные уже оцепили порт, тесня гражданских. Стараясь ни с кем не встречаться взглядом, Морис попытался пробраться к рыбацкому причалу. Тщетно. Сзади вдруг раздался хриплый шепот:

– *Allez, dégagez, vite!*^[68]

Мориц обернулся, но рыбак Бэлгесьем уже скрылся в толпе. Мориц принялся отступать от причала в сторону теснящихся домов, чтобы снова погрузиться в мир, который он почти оставил позади.

Мими не удивилась, когда Мориц снова объявился на пороге, поскольку новость о большом наступлении распространилась по городу со скоростью пожара. Когда вечером Альберт и Ясмينا наконец вышли из машины, измученные одиссеей объездов, небо разрывалось от гула самолетов. Все выбрались на крышу и увидели, как от берега в море тянутся стаи транспортных машин; когда-то, целую вечность назад, Мориц, еще совсем другой человек, проделал этот же путь, только в обратном направлении.

Всю ночь они сидели у шипящего радиоприемника, Альберт беспокойно крутил ручку настройки, перескакивая со станции на станцию. Лондон, Париж, Рим и Тунис передавали свои обычные программы. Но под утро наконец-то объявили – первые солдаты коалиции ступили на европейскую землю. Две с половиной тысячи самолетов, три тысячи кораблей, тысяча восемьсот орудий, пятнадцать тысяч транспортных единиц и танков, сто восемьдесят тысяч солдат, и все это в один день. Самая большая высадка за всю историю. На Сицилии оказалось почти полмиллиона солдат коалиции.

Но началось все с катастрофы: из-за шторма многие грузовые планеры рухнули в море, тысячи парашютистов погибли, не успев сделать ни одного выстрела. Пехотинцы, добравшиеся от кораблей на шлюпках, швыряемых волнами из стороны в сторону, были встречены пулеметным огнем. Среди них мог быть и Виктор. Задаваясь вопросом, кем же был Виктор – агитатором или шпионом, и прибыл ли он на Сицилию вместе со всеми или уже некоторое время назад, Мориц чувствовал не жалость, а зависть, понятную только солдатам. У Виктора была цель, миссия, вера в правое дело. У него были товарищи и были враги, которых нужно одолеть, и, может, была пуля, ранившая его, и врач, который эту пулю извлек, и медсестра, заботившаяся о нем, и командир, вручивший ему орден. Виктор был частью громадного мифа – освобождения Европы.

А Мориц своего мифа лишился. Он выпал из истории. Его идентичность основывалась на том, что он – часть великой истории, это она определяла его место в мире, давала ему имя, история, а не он сам. А сейчас он словно тот актер, сцену с которым вырезали из фильма. Осколок войны, которая дальше пошла без него. Внезапная

пустота окружила его, под ногами разверзлась бездна. У него не было ничего, кров и еду ему давали лишь из доброго к нему отношения и могли отказать в них в любой миг. Мориц рад был бы объясниться, но слова застревали в горле, он вдруг начинал заикаться, хотя уже вполне сносно владел итальянским. Это было скорее заикание души, оказавшейся в пустоте.

Он понимал, что чем дольше здесь торчит, тем труднее будет доказать дома, что он не дезертир. Конечно, он может сказать, что попал в плен и бежал, но двух-трех вопросов о лагере окажется достаточно, чтобы изобличить его во лжи. А это смертный приговор.

* * *

Ясмина носила свой живот с гордостью, изумлявшей всех, на соседские шепотки она не обращала внимания. Она с аппетитом ела, готовила, ходила на рынок за покупками, выполняла все домашние обязанности, как и раньше, вот только больше не участвовала в разговорах. Ни слова она не сказала Альберту, которому никогда не простит изгнание Виктора. Ни слова она не сказала Мими, которая видела в ней теперь только врага. Ясмина разговаривала только с собой и изредка с Морицем, а в ночных снах и дневных мечтах она говорила с Виктором.

Поцелуй, которым Виктор простился с ней, перекрывал все остальное – и молву соседей, и стыд перед родителями, и сомнения, вернется ли он к ней. То был первый поцелуй в ее жизни, не окутанный тайной, гордый протест против родителей под их крышей. Он был сильнее побоев, которые Виктору пришлось снести. Этот поцелуй сам был пощечиной морали, победным восклицательным знаком, которым Виктор оставил за собой последнее слово. Он покинул дом с гордо поднятой головой, не отверженным, но свободным. И хотя он исчез, своим поцелуем он поднял Ясмину на другой уровень и узаконил их запретные отношения – по крайней мере, так она это видела.

Никто теперь не мог сказать, что ее любовь к Виктору была лишь воображаемой и что ребенок – не его. Что могут ей сделать родители, которые в ту ночь снова стали приемными, если она носит в утробе их

внука? А игнорируя осуждение людей, обращая позор в гордость, она делала из родителей своих невольных сообщников.

Все трое обманывали соседей, все трое ждали ребенка.

– Ребенок-то при чем? – сказал Альберт жене. – Мы можем наказать Ясмину и Виктора за их позор, но не ребенка.

Мими стерегла Ясмину днем и ночью, давала ей мелкие монеты, чтобы ежедневно раздавать милостыню нищим, запрещала ходить в кино, чтобы она не насмотрелась там на некошерное, а то еще скажется на ребенке. Даже американские мультфильмы попали под запрет, ведь там сплошные свиньи, кролики и хищные птицы. Проходя мимо кафе мусульман и христиан с их открытыми жаровнями, Мими тянула Ясмину на другую сторону улицы – чтобы не навредить нерожденному виду омара, мидий или каракатиц.

Раньше она не была такой набожной, а сейчас словно пыталась искупить своим благочестием грех, в котором ребенок был зачат. Ясмина воспринимала это как наказание. Если Мими с ней и заговаривала, то лишь чтобы узнать, как чувствует себя ребенок, но никогда о том, как чувствует себя Ясмина. Так Мими утверждалась в роли матриарха, а заодно унижала Ясмину. А Ясмина училась смирению. Мориц восхищался достоинством, с которым она встречала все. Ясмина была пленницей обстоятельств, но внутренне она была свободнее, чем родители, надломленные стыдом. Ясмина держалась прямо, голову несла высоко, она была уже не девушка, а мать. А разве не сказано в Торе, что Бог заповедал людям: «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю»?

* * *

Однако никто не может просто снять с себя свое прежнее «я», словно платье. Сперва кажется, что старая личность исчезла, а потом она возвращается; мы взрослеем циклами, как накатывает море – вперед и назад, и никто не видел маленькую сиротку, которую Ясмина все еще носила на дне сердца. Сиротка выныривала из тайника ночами, когда Ясмина лежала одна в темноте, и чувство полноты жизни, которое давала ей беременность, вытеснялось более давней мелодией – пустоты, голода и бедности. Она приходила без

предупреждения, вызванная мимолетной мыслью, – например, когда Ясмина сравнивала себя с другими женщинами, услышав за окном свадебную мелодию.

Ясмина с детства любила свадьбы. Девочкой она подражала походке невесты – напряженно-горделивой, вызванной страхом наступить на подол. Она была уверена, что в один прекрасный день такой поступью пройдет и она сама. Ясмина упражнялась тайком перед зеркалом, накинув на себя простыню, и каждый раз на нее накатывало ощущение ничем не замутненного счастья. Жизнь простиралась впереди бескрайним полем бесконечных возможностей.

Но в это лето, когда началась пора свадеб, она осознала, что судьба ее отныне иная. Для нее существовал лишь один мужчина, и он ушел. Она соединялась с Виктором, лежа в постели и трогая себя так, как трогал ее он, а за окном звучали танцевальные мелодии... потом засыпала, мокрая от пота, а во сне расправляла крылья и летела через море в Сицилию, где брела по пыльным улицам, по зеленым холмам и старым деревням, через войну и разруху, разыскивая своего возлюбленного. Она встречала странных людей, рассказывавших, что видели его, – то были отвратительные старцы и нежные ангелы. Иногда она и сама видела его. Один раз он стоял у стены, с завязанными глазами в ожидании расстрела, один раз лежал голодный в окопе, один раз был заперт в старом доме, но он всегда был живой. И, проснувшись, она знала, что он вернется. Возможно, раненый, но она его выходит.

И она не придавала значения словам, иногда вырвавшимся у Альберта:

– Мы должны быть готовы к худшему.

Мими тогда била пальцами по его губам и тихо шипела:

– Не говори так! *Porta sfortuna*, это приносит несчастье!

Но Ясмина знала, что жизнь Виктора зависит не от слов Альберта. И не от молитв Мими. И уж точно не от немцев. Нет, только ее любовь решала, быть ему живым или нет. Пока ее сердце бьется для него, будет биться и его сердце. В этом она была так уверена, что Мориц даже не пытался вернуть ее в реальность. В случае Ясины воображение определяло реальность, а не наоборот, как у большинства людей. Если кто-то высмеивал ее как мечтательницу, она говорила только:

– Если твои мечты не сбываются, значит, они недостаточно сильные.

Внутренний мир Ясины был ее сокровищем, ее тайным царством, ее превосходством над низостью мира.

* * *

Женщины из их квартала писали мужьям, ушедшим воевать. Во Францию и в Италию, на Мальту и в Грецию. Но Ясмина не знала, куда ей писать. И однажды, ничего не сказав родителям, она отправилась в призывной пункт Армии Свободной Франции на рю де Напль, чтобы навести справки о Викторе. Там толпились молодые мужчины, курили, ожидая отправки, – мусульмане и французы, но офицеры были исключительно французами. На стене висел портрет Шарля де Голля. *Non, Mademoiselle, désolé*, имени вашего брата нет в списках, сказал долговязый офицер. *Ah bon, en Sicile? Non, Mademoiselle*, этого я не могу вам сказать, *c'est secret défense*, может, вам лучше спросить у американцев, *Mademoiselle, au revoir*.

И Ясмина пошла в «Мажестик», где устроили штаб-квартиру американцы. Там все выглядело как раньше, только звучало иначе. Офицеры были дружелюбны, почти расслаблены. *Name? Division? No, Miss Sarfati. Free French?* Они проследовали туда позднее, *hopefully*. Ах, ваш брат агитатор? Скаут? Переводчик? Итальянец? *Oh, well*, может быть, он работает на *Secret Service*. Где их бюро? Нигде, *Miss Sarfati*, никакого бюро, разумеется, не существует, как не существует и самого *Secret Service*, и если ваш брат служит там, то он тоже не существует. Вы понимаете меня? *Sorry, I gotta go*.

Ясмина потерянно стояла в холле, где никто не говорил на ее языке, одна со своей любовью, не имеющей права на существование, к человеку, которого не существует.

* * *

На обратном пути в пригородном поезде она фантазировала, что бы написала Виктору, если бы знала куда. Ее взгляд блуждал по

лагуне, мимо которой громыхал поезд, в камышах стояли фламинго, пламенело вечернее небо, и поток слов лился в ее мыслях. Когда поезд прибыл, она представила, как Виктор читает ее письмо, и порадовалась, что не написала его на самом деле, – потому что в письме этом было столько всего, чего лучше бы не говорить. И она решила, что в следующем письме напишет про хорошее, только про красивое, потому что его и так окружает ужас, напишет о том, как она гордится малышом в своем животе, и не станет рассказывать про страхи ребенка, каким, по сути, была сама.

Соседи теперь приветствовали Ямину не обычными *Buongiorno!* и *Asslema!*, а *Auguri!* и *Sahalik!* – поздравляли с беременностью, а на самом деле желали утолить свое любопытство. И Ямина рассказывала об Алене, воображаемом женихе, который сражается на Сицилии в рядах Армии Свободной Франции. Она щедро рассыпала детали о том, как он сделал ей предложение. Виктор якобы был свидетелем при этом, и если бы Алену не пришлось уйти на войну с Гитлером, они бы давно поженились. Он слишком утонченный для войны, и здоровье у него слабое, но она надеется, что с ним там ничего не случится.

* * *

В каждой войне есть побежденный и победитель. Синьора Кучинотта, без сомнения, принадлежала к последним. У нее было радио, что наделяло ее превосходством над остальными гадалками в квартале. В маленькой пошивочной мастерской на рю Сципион всегда толпились посетители. Женщины даже не помещались внутри и ждали на улице, чтобы узнать, что происходит на острове их предков. Абсурдно, но их родственники сражались и друг против друга, и сообща – в зависимости от гражданства. И каждую женщину из *Riscola* Сицилии, у которой на Сицилии имелся кузен, брат или сын, Кучинотта увлекала в заднюю комнату, где читала по кофейной гуще их *fortuna* и *sfortuna*. Одна загогулина отделяла счастье от несчастья, слезы радости от слез боли. Иная жена *sfortunato* тут же бежала в церковь, чтобы свечкой или пожертвованием в пользу бедных изменить участь своего дорогого.

В комнате у синьоры Кучинотты бормотало итальянское радио, фашистская пропагандистская станция, но никому до этого не было дела, коалиция контролировала только радиоприемники в кафе. Вот мужчины в кафе на проспекте де Картаж – это серьезно, а что взять с женщин в темной камере Кучинотты, они не казались военной полиции опасными. После освобождения Туниса владельцы кафе повышвыривали в море свои итальянские унифицированные приемники, которые принимали только одну частоту, а взамен получили от новых оккупантов другие приемники, которые ловили Би-би-си. И теперь в кафе звучала французская речь Шарля де Голля. А в кафе *Alimentari* работало радио Туниса, контролируемое коалицией – по-итальянски, по-французски и по-арабски. Вот и получалось, что каждая семья за ужином составляла мозаику из новостей разных радиостанций, чтобы получить картину того, что на самом деле творится на Сицилии.

* * *

Мужчины в кафе следили за новостями почти с таким же азартом, как за футбольным матчем. Поначалу они, казалось, были не уверены, за какую команду им болеть. Но после того как войска коалиции стали брать – нет, освобождать – один город за другим, Сиракуза, Агридженто, Марсала, они ликовали так, будто их команда забила гол. Абсурд, но ни один итальянец не болел за итальянских солдат. Просто все они знали, что среди них имеются агенты военной полиции. И кондитер, который еще зимой продавал свои профитролы с названием *Dolce del Duce*^[69], теперь выставлял в витрине коричневые, как сигары, *Cannoli Churchi*^[70]. Лишь в некоторых кафе можно было увидеть внутри – и никогда снаружи, – как мужчины играют в нарды при свете электрической лампочки и мрачно молчат, когда радио Туниса прославляет успехи коалиции. Когда американские танки 22 июля вошли в Палермо, всем стало ясно, что это лишь вопрос времени – когда Сицилия окончательно падет. Над головами у них взлетали тяжело нагруженные бомбардировщики, направлявшиеся уже не на Сицилию, а дальше, в Рим.

Мориц сидел с Альбертом на солнечной террасе кафе *Vert*. Никогда бы он не подумал, что может так легко скрыться здесь из виду. Он начал понимать, что люди в *Piccola* Сицилии, где каждый откуда-нибудь прибыл, меньше смотрели на то, кто ты такой, а больше на то, с кем ты. Мориц был *amico del dottore*, другом доктора, большего и не требовалось, чтобы с тобой уважительно здоровались, после чего оставляли в покое и каждый занимался своими делами. В южной части страны, сказал Альберт, такое было бы невозможно, там люди живут как сто лет назад, но портовые города как большое рагу. Все овощи с рынка бросают в кастрюлю и перемешивают. Какая разница луку, кто плавает рядом с ним – тыква или картофель?

Альберт развернул газету, а Мориц беспокойно смотрел на проезжающие мимо машины, у мужчин за рулем была своя цель. Они искали работу, праздновали свадьбы, обзаводились детьми. Давно уже наступило лето, но Мориц все еще жил в своей личной зиме.

– Вы говорили с рыбаком? – тихо спросил он.

Альберт кивнул:

– Считает, что слишком опасно.

– Но когда Сицилию возьмут, коалиция продвинется на материк. Я должен опередить их в Неаполе.

Таков был его план: найти большую лодку, которая доставит его в Неаполь. За линию фронта.

– Терпение, – сказал Альберт.

Но Мориц понимал, что окно для него стремительно сужается. Коалиция продвигалась вперед на удивление быстро. Би-би-си сообщало, что британцы и американцы наступают на Мессину с двух сторон. Немцы и итальянцы окопались в последнем бастионе у пролива к материку. В чем был секрет успеха коалиции? Почему так много итальянцев сдавалось без боя? Почему немцы незадолго перед высадкой коалиции переместили несколько воинских частей на другое побережье?

Лишь годы спустя станут известны причины. Команда британской секретной службы под руководством еврейского офицера Ивена Монтегю обвела Гитлера вокруг пальца искусным приемом: британская подводная лодка за несколько месяцев до высадки

подбросила на испанский берег труп якобы потерпевшего крушение английского курьера с папкой фальшивых документов. По ним можно было определить личность погибшего – полностью выдуманную, вплоть до мелочей. Майор Уильям Мартин, офицер *Marine Corps*, имел при себе билет в лондонский театр с оторванным корешком, квитанцию на дорогое обручальное кольцо, извещение из банка, что он перерасходовал свой счет, и письмо отца, который не соглашался с его выбором невесты. И еще секретное письмо к генералу сэру Александру, британскому военачальнику в Северной Африке, из которого следовало, что высадка войск будет произведена не на Сицилии, а на Сардинии, Корсике и Пелопоннесе.

Письмо из Испании попало в Берлин и в конце концов дошло до Берхтесгадена, где его лично сам Гитлер признал настоящим. Он отдал приказ о переброске войск, танков и флота с сицилийского южного берега в Грецию, на Сардинию и Корсику. Сицилия была подготовлена, чтобы штурмовать ее. Мертвый майор Мартин, похороненный в Испании, был на самом деле бездомный пьяница из Уэльса по имени Глиндур Михаэль, умерший от того, что выхлебал бутылочку крысиного яда.

Американцы положились не на хорошие истории, а на хорошие отношения: ЦРУ заключило тайное соглашение с Лаки Лучано, арестованным нью-йоркским боссом мафии, который в благодарность за некоторые привилегии уговорил своих сицилийских друзей перейти на сторону американцев. И когда в сицилийские деревни въезжали американские танки, навстречу им выходили итальянские солдаты – с белыми флагами. Не прозвучало ни единого выстрела. Фашистских бургомистров одного за другим американцы заменяли людьми, которых им «рекомендовала» Коза Ностра. Политзаключенные-антифашисты, так они именовались. На самом деле они сидели в тюрьме за разбой и убийства. То был договор с сатаной, который еще долго оставлял грязные следы. Но были и красивые истории – как, например, история американского пилота Тони Скафиди, который сбрасывал свои бомбы в море, а не на Мессину, откуда была родом его семья.

Немецкая радиостанция, вещавшая на арабском языке, ругала трусливых итальянцев, лишенных боевого духа, воли к победе и фанатизма. Итальянцы встречали войска коалиции не орудиями, а

вафельными трубочками. Мориц слышал подобные упреки в адрес итальянцев еще во время службы в пустыне, он и тогда задумывался, не от нехватки ли как раз фанатизма они были такими симпатичными ребятами. Куда бы ни приходили немецкие блицкригеры, их боялись, тогда как итальянцев любили.

* * *

Внезапно все мужчины в кафе замолчали. Би-би-си прервала музыкальную передачу, и диктор драматическим тоном сообщил, что король Италии Виктор Эммануил II приказал арестовать Муссолини. Дуче – арестант? Неужто это конец? Многие вскочили, с ликованием выбежали на улицу и принялись останавливать машины, чтобы выкрикнуть в лицо оторопелым водителям радостную новость. Один запел *Bella Ciao*, и тогда уже все встали, громко подпевая и хлопая в ладоши. Соседний столик опрокинулся, кто-то толкнул Альберта. Мориц едва успел удержать на столе кофейные чашки. Альберт – в кафе лишь они с Морицем продолжали сидеть – посмотрел на него поверх очков, как будто хотел поставить диагноз. Наблюдатель Мориц почувствовал, что теперь он объект наблюдения.

– Давайте прогуляемся, – сказал Альберт и положил на стол несколько сантимов.

Они вышли из кафе, а за их спинами все нарастал хаос. Кельнеры размахивали своими передниками, кто-то пел, другие спорили, не утка ли эта новость, а третьи кричали, что Гитлер только что покончил с собой.

– Я хочу вас кое о чем спросить, Морис.

– Да?

– Сталинград, Тунис, Сицилия. Ваша армия отступает. – Они шли в сторону порта. Автомобилисты вокруг отчаянно сигналили. – Вы не ликовали.

– Вы тоже, – сказал Мориц.

– Знаете, я нахожу странным, что все вдруг стали антифашистами. Мы видели, на что были способны некоторые из них под немцами.

Мориц не понимал, к чему он клонит.

– А вы? – спросил Альберт. – Вы сняли форму, но разве вы обрадуетесь, если Германия проиграет войну? На чьей стороне вы?

– Ответ зависит от того, кого вы спрашиваете, Морица или Мориса.

– Я спрашиваю человека, которым вы являетесь на самом деле. Или давайте поставлю вопрос иначе. Я всегда восхищался немецкой культурой. Вы изобрели книгопечатание, открыли рентгеновское излучение, сделали много других открытий. Играя Бетховена, вы тронули мое сердце, мое странное еврейско-итальянско-тунисское сердце, куда сильнее, чем песни Виктора. Но когда вы и ваши товарищи оккупировали нашу страну, Ясмينا задала мне вопрос, на который я не смог ответить: «Что мы сделали немцам такого, что они нас так ненавидят?»

Мориц никогда не испытывал ненависти к евреям, но он знал многих, сделавших стремительную карьеру в гитлерюгенде, в партии и в СС именно благодаря ненависти – свою власть они демонстрировали на беззащитных. Но разве это были немцы? Никто в его семье, даже отец, не учил его ненавидеть евреев.

– Я не хотел бы ставить вас в затруднительное положение, – сказал Альберт. – Но знаете, когда я смотрел кинохронику, все эти людские массы на площадях, кричавшие «хайль Гитлер»... Меня испугало, как много их, всех этих людей, неотличимых друг от друга, одновременно вскидывавших руки, ликовавших в едином порыве. В нашем *ragoût méditerranéen*, средиземноморском рагу, такое невозможно. Если вы запрете в комнате парочку мужчин, то до вас донесутся три языка и четыре мнения. И если они подерутся, то не из-за фюрера, а из-за женщины.

Мориц невольно улыбнулся. Взгляд Альберта был серьезен:

– Мне трудно представить вас среди этой массы.

– Я не состоял в партии.

– Но знак партии был на вашей форме. Как вы могли сражаться за этого человека? Как он смог одурманить весь народ? Эта идея господствующей расы. Чистота крови. Как врач я могу вас заверить, что с точки зрения медицины это глупость. Мы, евреи, всюду, где мы жили, смешивались с христианами и мусульманами, переходили в другую веру, женились, *c'est la vie!* Среди евреев есть брюнеты и блондины, с голубыми глазами и с карими, у нас есть даже

чернокожие, из Эфиопии, и тем не менее все мы евреи! И я не видел никого, кому бы повредило такое разнообразие. Но в каждой маленькой деревне, в *les bleds*^[71], где все женятся только между собой, о-ля-ля, я вам определенно скажу, там вы обязательно встретите умственно отсталых!

– Но, Альберт, – осторожно сказал Мориц, – ведь и тут белые – господа. У арабов нет равных прав с европейцами.

– Это верно. Но никто не загоняет их в лагерь. Мы живем вместе. И многие арабы любят Францию. Я вас уверяю, Тунис будет всегда оставаться французским! Но вы не ответили на мой вопрос.

Мориц подумал. Он не хотел говорить того, что могло ранить Альберта, но в то же время хотел быть честным.

– Знаете, в моей деревне я не знал ни одного еврея. Первого еврея я встретил в Берлине, он учился в моем классе, его звали Макс, мы вместе играли в оркестре. Это был евангелический интернат, но он там учился, я не знаю почему. Его родители меня даже пригласили однажды в гости. Дружелюбные, приятные люди. Я не увидел в их доме ничего, что отличало бы их от других семей. И однажды Макс просто исчез. Говорили, что они уехали. И никто больше о них не спрашивал.

– И вы?

– Мы не были друзьями, просто одноклассниками. В юности тебя интересует только собственная персона. И, кроме того, вопросы не поощрялись. Сиди тихо, так говорили, не то попадешь в Дахау!

Альберт поднял очки на лоб, замедлил шаг.

– Что они там делают с людьми? Никто не вернулся из лагерей.

– Я не знаю.

– Как это может быть? – воскликнул Альберт, разволновавшись. Руки у него тряслись. – Вы *должны* знать!

– Я там никогда не был. Никто об этом не говорит.

Альберт пытался справиться с собой. Он избегал смотреть на Морица, чтобы не выдать своих чувств, но и не хотел дать тому уйти от ответа. Мориц прямо-таки физически ощущал, как в голове Альберта идет работа.

– Это правда – то, что говорят?

– Что?

Альберт помедлил.

– Фургоны с газом.

Мориц слышал о таком. Рауф, начальник СС. Восточная Европа. Кое-какие слухи ходили, но все же об этом предпочитали помалкивать.

– Не знаю, правда ли это. Может, это один из тех слухов, которые распространяют, чтобы запугать.

Альберт уже не мог сдерживать ярость. Он схватил Морица за плечи, принялся трясти, словно пытаясь разбудить.

– Морис. Этот человек, ваш правитель, собирался известить нас! Здесь евреи вернулись в свои дома, но в Европе поезда продолжают свозить их в вагонах для скота в лагеря, из которых никто не вернулся! Они отдают своих детей чужим людям, чтобы те спаслись, вы можете такое только вообразить? Вы знаете, сколько их? Вы знаете, сколько людей поднялось на борт кораблей, бросив все, кроме своей жизни, чтобы найти страну, которая впустила бы их, чтобы вымолить хоть немного сострадания?

Мориц молчал. Ему было стыдно. Но вины он не чувствовал. Это уже не его война. Ему больше не надо подчиняться приказам, он сбежал от этого мира. Но Альберт не отставал:

– Вы так и не ответили на мой вопрос! За что вы нас ненавидите?

– Альберт. Я не испытываю к вам никакой ненависти.

Альберт опустил очки, успокаиваясь.

– Разумеется, Морис. Я к вам тоже. Пожалуйста, извините.

Смущенные, они избегали смотреть друг на друга, потому что взгляд выдал бы слишком много, дальше они шли, объединенные молчанием.

Глава 32

Марсала

Над пустой прибрежной купальной садится солнце. Холодно. Бесприютно. Где-то лает собака.

– Знаешь, – говорит Жоэль, – я тоже задавала ему этот вопрос.

– И что он ответил?

– Он меня огорошил. Рассказал о своем отце. Только в тот раз. Его отец был в Первую мировую войну в Вердене. Мужчины уходили на войну, полные воодушевления, а вернулись присмирившими, униженными, искалеченными. Напившись – а пил он много, – отец бил сына. Думаю, Мориц ненавидел его в такие моменты, но отец есть отец. Сыновья почтительность, ты понимаешь. Отец не пришел в восторг, когда Гитлер начал войну. У него еще стояла поперек горла предыдущая война. И когда Мориц и его друзья записались в вермахт, они не думали ни про каких евреев, нет, они думали о том, как отомстить за унижение своих отцов. Так он мне, по крайней мере, рассказывал.

Туман у меня в голове постепенно рассеивается. Никто на свете не одинок. Каждый есть чье-то продолжение. Мы выполняем задание, не ведая, кто нам его дал. Кому-то должны быть верны, перед кем-то мы в долгу. Мы только появляемся на свет, а на нас уже взваливают рюкзак, набитый камнями и молчанием, и если мы его не раскроем, то передадим эти камни дальше нашим детям. Туман, которым окутан мой дед, эта непроницаемая, тяжелая от вины пелена, – я всегда считала, что это национал-социализм. Но разве только идеологию мы ставим в вину нашим отцам и дедам? Нет, мы обвиняем их в том, что они сделали людям, и перед лицом совершенного ими ужаса наши собственные раны кажутся мелкими. Но, возможно, есть и нечто личное в наших упреках, в нашей обиде на них – они оставили нас одних. И не только те, кто погиб или пропал без вести. Но и вернувшиеся назад, с искалеченными телами и душами, они тоже замкнулись, похоронили прошлое в себе, чтобы защитить от него и себя, и свои семьи, – и оставили нас наедине с нашими вопросами и нашей потребностью в нежности.

* * *

Я застегиваю водолазный ремень на поясе Бенва, навешиваю на него кислородные баллоны, прилаживаю налобную камеру. Хорошо оказаться хоть чем-то полезной. Работая, я всегда чувствую себя лучше. Щелчки карабинов, затянутые ремни, проставленные галочки в списках связывают меня с действительностью. Патрис стоит рядом и наблюдает за моими действиями, он мне доверяет. Врачи запретили ему даже подниматься на катер. Но если самолет не поднять до начала зимних штормов, то все было напрасно. Несчастный случай изменил Патрису, он понял, что уязвим. Не то чтобы он стал менее уверенным, однако он теперь больше доверяет другим. Мне это нравится. Из его движений ушла суета. Но я чувствую, что нервничает он даже больше обычного. Переводит взгляд с погодной карты на облака. Ветер усиливается. На волнах появляются первые барашки. Над Сицилией еще стоит антициклон. Бенва и Филип спускаются под воду.

* * *

Мы следим по экрану, как они закрепляют вокруг фюзеляжа первый ремень. Сосредоточенные движения, словно в замедленной съемке; одно погружение утром и одно во второй половине дня, больше организм не может выдержать на такой глубине. Патрис склоняется к рации, вслушиваясь в прогноз погоды. Сила ветра четыре, атмосферное давление падает.

- Сколько времени вам надо? – спрашиваю я.
- Несколько дней, самое большее неделю, посмотрим.
- Куда подевалась твоя подружка?
- Это была не моя подружка.

Я слышала, как они ссорились в больнице. Патрис еще только-только приходил в себя, а она билась в чисто сицилийской истерике.

- Скучаешь по ней?
- Встречный вопрос: что ты делаешь сегодня вечером?
- Ужинаю с Жоэль.
- Что в ней есть такого, чего нет во мне?

Улыбка у него очаровательная. Но и чуточку смущенная. Потом он переговаривается с водолазами под судном, они уже поднимаются, и Патрис выходит на палубу. *Странная ты птица*, говорит его взгляд. *Застряла в прошлом. Узлом завязала душу*. Он прав. Я не вполне здесь. Жизнь пятится раком. Два шага вперед, один назад. Кто не идет вперед, должен остановиться. Как обмелевшая река, которая должна сперва наполниться, прежде чем потечь дальше.

Глава 33

Успенские каникулы

Этот мужик нацепил орден Святого Антония и идет красуется. А я несу свою душу, одинокую и обнаженную, лишенную всяких иллюзий.

Джузеппе Унгаретти^[72].

Новости из Сицилии поступали каждый день, но от Виктора – ничего. Мими неустанно молилась за него. Чтобы не сойти с ума от тоски, Ясмينا приняла спонтанное решение. Однажды утром она рано вышла из дома и направилась на сук Эль-Грана. Там она купила у итальянского торговца несколько килограммов шерсти трех разных цветов, дома собрала старый ткацкий станок, который долгие годы стоял разобраным в чулане, и поставила у себя в комнате. И принялась ткать настенный ковер, как это делали все женщины юга перед замужеством, – легкий темно-красный келим, с геометрическим узором. Нить за нитью, узелок за узелком она придавала облик своей вере в возвращение Виктора. Надо, чтобы надежду можно было потрогать руками, говорила она, иначе сойдешь с ума.

Но Альберт и Мими все равно тревожились, что она на пути к безумию. Какое еще замужество, переглядывались они. Никакой свадьбы не будет, слышишь? Ясмينا не поднимала глаз и продолжала ткать. Монотонные движения вселяли в нее покой. При этом она напевала всегда одну и ту же песню. *Аман аман альмани*. Мечтательная эта песенка была навязчивой мелодией того лета – все радио в кафе ее передавали, на улицах распевали даже дети. Морицу нравилось звучание слов, хотя он не понимал их. Когда Ясмينا пела и ничто, кроме ее тихого голоса, не наполняло пустой дом, песня звучала особенно проникновенно.

Однажды под вечер, когда Альберта и Мими не было дома, Мориц сел рядом с Ясминой, чтобы помочь. Она не возражала, пела себе под нос, а потом вдруг сказала:

– Ткацкий станок словно пианино, правда? Тоже натянутые струны, быстрый челнок, пальцы, которые двигаются как бы сами по себе, можно на них смотреть, как будто они принадлежат кому-то другому, вам не кажется?

– Да, – ответил Мориц, чтобы хоть что-то сказать и не оборвать тоненькую ниточку к ее душе.

Ясмина снова запела, потом спросила:

– Вы знаете, Морис, о чем эта песня?

– Нет.

– Это песня женщины, которая влюбилась в немца.

Мориц удивленно посмотрел на нее.

– В солдата. Но он пропал, и она осталась одна. – Ясмина сказала это почти без выражения, как о самом обычном деле.

Аман аман альмани.

Сафир алейяу кхалани.

Мориц слушал как зачарованный. Печальная песня звучала так красиво. Ясмина смолкла. И пальцы ее замерли.

– А вы не споете мне, Морис?

– Но я не умею петь, Ясмина.

– Тогда сыграйте мне мелодию. Шансон Виктора. А я буду представлять себе его голос.

– Но я не знаю его шансоны.

– В его комнате есть ноты. Пожалуйста, сделайте это для меня.

Мориц прошел в комнату Виктора, нашел нотные листы и принес их вниз. Закатное солнце затопило гостиную. Он сел к пианино и поставил ноты на пюпитр. Он вспомнил один шансон – Виктор пел его в баре «Мажестика». Медленно, на ощупь он подыскивал ритм танго. Легкая, естественная мелодия поверх тяжеловесного баса. Он смотрел на свои пальцы, как будто они были не его, и представлял ее пальцы, которые в том же такте сновали по струнам ткацкого станка. И слова, которые Ясмина слышала под эту мелодию. Голос Виктора в ней.

Youkali,

C'est le respect de tous les voeux échangés

*Youkali,
C'est le pays des beaux amours partagés
C'est l'espérance qui est au coeur de tous les humains
La délivrance
Que nous attendons tous pour demain*^[73].

Было так, будто в любой момент он мог войти в дверь, будто он почти физически присутствовал здесь, будто была невидимая, запретная связь между ними, отмеченная знаком Виктора, и из какой бы материи она ни состояла – без Виктора она бы порвалась.

*Youkali,
C'est le pays de nos désirs
Youkali,
C'est le bonheur, c'est le plaisir
Mais c'est un rêve, une folie
Il n'y a pas de Youkali!*^[74]

– Спасибо, Морис. – Он услышал ее голос у себя за спиной, не заметив, когда она спустилась за ним в гостиную. Босая. Солнце путалось в ее черных локонах.

Мориц перестал играть.

– Вы думаете, он еще жив? – тихо спросила Ясмينا.

– Да. – Он *хотел* в это верить, ведь если Виктора нет в живых, какой смысл имело то, что он для него тогда сделал?

– Так почему же он не пишет? Ведь домой написать можно. Все другие женщины получают письма.

– Да, домой написать можно.

– Когда он вернется?

– Допустим, он сражается на стороне коалиции. Когда Сицилия будет взята, они двинутся дальше на север. На Рим. А потом все дальше и дальше.

Это было совсем не то, что она хотела услышать. В глазах у нее блеснули слезы. Если бы он мог ей как-то помочь. Минувшей ночью он проснулся, потому что она вдруг вошла в темную комнату, чтобы

достать из ящика стола флакон с парфюмом Виктора и понюхать его. Мориц притворился спящим. Потом она сняла со стены фотографию и вышла из комнаты, словно привидение, беспокойный образ из сна. На самом деле – теперь Мориц это понял – Ясмина отнюдь не была такой скромницей, какой выглядела. Ее любовь была безмерной. Она не могла любить чуть-чуть, как большинство других, или как-то распределять свою любовь, нет, она вся была во власти любви, а в сердце не было места ни для чего, кроме любви.

– Почему он не любит меня? – тихо спросила Ясмина.

Она плакала с открытыми глазами. Между ней и миром не было никакой защитной преграды.

– Он вас любит, – возразил Мориц. – На свой лад. Держась в стороне.

– Он снится мне каждую ночь. И даже днем, если я закрываю глаза. И когда я его вижу, у меня начинает колотиться сердце, я ничего не могу с этим поделать. Хочется прыгать, танцевать и петь. Родители говорят, что я должна его забыть. Но как можно выбирать, кого любить, кого нет. Если любишь человека, отдаешь ему все свое сердце, и оно принадлежит ему до конца жизни.

Такое Мориц понять не мог. Для него любовь была результатом решения.

– Знаете, – сказал он, – я был однажды несчастливо влюблен, еще подростком, и совершал всякие безумства, чтобы завоевать эту девочку. Впоследствии я не понимал, как мог быть таким глупым. Я ей нравился, но как друг, не больше. Она просто не была влюблена. И когда я захотел поцеловать ее, она сказала очень простые, но умные слова: «Лучше найди себе ту, с кем ты будешь счастлив».

– И тогда вы просто полюбили другую? Будто рубильник переключили?

Мориц кивнул.

– Какой вы странный, – пробормотала Ясмина. – Зачем вы мне это рассказали?

– Потому что... – Он замолчал, подыскивая слова.

– У нас говорят: *Al cuore non si comanda*. Сердцу не прикажешь!

Он вернется, хотел сказать Мориц. Но предпочел промолчать. Никакие его слова не могли ее утешить.

– Было бы лучше, – сказала Ясмина неожиданно жестко, – вообще не любить. Из-за этого вы, мужчины, оказываетесь в положении сильного. Выигрывает тот, кто меньше любит. Вы можете уйти на войну, убивать там и позабыть, что дома вас ждет женщина.

– Нет, – сказал Мориц. – Это неправда. Единственное, что нас там поддерживает, это мысль, что дома нас кто-то ждет. И поэтому не бессмысленно брать очередную проклятую высоту или спать прямо в грязи окопа, все это мы делаем, чтобы защитить наших любимых дома.

– Вы прилетели в Тунис, чтобы защитить вашу невесту в Берлине? – Ясмина усмехнулась. – *C'est fou!*^[75]

Да, подумал Мориц, она права, вся война – безумие, но что поделаешь? Не мы ее затеваем, не нам ее завершать, можно лишь надеяться как-нибудь выжить в ней.

Ночью Мориц написал письмо Фанни. Он не мог его отослать, но ему требовалось излить чувства хотя бы на бумаге, чтобы не сойти с ума.

* * *

На Успение – *Ferragosto* – Сицилия была захвачена. Или освобождена, в зависимости от того, какая радиостанция сообщала об этом. Десятки тысяч убитых, десятки тысяч раненых, сто тысяч немцев и итальянцев, сумевших переправиться на итальянский материк с последними кораблями. Празднично звонили колокола, и вся округа устремилась к церкви, как и каждый год утром 15 августа. Словно доказывая друг другу, что уж тут все по-прежнему, что бы ни происходило за морем. Словно немецкая оккупация была коротким кошмаром и проклятая война не могла запретить *Riscola* Сицилии праздновать Успение Богородицы.

Мориц стоял с семьей Сарфати на церковной площади, вместе с сотнями людей, которые слушали пение в переполненной церкви. Солнце припекало. Женщины платками промокали пот с лиц. Большой портал был открыт, он всю ночь простоял открытым, церковь освещало пламя свечей, слышался гул из молитв и просьб, – и тут наступил великий момент, напомнивший всем, что небо о них не забыло.

– Смотрите, Морис, вот и она! – взволнованно воскликнула Ясмина.

Толпа запела при появлении Мадонны. Она выплыла из сумрака церкви на солнечный свет, укутанная в синий бархат, с нимбом над головой, ее несла дюжина крепких мужчин. Христиане осеняли себя крестным знаменем, и только в этот момент Мориц понял, сколько в толпе мусульман и евреев. Их было удивительно много, и они тоже пели: *E viva, e viva, la Santa Madonna di Trapani!*

Мадонна разделила толпу надвое, как море, которое расступилось и затем последовало за ней, а Мадонна парила над площадью, над колышущимися головами мужчин и женщин, которые приветствовали ее, сложив ладони. Она, казалось, посмотрела на каждого, даже на тех, чей Бог не имел матери и не вочеловечивался. В глазах молящихся светились преданность и глубокое почтение, каких Мориц никогда не видел. Там и сям вспыхивала неукротимая радость, где-то сквозь рыдания прорывались стенания – то была экстатическая молитва и вместе с тем раскованное народное гуляние. Мусульманские пекари раздавали сладости детям, сидящим на плечах у отцов. Женщины воздевали руки, когда Мадонну проносили мимо, и зывали:

– Санта Мадонна, не забудь моего брата Франческо! Сделай так, чтобы он вернулся с войны живой!

– Санта Мадонна, пошли нам, наконец, ребенка! Помоги мне, зачем ты заставляешь меня так страдать?

– Мадонна плачет, ты видела?

– Мадонна смеется, ты видел?

Какая-то бабушка пала ниц перед Мадонной и молила с таким отчаянием, что другим женщинам пришлось удерживать ее за руки, не позволив рвать на себе волосы. Казалось, никому это не мешало, напротив, ее пронзительные крики выражали то, что было на душе у остальных женщин. Мими бормотала молитву на иврите.

– Разве она не прекрасна? – воскликнула Ясмина, когда Мадонна двинулась прямо к ним.

Мориц посмотрел вверх и пожалел, что у него нет с собой камеры, чтобы зафиксировать этот момент. Нимб на фоне сияющего неба, глаза Мадонны, в которых были и нежность, и безразличие к миру. Внезапно Морица накрыла волна печали. Он не знал, откуда она взялась, но

когда Мадонна проплыла мимо, он не ощутил ни благодати, ни трепета, ни надежды, одну только безмерность пустоты внутри себя.

Его чувства были погребены под непроницаемым панцирем. Стремясь стать невидимым, он спрятался не только от мира, но и от себя самого. Словно все, что было в нем живого и светлого, все, что эти верующие женщины так откровенно, бесстыдно обнажали, было заперто в глубоком подвале, ключ от которого больше был ему не доступен.

– Идем! – крикнула Ясмина, возбужденная как ребенок.

Она потянула его за руку, вслед за Мадонной. Ее черные глаза сверкали. С каждым днем своей беременности она становилась все красивее. Мориц следовал за ней как оглушенный. Люди с пением шли по пыльным улицам, носильщики потели на жаре, многие женщины брели босиком – в знак своего смирения, с балконов и крыш махали руками зрители. Морица и Ясмину подхватила толпа. Колышущийся поток тел выливался на проспект, направлялся в сторону порта и стекал вниз, к самой воде, в которую мужчины вошли, соединяя Мадонну с морем, чтобы она благословила души утонувших рыбаков и защитила живых. Мориц был так потрясен, что забыл даже о желании запечатлеть происходящее на пленку. Он был частью этого большого, потеющего тысячеглавого тела, этой тысячеголосой молитвы. Невозможно одновременно наблюдать и быть внутри того, за чем наблюдаешь.

* * *

И вдруг в небе над головами людей раздался низкий гул – летели тяжелые бомбардировщики. В слепящем полуденном солнце Мориц разглядел подбитые стабилизаторы, через силу вращающиеся пропеллеры, закопченные крылья. Больше сотни «Летающих крепостей» американских военно-воздушных сил возвращались в Тунис, отбомбившись на город Швейнфурт – как Мориц узнал позже. Родина была так близка и вместе с тем недостижима.

* * *

Процессия постепенно рассасывалась, и в толпе Альберт углядел Бэлгесьема, рыбака, который брался переправить Морица на Сицилию. Альберт взял Морица за руку, и они стали пробираться к нему.

– *Buongiorno*, Бэлгесьем!

– Доктор!

Альберт отвел рыбака в сторонку и тихо спросил:

– А не обзавелись ли вы лодкой побольше?

– Вполне возможно.

– До Неаполя?

Бэлгесьем кивнул, не глядя на него.

– Когда можно выйти?

– Как только, так сразу. И подумайте о том, что Неаполь стоит тройную цену.

– Что? Это невозможно!

– Но море кишит англичанами.

Альберт начал взволнованно торговаться, так что Морицу пришлось его удерживать.

– Тогда просто верните нам деньги, – сказал он, – и мы найдем другую лодку.

– Какие деньги?

– Плату за переправу.

– Но вы не давали мне никаких денег.

Мориц растерянно посмотрел на Альберта. Альберт возмутился. Разумеется, он заплатил ему вперед. Бэлгесьем отругивался – словами, которых Мориц не понимал. Альберт назвал его лжецом и пригрозил, но рыбак просто развернулся и ушел. К ним уже спешили Мими и Ясмина. Альберт клялся, что не спустит этому парню такого.

– А что вы можете сделать? – спросил Мориц. – Пойти в полицию?

– Вот видите, – с сарказмом сказала Мими. – Так уж у нас здесь. Мы празднуем друг с другом и гадим друг другу. Но сор из дома никогда не выносим.

* * *

Мориц был подавлен. Он не мог просить Альберта ссудить ему денег еще раз. И без того у них каждый сантим на счету. Хуже всего была не тоска по дому. И не чувство вины перед Альбертом и Мими из-за того, что соседи продолжали пересуды на его счет. Нет, хуже всего было чувство бессмысленности: зачем он здесь?

За ужином Альберт пытался отвлечь Морица, рассказывая о книге, которую читал. Ее написал молодой французский писатель из Алжира.

– Я думаю, вам бы она понравилась.

– Она скучная, – возразила Мими.

– Моей жене не нравится, потому что в этой книге нет утешения.

Но, может, именно поэтому она такая правдивая.

– О чем она?

– Об одном человеке по имени Мерсо, у которого умирает мать, и он после этого на пляже стреляет в араба.

– Почему?

Альберт пожал плечами.

– Все дело в женщине. В таких историях дело всегда в женщине. Но книга не об этом. Она о равнодушии этого человека к миру. Он совершил убийство не из страсти, то была глупая случайность. И он при этом ничего не чувствует. Ни сострадания, ни раскаяния. Даже когда его судят.

– И что потом? – Мориц не понимал, к чему клонит Альберт. Хочет намекнуть на то, что он о нем думает? Мориц вовсе не чувствовал себя равнодушным к миру, ему скорее казалось, что это мир безразличен к нему, потерявшемуся, без паспорта и без дома. С ним тоже могло случиться такое: какой-нибудь посторонний случайно убил бы его, вот только никто этого постороннего не потащил бы в суд. Наоборот, он сам по случайности спас постороннего, в чьей кровати потом спал и чье место занимал за столом, пока тот использовал подаренную ему жизнь на то, чтобы убивать товарищей Морица.

– Судья, – сказал Альберт, – хотел выяснить, почему Мерсо совершил убийство. Но у того не было никакого мотива, это было абсурдное убийство. В конце его приговаривают к смерти, и он ее принимает, потому что он для мира имеет так же мало значения, как и мир для него.

– И это все? – спросил Мориц.

– Ужасная история! Зачем ты читаешь такое? Этот Камю – бессердечный человек, без Бога, без морали! – Мими встала и принялась убирать со стола.

Альберт задумчиво смотрел на Морица.

Позднее, когда Мориц лежал в постели и не мог уснуть из-за жары, он размышлял, что же Альберт хотел ему сказать. Что он не должен пытаться искать смысл в абсурдном? Что на самом деле нет никакого обоснования, почему один умирает, а другой живет, и что нам ничего не остается, кроме как с открытыми глазами терпеть бессмысленность мира? Хорошие истории, то есть те, что они использовали для пропаганды, всегда заканчивались триумфом, спасением из почти безвыходной ситуации, победой после безжалостной борьбы. Что будет после счастливого конца, никого не интересовало. Но ведь настоящая жизнь продолжается дальше, за пределы прокрученной бобины фильма и захлопнутой книги, и конец истории – это начало реальной жизни. Это место, где силы неведомого нам происхождения забрасывают нас в лабиринт, стены которого построили не мы, и нам приходится нащупывать дорогу без карты и компаса. Дорогу, которая познается лишь в продвижении, шаг за шагом, сквозь темноту.

Мориц встал, мокрый от пота, и перечитал свое письмо Фанни. Потом снова и снова. Но чем больше он таранился на эти строчки, тем более пустыми казались ему слова, тем более размытым становился облик Фанни. Что в нем было воспоминанием и что воображением? Он потерял ее.

Не в силах заснуть, он поднялся на крышу, где жара была не так нестерпима. Вдали, между домами, можно было разглядеть огни кораблей в море. В какой-то момент он услышал шаги Ясины на лестнице. Босая и в ночной рубашке, она появилась между развешанным бельем. Медленно приблизилась, посмотрела на него и молча встала рядом. Молчаливое, растерянное согласие. Она смотрела на море. Лунный свет лежал на ее кудрях. Он чувствовал ее запах, а между ними будто стоял Виктор.

В четыре часа утра в дверь дома постучали. Нет, не постучали, заколотили, и еще до того, как Альберт успел сбежать вниз, дверь вышибли. Мориц только что заснул и теперь вскочил с постели. Лающие голоса, топот ботинок – он сразу понял, что это солдаты. Американцы.

– Прячьтесь, скорее! – шепотом крикнула Мими, когда он выглянул из своей комнаты, а сама побежала по лестнице вниз, навстречу солдатам.

Ясмина распахнула свою дверь, и еще до того, как он принял решение, схватила его за руку и втянула к себе в комнату.

– Под кровать, быстро!

Мориц мигом закатился под кровать. Было совершенно темно, он ничего не видел, только слышал шорох ткани и быстрые шаги босых ступней Ясины. Она спрятала что-то под одеяло. Потом солдат распахнул дверь, и Ясмина завизжала так пронзительно, как Морицу никогда не приходилось слышать. То был крик дикого зверя. Ясмина успела снять свою ночную рубашку, так что солдат оторопел от стыда и застыл в открытых дверях.

– *Vattene!* – кричала она. – *Aïb, je vais te tuer!*^[76]

В ужасе вбежал Альберт:

– У вас есть совесть? Что вы себе позволяете?

Подоспел офицер – и тоже на какой-то миг растерялся. Ясмина прикрывала руками голую грудь.

– *Calm down, lady!* – сказал офицер и приказал солдату: – *Search the room!*^[77]

Солдату не было и двадцати, и он испугался больше, чем Ясмина. Она встала у него на пути, гордо вскинула голову, выплюнула проклятие и, когда он не отступил, вlepила ему пощечину. И тогда солдат потерял самообладание. Он схватил Ясмину за волосы и поволок к двери. Она пиналась и плевалась. Альберт пытался протиснуться между ними, чтобы разъяренный солдат не навредил Ясине.

– Как вам не стыдно! Сейчас же отпустите мою дочь!

Никто в этой свалке не заметил, кто нанес Альберту удар, солдат или офицер, но Альберт отлетел в сторону. Голова его со стуком ударилась о плитки пола в метре от кровати, под которой затаился

Мориц. Очки упали, и тут же на них наступил солдатский ботинок, стекла хрустнули. Солдат быстро перерыл постель.

Мориц ждал, что его обнаружат в любую секунду, но произошло нечто другое. Ясмина перестала кричать. Альберт не шевелился. Теперь, должно быть, и американцы увидели, что он лежит неподвижно. Крови не было, только абсолютная неподвижность. Мими ворвалась в комнату, пронзительно вопя. Голоса перекрывали друг друга, Мориц видел, как Ясмина и Мими, склонившись над Альбертом, нежно гладят его по голове. Американцы испуганно замерли.

– Чего вы стоите? – крикнула Мими. – Бегите за санитарной машиной!

* * *

Время тянулось нестерпимо долго в ожидании «скорой помощи». Уже вставало солнце, когда двое американских санитаров выносили Альберта из дома. Мими и Ясмина сопровождали его. И только когда дверь защелкнулась, Мориц выбрался из укрытия, тело совершенно затекло. Солдаты обыскали все, порылись в каждом шкафу, выдвинули все ящики.

– *Where's the German?* – выкрикивали они снова и снова, но Мими и Ясмина его не выдали.

Только под кровать Ясины, рядом с которой лежал на полу Альберт, они не заглянули. Мориц слышал, как отъехали джип и санитарная машина. Дети кричали вдогонку солдатам.

В доме установилась призрачная тишина. Мориц, стараясь не наступить на осколки стекол, поднял смятую оправу очков. Осторожно разогнул металл. Альберт человек не от мира сего, подумал он, из другого, гораздо лучшего мира. И медленно спустился по лестнице.

В гостиной тоже все было перевернуто. Мориц устался на книгу Альберта, валявшуюся на полу. Слезы выступили у него на глазах, слезы ярости и вины. Чтобы не дать им волю, он принялся устранять следы погрома. Подобрал с пола Тору, поставил разбросанные стулья, вытер воду, вытекшую из разбитой цветочной вазы.

Какого черта, спрашивается, он здесь торчал? Лучше бы ему было никогда не знать Виктора. Тогда бы он не втащил за собой в дом Сарфати проклятую войну. Альберт остался бы живым и невредимым. Да, эсэсовцы казнили бы Виктора. Но он погиб бы как герой, не навлек на себя позора. И как знать, может, где-то на сицилийской дороге его уже давно настигла немецкая пуля, так что все, что для него сделал Мориц и что сделал он для Морица, было совершенно напрасно.

* * *

Мориц прождал весь день. Прибрав все комнаты, он сел на кровать и сидел как окаменелый. Когда зашло солнце, он не отважился включить свет. Только в полночь в двери звякнул ключ. Вернулась Ясмينا. Одна. Мориц скатился в гостиную.

– Ну как он?

Ясмина в изнеможении села на кушетку.

– Он жив, – сказала она. И расплакалась.

Мориц сел рядом, но не отважился обнять ее, потому что не имел на это права; никогда в жизни он не имел так мало права вмешиваться в чужую жизнь.

* * *

У Альберта было что-то вроде апоплексического удара. Ясмина говорила о какой-то артерии, лопнувшей от удара головой. Внутреннее кровоизлияние в черепе заблокировало поступление кислорода. «Скорая помощь» приехала слишком поздно. Счастье, что он вообще остался жив. Теперь надо ждать. Врачи не могли сказать, сможет ли он когда-нибудь говорить или ходить. Мими осталась с ним в военном госпитале.

Мориц был потрясен. Сказать было нечего. Вина придавила его тяжким гнетом. Как американцы узнали о нем? Что-то заметили соседи?

– Нет, – сказала Ясмина. – Это тот рыбак.

Мориц припомнил Бэлгесьема. Мясистое лицо, пожелтевшие от никотина зубы, бесчувственность, с какой он отвернулся после того, как Альберт ему пригрозил. Мориц готов был прямо сейчас бежать в порт, чтобы придушить доносчика собственными руками. Но это не сделало бы Альберта здоровым.

– Мне очень жаль, – сказал он.

– Мама говорит, это Виктор проклял папá, – сказала Ясмينا.

Мориц потрясенно молчал. Неужто Мими в самом деле считает, что в несчастье виноват Виктор, а не он? Ясмينا измученно встала и пошла к себе в комнату. Она ни в чем его не упрекнула, но и он ничего не мог сказать ей в утешение.

Всю ночь Мориц пролежал без сна, глядя в темноту за окном. Беленный известью дом напротив был голубым в лунном свете, светили звезды. Его маленький клочок времени и пространства, вырезанный из вечности. Альберт был для него больше отцом, чем его собственный отец. И вот чем Мориц отплатил ему. Что же это за мир такой, в котором добро карается, а зло вознаграждается?

Он сложил ладони и попытался молиться. Но он будто взывал в пустом доме, покинутом всеми, даже духами, витали разве что воспоминания о них. Гнетущее чувство оставленности охватило его. И это бесконечное, бесчувственное небо...

Глава 34

Марсала

There's a crack in everything. That's how the light gets in^[78].

Леонард Коэн

– *Мектуб*, – говорит Жоэль. – Так называла это моя мать. Это *мектуб*, если случается что-нибудь невыносимое.

Ее лицо озаряется пламенем зажигалки. Ночь, мы с Жоэль стоим у отеля, она курит, все уже спят. Мне нравится ее лицо, все в морщинках, но такое живое. Я могла бы на него смотреть часами – как оно меняется с каждой фразой, с каждым воспоминанием; настоящая смена времен года в течение нескольких мгновений.

– Ты имеешь в виду, что все уже написано? Предопределенность судьбы?

– Но это же утешительная мысль: есть высшая сила, которая все устраивает для нас к лучшему. Моя мать никогда не роптала на судьбу, хотя она не была у нее легкой. Есть люди, что и на смертном одре жалуются, как плохо с ними обошлись. Но Ясмينا еще ребенком поняла: она не принцесса, поэтому что бы ни последовало за ее удочерением из сиротского дома, всяко будет лучше. Я думаю, тайна ее внутренней силы заключалась в том, что она всегда в глубине души считала себя счастливицей. Именно ее выбрали и взяли в семью, не кого-то другого. За это она была благодарна всю жизнь. И я думаю, это и привлекло в ней Морица.

Мой чужой дед вдруг кажется мне ближе, чем я могла вообразить. Слой за слоем я счищала свои неправильные представления. Теперь я почти могу почувствовать то, что чувствовал он тогда. Вопрос о смысле посреди бессмысленного. Потерянность в мире. Выпадение из жизни, которая проходит мимо. По прошествии более семидесяти лет, в другом мире, в другом теле и по другому поводу – те же чувства. Он не чужой для меня, он часть меня. Если правда, что человеческая ДНК сохраняет не только внешние черты наших предков – цвет волос,

телосложение и наследственные болезни, – но и отпечаток их душевных переживаний, тогда мои теперешние ощущения могут оказаться эхом другой жизни, ударной волной из прошлого.

– И ты веришь в *мектуб*? – спрашиваю я.

Жоэль многозначительно смотрит на меня и шурится:

– А ты религиозна?

– Нет.

– А почему нет?

Ее цепкие вопросы сбивают меня с толку. Как будто выбор мировоззрения равносителен решению больше не есть мяса или не иметь машины.

– Знаешь, когда у меня все хорошо, Бог мне без надобности. А когда у меня все плохо, я его нигде не вижу. Я доверяю тем вещам, которые могу потрогать. Своими руками. А все остальное – дело случая.

Она задумчиво кивает. Наблюдает за мной.

– А ты, – продолжаю я допытываться, – ты полагаешь, что кто-то давно написал книгу твоей жизни и перелистывает ее страницу за страницей, без спешки, не выдавая, чем дело кончится?

– Хорошо, допустим, она и написана. Но *кто* ее пишет, вот в чем вопрос! – Жоэль лукаво улыбается. – Если хочешь знать, мне для этого вовсе не требуется Бог. Я сама умею писать. И если Мориц чему и научил меня, то лишь тому, что я есть не то, что со мной происходит, а то, что я делаю. В этом наша единственная свобода.

– Как это можно приложить к тому, что произошло тогда в Тунисе?

– Ты нетерпелива, дорогая! Такие истории не движутся по прямой линии. Они представляют собой мозаику, где каждая следующая деталь подходит ко всем предыдущим. Только собрав их, увидишь всю картину. Ты должна представить то лето в Тунисе как постепенное превращение. Ясмина из девочки превратилась в женщину, а Мориц перестал быть Морицем. Ты ведь знаешь о метаморфозе гусеницы в бабочку?

– Да. Ты к чему это?..

– Знаешь, как это бывает? Противная гусеница вовсе не отращивает по бокам крылья – и *voilà*, вот вам прекрасная бабочка. Нет, когда она окукливается в кокон, то теряет свой прежний облик!

Она размякает, становится бесформенной, можно сказать, варится в виде супчика... и из него возникает новое существо.

Жоэль снова улыбается. Я уже не знаю, о ком она говорит – о Морице, о себе или обо мне. Я знаю только, что если бы мой дед тогда вернулся к Фанни, я бы никогда не познакомилась с Жоэль. А без этого поворота я больше не могу представить себе книгу моей жизни.

* * *

В эту ночь я впервые крепко сплю. А когда просыпаюсь, солнце уже взошло. Я одеваюсь, наматываю шарф и выхожу из отеля, пока все еще спят. Волны равнодушно набегают на пляж. Могучее море. Зверь, который дышит и никогда не умирает. Воздух свеж, ветер продувает куртку насквозь. Я снимаю обувь и ступаю босиком по сырому песку. Камешки и ракушки, плавник, мозаика на песке, осколки зеленого стекла, отшлифованные прибоем. Они потеряли всякую остроту, стали мутными камешками, время залечивает все повреждения. Может, надо ослепнуть, чтобы все забыть.

* * *

Я выжившая. Позади меня сгоревший дом, обугленный остов, руины на ветру. Я любила. Я жива. Я здесь. Воспоминания блекнут как сон, который ускользает, не дается сознанию, исчезает, как только открываешь глаза. Как зыбь после шторма, как растревоженное море без ветра. Утренняя мысль еще не пришла.

* * *

Я вдруг спохватываюсь: куда подевался мой гнев. Но его нет. Я смогу видеть Джанни, не испытывая к нему ненависти. Я пока еще не понимаю его, но уже не чувствую себя несчастной без него. Это еще не назовешь счастьем, но это покой – может, пока не между нами, но уже во мне. Во мне покой. Размеренные шаги, дыхание, первая ясность в

голове. Это я. Кроме меня, на пляже никого. Я снова доверяю своему телу.

Глава 35

Леон

И доколь ты не поймешь: Смерть – для жизни новой, Хмурым гостем ты живешь На земле суровой^[79].

Гёте

Это Мими снабдила крыльями жизнь Мориса, которая до сих пор состояла лишь из имени и лжи. Случилось это в Шаббат после несчастья с Альбертом, в жаркий день, когда вся округа устремилась на пляж.

Альберт по-прежнему находился в военном госпитале. Состояние его чуть улучшилось. Он узнавал Мими и Ясмину, слушал и говорил, хотя и неразборчиво. Однако часть его мозга была серьезно поражена, и он не мог самостоятельно поднести руку ко рту, чтобы поесть. Ему скоро станет лучше, говорили врачи, надо надеяться. А потом к его постели явились два офицера секретной службы, чтобы допросить Мими и Ясмину насчет немца, которого они якобы прячут в доме. Мими врала, Ясмина молчала, но обе знали, что это лишь вопрос времени – когда солдаты снова придут с обыском. Американцы были на удивление хорошо осведомлены. О его плане переправиться на Сицилию. О его возрасте, внешности. Рыбак все им продал.

Альберт запротестовал, когда Мими изложила ему свой план. Он не хотел посвящать никого за пределами семьи. Но Мими была полна решимости отвести от дома новые несчастья. Мориц должен уйти. Когда Мориц сказал, что согласен, Альберт неохотно уступил. Это был опасный план, потому что лишь абсолютная секретность могла уберечь Морица. Но теперь им требовался сообщник.

Поздно ночью, после полуночи, Мими и Мориц пошли к кинотеатру на проспекте де Картаж, чтобы встретиться там с Леоном Атталем. Старый друг и покровитель Виктора. И владелец кинотеатра. Леон был из тех, кто вырос в Pìccola Сицилии и выбился в люди. К этому времени у него уже была доля в казино и еще один кинотеатр в

центре города. Будучи старше Виктора, он охотно взял на себя роль его мецената и организовал для Виктора первые выступления в «Мажестике» благодаря своим связям с хозяином отеля. Некоторые поговаривали, что Леон масон, но Альберт считал это дурацкими слухами, на его взгляд, Леон не настолько умен и образован, чтобы быть масоном. Альберт держал дистанцию в отношениях с ним, Леон воплощал для него мир, который развратил его сына.

Леон не был образцом скромности. Он разъезжал на серебристом кабриолете «альфа ромео», такая же модель была у Муссолини, которого Леон презирал, а костюмы он заказывал в Париже. Для жилетки, шляпы и часов на серебряной цепочке он был слишком молод, но ему это прощали, Леон умел любого человека обратить в своего лучшего друга. Леон был женат на самой красивой женщине квартала, еврейской француженке Сильветте. Поговаривали, что она была певичкой на Монмартре, там они и влюбились друг в друга, да так, что она покинула ради него Париж. Мориц впервые увидел эту пару в день возвращения Виктора – европейца Леона с его тонкими усиками и светлокую Сильветту в широкополой шляпе и платье с глубоким вырезом, благоухающую французским парфюмом. Он заметил, как Виктор переглядывался с Сильветтой, пока Леон дискутировал с Альбертом о политике. И видел, как Ясмину смотрела на Сильветту. Холодный как нож взгляд, какой бывает только у ревнивой женщины. Леон ничего не замечал.

– Это он? – спросил Леон, глядя на Морица.

Ночной ветер гонял у входа в кинотеатр обрывки бумажек, кульки из-под тыквенных семечек.

Мими кивнула. Леон протянул Морицу руку:

– *Bonjour, mon ami!*

Мими уже все рассказала Леону. И о вызволении Виктора из подвала «Мажестика», и о ночном появлении Морица в Медине. *È un amico*, сказала она.

Леон огляделся. Проспект был пуст.

– Идемте внутрь, Морис. Называйте меня Леоном.

Он провел посетителя в пустой кинозал и включил свет. Пахло потом и застарелым сигаретным дымом. Темные деревянные сиденья с красной обивкой, зеленый бархатный занавес перед большим экраном,

белые балконы и колонны, фашистская архитектура тридцатых годов. Пол был усеян шелухой от семечек. Здесь *Riccola* Сицилия грезил о другой стороне моря, о Фернанделе, Жане Габене и Одри Хепбёрн.

– Виктор мне как брат, – сказал Леон, оглядывая Морица. – Вы знаете, что его первые выступления, в маленьком кафе, я организовал? Его ведь никто тогда не знал, уличный пацан из *Riccola* Сицилии, как и я, и вот посмотрите, что из него стало. Не только большой артист, но и большой борец за свободу!

Мориц чувствовал себя не в своей тарелке. Казалось, это Леон пытается завоевать его расположение, а не наоборот. Ему самому нечего было предложить Леону, он сдавался целиком на его милость. Леон сменил тон:

– Вы не похожи на типичного немца.

– Если вы под этим имеете в виду светлые волосы и голубые глаза...

– Вы хороший немец! – Леон похлопал Морица по плечу. – Вы думаете, мы не умеем различать, *top ami*, нет, всюду есть такие и такие! Вас ищут американцы, так?

– Да.

– Я скажу вам одно. Комендант Туниса – мой друг, его офицеры частые гости у меня дома. И они любят кино. Я кручу все их фильмы, с Хэмфри Богартом и Бетт Дэвис... Вы видели «Касабланку»? С Ингрид Бергман? Нет? Интересный фильм, при этом много еврейских актеров, они играют даже нацистов, и режиссер еврей, венгерский! Многим только что удалось вырваться из Европы, *in casino di merda*^[80], но теперь американцы стараются не пускать евреев к себе в страну, и это позор! По крайней мере, *top ami*, если и есть в этом городе место, где вас не заподозрит ни один американец, то оно здесь. Идемте!

Леон повел Морица и Мими по боковому проходу наверх, в кинобудку.

– Вот здесь он священнодействовал, старый Джузеппе, да смилостивится Господь к его душе. *Che casino*^[81], вам придется сперва здесь навести порядок, Морис! Мими сказала мне, что вы разбираетесь в киноделе? Потому что от Армана, ученика, у меня тут сплошное *casino*, ему всего шестнадцать, я задолжал его отцу одну услугу, понимаете, но он никчемный!

Casino, его любимое словечко. Весь мир был сплошной хаос, но Леон наводил в нем порядок. Он открыл скрипучую дверь. Мориц глянул на пыльный кавардак из пустых бобин, обрезков пленки и надписанных коробок, на грязный пресс для склеивания пленки и на монструозный французский кинопроектор, лучшие времена которого остались далеко в прошлом. Среди всего этого – пепельница, пустые сигаретные пачки и обертки от бутербродов, как будто старый киномеханик только что вышел пообедать, а не умер от воспаления легких. Счастливый случай – по крайней мере, для Морица. Договоренность была подкупающе проста: Мориц будет работать киномехаником и сможет жить в кинотеатре, в кладовке без окон, про которую никто не знает, кроме Леона. И будет получать небольшое жалованье, которое позволит ему через два-три месяца нанять рыбака для переправы в Италию. В Неаполь или Геную, как можно дальше к северу. Пока Италию не заняли войска коалиции и не перекрыли дорогу в Германию.

– Это не дворец, но спать будете спокойно, это я вам гарантирую.

– Я очень вам обязан.

– Друзья Виктора – мои друзья. Завтра мы заберем ваши вещи. Сигару?

* * *

Вещей у него было немного, и все они, собственно, принадлежали Виктору. Мориц спал не раздеваясь, в чем был, на матрасе, которым пользовался старый Джузеппе, когда слишком уставал к концу последнего сеанса, чтобы идти домой. На чердаке было жарко и душно, кладовка была заставлена ведрами для мытья пола, загромождена запчастями и сломанными кинокреслами. В темноте было слышно, как бегают крысы.

На следующий день Ясмينا принесла чемодан. Пара отглаженных брюк, две рубашки, костюм, белье, носки. Она выбрала из вещей Виктора не поношенные, а, наоборот, самые свежие, почти новые.

– Как вам здесь?

– Хорошо. Как чувствует себя ваш отец?

– Хорошо.

И то и другое было вежливой, щадящей ложью. В недоговоренном между фразами таилась печаль, которую никто из них не мог развеять. Мужчины один за другим покидали дом Ясины – сперва Виктор, потом Альберт, теперь и Мориц.

– Когда Альберт вернется? – спросил Мориц.

Ясина потерянно пожала плечами. Не прощаясь – потому что она терпеть не могла прощания, – она развернулась и ушла, прежде чем он успел что-нибудь сказать.

* * *

Мориц навел порядок. Кинобудку не убирали с незапамятных времен, проектор стучал, пол был усеян обрезками целлулоида, а на пыльных полках среди бобин с фильмами валялись довоенные французские журналы с игриво одетыми женщинами. Мориц разобрал кинопроектор, смазал все механические части, отъюстировал линзы. Хорошо было снова иметь задачу, держать в руках привычную технику. Переключатель «мальтийский крест», дуговая лампа, направляющие ролики. Во второй половине дня проектор стрекотал как новенький. Мориц смотрел, как пленка протягивается через ролики с идеально настроенным натяжением, и довольно вытирал пальцы, перепачканные машинным маслом. Под вечер пришел Леон. Принес сэндвич с тунцом и хариссой, а также бобины с фильмом для сегодняшнего сеанса. Британская пропаганда в качестве киножурнала и американский фильм Билли Уайлдера.

* * *

Никто из радостно устремившихся в кинозал людей, гражданских и военных, не подозревал, что успехи коалиции сегодня им демонстрирует немец, остающийся невидимым высоко у них над головами, за крохотным оконцем, из которого он мог видеть зрителей, а они его нет. Пара невидимых глаз. Киножурнал британского филиала «Пате»^[82] сменил еженедельную хронику компании UFA. Бодрая

маршевая музыка, танки победителей, свои парни всегда крупным планом, противник – только в виде толпы пленных. Немецкая и итальянская разбомбленная техника, выгоревшие танки, рухнувшие самолеты, обстрелянная свастика во весь экран. Затем сцены из сицилийских деревень. Мориц в Тунисе и сам использовал такие же кадры: местные стоят, выстроившись в линейку перед домами, радостно машут входящей армии. Улыбки женщин и счастливые дети, которым солдат сует плитку шоколада.

По лицам гражданских видно, какова роль солдат – освободители или оккупанты. Британские коллеги сделали хорошую работу. Однако, в отличие от зрителей в зале, Мориц видел и то, что не попало в кадр. Они показывали артиллерию – он видел разорванные тела на стороне противника. Они показывали обломки самолета – он видел мертвого пилота. Когда они показывали колонну пленных, снятую общим планом, на котором не различить отдельные лица, – он чувствовал унижение побежденных, их позор и бессилие. И когда на экране появились лица победителей, изможденные, но радостные, он придвинулся еще ближе к окошечку в зал, даже чуть было не остановил пленку, чтобы удостовериться, не обознался ли, не мелькнуло ли среди лиц этих мужчин одно, знакомое. Лицо Виктора.

* * *

Основной фильм был «Пять гробниц по пути в Каир». Картина о войне, которую Мориц снимал и сам, рассказывала о событиях с другой стороны – как историю победителей. Режиссер Билли Уайлдер, Эрих фон Штрогейм в роли Роммеля. Немецкие актеры, работающие на американцев! Разве мог бы Мориц зайти так же далеко? Нет. Он не был революционером, демонстрирующим свои убеждения. Его маленькое предательство было возможно лишь потому, что он мог оставаться невидимым.

Когда все зрители разошлись, он еще раз поставил бобину с британским киножурналом студии «Пате». Съемки из сицилийских деревень. Он приткнулся к маленькому оконцу и под стрекот проектора изучал лица солдат. Дважды ему показалось, что промелькнул Виктор, дважды он останавливал проектор, прокручивал ленту назад и снова

запускал. Однако оба раза это оказывался другой человек. Но уже в самом конце пленки он его нашел. Камера панорамировала площадь, справа и слева – разрушенные дома, на их фоне трое солдат позируют на джипе, а на заднем плане, под разорванным тентом кафе, мужчина в гражданском, в светлом пиджаке и шляпе, раздает сицилийцам сигареты, – разве это не он? Та же небрежная манера молодого бога, который знает, что он бог, но делает вид, что не знает этого, – победитель на короткой ноге с местными, почти как один из них, однако несомненно *primus inter pares*^[83]. Это же Виктор? Или нет?

Мориц – наэлектризованный – включил обратный ход, но сделал это слишком резко, и зубчатый механизм заблокировался; пленка остановилась, а когда Мориц открыл проектор, чтобы устранить блокировку, было уже поздно: жар дуговой лампы растопил целлулоид, стократно увеличенный кадр расползлся на экране прямо на глазах... пока пленка не порвалась. Катушки крутились вхолостую, конец пленки трепыхался, разбиваясь на кусочки, из проектора выползал вонючий дым. Быстро, но слишком поздно Мориц выключил лампу.

Он проклинал свою неосторожность, вынимая бобину из проектора. Тщательно зачистил оплавленные концы, обрезал и склеил их, сохраняя каждый кадр из панорамы площади. Потом снова поставил катушку и спроецировал на экран то, что осталось от этих кадров. Начало панорамы до того места, где в кадр попадал мужчина на заднем плане, потом склейка, и после вырезанного места мужчина уже только мелькнул, проход камеры продолжился. Мориц много раз запускал проектор, отматывал пленку назад и еще раз просматривал каждую деталь изувеченной сцены. Мужчина на заднем плане не носил форму. И он не мог быть сицилийцем, поскольку раздавал сигареты, как это делали солдаты коалиции, чтобы подкупить местных.

На следующий день Мориц показал эту сцену Леону. Тот размышлял, непривычно молчаливый. Потом поехал на своем кабриолете к дому Сарфати и посигналил.

– Мы нашли Виктора, – крикнул он, когда Ясмينا вышла на порог. – Поехали!

Ясмينا всплеснула руками, побежала к машине и поехала с Леоном к кинотеатру.

Она села с ним в первом ряду, и Мориц запустил проектор. С первого раза Ясмينا ничего не увидела. Потом он прокрутил сцену назад и снова запустил ее: площадь в сицилийской деревне, проход камеры, подобие Виктора и разрыв во времени. Ясмينا вскочила:

– Виктор!

Она повернулась и помахала наверх Морицу, который выглядывал из оконца.

– Это он! Он жив!

Она обнимала Леона, как ребенок, нашедший своих потерянных родителей. Теперь Мориц уже не сомневался. Снимок был сделан, по словам диктора, в Аволе, деревне на юго-востоке острова. Именно в этом районе высадились британцы. Отсюда следовало два вывода: поскольку он одет в гражданское, его заслали, предположительно, как агитатора. Но между съемкой и окончанием боев за Сицилию прошло несколько недель, и были еще тысячи убитых. Значит, киножурнал доказывает, что он был в Аволе, но неизвестно, жив ли он сейчас.

Эту мысль Мориц держал при себе, когда спустился в зал, где Ясмينا бросилась ему на шею с бурными благодарностями. Это было их первое объятие, внезапное и очень тесное, – в доме родителей они избегали малейшего прикосновения. Ясмينا была в легком летнем платье, сквозь которое он чувствовал ее грудь, тепло тугого живота. Ее порыв смутил его, но ведь эта вспышка относилась не к нему, а к Виктору.

– Не за что благодарить, я же ничего не сделал, – пробормотал Мориц.

– Нет! Вы вернули мне надежду! Можно мне взять его с собой?

– Кого?

– Виктора.

Мориц вопросительно посмотрел на Леона.

– Все, что ты хочешь, *carissima*.

Мориц вырезал этот кадр из фильма, осторожно свернул целлулоид, вставил его в баночку для пленки и отдал Ясмине. Шесть секунд надежды.

8 сентября 1943 года в 18:30 генерал Эйзенхауэр объявил по радио Алжира о перемирии между Италией и коалицией. Британская Восьмая армия пересекла Мессинский пролив и начала продвижение по материковой части Италии. Гитлер тут же распорядился о переброске войск через Альпы и назначил Роммеля командующим Северной Италии. Немцы занимали итальянские города и разоружали своих бывших союзников. Война, ввергнувшая в огонь полмира, разворачивалась теперь и на Апеннинах.

В тот же день Альберта выписали из больницы. Он приехал на такси, никого не предупредив, потому что хотел избежать взглядов соседей. Мими и Ясмينا, поддерживая, повели его в дом, но он делал вид, будто и сам бы прекрасно справился. Соседи, конечно же, все равно сбежались, с сочувствием приветствуя его. И пусть у Альберта не было прежней выправки, он тщательно следил за тем, чтобы доктор Сарфати не потерял лицо. Соседей приветствовал дружески, обнимая их одной рукой, вторая была парализована, расспрашивал о здоровье, о мелких болячках, как будто пациентами были они, а не он. Поскольку – что бы ни случилось – он был в первую очередь врачом, потом уже отцом, но никогда тем, кому нужны одолжения. Мими старалась спровадить соседей, которые стремились в дом. Потом, говорила она, потом, дайте ему отдохнуть и прийти в себя! Когда же Альберт наконец оказался в доме, то женщины уложили его на диван, где он и провел весь день, как и все следующие дни.

Мориц прибежал, как только услышал про возвращение Альберта. Он принес цветы, купленные на первую зарплату, и попросил у Альберта прощения.

– За что? – удивился Альберт, как будто ничего не помнил о той роковой ночи.

– Мне нельзя было так долго оставаться в вашем доме, – сказал Мориц.

– Почему? – словно не понял его Альберт, тщетно пытаясь совладать с тыквенными семечками, миску с которыми Ясмينا поставила у дивана. Все старались не замечать его усилий. – Нет никаких причин для беспокойства.

Чтобы не пускаться в обсуждение, кто виноват, он принялся объяснять Морицу медицинские особенности своего случая: вопреки первому диагнозу, падение не привело к обширному кровоизлиянию, а

повредилась артерия в позвоночной области шеи. Внутренняя стенка сосуда отслоилась, забив протоку и без того суженного сосуда, такова уж его наследственная особенность – так он, по крайней мере, предполагает, поскольку его отец умер от апоплексического удара.

С любопытством исследователя, как если бы речь шла не о нем самом, а о пациенте с редким диагнозом, Альберт объяснял, какие участки мозга отвечают за речь, координацию и равновесие, насколько часты подобные случаи и каковы прогнозы на полное исцеление. Катастрофу – в общем-то, непостижимую – он вмещал в цифры, которые превращали страх перед неизвестным в нечто контролируемое. В двадцати процентах случаев реабилитационная гимнастика – три раза в неделю – приводит к отступлению явлений паралича на семьдесят пять процентов.

Альберт говорил с оптимизмом, как будто само собой разумелось, что уж он-то входит в эти счастливые двадцать пять процентов, хотя по трезвом размышлении это означало, что отныне он навсегда зависит от посторонней помощи. Мими это понимала и быстро перестроилась с поразительным прагматизмом. Она еще в больнице научилась как бы невзначай направлять руку мужа с вилкой к его рту, ненавязчиво менять белье и незаметно стряхивать крошки с груди. День ото дня движения будут даваться Альберту все легче, но прежней подвижности уже не вернуть. Мими не жаловалась, приняла случившееся как неизбежность, демонстрируя завидные стойкость и силу.

Ясмине же было невольно смотреть, как беспомощно отец подносит ко рту стакан (последние сантиметры преодолевались с помощью Мими), как бессильно откидывается на спинку дивана, как отвечает на одни вопросы, а другие, казалось, даже не слышит. Он больше не защитник, а рухнувший колосс. Если и требовался последний удар, чтобы окончательно вытолкнуть ее из сказочного мира детства во взрослую жизнь, то теперь Ясмине его получила.

После той роковой ночи ушел в небытие не только прежний Альберт, добрый папа, которого она любила, доктор Сарфати, которого все уважали, но и весь мир, который он воплощал. Альберт был не из тех отцов, что защищают семью силой мускулов, но только теперь всем стало ясно, насколько прочное убежище давал им его дух, его стойкая вера в добро, его упрямая приверженность приличиям, его мечтательный ум.

Когда Ясмина провожала Морица до двери, Альберт вскользь сказал: *A domani*^[84] – так, будто завтра они увидятся как обычно, чтобы пройтись до проспекта де Картаж и выпить там анисовки. Ясмина промолчала, а у Морица не нашлось слов, чтобы ободрить ее. Долго, слишком долго – соседи уже вовсю на них поглядывали – они стояли в раскрытых дверях. Потом Ясмина тихо сказала:

– Теперь *вы* наша защита, Морис.

Не дожидаясь ответа, она вошла в дом, обернулась и закрыла дверь. Мориц стоял, разрываясь надвое, сознавая, что его отсутствие – самая лучшая защита, какую он может ей дать.

Глава 36

Жоэль

Жизнь – это поезд, который не останавливается ни на одной станции. Либо прыгай в него на ходу, либо смотри, как он проносится мимо.

Ясмина Хадра^[85]

В конце сентября, когда дни стали короче, а ночи холоднее, Мориц увидел первого аиста, севшего на минарет. В октябре, когда море будоражили первые осенние шторма, американцы вступили в Неаполь и Италия объявила Германии войну. К тому времени, когда Мориц наконец скопил достаточно денег, лодки, которая отважилась бы на дальний переход до Генуи, было уже не найти.

В ноябре зарядили дожди. Альберт постепенно начал самостоятельно ходить. От Виктора по-прежнему не поступало никаких известий. А Мориц так и сидел в своей темной будке, когда публика потешалась над Бастером Китонем, смеялась над Лорелом с Харди и братьями Маркс.

Двадцать первого, когда Мими зажигала первые ханукальные свечи, Ясмина привычно навестила Морица с корзиной еды. Мориц в это время заканчивал заряжать в проектор первую бобину основного фильма. Ясмина внезапно вскрикнула, осела на пол и скорчилась.

- Я вызову врача! – перепугался Мориц.
- Нет. Бегите к моему отцу! – простонала она.

Мориц медлил.

- Скорее! Он отвезет меня в больницу!
- Ждите здесь.

Первая бобина будет крутиться двадцать пять минут, к тому времени он обернется. Эта мысль билась у него в голове, когда он выскочил из кинотеатра, пробежал мимо озадаченной кассирши, под декабрьский дождь, на проспект де Картаж, где машины уже включили фары, свернул на неосвященную рю де ля Пост. Запыхавшийся,

вымокший до нитки, он заколотил в дверь дома Сарфати. Мими и Альберт уже сидели за накрытым столом, поджидая дочь. Мими открыла дверь, увидела лицо Морица и сразу все поняла.

– Альберт! Быстро!

Альберт растерянно встал и опрокинул подсвечник. Беспокойный дух был заключен в тело, подчинявшееся ему лишь частично. Альберт уже мог ходить сам, но правая сторона тела оставалась малоподвижной – от плеча до кончиков пальцев на ноге. Ногу он подволакивал, рукой мог немного двигать, но не было в ней ни прежней силы, ни точности. Не потрудившись надеть пальто, он левой рукой взял ключ от машины.

– Где она? – спросил Альберт, не предлагая Морицу поехать с ним.

Мими тайком подала знак, чтобы Мориц присоединился к ним.

– Садитесь вперед, Морис! – сказала она, пробежала под дождем к машине и села на заднее сиденье.

Альберт крепко держал руль левой, а правой старался повернуть ключ зажигания. Мориц предложил помощь, но Альберт проигнорировал, не желая признаваться в слабости. Наконец мотор завелся, и Альберт левой рукой снял машину с тормоза.

– Может, лучше Морис поведет? – робко предложила Мими.

Альберт рывком выжал газ, не ответив. Он неловко переключал передачи левой рукой, выпуская при этом руль, и всякий раз, когда он отпускал сцепление и поддавал газу, машина дергалась, потому что правая ступня не могла нормально нажимать на педаль. Он мчался по темной улице к проспекту де Картаж, лицом чуть не упираясь в стекло, чтобы лучше видеть, но не включал ни фары, ни стеклоочистители. Мориц пошарил по приборной доске и включил фары. Альберт сделал вид, что не заметил этого. Он резко затормозил и тут же влился в оживленное вечернее движение на проспекте.

Огни встречных машин расплывались на залитом дождем лобовом стекле, превращаясь в звезды. Мориц искал, где включаются дворники. Наконец Альберт сам смог включить их. Пока все шло хорошо, Альберт почти контролировал машину, но на углу перед кинотеатром руль выскользнул у него из рук. «Ситроен» вильнул, Мими вскрикнула, и не успел Мориц перехватить руль, как машина ткнулась радиатором в пальму. За деревом замерли два перепуганных

подростка. Внезапно стало тихо. Дождь барабанил по кузову, дворники бешено метались по лобовому стеклу. Альберт включил заднюю передачу.

– *Basta!* – крикнула Мими. – Ты нас всех убьешь!

– Лучше помоги мне забрать нашу дочь!

– Ты останешься здесь. Мы с Морисом ее приведем.

Тон Мими не допускал возражений. И хотя Альберту было стыдно, что возле машины уже собираются люди, он послушался. Выключил дворники и знаком дал зевакам понять, что все в порядке. Мими и Мориц вбежали в здание кинотеатра. Прохожие вытолкали машину на проезжую часть. Альберт повернул ключ зажигания. Хотя радиатор был помят, мотор сразу завелся. Мими распахнула заднюю дверцу. Ясмина стонала от боли, забираясь на заднее сиденье. Мориц ее поддерживал. Альберт с тревогой посмотрел на дочь.

– *Dai, via!*^[86] – крикнула Мими.

Скособочившись, Альберт левой рукой снял машину с ручника и уже хотел выжать газ, как Мориц открыл водительскую дверцу и тактично, но решительно попросил его переместиться на пассажирское место.

– Не беспокойтесь, – сказал Альберт. – Ведь вы должны показывать кино, не так ли?

Мими принялась осыпать Альберта бранью, но тот упрямо не двигался с места, и тем упрямее, чем больше проклинали его на глазах у публики. Морицу тоже не удавалось его убедить. Наконец Ясмина яростно заорала:

– Папа́, *basta!!!*

Альберт вздрогнул, словно вдруг осознал, что ведет себя глупо, и неуклюже перебрался вправо. Мориц сел за руль, включил передачу и рванул вперед. В кинотеатре же закончилась первая бобина, экран стал белым как раз в тот момент, когда вооруженный муж вошел в дом, дабы застукать жену с ее любовником.

* * *

Черный «ситроен» несся, обгоняя грузовики с овцами в кузове, мотоциклы и даже одну карету «скорой помощи». Родить Ясмина

должна была в больнице, а не дома, под присмотром акушерки, как принято в *Piccola* Сицилии, – так хотел Альберт. Коль уж он не смог воспрепятствовать появлению этого ребенка, пусть он хотя бы родится в *его* мире и в соответствии с *его* представлениями. Ясмينا подчинилась воле отца без возражений, хотя сама она предпочла бы акушерку.

Все это время Альберт не называл ребенка у нее в животе ребенком, для него это был скорее медицинский случай, почти болезнь. Он поучал, прописывал медикаменты, рекомендовал гимнастику и никак не показывал, что речь идет о его внуке, к которому он может питать какие-то чувства, пусть даже только ярость. Альберт Сарфати укрылся за спиной доктора Сарфати.

Мими заняла позицию двойственную – внешне она поддерживала мужа, но в душе была на стороне дочери, которой Ясмينا все же оставалась для нее, пусть и опозоренной. Возможно, именно беременность Ясины примирила Мими с дочерью. За то, что та соблазнила ее бесконечно любимого сына, Мими готова была растерзать Ясмину. Но в какой-то момент осознала, что злость и наказания не изменят случившегося, и стала обращаться с Ясминой как с беременной женщиной, которой требуются сочувствие и поддержка. Она не признавалась даже себе, что уже обожает будущего ребенка – единственное, что осталось ей от Виктора.

* * *

Мориц стоял в холле госпиталя. Мими и Альберт находились с Ясминой в родильном зале – вопреки всем правилам, но по настоянию Альберта. Мориц курил и смотрел на молодых папаш, окруженных братьями и сестрами, матерями и бабушками. Под дождем шелестели пальмы. Как всегда, оказавшись в людном месте, он высматривал, нет ли кого в военной форме, но никто не обращал на него внимания, даже красивые французские медсестры, пробежавшие мимо. Уже не надо было стараться стать невидимым – его скрывал плащ из пепла, в который обратилась его жизнь.

Мориц посмотрел вслед очередной медсестре, загасил сигарету и беспокойно двинулся по пустому коридору. В туалете его испугал

мужчина, отразившийся в зеркале. Борода, длинные волосы, темные круги под лихорадочными глазами. Пустая оболочка. Живой мертвец. Встретив такого ночью на улице, он сам испугался бы. Мориц стоял перед зеркалом и не узнавал себя. Потом он умылся, в зеркало больше не глядел.

* * *

Ясмина боролась. Никто не подготовил ее к тому, что боль будет такой нестерпимой. Она кричала в схватках, которые накрывали ее тело волнами; ей казалось, что она умирает, и после каждой волны удивлялась, что выжила. Медсестра дала ей скрученное жгутом полотенце, чтобы стискивать зубы. Тяжелые капли барабанили по оконному стеклу. Дождь собирался в грозовой шторм, словно море взбунтовалось против города.

– Можно подумать, само небо рыдает, – сказала Мими. Ударил гром. – Или негодует, – добавила она.

– Прекрати эти глупости, – буркнул Альберт.

Нет, думала Ясмина, небо охраняет меня. Оно накрыло нас непроницаемой завесой дождя, чтобы защитить ребенка от любопытных глаз мира. Что там за существа обычно являлись на свет под гром и молнию? Драконьи дети, огненное отродье, возмутители спокойствия. Слишком большие души в слишком маленьком теле.

– Почему вы ничего не сделаете, наконец? Разве вы не видите, как она мучается? – спросил Альберт у врача.

– Матка едва раскрылась. Нужно время.

– Перестань сопротивляться, – сказал Альберт дочери.

Выживет только один из нас, думала Ясмина. Дитя или я. Она проклинала Виктора, бросившего ее в беде, Мими, которая дала ему жизнь, и Альберта, который взял ее к себе в дом. И проклинала себя саму за то, что не принесла всем им счастья.

* * *

В промежутках между схватками Ясмина закрывала глаза, чтобы не видеть беспомощную тревогу Альберта, и сосредоточивалась на голосе Мими, читавшей молитвы, которые, по традиции, должен читать при родах муж. Ясмина мало что понимала, но звучание еврейских слов успокаивало ее своей торжественной древностью.

Новая схватка, и Ясмина перестала сопротивляться боли – как утопающий, который, сдавшись, отдался во власть водоворота. Она раскрыла глаза и испугалась озаренного как днем неба за окнами. Молния расколола ночь. Она вдруг вспомнила Морица. Увидела его лицо за оконцем хлева – в тот момент, когда была зачата Жоэль. Вспомнила, как не могла отвести взгляд от спокойного лица чужака, которому она каким-то странным образом доверяла, а Виктор двигался в ней, и ее тело горело от наслаждения. Будто этот животворящий поток вливался в нее не только через чресла, но и через глаза. За окном больницы шумел дождь, в точности как в ту ночь. *Мектуб*, думала она, у этого ребенка два отца, один плотский, второй духовный. И тут ее накрыла особенно мощная схватка. Она громко закричала. Боль была такой, что Ясмина потеряла сознание.

* * *

Мориц впервые увидел Жоэль в отделении грудничков. Дитя извлекли кесаревым сечением, иначе бы малышка не выжила. Мориц вошел за Альбертом в помещение с маленькими белыми кроватками. За окном всходило солнце, утро выдалось ясное. Новорожденные были неотличимы. Альберт искал табличку с именем. Мориц смотрел на кроватки и думал: как странно, мы едва успеваем появиться на свет, а нам уже дают имя, гражданство и религию. И потом мы проводим свою жизнь в усилиях соответствовать тому, что не выбирали. Что-то воображаем себе из этого и защищаем до смерти. Но кем бы мы стали, если бы могли выбирать? Дитя – это чистый лист, на котором родители записывают свои пожелания? Или это уже отчеканенная личность и жизнь сводится к тому, чтобы счистить с себя все пожелания других, как только человек ускользнет из детства, к тому, чтобы отыскать путь к себе?

В грудничковую комнату вошла медсестра, посмотрела на мужчин:

– Месье Сарфати?

– Да, – сказал Альберт.

Сестра подошла к кроватке, улыбнулась Морицу:

– У вас очень красивая дочка, поздравляю. Хотите взглянуть?

Мориц испуганно мешкал. Что же подумает Альберт? Но тот молчал. Мориц кивнул. Главное – не привлекать внимания. Сестра вынула новорожденную из кроватки и поднесла к нему.

– Смотри, *ma petite*, вот твой папа.

Альберт не вмешивался. Малышка смотрела на Морица удивленными глазами. Он взял ее крохотную ручку. Она вцепилась в его палец, будто больше не хотела отпускать. Мориц порадовался, что Ясмينا не видит этого. Он перешагнул запретную линию. Ему нельзя здесь быть.

– Вы ей понравились, – сказала сестра.

Мориц не понимал, как она может быть так приветлива с призраком, которого он недавно видел в зеркале.

– Ваш первенец?

– Да.

– Поздравляю.

– Спасибо.

Его ошеломило, с какой легкостью ложь слетала с языка. Альберт смущенно смотрел в сторону. Мориц понял, почему Альберт не вмешался, – вопрос, кто же тогда отец, если не Мориц, покрыл бы его позором.

Мориц улыбнулся медсестре, и она положила дитя в кроватку.

Глава 37

Первый год с Жоэль был одним из тех отрезков времени, которые воспринимаешь как несчастливые, но потом они вспоминаются как лучшие моменты жизни. Счастье давно уже было тут как тут. Только Ясмينا его не замечала. Жоэль была необыкновенно солнечным ребенком. Ничто в ее характере не напоминало о грозовой ночи, в которую она родилась. Свое имя она получила, потому что каждый мог найти в нем то, что ему нравилось. Альберт был доволен, что имя сразу и французское, и итальянское, и английское, и еврейское, поистине универсальное; Мими нравилось его значение на иврите: «Яхве всемогущий» или «желание Бога», ибо если люди и не хотели этого ребенка, то Всемогущий точно хотел. А для Ясмины имя просто звучало красиво, напоминало итальянские слова *gioia* и *gioiello* – радость и драгоценность.

То, что все смогли сойтись на одном имени, было хорошим знаком – если бы только радость не омрачали ядовитые сплетни соседей. Отец, как принято, шел с новорожденным в синагогу, чтобы получить благословение общины. Но здесь отца не было, так что бабушка и мать встали с маленькой дочкой в женской половине и говорили *ХаГомель*, тогда как Альберт и другие мужчины удостоверяли это.

Благословен Господь, и спасибо ему, защитившему мать. Да вложит он младенцу, возрастающему телом и духом, слова правды в уста и справедливость в сердце!

Сразу после окончания церемонии, как только все сказали малышке свои добрые пожелания, поползли кривотолки. А почему не приехали хотя бы родители загадочного отца? Может, он и не еврей вовсе? Или отец, как по-прежнему настаивали некоторые, тот мутный Морис? Не его ли видели недавно у дома Сарфати?

Еврейская традиция запрещала в присутствии новорожденного произносить дурные слова, чтобы ни одна плохая мысль не задела беззащитную душу. Благое намерение, изначально обреченное на провал в семьях *Riscola* Сицилии, где ссоры вскипали быстро, но и примирения не заставляли себя ждать. А если к тому же дом окружали еще и сплетни, то зачатое во грехе дитя и вовсе находилось под

угрозой. И как бы Мими поначалу ни возражала, она вскоре согласилась, что малышке требуется защита от внешнего мира. И как-то вечером, когда Альберт заснул у радиоприемника, Мими и Ясмينا выскользнули из дома с маленькой Жоэль, чтобы посетить Кучинотту. Ясмينا прижимала к себе спящего младенца, завернутого в теплый платок.

– Пожалуйста, помогите ее защитить, синьора! Такая маленькая, а вокруг столько дурных глаз, смилуйтесь над невинной душой!

И пусть Кучинотта была католичкой, ее ворожба против сглаза одинаково эффективно действовала и для евреев, и для мусульман. Мессия там или не мессия, а среди местных гадалок, ясновидящих и знахарок она была бесспорно лучшей. Сидя под сенью темного деревянного креста, синьора направила свет свечи на крошечную ладошку девочки. Пламя отражалось в толстых стеклах ее очков.

– Защитите ее от дурного глаза, синьора, прошу вас! – настойчиво повторила Мими.

Кучинотта поводила своими старыми, заскорузлыми пальцами по линиям крохотной ладошки. Потом пробормотала:

– Мятажный, неумный дух и честная подруга. В ней много энергии, характер живой, о, она любительница приключений. Но самое главное – для тех, кого она любит, она будет ангелом-хранителем.

Кутаясь в покрывала, Мими и Ясмينا жадно впитывали каждое слово. В этой темной, тесно заставленной комнате стоял такой холод, что дыхание вырывалось паром. Притихшая Жоэль удивленно тарасилась на Кучинотту. Мими нетерпеливо заерзала на скрипучем стуле:

– Но...

– Что, синьора?

– Все это только добрые знаки. А нет ли на ней какого проклятия?

– Мама! – Ясмينا ткнула ее локтем в бок.

– Видите ли, – добавила Мими, – этот ребенок, как бы это сказать, особое дитя. Отец ее... не здесь.

– Откуда вам знать?

Мими растерянно моргала, глядя на Кучинотту.

– Отец недалеко, – сказала старуха. – Он здесь.

– Где?

– Среди нас.

– Не может быть, – сказала Мими. – Вы ошибаетесь, еще раз посмотрите, где он, то есть он на Сицилии, но...

– Синьора, вы заплатили мне, чтобы я сотворила ребенку защиту. Теперь вы спрашиваете меня, где ее папа, но это за отдельную плату. Итак, чего вы хотите?

Ясмина положила руку на колено матери. Если Кучинотта увидит, кто отец, об этом скоро узнает весь квартал.

– Это неважно, – быстро сказала она. – Вы лучше о моем ребенке позаботьтесь.

– *Va bene*^[87], синьорина. – Кучинотта закрыла глаза.

Мими бросила на Ясмину уничтожающий взгляд. Она не любила, когда инициативу забирали из ее рук. Кучинотта сделала глубокий вдох и сказала, не открывая глаз:

– У нее нет дома.

– Что это значит?

– Она дитя любви. Но это любовь, которой в этом мире нет приюта.

– У нас есть дом! – запротестовала Мими.

Ясмина молчала. Она догадалась, что имеет в виду Кучинотта. Может, потому, что лучше других знала, что такое бесприютность.

Синьора Кучинотта помолчала, потом порылась в выдвижном ящике старого стола и достала серебряную цепочку. Надела ее на шею Жоэль. Цепочка была велика, придется отдать ювелиру, чтобы укоротил, но главным была подвеска: серебряная хамса. Только в ладони этой хамсы была не звезда Давида, как в том амулете, что носила на шее Ясмина, а рыба, символ удачи. Кучинотта пробормотала молитвенную просьбу к Мадонне ди Трапани. Мими опять беспокойно заерзала. Она расплатилась, даже не поблагодарив синьору Кучинотту.

Покинув швейную мастерскую, она сказала:

– Теперь они могут сколько угодно пасть разевать, эти завистливые змеи!

Ясмина молчала, прижимая к себе Жоэль. Она сомневалась, достаточно ли сильна рука Фатимы, чтобы оградить дитя от уготованной судьбы. Но пока она жива, ее сердце будет для малышки надежным убежищем.

В эту ночь Ясмина долго не могла заснуть, хотя малышка сладко спала. Слова Кучинотты витали в темной комнате точно беспокойные духи, эхом отражались от стен: «Отец недалеко. Он здесь». Предсказания Кучинотты сбывались всегда, она и впрямь обладала третьим глазом. Но как такое могло быть, как Виктор может быть здесь, ведь от него никаких вестей? И разве Мориц не обнаружил его на киноплёнке?

– Нет, – сказал Мориц, когда Ясмина пришла к нему и рассказала про Кучинотту. – Армия переместилась на север. Он не мог вернуться. Это было бы дезертирство. Как и в моем случае, ему грозил бы трибунал.

– Может, именно поэтому он не дает о себе знать? Он прячется.

– Виктор не трус. Он же рвался воевать. Такие идеалисты, как он, либо воюют до победы, либо гибнут.

Ясмина смотрела в пол. Они сидели в кинобудке Морица рядом с проектором. Ясмина держала Жоэль, Мориц ел, поставив тарелку на колени. Ясмина принесла кускус, сегодня *a la Sfaxienn* – с рыбой и овощами. Почувствовав, как на нее подействовали его слова, Мориц пожалел о них.

– Ясмина, он вернется. Как только закончится война. Я уверен в этом.

– Как вы можете быть уверены? Вы что, ясновидящий?

– Нет, конечно, но...

– Кучинотта никогда не ошибается!

Жоэль расплакалась. Ясмина попыталась ее успокоить, но тщетно. Мориц отставил тарелку:

– Можно, я ее подержу?

Ясмина удивилась. И – скорее от неожиданности – протянула ему дочку. Жоэль продолжала надрываться, пока Мориц, покачивая ее, не запел тихонько – песню, которую Ясмина никогда не слышала.

Добрый месяц, ты так тихо проплываешь в вышине.

Ты спокоен, и я вижу: нет покоя только мне.

Ясмина не понимала слов, но мелодия звучала так утешительно.

Я смотрю с печальным вздохом твоему движенью вслед,
Ты возьми меня с собою, на земле мне счастья нет.

Как по-другому звучал голос Морица на его родном языке – глубже, увереннее, задушевней. И как по-другому звучал вражеский язык – куда человечнее, чем солдатские выкрики *Achtung! Halt! Raus!*

Жоэль умолкла. Она большими глазами смотрела на мать, покачиваясь в волнах голоса Морица. У Ясины возникло чувство, что она делает что-то запретное. Она растерянно забрала ребенка у Морица, слишком торопливо, почти вырвала. Мориц тоже смутился. Некоторое время они молчали.

– Скоро вы снова будете дома, – сказала Ясмина, чтобы прервать эту тишину. – Вы счастливы будете снова повстречаться с Фанни?

Значит, запомнила имя. Хотя Мориц упоминал его лишь однажды.

– Да. Но вас мне будет очень не хватать. – И быстро добавил: – Всех вас.

– Вы нас забудете, Морис. У вас впереди хорошая жизнь. Фанни – ваша *donna fortunata*^[88]. В отеле я перевидала многих мужчин-иностранцев. Вы не такой, как они. Я надеюсь, что Фанни дорожит вами.

Она завернула Жоэль в платок. Мориц хотел помочь, но сдержался из боязни, что она сочтет его прикосновения дерзкими.

– Я не сделал в жизни ничего особенного. Но я надеюсь, что Виктор вернется. Он-то как раз необыкновенный человек. А *donna fortunata* – это вы.

– Нет, что вы, я *sfortunata*. – Она смотрела на него спокойно. В словах ее не было ни иронии, ни жалобы. – Даже если он вернется. С ним мне счастья не видать. Но такая уж моя судьба.

– И все же я желаю вам счастья друг с другом.

Какие пустые слова, подумал Мориц, как только произнес их. Потому что вообще-то он хотел сказать совсем другое – то, чего нельзя говорить. Что счастье не определяется судьбой, что оно в руках у Ясины. Что у нее все еще есть выбор.

– Я думаю, вы никогда не любили по-настоящему, Морис.

Эта фраза его задела.

– Если принимать за любовь только ее светлую сторону, это лишь половина любви. Мы живем в стране света, но наша страсть расцветает только в темноте.

Ясмина решительно встала, собираясь уйти. По полу юркнула ящерка. Внезапно замерла, уставилась вверх.

– Кое-что всегда будет под запретом, – сказала Ясмина, глядя Морицу в глаза. – Это *мектуб*. Вы понимаете?

– Нет. Я не вижу в этом смысла.

– Вы еще живы. Этого вам недостаточно?

А на что мне нужна эта жизнь, подумал он. Она, казалось, прочитала его мысли.

– Если бы Фанни не было в живых, вы бы... остались здесь?

Задавая этот вопрос, Ясмина отвела глаза. Она и без того уже слишком многое выдала. Ее взгляд проследил за ящеркой, которая скрылась в щели.

– А вы бы что делали, – спросил Мориц, – если бы Виктора больше не было в живых?

– Не говорите так, это *porta sfortuna*. – Она схватилась за хамсу на шее и прошептала что-то по-арабски. – Он жив. *Buona notte*, Морис.

Закрыв за собой дверь кинобудки, Ясмина пожалела, что в ее сердце нет двери, которую можно закрыть, чтобы в безрассудный момент не вырвались темные чувства, которые скрываются за ней.

Глава 38

Марсала

Для счастливого детства никогда не бывает слишком поздно.

Милтон Эриксон^[89].

– Я никогда не учила немецкий язык, – говорит Жоэль, – но когда слышу эту колыбельную, всегда вспоминаю его.

Меня знобит. Мы сидим, укутавшись в одеяла, на веранде нашей покинутой прибрежной купальни; ветер посвежел, и холод вечерних сумерек вернул нас в настоящее. Я вдруг больше не могу ее слушать, сама не знаю почему. Как раз сейчас, когда началась история уже не из вторых рук, когда рассказ становится ее собственным воспоминанием. Но во мне что-то запирается.

– Что с тобой? – Она чувствует мой дискомфорт.

– Ничего.

Жоэль впустила меня в свою жизнь, широко распахнув двери, – а я застыла как парализованная, не способная войти. Я чувствую, что ее это ранит. Протянутая рука, которую не принимают. Что со мной? И вдруг я вижу перед собой не пожилую женщину, а ребенка на руках у Морица, и осознаю.

– Когда это было?

– Вскоре после моего рождения, зимой или ранней весной сорок четвертого.

Укол в сердце. Просто лишь оттого, что она назвала дату. Это какое-то безумие.

– Моя мать родилась в августе сорок третьего, – говорю я.

Тут и Жоэль начинает понимать. Я рассказываю ей то, что знаю от матери. Ночи под бомбами в бункере, страх, ощущение полной незащитности, детство в развалинах. В то время как ее отец сидел в солнечном Тунисе с чужим ребенком на руках.

– Но он же не знал, что уже стал отцом.

Я понимаю. Дело не в том, знал ли он об этом. Дело в том, что его с ними не было.

– А что бы он тогда сделал? Воевал бы, защищая свою страну?

Я отрицательно мотаю головой.

– Вернулся и был арестован как дезертир?

Защищал бы их, думаю я. Но не осмеливаюсь сказать, понимая, как наивно это прозвучит.

– Если бы его не приговорили к расстрелу, они бы снова отправили его на фронт – скорее всего, в Россию, и через пару недель пришла бы похоронка. Кому бы от этого была польза?

Я знаю, Жоэль, я знаю. Но почему тогда во мне все так взбаламучено? На том месте рассказа, где он всего лишь человек, без формы, мужчина с ребенком на руках, я вдруг почувствовала прилив внезапной злости к нему. Как это парадоксально и как несправедливо!

Я не хочу показать Жоэль, что вдруг увидела в ней не женщину, которая породнила меня с дедом, а женщину, которая у нас его похитила. У нас – у бабушки, у матери, у меня. Мы вдруг оказались втроем против Жоэль. И она это чувствует. Она берет сигарету из пачки и встает, чтобы закурить. Я смотрю на смятую пачку. Надпись на иврите. Некоторое время мы молчим. Не друг с другом, а отдельно друг от друга.

– Где вы жили после войны? – спрашиваю я.

– Это нечестно, – отвечает она. – Я все время говорю и говорю, а ты о себе и своих ничего не рассказываешь. Расскажи мне про свою маму!

– Не сейчас. Уже поздно.

Я уклоняюсь, да. Отчего-то я чувствую, что предаю свою мать, если расскажу о ней. Почему? Скрывать-то нечего. Пытаясь найти ответ на этот вопрос, вернее, отговорку, я понимаю, что в моей семье всегда было еще одно негласное правило: не говорить о наших чувствах. Это не было умолчанием того рода, когда между собой грызутся, а на людях держатся вместе. Так было в семье у Джанни. Нет, мы и между собой никогда не говорили о себе. Темой могло быть все что угодно – соседи, кошки, война где-то в мире, – только не то, что касалось нас самих.

За ужином в отеле я сижу с людьми из нашей команды и беспокоюсь, где Жоэль.

– Мне надо немного побыть одной, – сказала я ей.

И, уже произнося эти слова, знала, что это ложь. Так же начиналось и с Джанни. В какой-то момент ему понадобилось побыть одному. И теперь, без Жоэль, я чувствую себя потерянной. Остальные очень милы, безусловно, но их пустые разговоры не доходят до меня. Атмосфера за столом такая же, как в детстве у нас дома, где было не принято говорить о себе.

* * *

Жоэль стоит у входа в отель и говорит по телефону на иврите. Вокруг тишина, только сухие пальмы шуршат на ветру. Когда я подхожу, она нажимает кнопку отбоя.

– Я помешала?

– Нет.

Мне жаль, что я ее обидела. Можно извиниться за слова, которые нечаянно обронил, но как извиняться за несказанное, чего сам толком не понимаешь?

– Что ты хотела знать о моей матери? – спрашиваю я.

Она предлагает мне сигарету. Я отказываюсь. Она закуривает.

– Все. Я всегда хотела знать, что она за женщина. Моя сестра.

Сводная сестра, хочу я возразить. Или даже полуприемная сестра. Никогда не виденная. Собственно, вообще не сестра. Жоэль словно читает мои мысли.

– Иногда чужого чувствуешь более близким, чем своих родных. Тебе это знакомо?

– Вот эти слова могла бы сказать моя мама. – Я с сарказмом улыбаюсь.

Жоэль смеется:

– Вот видишь!

– Она никогда не могла усидеть дома. Ей там было слишком тяжело. А еще Берлин, строительство этой стены... Она рвалась прочь из этой затхлости, рвалась летать, встречать новых людей. Вот она и

стала тем, кем тогда хотели стать все девочки. Бортпроводницей. Тогда это так называлось.

– А после того, как родилась ты?

– Она продолжила летать. Это было как раз по ней. На земле она долго не выдерживала. Ей было противно все, что тянуло вниз. Жила налегке. Она могла полететь в Нью-Йорк с одной ручной кладью. Запросто.

– Я всегда представляла ее себе красивой и стройной. У тебя нет с собой фото?

– Нет. Но да, она была очень привлекательна. Еда – это тоже было не про нее. Зато подруг море. Все стюардессы.

– А что говорила на этот счет ее мать?

– Конечно, ей это не нравилось. Профессия не для приличных девушек.

– И что, она была неприличной?

– Да уж оторвалась по полной. И с моим отцом она выдержала недолго. Бабушка никогда не могла ей этого простить, хотя и не любила моего отца. Она всегда говорила: «В жизни есть только одна большая любовь».

– Но ты ведь знала своего отца, не так ли?

– Да. Он был пилотом на *Pan Am*. Потом уехал обратно в Америку. Мы поддерживаем с ним связь, но я по нему не скучаю. Странно, правда?

– Твоя бабушка вышла замуж?

– Нет.

– А у нее были мужчины?

– Про это мне ничего не известно.

Жоэль удивлена.

– Знаешь, говоря, что в жизни есть только одна большая любовь, она и в самом деле так считала. *Больше никаких мужчин, ты можешь полагаться только на себя.* Этого она не говорила, но я и так понимала. Убежденность, что ничего не изменить. Ее любовь никак не проявлялась. От нее исходило только разочарование.

– И это отразилось на твоей матери.

– Нет, мама умела радоваться.

– Я имею в виду, убежденность, что на мужчин надежды нет.

Я молчу. Под таким углом я на это еще не смотрела. Моя мать всегда хотела быть непохожей на свою мать. Но и действительно, если так посмотреть, у нее хотя и было много мужчин, но, по сути, – ни одного. Всегда, как только доходило до серьезного, она сбегала.

* * *

Дверь распахивается. К нам выходит Патрис.

– А, вот ты где. Тебя потеряли. *Ça va, Madame?*

Его неожиданная вежливость забавляет Жоэль.

– *Ça va, et vous?*^[90]

– Погода меня беспокоит.

Постояв в нерешительности, он поворачивается ко мне:

– Слушай, завтра, наверное, будет слишком ветрено. Мы пока не знаем. Если не будем нырять, то устроим небольшую экскурсию. Ты знаешь Фавиньяну?

– Остров? Нет.

– Это недалеко, и там очень красиво. Если хочешь, сплаваем туда на надувной лодке. На ней можно вплыть в пещеры. Там есть *grotta dei sospiri*. Природный орган, на котором играет ветер. И ты слышишь вздохи, будто там привидения.

– Только мы вдвоем?

– Мы и привидения. Но они не кусаются.

В его глазах я вижу озорной блеск прежнего шалопая. Меня разрывает на части. Бросаю уклончивое «может быть». Не подмигивающее «может быть», а вежливое «может быть», означающее «прости, нет». Патрис понимает мое послание и уходит обратно в ресторан. Я сержусь на себя за то, что не способна вылезть из своей скорлупы. Я рассудительная. Стойкая. Верная. Он – все наоборот. Сколько же еще во мне неживого, сколько дикого и безумного, о котором я ничего не знаю?

– В чем проблема? – спрашивает Жоэль с удивленной улыбкой.

– Не знаю. Патрис... у него в каждом порту по одной...

– И что? Маленькое приключение, почему бы нет.

– Я разучилась. У меня все еще такое чувство, будто я изменю Джанни. Ну не глупость ли?

– А ты ему хоть раз изменяла?

– Я? Никогда.

– А почему?

В ее голосе столько недоумения, будто она спрашивает: *как, ты ни разу не пила воду?*

– Это просто была бы не я.

– Кто это говорит, ты или твоя бабушка? – Она многозначительно улыбается.

– При чем здесь моя бабушка?

– Ну ты же только что рассказывала.

И тут до меня доходит. Что касается мужчин, я никогда не сравнивала себя с бабушкой, она отстояла от меня слишком далеко. А сравнивала с матерью. И всегда ставила себе целью все делать не так, как она. Не производить на свет дитя развода. *Я тебя предупреждала, добром это не кончится*, повторяла бабушка моей матери, когда мы после развода вернулись в ее квартиру. Я ненавидела телефонные разговоры с отцом, подарки ко дню рождения издалека, эти приходы и уходы Клауса и Хеннинга или как там их всех звали. Один старался заменить мне папу, второй мной вообще не интересовался. Какая же это гнусь – быть ребенком. Я хотела избавиться от этого хотя бы одного.

И раз у матери было множество, а по сути, ни одного мужчины, моим ответом на мантру бабушки стало раннее замужество. Я считала, что смогу возвести вокруг нас стену, построить крепкую, надежную крепость, и уж с нами ничего не случится. И он всегда будет со мной. И может, Джанни душила как раз эта крепость. Которую рано или поздно он должен был взорвать.

– Да у всех романы на стороне. – Жоэль пожимает плечами. – Мне изменяли, и я изменяла. Каждый должен быть счастлив так, как умеет. Если один человек находит привлекательным другого, почему я должна ему это запрещать, если это делает его счастливым? А пока он меня любит, он будет возвращаться. Неприятности начинаются, когда один другому диктует, каким тому следует быть. Это называют любовью, но на самом деле это тирания. Так, дорогая, а теперь в постель. Тебе явно не помешает хоть немного поспать.

Ее объятия были так кстати в моем смятенном состоянии. *Buona notte*, Жоэль, доброй ночи, и спасибо, что проводила. Ты слегка сумасшедшая, но мне послал тебя добрый ангел. Как жаль, что моя

мать с тобой уже не познакомится. А то бы она, может, еще на некоторое время задержалась.

* * *

Перед тем как лечь, я достаю из чемодана бумаги по разводу и еще раз прочитываю. Перечень предметов с указанием их стоимости. Я точно могу сказать, кто что купил. Когда. И где. Никчемное барахло! Битком набитый музей супружества, который больше никому не нужен. Брак без детей – это тупик. Копишь вещи, ни одну из которых потом не берешь с собой. Потому что продолжения нет.

Если быть совсем честной, я первая нарушила нашу договоренность. Не о верности, а о бездетности. Однажды, незадолго до того как все стало необратимо, мне это решение показалось неправильным. Глубоко фальшивым. Откуда вдруг взялся этот страх, этот напор? Действительно ли я на последних метрах брака все еще хотела семью или это было эхом желания моей бабушки, – желания, которое не удалось осуществить и моей матери? Почему мне не хватало того, что мы имели? Почему я вдруг захотела ребенка? Чтобы дать ему мою любовь? Или только для того, чтобы иметь семью, какой никогда не было у меня?

Теперь, когда все прошло, желание смолкло, как будто никогда и не одолевало меня. Разумеется, для счастья совсем необязательно иметь детей.

Я не хотела запирать тебя, Джанни. Сердце не тюрьма. Я просто боялась. Или боялся кто-то другой во мне.

* * *

Наутро погода вполне пристойна, так что Патрис с командой могут выйти в море. Я втайне рада этому. Мы завтракаем поздно, Жоэль и я, потом она должна выкурить первую сигарету. И только после этого мы направляемся к пляжу.

- А ты сама-то замужем? – спрашиваю я.
- Разве я похожа на замужнюю?

– Нет.

– Ну вот.

– Ну так да или нет?

– Нет. Но каждого из них я любила.

– А дети у тебя есть?

– У меня есть ученицы.

– Значит, предсказание сбылось? Насчет того, что у тебя не будет дома?

– Да. Я просто находка для любой фирмы по переезду. Стоит мне захотеть где-то задержаться, как приходится уезжать. То дом сгорит, то арендодатель меня вышвыривает. Странная такая карма. Но с мужчинами всегда все было хорошо.

– И ни один не остался?

Она затягивается сигаретой и улыбается.

– Не бывает отношений навеки. Люди влюбляются, ссорятся, чему-то учатся. Но когда любовь прогорает, надо уходить.

Она видит по моему лицу, что эта хипповская философия мне недоступна.

Отношения – это работа. И в хорошие, и в плохие времена. В жизни бывает только одна большая любовь. Ладно, может быть, две. Самое большее три.

– Единственная константа в жизни, – говорит она, – все непрерывно меняется. Проблема только в наших представлениях о том, как все должно протекать. За них люди держатся крепко, даже когда рушится мир вокруг. Это целое искусство – принимать перемены и, несмотря на них, любить друг друга. Иначе остаются лишь две безжизненные маски.

– В теории звучит хорошо. Но покажи мне хоть одного, кому это удастся на деле.

– То есть ты считаешь, что Мориц должен был вернуться к твоей бабушке, даже если это было для него плохо?

– Откуда ты знаешь, что для него было хорошо?

– А, тебе не нравятся истории про женатых мужчин, которые влюбляются в других женщин, так?

– Не нравятся.

Мы усмехаемся, глядя друг на друга.

– Послушай-ка, дружочек. Я расскажу тебе, как было дело дальше. И потом ты мне скажешь, правильно твой дед поступил или неправильно.

– А кто, собственно, влюбился первым? – спросила я. – Мориц или Ясмина?

– Ясмина была влюблена в него, сама того не понимая. А Мориц понимал, что влюблен, но не показывал этого. И потом появилась Сильветта.

Глава 39

Сильветта

Ад – это другие.

Жан-Поль Сартр

Кино, этот кокон, закуток. Его убежище было темным и тесным, зато надежным. И у него имелось окошко в мир. Крошечный прямоугольник, через который Мориц видел пастбища Аризоны и небоскребы Нью-Йорка. Он проводил свои вечера с ковбоями и чечеточниками, дни – с Доналдом Даком и Микки-Маусом, а ночи с крысами, которые сновали в темноте по каморке.

В хорошие дни приходила Ясмина, привязав дочь к груди, с корзинкой, из которой пахло кускусом, жареной рыбой или шакшукой. Она любила навещать его, когда Мориц крутил мультфильмы. На «Бэмби» она плакала так, будто сама лишилась матери, а на «Пиноккио» смеялась как маленький ребенок. Мориц стоял подле нее у окошка в кинозал, зачарованный непосредственностью, с какой она отзывалась на все, что видела. Большинство людей окружены защитной оболочкой, через которую мир доходит до них уже отфильтрованным и приглаженным. Но, погружаясь в фильм, Ясмина откладывала свою оболочку в сторону, словно мимолетную мысль, и оказывалась с миром наедине. Лишь тонкая стеклянная завеса окружала ее, такая тонкая, что Мориц иногда боялся подать голос, чтобы не напугать ее. Ибо это нежное существо могло и расшаркать, если мир покажется враждебным. А если на что-то в те дни нельзя было положиться, так это на мир. Все планы откладывались на потом, люди ждали, когда же снова можно будет зажить нормальной жизнью, и время ожидания незаметно превращалось в то, что и было их жизнью. Чем-то значительным, прораставшим из малого, почти невидимого, но неудержимого.

Их головы соприкасались, когда они смотрели через окошко в мир мечты. Они рассказывали друг другу то, что больше никому не доверяли, да и друг другу никогда бы не доверили, если бы

встретились при свете дня, а не в магической темноте кинобудки. Лакуны в фильме – а они понимали только картинки, потому что в будке не было громкоговорителя – они заполняли своими фантазиями. Они обменивались тем, что поняли, перетолковывали события, досочиняли их и отбрасывали то, что им не нравилось. Они знали, почему Кларк Гейбл или Ава Гарднер делали то, что должны были делать. Лишь иногда Ясмина удивлялась тому, что люди на экране ввергают себя в несчастья, она сострадала им после каждого их неверного шага – в отличие от Морица, который не вскрикивал, если происходило что-то плохое, и не плакал от радости, когда влюбленные в конце все же обретали друг друга.

– Странный вы, Морис. И как вы можете быть таким равнодушным? Ведь вы же сами снимали фильмы?

– Я не равнодушный. И фильм очень интересный.

– Интересный? – Ясмина помотала головой. – Да вы же смотрите на мир, как глядят на зверя в зоопарке.

– А как глядят на зверя в зоопарке?

– Немного с любопытством, но всегда с превосходством: это всего лишь обезьяна, ну а я-то человек!

– Ясмина, это всего лишь фильм, а не действительность.

– Иногда чувства, которые у меня возникают в кино, более реальные, чем в жизни. Перед фильмом тебе не надо притворяться. А в жизни приходится следить за тем, как на это посмотрят другие. Это так тяжело, Морис. Но в те часы, когда я с вами, мне хорошо. Потому что вы, может быть, и немного странный, но... Хотя вы не плачете и не так много смеетесь, вы никогда мне не говорили: прекрати, возьми себя в руки, веди себя прилично!

Конечно же, не говорил, думал он. *Вы мне нравитесь такой, какая есть. Как раз когда вы плачете и смеетесь!* Но он и этого не говорил, как не говорил и о многом из того, что чувствовал, опасаясь разрушить их хрупкую близость. Он хотел, чтобы она снова пришла, на следующий день. Ему казалось, что только через ее чувства он может воспринимать внешний мир, перед которым его душа отступала в невидимость. Без ее смеха и ее слез он был лишь тенью.

Ясмина тоже ждала этих драгоценных минут в убежище Морица, но там она проводила ровно столько времени, чтобы не вызвать у родителей подозрений. Каким бы тихоней ни был Мориц, но слушал

он ее действительно не только из вежливости, как прочие, которые только и ждали момента, чтобы начать рассказывать о себе.

Нет, о себе Мориц почти не говорил, он весь будто состоял из глаз, которые смотрели на нее, смотрели внимательно, порой удивленно, но никогда – осуждающе. Когда он смотрел на нее, она ощущала, как каждый мускул ее тела расслабляется. С ним ей не надо было ничего *делать*, она могла просто *быть*.

В какой-то момент она забывала про фильм, который шелестел в проекторе рядом, принималась рассказывать про свой сон из минувшей ночи.

– А вы можете спать в полнолуние, Морис? Я не могу, все лежу без сна, а потом уже и не знаю, то ли я уже во сне, то ли еще здесь. Я видела Виктора.

– Виктора? Во сне, вы имеете в виду?

– Это было так реально, как будто я стояла с ним рядом.

– И... что он сделал?

– Он сел рядом со мной, на край кровати... потом достал из своего чемодана письма. Много писем. И читал мне эти письма.

– Какие письма?

– Ну, свои. Из Италии.

Морицу потребовалось время, чтобы понять. Потом он кивнул, открытый как всегда, словно в этом не было ничего необычного.

– И о чем он писал?

Ясмина придвинулась ближе и понизила голос. И рассказала про ферму с тремя кипарисами, где он скрывался, когда немцы шли по горе. Про пулю, которая пробила окно, про бегство и про пулю, которая попала ему в бедро. Каждую деталь она описывала до того подробно, как если бы сама при этом находилась. Рассказала и про медсестру, которая за ним ухаживала, – красивая итальянка с крестиком на шее, ее звали Мария; и о том, что происходило ночью между Виктором и Марией, и о том, куда итальянка его целовала, о шрамах, к которым старалась не прикасаться, чтобы не причинить ему боли. Ясмина рассказывала так, будто сама и была этой Марией, без малейшего намека на ревность, а почти с нескрываемым вождением.

Она улыбнулась:

– Вы же знаете его, не так ли? Он ведь такой.

– Но... – Мориц подыскивал слова. – Вы думаете, он вас больше не любит?

– Да конечно же, любит! – убежденно воскликнула Ясмينا.

Мориц молчал. Он не хотел ее обидеть. Казалось, она читает его мысли.

– Морис, любить можно не только одного человека.

– Вы тоже можете?

Она удивленно посмотрела на него. Для нее-то всегда существовал лишь один. И в глазах Морица она сейчас искала скрытое значение. Потом сказала:

– Он снова и снова будет ко мне возвращаться.

– Откуда такая уверенность?

– Я просто знаю. Есть тайные связи, которые соединяют людей, – через страны и через время. Связи, которые никто не видит, не понимает и не может разорвать. И если он там, на войне, получит чуточку нежности... это поможет ему выжить.

– А то, что он вернется... это вам сказала Кучинотта?

– Нет. Я больше не хожу к Кучинотте.

– Почему?

– Если я спрошу ее о Викторе, она догадается, что он и есть отец. И тогда узнает весь квартал. И я не смогу показаться людям на глаза. Нет, предсказание...

Она прервалась и испытующе смотрела на него.

– Есть и другие ясновидящие. Не только католички. И я имею в виду не Аллатини с ее каббалой – она такая болтушка! Ничего не удержит в тайне. Нет, я... но вы ведь никому больше не скажете, да?

– Хорошо.

– Обещаете?

– Обещаю.

– Поклянитесь.

– Клянусь.

– Хорошо. Итак, мы с Рифкой, которая работала со мной вместе в «Мажестике», она мусульманка, ходили к Сиди Махрезу.

– Кто это?

– Заступник евреев.

Мориц не поспевал за ее рассказом.

– Покровитель Туниса. Он основал когда-то еврейский квартал. И он мусульманский святой.

– Ах, вон что, он уже умер?

– Еще тысячу лет назад. Но вместе с тем он жив, понимаете?

Мориц кивнул, хотя ничего не понял. И она рассказала ему о мавзолее в Медине, на краю еврейского квартала; о женщинах, которые целыми днями сидят там под величественными сводами и в полутьме читают суры из Корана; о записках, которые они всовывают в решетку перед его гробницей, и об экстатических танцах, которые устраивают по ночам в соседнем помещении, когда поблизости нет мужчин, в тумане благовоний, в трансе барабанного боя. Она танцевала с ними, как когда-то на свадьбах, всю ночь напролет, пока не рухнула на пол, обессиленная. И тогда женщины совершили над ней старый любовный заговор, чародейство поверх всех границ, стран и времен, так что Виктор выживет в этой войне.

Ясмина вздохнула, взбудораженная собственным рассказом. Она пристально смотрела на него, будто раздумывала, не сказать ли всю правду. И прошептала:

– И он не сможет любить другую женщину. Ему придется всегда возвращаться ко мне!

У Морица по спине пробежали мурашки. В ее глазах мерцал темный жар. Рядом вхолостую застрекотал проектор – пленка кончилась. Он встал, чтобы вставить вторую бобину. Внизу в кинозале зажегся свет, зрители использовали перерыв, чтобы встать, покурить и побеседовать, пока не началась вторая половина фильма.

– Что вы собираетесь делать, когда он вернется? – спросил Мориц. – Ведь мать захочет его женить.

– Мы с ним уедем в Париж. Там можно сделать хорошую карьеру. Это всегда было его мечтой. Здесь, у родителей, я задохнусь. Это сгоревшая земля. Только бы закончилась проклятая война!

Мориц молчал. Потом они смотрели фильм. Их локти соприкасались. И она не отстранялась, да она будто даже наслаждалась этим.

Ночью, лежа в своей чердачной каморке, слушая дробный топоток крысиных лапок, вглядываясь в темноту, Мориц думал о Ясмине. Он представлял, как она сейчас тоже лежит в своей кровати и думает о Викторе. Он представлял, как Виктор входит в ее комнату, – Виктор, которого может видеть только она. Представлял, как Виктор склоняется над ней, а она обнимает его. Ее буйные черные кудри, ее смуглая кожа в лунном свете. Он никогда не видел ее одну, когда закрывал глаза, никогда не видел ее с собой – всегда только с ним, и каждую ночь он возвращался к этой фантазии, чтобы посмотреть, не изменилось ли что, не стала ли она меньше любить Виктора, не перестал ли тот ее возжелать. Но никогда он не разрешал себе, даже в грезах, занять место Виктора.

Но хотел ли ее Виктор вообще? Что, если он не вернется? Действовала ли ворожба на него или только на нее – потому что она верит в его возвращение и будет ждать его вечно?

Мориц поймал себя на желании, чтобы Виктор не вернулся никогда, чтобы его убили и похоронили. Одна немецкая пуля – и чары будут разрушены. Но тут же устыдился этой чудовищной мысли и отогнал ее. Но еще до того, как рассвело, мысль вернулась снова, сильнее и ярче прежнего. Что-то внутри сотрясало прутья его клетки, просилось на свет, тосковало по запаху Ясины, по ее телу. Он хотел любить и быть любимым, преодолеть глухоту и ощутить жизнь во всей ее полноте, выходящей из берегов. Проклятая война запорошила его сердце пеплом. Даже когда он проломил корсет армейской дисциплины, освободив Виктора, им двигала мораль, но никак не чувства.

Но с Ясминой все было иначе. Когда он видел ее с Жоэль, сердце его оживало. Столько любви и нежности может дать ребенку только прекрасная мать. Любовь, которой его самого лишили задолго до начала войны, сослав в изгнание мужского одиночества.

* * *

А потом появилась Сильветта. Она возникла неожиданно, как весна на проспекте де Картаж, которая так и брызнула из цветов и прогнала апрельскую промозглость. Она пришла с Леоном, который по

пятницам забирал недельную выручку. Деньги хранились в сейфе, который Леон велел установить в чердачной кладовке Морица, там он был спокоен за них. На девушек за кассой надежды мало, того и гляди умыкнут франк-другой, а немцу, которого он укрыл, Леон доверял.

– Почему именно я? – спросил Мориц.

– Потому что вы немец, – рассмеялся Леон. – На ваше слово можно положиться!

Но Мориц догадывался об истинной причине – он не позволил бы себе обмануть своего покровителя.

В эту апрельскую пятницу Леон появился в кинотеатре не один, как обычно, а в сопровождении жены. Это был один из тех весенних дней, когда солнце светит с такой неожиданной силой, будто хочет перепрыгнуть через время года и, поколебавшись на границе зимы и весны, сразу переходит к лету. В широкополой голубой шляпе и темных очках Сильветта сидела на пассажирском сиденье «альфа-romeo», словно богиня экрана. На взгляды мужчин она, казалось, не обращала внимания. Мужчины оборачивались и наверняка свистели бы вслед, не будь она женой Леона, с которым лучше не связываться.

Мориц стоял в тени у входа в кинотеатр и беседовал с кассиршей. Здесь была самая дальняя точка его дневных перемещений, здесь он мог подышать воздухом, внимательно следя за проспектом, не покажется ли полицейский или военный.

Леон поздоровался и пошел наверх, чтобы забрать деньги. Дело близилось к вечеру, через два часа начинался Шаббат, а жена еще хотела купить себе летние туфли. Мориц робко помахал ей. Сперва казалось, что она не заметила его жеста, однако когда он отвернулся, Сильветта вышла из машины и со скучающим видом приблизилась к нему. Равнодушие ее было показным – эта женщина пребывала в постоянном ожидании чего-то. Но после исчезновения Виктора в ее жизни происходило не так уж много.

– *Ça va?* – сказала она небрежно, будто просто шла мимо, легкой поступью танцовщицы.

– *Oui, Madame, bonjour,* – вежливо ответил Мориц.

Сильветта оглядела его. И, перейдя на итальянский, принялась болтать с кассиршей о ерунде, Морица она перестала замечать. Он молчал, как обычно, когда сталкивался с человеком, не знающим, кто он такой на самом деле. Леон уверял, что не проговорился жене про

своего киномеханика. Женщинам нельзя доверять, говорил Леон, они обожают подобные истории и не удержатся, чтобы не поделиться с подругами.

– Как дела у Альберта? – спросила вдруг Сильветта, повернувшись к Морицу.

Он постарался ответить как можно короче:

– Есть прогресс. Каждый день чуточку лучше.

Судя по взгляду, ответ ее не устроил, поскольку сам Альберт ее не особо интересовал. Ей хотелось знать, какие отношения связывают Морица с Альбертом.

– Если бы Виктор вернулся, – вздохнула она, – Альберт бы мигом встал на ноги. Здоровье ведь исходит из сердца. Я знала людей, которые умерли от горя, хотя физически с ними было все в порядке.

Мориц кивнул.

– А вы, Морис, как вам нравится на чердаке? Не одиноко ли вам там наверху?

– Нет, спасибо, все хорошо.

– Ага.

Он попробовал улыбнуться. Запах ее духов смущал его. Розы и мускус.

– А ваша семья, вы по ней не тоскуете?

– Тоскую, конечно.

– Триест, верно?

– Да.

– Ага.

Не часто увидишь женщину, которая расспрашивала бы с таким любопытством и смотрела бы при этом так скучающе.

– У вас нет детей?

– Нет, синьора.

– Вам надо бы здесь осмотреться. Нигде вы не найдете женщин красивее здешних. – Она сделала короткую паузу и возобновила напор: – А с виду вы совсем не похожи на итальянца.

– Да?

– Леон сказал, что ваш отец из Польши.

– Да.

– Ага.

Она разглядывала его так, что Мориц засомневался, не посвятил ли все-таки Леон свою жену в истинное положение дел. Каждый ее вопрос казался ему маленькой провокацией, а в улыбке крылось что-то насмешливое, недоверчивое, вселявшее неуверенность, – и этого она и добивалась, судя по всему.

На самом деле Леон был слишком хвастлив и слишком гордился своими делами, чтобы удержать что-то в тайне. Однако он владел искусством выдавать из истории только те части, что делают ему честь. И намеки Сильветты никакого отношения к немцам не имели. Просто ей хотелось выпросить, как Мориц подружился с Виктором, она была далека от мысли, что их связывает тайна. И чем более скупыми были ответы Морица, тем сильнее разгорался в ней интерес. Наконец из фойе вышел Леон с кожаной папкой под мышкой.

– Ты идешь, *chérie? Au revoir, Морис. Shabbat shalom!*

Сильветта замешкалась, прежде чем последовать за мужем к машине.

– А вы купались в море, Морис?

– Нет, синьора.

– Отличная идея! – перебил Леон. – Устроим поездку на море! Я знаю один потрясающий пляж. *Ciao, a prestissimo!*^[91]

И, ничего не уточняя, он сел в машину и завел мотор. Сильветта смотрела на Морица, пока серебристый кабриолет не слился с лучами закатного солнца. В ее светлых глазах читалась темная, могущественная тоска, которая сопровождала Морица до самой ночи. Хотелось бы ему иметь в тот момент камеру, чтобы запечатлеть этот ее последний взгляд. Будто привороживший его, как Мориц ни пытался от него уклониться. Взгляд, что оставил его в смятении, с чувством, что он снова стал видимым – после целой зимы невидимости.

В полночь, когда кинотеатр покинули последние зрители, Мориц вышел на улицу, вдохнул свежий ночной воздух и почувствовал, как сердце гонит по жилам кровь. Прошел весенний дождь, свет фонарей отражался в мокром асфальте. Воздух был теплый, пахнувший жасмином. Мориц пересек улицу и побежал, перепрыгивая через лужи, как мальчишка. Над домами всходила огромная красноватая луна. Мориц остановился. Если бы по ночам бывала радуга, сейчас бы она стояла на небе.

Когда на следующий вечер он рассказал Ясмине о странном визите Сильветты, глаза у той сузились. С деланным равнодушием она сказала, вынимая из корзины кускус:

– Вам не следует ее отвергать.

Мориц оторопел.

– Иначе Сильветта разозлится.

– Простите, но... она жена Леона.

– У них несчастливый брак, *sfortunato*, – сказала Ясмине. – Сильветта не подарила ему детей. И он ищет счастья на стороне. А вы не знали?

– Но меня это совсем не касается.

– Она делает лишь то же, что и он. Она ведь красивая, правда?

Мориц был сбит с толку. Зачем она ему это говорит? Хочет его испытать?

– Какой сегодня фильм? – спросила Ясмине, чтобы сменить тему.

И до Морица дошло.

– Сильветта была любовницей Виктора?

Ясмине смотрела через окошко в кинозал.

– Она воображает себе из этого бог знает что. Но для него она была лишь одной из многих, – сказала она спокойно.

Мориц почувствовал, что под напускным равнодушием бушует буря. Он понял, почему она посоветовала ответить на заигрывания Сильветты. Дело было не в нем. А, как всегда, в Викторе. Если Сильветта увлечется другим мужчиной, у Ясмине станет одной соперницей меньше. Мориц был дублером в этом спектакле.

– Как вам кускус?

– Спасибо, вкусно.

Какое-то время они молчали, только стрекотал в тишине проектор. Потом Мориц спросил о здоровье Альберта. Ответ вверг его в уныние.

– Папа целый день сидит в своем кресле около радиоприемника. Слушает все новостные передачи подряд. Больше его ничего не интересует. Он ест, пьет, здоровается со мной, но он не такой, как раньше.

Морицу больно было это слышать. Ему стало стыдно, что он давно не навещал Альберта. Но у него не было уверенности, что ему

там рады. В последний раз он принес Альберту в подарок старый немецкий радиоприемник, найденный в кинобудке. Хотел порадовать его. Альберт скупно поблагодарил и включил французскую службу Би-би-си. На расспросы Морица отвечал рассеянно: да, он чувствует себя хорошо; да, скоро снова сможет работать; нет, он ни в чем не нуждается. Сидя рядом с ним, Мориц чувствовал себя лишним, более того – виноватым, но бессильным что-либо изменить.

– А ваша матушка? Как дела у нее?

Ясмина вдруг напряглась всем телом. Будто приготовилась обороняться против угрозы, возникшей из-за одного упоминания о Мими.

– Она ненавидит меня. – Ясмина продолжала неотрывно смотреть в окно кинобудки. Уловив за спиной сокрушенное молчание, обернулась: – Она любит малышку. А со мной обращается как со служанкой. Нет, хуже, как с собакой, нет, еще хуже, как с прокаженной! Если бы не папá, она бы меня давно выгнала. Но он больше не может за меня постоять. И она не упускает случая уколоть меня лишний раз. Показать мне, кто я есть. Бесстыжая шлюха.

Мориц смотрел на нее, не находя слов.

– Настоящая мать никогда не обращалась бы так со своей дочерью.

– Да нет же, зря вы так...

– И ведь она права. Я разочаровала ее. Вместо благодарности опозорила ее семью. Я недостойна носить фамилию Сарфати.

Мориц ужаснулся той пропасти, что открылась за словами Ясины. Ему было жаль ее. Но она не хотела жалости. Казалось, она решила принимать наказание с пугающей смесью гордости и самобичевания. Потому что считала его заслуженным. Словно угадав намерение Морица шагнуть к ней, Ясмина встала:

– Они меня ждут. *Buona notte*.

– Нет. Оставайтесь.

Ясмина замерла. Мориц подошел к ней и осторожно, очень осторожно обнял. Тело Ясины сжалось, но она не попыталась вырваться. Он даже не обнимал ее, а ограждал, обхватив руками, от внешнего мира. Он не притиснул ее к себе, лишь окружил ее своим теплом – его остатками. И она не оттолкнула его. И медленно, очень медленно в ней что-то начало таять. Она положила голову ему на

плечо. Он не двигался. Ее тело сотрясла легкая судорога, повторилась, усилилась, и вот она уже содрогалась всем телом, не способная сдерживать слезы, хлынувшие настоящим потоком. Она плакала взхлеб, не в силах остановиться.

– Что вы собираетесь делать, Ясмина?

– Бежать. Как только вернется Виктор.

А если он не вернется, подумал Мориц, но произнести не решился. Будущее она строила на слишком зыбкой надежде.

* * *

А вот Сильветта скоро вернулась и возвращалась еще не раз. Приносила то пироги, то итальянский журнал, а то являлась с пустыми руками. Но неизменно в красивом платье, всякий раз в другом, и всякий раз ее платье открывало чуть больше – то плечи, то колени, совсем чуть-чуть. И каждый раз она выпрашивала Морица, очень ловко, принимаясь рассказывать о себе и постепенно подводя к тем темным местам в его истории, что не давали ей покоя.

– Мой муж всегда так занят, потому во второй половине дня я обычно прогуливаюсь. Весна прекрасна, не правда ли, Морис? Кстати, почему вас зовут не Маурицио, ведь вы из Триеста, верно?

– Моя мать любила Францию, – соврал он.

– Ах, знаете, если раньше Леона интересовали только деньги, то сейчас он пристрастился к политике. Вечно эти его важные встречи с друзьями... Я мало что в этом понимаю, а вот вы кажетесь человеком информированным, и, вероятно, в своем мужском кругу...

– Мадам, я не понимаю, о чем вы.

– Ну, его тайные встречи с Жаком Боккара, Эмилем Козном и другими, вы ведь их знаете?

– Нет, мадам.

– *Ah bon?* Но он же наверняка делится с вами своими мыслями, он ведь потому и взял вас на работу, что вы придерживаетесь одних убеждений, не так ли?

Это был рискованный танец на канате. Морицу приходилось следить за каждым словом, чтобы не выдать себя и одновременно попытаться понять, до какой степени проболтался Леон. Ему удалось

выяснить, что Сильветта считает его бойцом из еврейского Сопротивления, бежавшим из фашистской Италии и входившим в состав подпольной группы, которая переправляет евреев из Европы. Такую легенду придумал ему Леон. Но вот вопросы о его происхождении и политических взглядах – своего рода заигрывание или же, напротив, смелые вырезы и короткие юбки – средство вскружить ему голову, чтобы выведать правду о нем?

На помощь Ясины он рассчитывать не мог, потому что к Сильветте та относилась предвзято и каждый раз напрягалась при упоминании ее имени. Мориц решил навестить Мими, чтобы побольше узнать о Леоне и Сильветте.

И как-то днем в конце недели, с поддельным удостоверением в кармане, он отправился к ним, но никто его не остановил по пути. Военные попадались уже редко – коалиция бросила все силы на фронт, который продвигался все дальше к северу.

Альберт сидел в своем кресле у немецкого радиоприемника и ответил на приветствие Морица коротко, но дружелюбно. Мориц наклонился к нему и обнял, расцеловал в обе щеки, как принято среди родственников. Альберт, казалось, был рад его приходу, но как только Мориц сел рядом с ним на диван и они обменялись парой вежливых фраз, снова замолчал и углубился в новости радио Алжира. Мими встретила Морица сердечнее, чем Альберт. Кажется, она его простила, или, может, несчастье, которое Ясмина навлекла на семью, перевешивало вину Морица. Она принесла сицилийский миндальный пирог и пошла на кухню сварить кофе. Ясмина с Жоэль ушли на прием к врачу.

– Прививки надо делать обязательно, – сказал Альберт. – Только так мы навсегда избавимся от некоторых болезней. А вы привиты, Морис?

– Да, нас всех прививали против тропических болезней.

– Очень хорошо, – сказал Альберт и снова сосредоточился на бормотании радио.

Мориц чувствовал себя лишним.

– Как ваши дела, Альберт? – спросил он, немного запанибратски, как ему почудилось, и он тут же смутился.

– Спасибо, хорошо, все хорошо.

– Кусочек пирога? – спросил Мориц.

Альберт кивнул, но без интереса. Мориц протянул ему тарелку с миндальным пирогом. Альберт взял и рассеянно надкусил. С едой он уже управлялся сам. Более того, с виду он вполне оправился от удара. Но что-то ушло безвозвратно. От дружбы, что их связывала, осталась одна оболочка. Мориц гадал, что происходит с Альбертом. Может, он не может простить Морицу вину за случившееся с ним несчастье? Или просто что-то погасло в его мозгу, исчезло необратимо – как монетка, упавшая в колодезь? Жизнь коротка, думал Мориц, и каждая минута, которую делишь с друзьями, бесценнее, чем ты думаешь.

– Вы сможете снова работать?

– Да, в начале месяца я возвращаюсь в клинику.

То же самое Альберт будет говорить и через месяц, и еще через месяц, и через год. Но это помогало ему поддерживать уверенность в себе. Альберт был врачом, а не пациентом.

Какое-то время они сидели молча, по радио транслировали футбольный матч, и Альберт заинтересованно слушал, будто речь шла о делах на фронте против Гитлера. Когда Мими принесла кофе, Мориц осмелился спросить о том, ради чего пришел. Не рассказал ли Леон чего-то лишнего? И в какую политическую группу он входил?

Мими ничего не знала. К Леону она явно относилась двояко. С одной стороны, она восхищалась им, его успехом и тем, что он сделал для еврейской общины, – жертвовал большие суммы на подкуп охранников трудовых лагерей, помогал арестантам бежать. С другой стороны, Мими винила Леона в том, что он соблазнил Виктора красивой жизнью, оторвал его от родных корней. В позоре Виктора она видела вину Леона. Мими была мастерица винить в поступках сына кого угодно, но только не саму себя.

– Если хотите знать мое мнение, Леон – масон, – сказала она. – Как ты думаешь, Альберт?

– Ах, глупости. Он в сионистском движении.

Мориц уже слышал это слово, но не знал, что оно означает.

– Это новая мода. До нацистов сионизм был мечтой нескольких молодых людей, а теперь становится большим делом.

Альберт снял очки и протер их.

– А чего добивается это движение?

– Собственного государства. Для евреев. В Палестине.

Мориц начал понимать. Так вот откуда такая секретность. Палестина находилась под мандатом Британии. И борцы за еврейское государство противостояли не только палестинским арабам, но и британским властям. Альберт надел очки, прислушался к радио, потом сказал:

– С начала года сионистские группы призывают к революции. Устраивают взрывы. Вы слышали о диверсиях против миграционных органов?

– В Тунисе?

– Нет, в Хайфе, в Тель-Авиве и Иерусалиме. Британцы ограничили въезд евреев. Именно сейчас! Это ужасно.

– А как вы относитесь к этой идее? Государство для евреев? Вы бы туда поехали?

Альберт отрицательно помотал головой:

– Моя родина здесь.

Мими предложила Морицу остаться на ужин, но ему пора было возвращаться: скоро вечерний сеанс. Он шел к кинотеатру и размышлял о том, что по ту сторону от берега, к которому его прибило, вырастает новый мир, теснящий мир старый, не желающий отступить. А он исключен из всего этого. Не только он устранился из мира, мир тоже устранился от него. Мориц почувствовал себя еще более одиноким, чем когда-либо.

Глава 40

Золотистые волосы Сильветты развевались на встречных потоках воздуха. На ней были огромные очки от солнца и белое платье, рукав которого реял как знамя, когда она поднимала руку в кабриолете. Другая рука лежала на бедре, удерживая взлетающий подол. Мориц сидел на заднем сиденье, зажав между ног зонт от солнца и корзину для пикника и стараясь не смотреть на Сильветту. Рядом с ним сидела Ясмينا с Жоэль на коленях, и девочка изумленно смотрела на проносящиеся мимо деревья. Леон поддал газу.

– Как, вы еще ни разу не были на пляже, Морис? Какой же вы итальянец! – хохотала Сильветта.

– Вот увидите, море там *meraviglioso*!^[92] – кричал Леон.

– Езжай помедленнее!

Леон забавлялся, поглядывая на Сильветту, и скорости не сбрасывал. Словно она была ребенку, к которому не стоит относиться серьезно. Ясмينا крепко прижимала к себе маленькую Жоэль. Стоял чудесный июньский день, солнце жарило уже с утра. Побережье сияло. Они ехали по проселочной дороге, справа поблескивало между белыми виллами бирюзовое море. Руины Карфагена. Античные колонны посреди пустыря, заросшего кустарником.

– Это было когда-то центром Средиземноморья! – прокричал Леон сквозь шум ветра. – Пока римляне не сровняли его с землей! А вы знаете, кто его основал?

– Нет, – крикнул Морис.

– Женщина! Удивительно, да? Прекрасная царица Дидона! Финикийка! Ее брат Пигмалион убил ее мужа, вообразите, собственный брат! И она бежала через Средиземное море, пристала к берегу в Тунисском заливе и попросила убежища у царя берберов. Этот скряга сказал: возьми себе столько земли, сколько покроет коровья шкура! Тогда Дидона разрезала коровью шкуру на тонкие полоски и обнесла ими большой кусок земли, здесь, на побережье, прямо вот тут, Морис, и построила на нем крепость, цитадель Карфаген. Хитрая баба, а? Такие же здесь и люди, у нас нет ни Эйфелевой башни, ни Эмпайр-стейт-билдинг, но у нас есть голова на

плечах! И что сделал Иарбас, царь берберов? Ему непременно захотелось завладеть прекрасной Дидоной! Он за ней ухаживал, подлизывался, угрожал, но она была непреклонна. В конце концов она сожгла себя, чтобы не достаться ему! *Eh oui*, Морис, таковы мы тут все, гордые, как львы! Мы скорее лишимся жизни, чем потеряем честь!
– *Attento!*^[93] – взвизгнула Сильветта.

Леон притормозил. На выходе из Карфагена на дороге стояли два джипа и танк. Военные перекрыли дорогу. Морицу сделалось страшно. Он предполагал такую возможность, но Леон его успокоил: пока он с ним, ничего не случится.

– Дайте-ка мне ваши удостоверения!

Мориц выудил из кармана рубашки удостоверение Виктора и протянул Леону. Мельком глянул на Ямину – она тоже выглядела напуганной. Леон остановил машину перед блокпостом. Парочка британцев. Жуют резинку. Обычно так делают американцы. Леон козырнул и поприветствовал их по-английски. Одного из военных он знал. Откуда, Мориц не понял, его английский был слишком скуден. Леон же говорил свободно, он вышел из машины и принялся болтать с военными о гоночных машинах, предложил им сигареты. Из рук в руки перешло и еще что-то, чего Мориц и Ямина не разглядели. Солдаты покрутили документы, и Леон, загасив окурок, сел в машину, Морицу никто не сказал ни слова.

Леон завел мотор, обогнул блокпост и раздал им всем жевательные резинки. Таков уж он был, Леон, – щедрая душа, всех знает, искусно умеет дать каждому почувствовать, что он на его стороне. Вот только непонятно, кому он действительно друг, а кому враг.

* * *

Ямина скинула сандалии и радостно взвизгнула. Песок был теплый, в обе стороны тянулся бесконечный пустой пляж. Сюда могли добраться лишь жаждущие приключений обладатели авто. Гребешки волн, сияющая синева, обломки корабельной оснастки в прибое. Яркий свет резал глаза.

– Морис, чего вы ждете? – спросила Сильветта, уже давно босая. – Никто вас здесь не увидит!

Мориц медлил. Еще со времен Эль-Аламейна он знал, что под каждым камнем может прятаться скорпион.

– Оставь его, – сказал Леон, и не подумавший скинуть белые теннисные туфли. – Дай мне малышку! – крикнул он Ясмине.

Он посадил Жоэль на плечи. Она пускала пузыри и гулила в такт его пружинистому шагу.

– Видишь, она любит меня! Ну, Морис, что скажете? Большинству людей нужен лежак, будка с кебабом и продавец мороженого. Мы не любим оставаться одни, мы общественные животные. Но иногда хочется вырваться на волю. Здесь я могу свободно дышать!

Мориц слушал его вполуха. Глаза его следили за Яминой, которая бежала к воде. Когда она смеялась, то казалось, будто она состоит из одного света. Света, прилетевшего из какого-то иного мира, запутавшегося в ее кудрях, чтобы там и остаться, среди тьмы.

– Неужто вы не любите море, Морис? Ведь Триест же на море?

– Люблю, конечно. – Отвечать на вопросы Сильветты было все равно что идти по зыбучим пескам. Каждое слово – ловушка.

Но вид Ямины, с раскинутыми руками носившейся по песку, легкой, точно воздушный змей, наполнял его чистой радостью. Ускользнув от всевидящего родительского ока, она преобразилась в живого ребенка, которым ей никогда не позволялось быть. Она прыгала, смеялась, делала колесо. Будь они здесь одни, Мориц поймал бы ее в объятия. И никогда бы не отпускал.

Леон воткнул в песок красный зонт от солнца.

– О чем вы думаете, Морис? – Сильветта ущипнула его за бедро. – Вы всегда такой серьезный! Лето же!

Мориц инстинктивно глянул на Леона. Он чувствовал себя в ловушке.

– Ни о чем. Я не думаю ни о чем.

– Ах, это невозможно – ни о чем не думать! Я постоянно о чем-нибудь думаю! Спорим, вы думаете о женщине? Она итальянка? – Сильветта тоже посмотрела на мужа, который раскатывал на песке циновки.

– Оставь его! Морис, по глотку вина?

– Нет, спасибо.

– Ах, да не ломайтесь!

Леон откупорил одну из трех бутылок, которые прихватил с собой. Жоэль он усадил на циновку, она тут же повалилась и перепачкалась в песке.

– Сильветта, дай ему стакан!

Сильветта стянула с себя платье, оставшись в купальнике, ярком, самого модного покроя. Она сделала несколько шагов, чтобы оказаться перед Морицем, который смотрел на море. И только затем направилась к корзине для пикника, чтобы достать стаканы.

– Я знаю, о чем вы думаете. О вашей возлюбленной в Триесте! Или у вас на самом деле нет никакой *fidanzata*? Сознайтесь!

Мориц не знал, что лучше – полуправда или полная ложь.

– Нет никакой невесты.

И ложь вдруг прозвучала удивительно правдиво. Фанни так далеко. Он уже не мог вспомнить ее запах.

– Но почему? Вы такой привлекательный мужчина. Разве не так, Ясмина, он же привлекательный мужчина, правда?

Ясмина смущенно смолчала. Каждая фраза была как минное поле, и для нее тоже. Она инстинктивно подхватила на руки Жоэль, словно желая ее защитить. Сильветта отпила вина и продолжила обстрел:

– Вы верите в любовь, Морис?

И тут же:

– А как вы думаете, можно любить не одного, а нескольких?

Пальцы ее призывно пробежались по волосам, словно на самом деле она спросила: *сможете ли вы любить меня?*

Возможно, она просто использует его, чтобы вызвать ревность Леона? Или так она мстит мужу за измены? Вдруг его тайные политические встречи лишь предлог для свиданий? Или свидания – маскировка для политических сходов? Все имело здесь двойное дно, все было не тем, чем выглядело. И, в отличие от Германии, люди тут сознавали это. И никогда не принимали сказанное за чистую монету – все здесь было камуфляжем, прикрывающим что-то другое. Он мог запросто объявить себя немцем, и никто бы ему не поверил!

– Пошли купаться, – позвал Леон, который успел переодеться в плавки.

Он отобрал у Сильветты бутылку. Но онагнула свое:

– А почему бы вам не влюбиться в здешнюю женщину? Таких красавиц вы больше нигде не найдете.

Лукавый взгляд в сторону Ясины. Неужто догадывается о его чувствах? Неужто хочет загнать его в объятия Ясины, чтобы разлучить ее с Виктором?

– Или почему бы вам не вернуться в Италию?

Мориц не мог ответить: потому что там меня арестует коалиция.

На помощь ему пришел Леон:

– Потому что он еврей! Думаешь, итальянцы сразу нас полюбят только потому, что перешли на сторону бывшего врага? Вся Европа отравлена, *c'est fini! Dai, andiamo!*^[94]

Он взял Сильветту за руку и потянул ее к морю. На ходу обернулся и позвал, смеясь:

– Идемте же!

Ясина с вызовом глянула на Морица.

– Хорошая возможность, – тихо сказала она. – Соблазните Сильветту.

Она сбросила платье, и под ним тоже оказался купальник, но черный и скромный. Подхватив Жоэль, Ясина пошла к воде. Мориц смотрел ей вслед. Как же она хороша. Смуглая кожа, горделивая походка, так много достоинства в таком маленьком теле. Он медлил. Не хотел обнажать свою бледность. Лицо и руки давно загорели, но тело мгновенно разрушило бы его легенду о том, что он итальянец. В конце концов он двинулся к воде, не раздеваясь.

– Но, Морис! Вы прямо так собираетесь зайти в воду? Вы нас стесняетесь?

Сильветта уже стояла в волнах прибоя. С каким бы наслаждением он сейчас бросился в море.

– Я присмотрю за Жоэль, – сказал Мориц. – И вы сможете поплавать.

Не дожидаясь ответа, он забрал ребенка. Ясина начала было протестовать, но, увидев, как прильнула к Морицу малышка, замолчала. Жоэль улыбалась ей: *да ладно тебе, мама!*

– Ну что вы там, эй, вы идете?

Ясина побежала в воду. Мориц смотрел, как они все втроем прыгают в прибое. Солнце на коже, счастье через край. Он держал Жоэль, стараясь укрыть ее от ветра. Ее маленькое тело и его тихая

радость – быть нужным ей хоть на несколько минут, взятых взаймы. Маленькая ручка Жоэль погладила его по щеке. Быть нужным, быть там, где ценят. Человек существует лишь через других, подумал он. И нет любви более истинной, чем любовь ребенка, чистая и непритворная. Может, то единственная любовь, на которую можно положиться.

Он сделал несколько шагов к извилистой линии, оставленной на песке волнами, и, крепко держа Жоэль за ручки, опустил малышку так, чтобы ее ступни коснулись воды. Она восторженно завизжала и задрогала ногами, и ее радость передалась ему. Он опустился на колени и, не выпуская девочку из вытянутых рук, повалился на спину в набегающий прибой. Жоэль ликовала. Детское счастье на фоне слепящего солнца. Еще один снимок, который никогда не будет сделан, отпечатается в его памяти. В тот июньский день они оба впервые ощутили эту необъяснимую связь безусловной любви, какая бывает только между родителями и детьми.

* * *

Выйдя из воды, Сильветта словно не замечала Морица. Он передал Жоэль матери. Какое-то мгновение они с Ясминой стояли друг перед другом, и ни единое слово не нарушило звенящую тишину между ними. Мориц спиной ощущал колючий взгляд Сильветты. Леон еще плавал вдали, он помахал им, и Сильветта направилась к циновкам.

Ясмина и Мориц какое-то время постояли у воды. Когда они вернулись к раскрытому зонту, Сильветта держала в руках удостоверение личности Морица, которое выудила из пиджака Леона. Во взгляде ее горело тожество:

– Виктор Сарфати?

Ясмина и Мориц перестали дышать.

– Это же ваше фото! Леон, ты об этом знал?

Леон, уже выбравшийся из воды, сразу понял, что произошло. Он протянул руку:

– Дай сейчас же сюда! Тебя это не касается!

Сильветта отскочила.

– Вас зовут вовсе не Морис, не так ли? И вы никакой не еврей. Признавайтесь! Кто вы на самом деле?

Леон схватил ее за руку и отнял удостоверение.

– Есть вещи, в которых ты ничего не смыслишь! Это тебе не глазки строить! Одевайся давай! – Он с такой силой сжал запястье жены, что она вскрикнула от боли и ярости.

К машине Сильветта шла на десять шагов впереди всех. Леон отдал Морицу удостоверение и прошептал:

– Надо сделать другое. Виктор слишком известен. Вам потребуется собственное имя. И не удостоверение, а паспорт. С которым вы сможете покинуть страну!

Голос его звучал жестко, почти с угрозой, и Мориц расслышал в этих словах скрытое послание. Под крылом Леона он уже не был в безопасности.

* * *

Сильветта больше не приходила в кинотеатр. Мориц не сомневался, что она что-то замышляет. Что-то такое, с чем ему не совладать. Однажды около полуночи, после окончания последнего сеанса, появился Леон.

– У вас есть фото для паспорта?

– Да.

– Идемте со мной.

Мориц достал две копии снимка, сделанного для удостоверения, и последовал за Леоном вниз.

Они молча ехали по спящему кварталу, верх кабриолета был поднят. Последние бары и рестораны уже запирали двери. Без ночных гуляк *Riscola* Сицилия выглядела пустой, почти опасной. Мориц не решался спросить, как там Сильветта, Леон тоже о ней не упоминал.

Он припарковался на *рю де ль'Авенир*. Они вышли из машины, и Леон постучал в ржавые рольставни. Где-то залаяла собака. Через какое-то время внутри скрежетнул замок, ставни слегка приподнялись. Тусклый свет упал на ноги, размахившиеся шнурки Морица и ослепительно начищенные туфли Леона. Они пригнулись и нырнули внутрь.

– *Shalom*.

Бородатый коротышка, не молодой и не старый, запер ставни, даже не взглянув на лица посетителей. В рукавах поношенного костюма болтались тонкие руки. Он знаком велел им следовать за ним. Леон пропустил Морица вперед, и они пошли через тесную, битком забитую мастерскую. Вдоль стен штабелями громоздились радиоприемники, от пола до потолка, старые и новые, большие и маленькие, сломанные и уже отремонтированные. Одно радио работало, но нельзя было сказать, какое именно, в темноте там и сям светились панели. Через секунду Мориц понял, что бормочут два радио, а не одно: английскую речь сопровождал тихий шансон.

– Это он и есть? – спросил коротышка, ощупывая лицо Морица лихорадочным взглядом.

Отстраненно, но не без симпатии.

– Да, он, – ответил Леон.

– *Shalom*, месье Леви, – поздоровался Мориц, уже сообразив, кто перед ним.

– Вашу фамилию я не хочу знать, – сказал Леви, прежде чем Мориц протянул ему руку. Он отвинтил панель со шкалой на большом радиоприемнике и пробормотал, ни к кому особо не обращаясь: – Ты слышал, британцы опять развернули корабль назад. Хайфа, Яффа, Газа, все закрыто. Называют себя нашими друзьями, но когда есть такие друзья, то и врагов не надо...

Потом сунул руку внутрь радиоприемника и извлек оттуда стопку паспортов. Французские, итальянские, британские... Перебрал, вытянул один. *Regno d'Italia*.

– Вы *fortunato*, что продержались до сих пор.

– Да, – ответил Мориц. Леон предупредил его, чтобы много не говорил.

– Вы были в лагере?

Мориц медлил.

– Нет, – ответил за него Леон. – Он скрывался у друзей, пока явка не провалилась.

Месье Леви взял у Морица один снимок, поднес к глазам, затем подошел к столу, вставил фото в какой-то маленький станок, капнул клеем. Мориц и Леон ждали. Мориц посмотрел на фото. Борода, темная кожа, пропыленные волосы, в глазах будто отблеск солнца.

Незнакомец. *Вы еврей из Триеста, внушал ему Леон, вы говорите шалом, здороваясь, а потом держите язык за зубами. Вы здесь проездом в Палестину.*

– Паспорт вам понадобится только для транзита, – сказал Леви. – В саму страну вы прибудете нелегально. Но вот увидите, британцев там скоро не будет. Как и в Египте, и в Ираке... даже индийцы вышвырнут ее величество, *a mon avis*^[95].

Он порылся в ящике стола, забитом печатями, нашел подходящую.

– Через Палермо?

– Да, – сказал Леон.

– Так-то оно лучше, – пробормотал Леви. – Когда война закончится, я тоже эмигрирую. Французы нас бросили. Голос арабов все громче. И у нас скоро будут наши собственные паспорта.

– Если захотим, это перестанет быть мечтой, – подтвердил Леон.

Леви сунул Морицу паспорт:

– Удачи в Эрец Израэль!

Это название – страны, а не народа – Мориц услышал впервые. Израэль, не Палестина. Этот человек уже дал имя стране, которой нет на карте, *пока* нет. Но произнес это с удивительной естественностью, словно то была не мечта, не возможность, а уже состоявшаяся реальность. Мориц раскрыл паспорт. Морис Сарфати, родился 17 октября 1917 года в Триесте.

– Вы сделали меня старше.

– Мне нравится эта дата. В 1917 году английский министр иностранных дел пообещал нам Эрец Израэль.

Мориц прочитал свое новое имя. Повторил его про себя. Интересно, сколько раз придется повторить его, чтобы он действительно стал Морисом Сарфати. Кто определяет, кем ему быть? Другие или он сам? Кто он – тот, кем считал себя до сих пор, или тот, кем он хочет стать? Идентичность – это выбор и решение. Мысль эта внезапно потрясла его, как когда-то его потрясло открытие, что реальность не фиксируется на пленке, что пленка создает реальность.

На обратном пути они попали под теплый ливень, принесенный с моря. Выбравшись у кинотеатра из машины, Мориц не стал заходить внутрь, а подождал, когда Леон уедет, и долго смотрел на усиливающийся дождь. Пляшущие на асфальте капли, пустой проспект в свете фонарей – он был единственным человеком на всем

свете. Когда дождь утих, он двинулся по мокрым улицам к берегу. Сложенные зонты стояли на песке оловянными солдатиками. Огни бухты поблескивали над темной водой.

Ему отчаянно захотелось сесть на корабль до Палермо, как-нибудь пробиться к границе рейха, там избавиться от фальшивого паспорта и предъявить свое вермахтовское удостоверение. Придется придумать какую-нибудь историю, но это лучше, чем все глубже погружаться в этот омут лжи. Он сыт по горло тайнами, двусмысленными посланиями, а самое главное – несвободой. Оставив все это, он забудет со временем и Ямину, ведь стала же Фанни чужой, – Фанни, по которой он снова тосковал, ибо Фанни была родиной, местом, где он мог быть тем, кто он есть, не играя в прятки, не путаясь в правилах, которых не понимает. Они вместе пойдут в лес, и он вдохнет запахи смолы, еловых веток и мха, они будут купаться в Ванзее и есть черный хлеб с маслом и медом, они снимут квартиру, у них будут соседи, а на двери табличка с их фамилией, с его настоящей фамилией. Он снова будет знать, кто он такой, и никто у него этого не отнимет.

Мориц простоял на берегу до восхода, наслаждаясь невинностью утра. А развернувшись к белым домам, ощутил невыразимое отвращение от того, что впереди снова частокол взглядов, лабиринт вранья, фальшивая жизнь в фальшивом месте. Краски сияли в утреннем солнце – голубизна оконных ставен и желтизна дверей, но не хватало зелени. Если его родине и присущ какой-то цвет, то зеленый. Мориц сунул руку в карман – твердые корочки паспорта, его единственного имущества, пуповина, связывающая с *его* стороной моря.

* * *

А во время вечернего сеанса он испытал шок. Он давно привык к британской хронике, к победным репортажам, улыбчивым английским солдатам, их оптимизму. Но сегодня в хронике было совсем другое. Над Германией летели целые эскадрильи. Мориц видел свой дом сверху – пожар в ночи. Британцы ровняли с землей целые города – *ковровая бомбардировка*. Огненный ковер поглощал женщин и детей. Как мог оператор так спокойно снимать из бомбового люка

разверзающийся под ним ад? Неужели он ничего не чувствовал к людям, которых пожирал огневой вал, которые задыхались в подвалах?

Мориц подумал о Фанни. Бомбардировщики наверняка добрались сейчас и до Берлина. Город, который он так любил, который научил его языку и искусству, тонул в хаосе. Война проиграна, всем уже ясно, это оставалось лишь вопросом времени. И каждый день бессмысленно гибнут тысячи людей. Страна, в которую он мечтал вернуться, больше не была Германией, которую он покинул. Коалиция решила разрушить ее, обратить в пепел. Если Фанни переживет эти ночные бомбардировки, на что они будут жить? Мориц сознательно отказался от своего «я», уверенный, что оно вернется к нему, как только он окажется дома, – как пойманная рыба, оживающая, стоит ее бросить в воду. Но сейчас в нем нарастала убежденность, что человек состоит из того, что его окружает: наши любимые, язык, обволакивающий нас с детства, дом, в котором мы учились ходить, аромат яблочного пирога из кухни и клен в саду, привычном к смене времен года, зимним метелям и летней неге, – все это не пересадить на новое место и не возродить. Родина – обрамление души. Мориц смотрел на экран, как утопающий смотрит на свой тонущий корабль. Ни дна под ногами, ни бревна, ухватиться не за что.

Глава 41

Марсала

Что остается от человека, когда его внутренний мир испарился, а внешний сторел? Все, с чем мы себя идентифицируем, – наше тело, наше имущество, наши отношения – может измениться за один день. То, что мы считаем своей личностью, – возможно, лишь одна из нескольких личностей, живущих в нас и в зависимости от того, куда жизнь нас прибьет, выступающих на свет или ускользящих в тень. Может, нам не следует принимать себя настолько уж всерьез, может, нам и других судить не следует, если и в самом деле только прихоть судьбы отделяет нас от того, чтобы примерить на себя их жизнь вместо той, что мы считаем своей. На самом деле наше «я» – лишь дом из старых историй, который разваливается под натиском первой бури. Но что остается в итоге, кто мы есть в действительности? Может, мы этого никогда не узнаем, потому что каждое новое «я» опять ускользнет, как только мы попытаемся удержать его. И останется лишь вопрос: *кем я стану?*

* * *

Погода переменилась, над морем собирались тяжелые тучи, становилось все холоднее. Порывы ветра оставляли на песке волнистый узор.

Мы с Жоэль, кутаясь в шарфы, идем назад к отелю. Начинает накрапывать дождь. Поздняя осень, только что так походившая на лето, вдруг пахнула зимой. Мы видим, как катер Патриса заходит в гавань. Темнеет уже рано.

Что стоит между мной и той женщиной, которой я могла бы стать? История. Из пережитого возникают чувства, из чувств – мысли, а из мыслей – истории. Несколько раз их повторишь – и привыкаешь к ним, как к старому пуловеру, который ты полюбила, даже в несчастье, потому что это привычное несчастье. Надо научиться ходить по этой

дороге обратным путем. Жить в тайных уголках среди мыслей, где еще ничего не решено, где все еще может пойти иначе.

– Перепиши свою жизнь, – говорит Жоэль. – Моя учительница пения однажды рассказала мне историю, только не спрашивай, правдивую ли. Двое торговцев отправились на чужбину, чтобы продать там обувь. У каждого из них было с собой по чемодану обуви. Один в первый же день позвонил жене в ужасе: «Здесь люди вообще не носят обуви! Никто меня не понимает! Завтра же возвращаюсь!» А второй позвонил жене и сказал: «Представляешь, как повезло, здесь ни у кого нет обуви! Я тут продам тысячи пар!»

Глаза у Жоэль блестят. Я знаю, что она хочет сказать. Одна и та же реальность, но разный угол зрения. Историю Морица можно рассказать как историю предательства любви – версия Фанни. Или как историю государственной измены – версия вермахта. Или как историю нечаянной любви – версия Жоэль. Для самого Морица, возможно, то была история потери. Кто решает, какая из версий в итоге будет принята? Можно написать для человека три биографии, и каждая будет правдива, только это будут биографии трех разных людей. В зависимости от того, что ты опускаешь в истории, ты либо победитель, либо проигравший, счастливчик или неудачник, жертва или преступник.

– История, которую ты мне рассказываешь, – говорит Жоэль, – ужасно скучная, если хочешь знать. *Он меня бросил.* А если рассказать ее так: *наконец-то я свободна и могу жить как хочу?*

– Звучит хорошо, но если честно, то я никогда не хотела той жизни, что у меня сейчас.

– И другой у тебя нет или все-таки припасла в кармане?

– Знаешь, я не думаю, что у меня есть право на счастливую жизнь только потому, что я себе ее навоображала, заказав у мироздания принца. Так не получится.

– Жизнь ни плоха, ни хороша, – говорит Жоэль. – Она просто есть. И ты не должна ее менять. Наоборот. Прими ее такой, какая есть, и просто расскажи свою историю так, как тебе нравится.

* * *

Перед отелем по газону перекачиваются пластиковые стулья. Пальмы кренятся под порывами ветра, хлопает входная дверь. Такое впечатление, что отель сейчас сложится как карточный домик и ветер разнесет его обломки по пляжу.

Мы садимся в зале для завтраков, где никого нет, дождь тяжело барабанит по стеклам. Постепенно из порта подтягиваются остальные жильцы, мокрые и продрогшие. *Водолазам пришлось прерваться*, говорят они. *Надо будет переждать*.

* * *

Патрис принес рыбу, поварихи сегодня нет, у нее что-то там с детьми, но мы и сами можем похозяйничать на кухне. Я наблюдаю за его руками, которые потрошат рыбу, счищают чешую: точные движения, уверенные и такие простые. Мне нравится. Джанни был человек слов, но не действий, каждое решение он взвешивал по сто раз. Эстет, человек-путеводитель, который знает все, тогда как Патрис познает мир на ходу. Для него существует только то, что можно потрогать. Мне нравится его увлеченность вещами, его неотфильтрованное отношение к миру. Он может во что-то влюбиться, во вкус помидоров, принесенных с рынка, или в запах из духовки, а в следующий момент уже увлечен чем-то другим. Сегодня он весь твой, а завтра влюблен в другую. Но всему он отдается без остатка.

– Твое предложение насчет острова еще в силе? – внезапно спрашиваю я. Ошеломив себя даже больше, чем Патрису.

– Завтра катер на приколе. Я свободен.

– А мы сможем в такую погоду переправиться на надувной лодке?

– Нет. Но сможем сесть в восемь часов на «ракету». Если, конечно, не разыграется шторм. Посмотрим утром, да?

– Да.

Как это, оказывается, просто. Он достает рыбу из духовки и ставит противень на стол. Я ловлю себя на желании, чтобы «ракету» завтра отменили. *Mi dispiace, Signora*^[96], так и слышу я слова мужчины в окошечке. *Корабль сегодня не пойдет. С'è mare brutto*^[97]. Но я отгоняю мысль, которая пытается внушить мне эту версию истории еще до того, как та произошла.

Глава 42

Sfortuna

Если уж начал врать, держись этого до конца.

Йозеф Геббельс

Она стояла в дверях.

Жара схлынула, Сильветта за это время ни разу больше не появилась, словно куда-то вдруг исчезла. Леон ни разу не упомянул ее имени, и Мориц надеялся, что она увлеклась новым приключением. Но потом Леон уехал на несколько дней, и однажды вечером, заправляя в проектор пленку для вечернего сеанса, Мориц вдруг почувствовал знакомый запах духов. Он обернулся и увидел в проеме двери Сильветту. На ней было летнее платье и широкополая шляпа, скрывавшая лицо. Что-то в ней изменилось, и Мориц мгновенно ощутил эту перемену. Что-то темное таилось в глазах, поблескивающих из-под полей шляпы.

– *Ça va, Морис?*

Голос прозвучал тихо, чуть ли не хрупко, но твердо.

– *Bonjour, Madame.*

Она стояла, словно ожидая приглашения, что было совсем не в ее характере. Мориц достал из-за проектора стул:

– Пожалуйста, садитесь.

– Спасибо.

Она села, но шляпу не сняла, так что Мориц почти не видел ее лица. Свет лампочки, свисавшей с потолка, падал лишь на губы, покрашенные рубиновой помадой.

– Как ваши дела, Морис?

– Спасибо, хорошо... а ваши, мадам?

Она молчала.

– А как чувствует себя Альберт? – спросила она наконец.

– Говорит, что хорошо, но...

– А-а. – Она кивнула и осмотрелась.

– А как дела у вашего мужа?

– Он уехал.

– Куда?

– Кто его знает.

Что-то в ее тоне насторожило его. Не к добру это. Что ей надо?

– Если вы позволите, я закончу...

– Конечно.

Он заряжал в проектор пленку, чувствуя спиной ее взгляд. Она наблюдала за его пальцами. Когда он снова обернулся, она уже сняла шляпу. Мориц увидел то, что не мог скрыть даже густой макияж. Вероятно, этого она и хотела.

– Что случилось?

– Ничего. Я упала с лестницы. – Она сказала это без выражения, и ложь была очевидна. Сильветта отвернулась.

– Мне очень жаль.

Мориц чувствовал себя виноватым, ведь если это Леон избил ее, то наверняка за тот день на пляже.

– Это уже не впервой, – тихо сказала она. – Вы тут ни при чем, Морис.

Он не знал, что делать, что сказать. Она заметила его смущение, встала и шагнула к нему. Он смог разглядеть следы побоев.

– Сейчас уже гораздо лучше. – Она выдержала его взгляд, отвернулась. Он видел, что она борется со слезами. А у него даже не было платка дать ей. Она резко сказала: – Поэтому я не могла выйти из дома. Знали бы вы, как я выглядела поначалу. Он специально бьет меня по лицу. Он чудовище. Мне не следует вам это говорить, но вы хороший человек, Морис, женщина такое чувствует.

В ее глазах он видел отчаяние.

– Когда он вернется от своей любовницы, то снова запрет меня.

Сильветта сделала еще один шаг к нему. Мориц не двигался, не смея ни обнять ее, ни отступить, она была уже так близко, что запах духов буквально окутывал его. Он задержал дыхание.

– Он мне говорил, ты лучше Пиаф, говорил, в тебе есть стиль. Я вытащу тебя отсюда. Куда там! Он стал ловушкой, Морис, я попала на его приманку, как муха на липучку. На вкус сладко, но если попался, то уже не выбраться. И ты медленно подышаешь. Я хочу обратно в Париж, Морис, и когда уже закончится эта проклятая война! Виктор

сейчас там, он освобождает мой Париж от бошей. Он ненавидит бошей, вы тоже?

Она нежно провела пальцами по его руке.

– Спасите меня, Морис.

Он не знал, что ответить. Она положила голову ему на плечо.

– Дайте мне хоть немного теплоты, больше ничего. Обнимите меня.

Он был неспособен противиться. И медленно обнял ее. Она прильнула к нему, как кошка к чужому, сперва осторожно, потом все плотнее. Ее тело горело. Плоть его проснулась, захватив его врасплох. Сильветта была не просто очень хороша собой, она дурманила, Мориц был одновременно растерян и возбужден. Ее губы уже искали его рот. Он медлил.

– Вы не любите француженок, Морис? – прошептала она ему в ухо.

– Люблю, но...

– *Alors*^[98] чего же вы ждете, Морис? Вы же не женаты, вы свободный мужчина...

Если он сейчас поддастся, а она потом расскажет Леону, он пропал. А если не поддастся, то оскорбит ее и она его выдаст. Что бы он ни сделал, все будет плохо.

– Сильветта, я обручен, – выдавил он.

Она удивилась. И улыбнулась:

– В Триесте? – Она произнесла это с легкой иронией, будто хотела сказать: *да хватит врать-то*. Неужто Леон проговорился, что он немец?

Сильветта воспользовалась его замешательством как щелочкой в двери, обвила руками его затылок и прильнула к нему всем телом.

– Просто притворитесь, Морис, что вы любите меня. Лучше сладкая ложь, чем горькая правда. Обманите меня, *je vous en supplie!*^[99]

Он разучился врать. Все, чему его научили в пропагандистской роте, – переключение акцентов, пустая риторика, напор – все куда-то ушло. И вдруг его пронзила – среди мешанины из чувств – отчетливая мысль: он не может ее поцеловать не из-за Леона и не из-за Фанни в Берлине, нет, – из-за той единственной, кто для него важен,

из-за Ясины. Губы Сильветты коснулись его. Нежные, манящие, ненасытные.

Он оттолкнул ее.

Сильветта испуганно замерла. Открыла глаза – непонимающие, будто спросонья.

– Простите меня...

И тогда она поняла. Должно быть, прочитала в его глазах.

– Нет у вас никакой невесты. Это все из-за Ясины.

Наполовину утверждение, наполовину вопрос. Может, он еще мог в тот момент отговориться. Но он молчал. И теперь она знала наверняка. Она пошатнулась, точно раненый зверь, но тут же совладала с собой.

– На что она вам? Эта девка вам не ровня.

– Сильветта, я...

– Вам ее просто жаль? Женщина без чести, лгунья, и все это терпят только из уважения к доктору Сарфати! Еще неизвестно, какой шалопай залез к ней под юбку.

Мориц шагнул к ней, желая заставить ее замолчать.

– Ясина вас заколдовала, – прошипела Сильветта. – Как и Виктора. Вы больше не мужчина.

Мориц вздрогнул. Она холодно смотрела на него. Презрительная улыбка искривила губы.

– Она принесет вам *sfortuna*. Ясина – неудачница, завистливая и жадная, она всем мужчинам приносит беду – брату, отцу... Сарфати все для нее сделали, но в ее жилах течет кровь *indigènes*^[100], а эти всегда были такие же, как и арабы, хитрые и коварные! Вы слишком наивны, Морис, это вас до добра не доведет.

Сильветта схватила шляпу и развернулась к двери.

– Пойдите, Сильветта!

– Не ходите за мной. Больше не заговаривайте со мной. Никогда.

Она хлопнула дверью. Мориц уже предвидел беду. *За мою жену не беспокойтесь*, сказал Леон. *У меня все под контролем*. Но нет ничего опаснее гордой женщины, любовь которой отвергли.

Мориц никому не рассказал о случившемся. Как ни поворачивай, он будет выглядеть в дурном свете, а Ясмينا окажется оскорблена. И тлеющая ненависть между двумя этими женщинами лишь усилится. Только один человек способен расставить все по местам – Виктор. Как всегда, все вертелось вокруг него – даже когда он отсутствовал, даже когда его, может, и в живых-то нет. Несколько дней спустя вернулся Леон, и казалось, что все по-прежнему – он ни словом не обмолвился о жене. Но затишье было обманчиво, как мгновения перед песчаной бурей, когда воздух словно задерживает дыхание и кожей ощущаешь электрические искры, прямо перед наступлением ада.

* * *

В конце августа праздновали освобождение Парижа, а в сентябре – Йом Кипур. Чем дальше коалиция продвигалась к Германии, тем лучше было настроение. Леон собрал гостей у себя на прибрежной вилле.

– Разумеется, и вы приглашены, Морис. Ничего не опасайтесь, будут только свои, Сарфати тоже придут. И повяжите галстук, это большой праздник!

Списком гостей наверняка занималась Сильветта. Только женщины решают, кого позвать, кого обойти приглашением. У Морица были дурные предчувствия. Что она там замышляет?

Закатное солнце затопило бухту почти нереальным пурпурным светом. Ласточки летали высоко, облака словно светились, легкий вечерний ветер шелестел в кронах эвкалиптов. Вилла Леона располагалась прямо на берегу, в открытых окнах шумел прибой – так близко, будто стоишь в воде. Все на вилле указывало на то, что родной дом хозяев находится по другую сторону моря, – парижские афиши в стиле ар-нуво, кресла с обивкой из зеленого бархата, золотая люстра, французские журналы на столике у дивана с фотографиями белокурой красотки в кафе. У патефона – пластинки Мориса Шевалье и Эдит Пиаф.

Мориц вышел на террасу и вбирал глазами потрясающий вид на Тунисский залив. Его жизнь была бесстыдно легка и прекрасна, в то время как Бремен, Дармштадт и Штутгарт гибли под бомбами.

Сильветта вынесла на веранду лимонад и миндальное печенье. Она улыбалась, как будто между ними не произошло ничего особенного, – прекрасная хозяйка рядом со своим мужем. Она не сказала Морицу ни слова, но была приветлива с Альбертом и Мими и исключительно мила с Ясминой и маленькой Жоэль.

Ясмина с трудом скрывала неприязнь к Сильветте. Она не позволила ей взять ребенка на руки и села на другой стороне большого стола. На таких многолюдных сборищах, где все, кроме нее, владели искусством светской беседы, Ясмина неизменно уходила в себя. Мориц незаметно наблюдал за ней. Леон со всеми чокался анисовкой.

– *Amici! À la victoire!*

Здесь – не то что у Сарфати – были только еврейские гости, в том числе рабби Якоб. То ли таково было решение хозяев, то ли времена изменились, Мориц не мог сказать. В синагогу они его с собой не брали, чтобы не вызывать пересудов о его связи с Ясминой. Для узкого круга друзей он продолжал быть Морисом, беглым евреем из Триеста. Сильветта поставила пластинку.

Aman aman yalmani.

Любимая песня Ясины. Немецкий солдат и женщина, которую он оставил. Мориц вздрогнул. Сильветта метнула в его сторону короткий взгляд, который он не смог истолковать. Ясмина не подозревала ничего дурного, пока Сильветта не спросила, обращаясь ко всем гостям:

– А вы знаете, что эта песня основана на реальной истории?

– Немецкий солдат и туниска? Нет!

– Говорят, певица путалась с бошем! Так возникла эта песня.

– *Che vergogna!* Какой позор!

– Она мусульманка. И она не единственная, даже иные француженки не могли устоять!

– Но хотя бы не еврейки?

– Нет, избави Бог!

– В центральных кварталах можно услышать много таких историй. Одна якобы даже родила ребенка!

– Пусть Господь принесет ей *sfortuna!*

Ясмина бросила взгляд на Морица, как бы спрашивая: что это значит? Что известно Сильветте? Мориц сидел как парализованный.

– А кто, собственно, эта певица? Откуда она вдруг взялась? Может, она коллаборационистка, как Пиаф?

Тут вмешался рабби:

– Прекратите возводить напраслину на других людей. Вы сможете сделать это и завтра, а сегодня у нас день, когда надо раскаиваться в собственных ошибках!

В Йом Кипур, судный день раскаяния и примирения, каждому следовало заглянуть в себя и осознать свои ошибки, чтобы в будущем исправить их. В еврейских семьях для каждой женщины резали курицу, а для каждого мужчины – петуха, включая всех детей. Этой ритуальной жертвой символически убивали собственные грехи. Для очищения души следовало двадцать пять часов поститься. Мориц тоже постился, чтобы никто не увидел его жующим. И благодаря голоду компания переключилась на еду, тему безобидную, которая не иссякала весь вечер.

Повариха, пожилая местная еврейка, подала на стол роскошные блюда: *stoufadou*, рагу из куриной печени с луком, петрушкой и помидорами, а к нему куриный суп с сельдереем и куркумой, а также жареные куриные бедрашки с зеленым горошком, чесноком и корицей. На десерт был *bouscoutou*, апельсиновый пирог с вареньем из айвы, и ликер из фиников.

Сильветта ни разу не взглянула на Морица. Когда мужчины за столом курили сигареты, Мориц вышел на террасу глотнуть свежего воздуха. Прибой нежно накатывал на песок. Белая полоска на темном фоне моря – это ложился свет из окон. Звенели цикады. Он заметил ее еще до того, как обернулся. Сильветта шагнула из-за портьеры. Белое платье колыхалось от ночного ветерка, бокал в руке. Она была пьяна, но сохраняла самообладание.

– Наслаждаетесь теплым климатом? Такой только на Средиземном море.

Встав рядом с ним у перил, Сильветта смотрела в море. Потом повернулась к нему. Но смотрела мимо него, на освещенный салон, где сидели Леон и гости.

– Извините меня. Забудьте все, что я говорила. Я была не в себе. Вы *uomo onesto*. Порядочный человек.

От Морица не ускользнула легкая ирония.

– Я не сержусь, мадам. Я только прошу вас...

– Не беспокойтесь, я никому не скажу. Виктор бы мне этого не простил. В конце концов, ведь вам он обязан жизнью. Веселитесь пока... Морис.

Она отвернулась и ушла в дом. Лишь на одно мгновение Мориц почувствовал облегчение, но тут же осознал укол в ее словах. В том, как она произнесла это «Морис». В невидимых кавычках. Она знала, что он немец. Должно быть, вытянула из Леона. И сказанное означало вполне определенное: берегись, *альмани*, ты у меня в руках! С моря повеяло холодным ветром.

* * *

Позднее, когда гости начали расходиться, Ясмينا пошла наверх в спальню. Жоэль мирно лежала на царственном супружеском ложе, где мать уложила ее спать. В комнате было темно, лишь луна светила в высокие окна, выходящие к морю. Ясмине это напомнило комнаты в «Мажестике». Французский флер, роскошный и немного фривольный, – она представила на этой кровати Сильветту, и тут же ей стало стыдно, будто она проникла на запретную территорию. Когда она взяла на руки Жоэль, в спальню вошла Сильветта. Она прикрыла за собой дверь. Сердце у Ясмины забилося быстрее.

– Я хочу перед тобой извиниться, – сказала Сильветта. – Сегодня ведь Йом Кипур как-никак, верно?

Ясмина растерянно смотрела на нее:

– За что извиниться?

– А ты заметила, как сегодня все говорили о Викторе? Все его любят.

Она замолчала, чтобы насладиться замешательством Ясмины.

– Я вам всегда, признаться честно, немного завидовала. Детство, которое ничто не заменит, не так ли? Старший брат, лучший друг... у меня этого не было. Хорошо, у меня было другое – свобода...

– Сильветта, меня ждут родители.

Сильветта стояла, заграживая собой дверь, будто не услышала этих слов.

– Может, я слишком поздно с ним познакомилась. Но я не люблю робких мальчиков, я люблю мужчин с опытом. Так или иначе, все

теперь прошло, и я хотела перед тобой извиниться. Я ревновала.

Ясмина не знала, что и ответить.

– Спасибо, Сильветта...

– Это было глупо, Ясмина. И совершенно излишне. Виктор ведь сам мне сказал: «Сильветта, отбрось эти детские мысли! Я хорошо отношусь к Ясмине, мне жаль ее, ты должна понимать, вспомни про ее происхождение. Но я не люблю ее. Я говорю об этом только тебе, Сильветта, в семье я ни с кем не могу поделиться, а она привязана ко мне как собачонка. Я стараюсь быть к ней добрым, да, но на самом деле я ее презираю».

Ясмина почувствовала, как земля уходит у нее из-под ног. Она прижала Жоэль к груди. Та спала, к тому же не понимает пока ничего, но как Сильветта может говорить все это при малышке?

– Он много чего еще сказал, но я лучше промолчу. Но теперь ты мать, *сахалейк*, поздравляю, ты стала взрослой!

Сильветта чмокнула Жоэль в щеку и открыла дверь. Ясмина смотрела на нее, оцепенев.

– Я знаю, это больно, – тихо произнесла Сильветта. – Люди лгут, щадя друг друга. Но нет ничего более освобождающего, чем правда, не так ли?

Ясмина выскочила из спальни, сбежала по лестнице, будто за ней гнались демоны, глаза застилала слезы. Не дожидаясь изумленных родителей, она понеслась домой.

– Что случилось? – спросил Альберт.

– Я не знаю, – ответила Сильветта. – Может, вы знаете, Морис?

* * *

К такому унижению Ясмина оказалась неготовой. Она терпела шепотки соседей, придирки матери и даже оскорбления Сильветты. Все это не могло поколебать ее веру в Виктора. Но предательство самого Виктора – одна лишь мысль об этом выбивала у нее почву из-под ног. Не может такого быть, уговаривала она себя, Сильветта наврала, она всегда была подлой. Ясмина тешила себя фантазиями, как вернется Виктор, как они, держась за руки, пойдут к Сильветте и он потребует от нее извинений. Но сама мысль, что Виктор мог такое

сказать, – даже если Сильветта искадила его слова, даже если это все наполовину ложь, даже если правда лишь в самой малости, – это было предательство, которое нельзя постичь.

Когда нас покидает любимый человек, остается ужасная пустота, и самое худшее – не одиночество, не нехватка ушедшего, а избыток самого себя; мы пытаемся заполнить пустоту воображаемыми диалогами, фантазиями и самым коварным – объяснениями. *Почему он покинул меня?* В душе каждого из нас есть темный уголок, где оседают эти объяснения, нарывают, точно гнойник, уродливым ростком пробиваются из грязи, это гидра, которой ты отсекаешь одну голову, а на ее месте тут же отрастают две новые. Бывают люди, например Виктор, которые способны утаивать такие темные уголки ото всех, даже от самих себя, но в Ясмине эта тьма открылась бездонной пропастью, зияющей раной самообвинений. *Вспомни про ее происхождение. Она привязана ко мне как собачонка.* Как же она, должно быть, надоела ему своей любовью, которая была столь огромна, что ни один человек не смог бы ответить равной любовью! Иначе он бы уже давно вернулся.

Отравленные слова Сильветты преследовали ее даже во сне. *Мне ее жаль. Но я не люблю ее. На самом деле я презираю ее.* Действительно ли он все это сказал, уже не имело значения. Ясмине отбивалась от этих слов, как отбиваются от роя мошкеры, отчаянно отмахиваясь, но все было тщетно. Яд уже проник в кровь. И только Виктор мог дать ей противоядие. Но само его отсутствие – разве не лучшее доказательство того, что Сильветта сказала правду?

* * *

Она больше не спала, не ела, не выходила из дома. И никто не знал почему. Даже Альберт не мог к ней пробиться. Он предполагал, что она заболела, но ни с чем не мог соотнести симптомы. Мими пускала в ход угрозы, ласку, но отступилась. Они спрашивали Морица, но и тот не знал ни причины, ни средства против зловещего яда, пожирившего Ясмину изнутри. Увидев ее, исхудавшую и бледную, привидение с младенцем на руках, он испугался.

– Могу я для вас что-то сделать? – спросил он.

– Нет, – сказала она и, убедившись, что родители не могут ее слышать, шепнула ему на ухо: – Приведите Виктора.

– Да, но как?

– Вы его ангел-хранитель. Вы сможете его найти. Умоляю вас.

Когда Мими вынесла из кухни блюдо с маникотти, Ясмينا уже скрылась в своей комнате, в своем молчании, в себе самой. Есть люди, у которых в душе имеется собственный колодец, откуда они пьют, оставшись наедине с собой, чтобы потом выйти на люди посвежевшими. Но в душе Ясмины была трещина, через которую утекала влага жизни, тихо и незаметно. И поскольку никто не видел этого, никто и не мог ей помочь. Она иссыхала. Прежде ее поддерживала любовь Виктора, теперь же в ней клокотала всеразрушающая ненависть. Ненависть к Сильветте, которая ввергла ее в несчастье, ненависть к Виктору, который бросил ее одну в этом несчастье, и ненависть к себе самой, потому что она не способна выбраться из этого водоворота.

Единственной, кого она хотела видеть рядом с собой круглосуточно, ни на секунду не упускала из поля зрения, кого она всячески ограждала от Мими, была Жоэль. Когда ночами они вместе лежали в постели, Ясмина пела малышке шансоны Виктора. *Mon légionnaire* Эдит Пиаф, которую он ставил очень высоко – пока та не поехала с немцами в Берлин.

Je ne sais pas son nom, je ne sais rien de lui.

Il m'a aimée toute la nuit... [\[101\]](#)

Жоэль любила эти французские песенки. Она не засыпала без них и всегда, как только песня заканчивалась, требовала новую. И чем печальнее, тем лучше. На грустных она улыбалась, а на веселых скучала. Возможно, когда Ясмина пела грустную песню, Жоэль чувствовала ее сильнее. Ясмينا сооружала для них обеих убежище из простыни, и свет ночника становился далеким солнцем, пробивавшимся сквозь простыню, точно сквозь пелену тумана.

Bonheur perdu, bonheur enfui,

Toujours je pense à cette nuit [\[102\]](#).

Мы должны быть сильными, шептала Ясмينا, никому не верь, кроме твоей матери, слышишь, *amore?* Там, снаружи, есть люди, которые нас не любят, они желают нам зла, но я не допущу этого! Ты будешь счастливым ребенком, всегда с мамой и с папой. Он вернется, поверь мне, он нас защитит от этих людей, он увезет нас отсюда далеко-далеко, в красивое место, где нам ничто не будет угрожать!

*Je rêvais pourtant que le destin
Me ramènerait un bon matin
Mon légionnaire*^[103].

Он замечательный, чудесный человек, твой папа, вот он на этом фото. А здесь – тут мы были еще маленькие, видишь? Если бы ты только слышала его голос! Они так и не записали его на пластинку, это глупо с их стороны, они думали, что он будет жить вечно. Но не бойся, он вернется. Бабушка молится, но молитвы не помогают. Вернуть человека может только любовь. Мы должны о нем думать, так сильно думать, чтобы его сердце почувствовало, потому что наши сердца связаны, они через море бьются в унисон!

*Qu'on s'en irait seuls tous les deux
Dans quelque pays merveilleux
Plein de lumière!*^[104]

Хуже всего были дождливые ночи. Когда Жоэль давно уже спала и тяжелые капли стучали по оконному стеклу, в душе Ясмины поднимался страх. В темноте ей опять мерещились привидения из сиротского дома, которых она уже давно, казалось, победила. А ведь теперь ей нельзя бояться. Она уже не ребенок, а мать и должна отгонять страхи от Жоэль! В такие ночи ей недоставало Виктора с такой остротой, что все ее тело ныло от боли. Однажды она не выдержала, оставила спящую Жоэль, надела поверх ночной рубашки длинное пальто и побежала под дождем по пустым улицам к

кинотеатру, поднялась в каморку Морица, который еще не спал и испугался, увидев ее с мокрыми волосами.

– Ясмина?

Она шагнула к нему, дрожа от холода, встала так близко, что он чувствовал ее дыхание. Он снял с нее мокрое пальто и повесил сушиться на стул.

– Что случилось?

– Держите меня крепко. Пожалуйста.

Она стояла перед ним и ждала, пока он не сделал к ней шаг и не обнял ее. Она закрыла глаза и приникла к его теплой груди.

Это было все. Он держал ее.

Не больше, но и не меньше.

И он не отпустил ее, когда она хотела уйти, она рассказала ему все. Про слова Сильветты и про пустоту, что поселилась в ней. Мориц был потрясен и разгневан.

– Завтра же пойду к ней и...

– Нет, ни в коем случае!

– Но это же подло. Это же...

Он хотел ей сказать, что это неправда. Что Виктор ее любил. Но понял, что сам не очень в том убежден.

– А вы бы обрадовались, если бы это была правда, – неожиданно жестко сказала Ясмина.

– Но... нет, почему?

Она пристально смотрела на него.

– Вы обрадовались бы, если бы его не было в живых. Вам не стыдно?

– Но, Ясмина, как вы можете такое...

– Все ведь болтают о нас. Все.

Мориц испугался. Того, как воинственно и внезапно она опустила забрало. Вместо того чтобы сделать то же самое, он отступил.

– Но... я, нет, Ясмина, вы так не думаете.

– То есть вы ничего не чувствуете, когда видите меня?

– Я бы никогда...

Глаза ее сузились:

– Почему у вас нет подруги? Здесь так много красивых женщин. А вы прячетесь в своей норе. Даже Сильветту не захотели. У вас холодное сердце, Морис.

Она повернулась, чтобы уйти. Он схватил ее за плечи:

– Погодите.

Она замерла. В глазах стояли слезы. Она дрожала.

– Простите меня, – пристыженно сказала Ясмина. – Иногда я и сама хочу, чтобы он умер. Чтобы закончилась эта неизвестность. Нет ничего хуже. Вдовы могут горевать, жены могут радоваться. А я словно тень. Вам следует держаться подальше от меня. Отпустите меня. Я не принесу вам счастья.

– Ясмина... – Он не мог ничего сказать. Но нежно привлек ее к себе.

Ее тело напряглось, но тут же Ясмина поняла, что это лишь теплое объятие, и она расслабилась, как взбаламученное море, над которым вдруг улегся ветер. Она слышала стук его сердца, но тело его ни о чем не говорило.

– Морис, вы слишком хороши для любви.

– Что вы имеете в виду?

– Вы приличный человек. Но любовь неприлична. Она сжирает сердце, она алчная, бесстыжая и лютая. Вам все это не нужно, и когда закончится война, вы вернетесь в свой упорядоченный мир к вашей верной женщине. Но разве можно любить, не сойдя при этом с ума? Кто ценит в любви только ее светлую сторону, наверное, проживет спокойную жизнь, но она будет монотонной, как год без смены времен. Кто не познал темную сторону любви, тот никогда по-настоящему не жил.

– Упорядоченного мира больше нет, Ясмина. Если я и вернусь, то в пустыню, усыпанную обломками. В развалины. – К Морицу возвращались слова. Нужно было лишь говорить то, что думаешь. – И неизвестно, жива ли Фанни. А может, она нашла себе другого. Да и помнит ли она меня. Любовь не живет долго. Как бы красиво она ни называлась, она скоротечна. Для всех нас главное – выжить. И о счастье можем говорить лишь после того, как нам это удастся.

Ясмина отстранилась и посмотрела ему в глаза. И потом произнесла слова, смутившие его:

– Вы пытаетесь стать меньше, чем вы есть, Морис.

И, не сказав больше ни слова, она взяла пальто и ушла. Мориц пребывал в странном состоянии – будто через его каморку пронесся ураган. Вся его тренированная глухота исчезла, уступив место

сбивающей с ног уверенности: он любит ее. Но что толку от любви, которой отказано в жизни?

Он должен был найти выход из своей невидимости.

* * *

На следующее утро Мориц отправился к Сильветте. Он не мог допустить, чтобы Ясмина страдала. Его переполняла ярость, какой он никогда не испытывал, такая неукротимая и мощная, что его плащ невидимки того и гляди мог взорваться. Кабриолета Леона у виллы не было. Эвкалипты шумели на холодном осеннем ветру. Мориц поднялся к двери. Взялся за тяжелое железное кольцо и постучал. Сильветта, должно быть, заметила его из окна, потому что не удивилась, открыв дверь.

– Морис. Вы? Здесь?

На ней было прозрачное белье, поверх – пеньюар, который она запахла.

– Добрый день, мадам. Можно войти?

Сильветта открыла дверь чуть пошире, удостоверилась, что никто из соседей не видит, и отступила в сторону, впуская Морица.

– Если бы Леон знал, что вы придете...

– Пожалуйста, уделите мне минуту, мадам, и я тотчас уйду.

И тут, прямо посреди салона Сильветты, которая даже не предложила ему сесть, он почувствовал себя ужасно... видимым. Искусство невидимости держалось на том, чтобы изгнать все желания, кроме одного – исчезнуть. От людей ему было нужно одного – чтобы они его не замечали. Но если ты желаешь чего-то еще, тебе нужно выйти, нужно показаться.

– Что случилось, Морис? Вам плохо?

– Нет, нет, я... – В горле у него пересохло. Он откашлялся. – Я хотел бы вас попросить кое о чем.

– Да?

– То, что вы сказали Ясмине. Я знаю, что это неправда.

Лицо Сильветты обратилось в маску ожесточенности.

– Это ее очень ранило. Пожалуйста, скажите ей, что это неправда.

Губы Сильветты растянулись в насмешливой улыбке, глаза остались холодными. Мраморный сфинкс.

– Вы влюблены в Ямину!

Мориц пытался отыскать слова возражения, спрятать в защитный панцирь чувства, которые не должен был никто видеть.

– Вы были со мной нелюбезны, Морис, – произнесла Сильветта. – И если я захочу, вы завтра же окажетесь в британской тюрьме. Но я никогда не поступлю так – из-за Виктора. Вам не понять, что он значит для меня. Он меня распознал. Он поверил в меня. Он вселил в меня мужество!

В ее глазах что-то вспыхнуло и тут же снова погасло.

– Вечером накануне своего исчезновения он приходил ко мне, пока Леон праздновал его возвращение в доме Сарфати. – Она хмыкнула. – Мы любили друг друга. Женщина чувствует, хочет мужчина ее тела или его притягивает ее душа.

Мориц вспомнил, как Виктор вернулся домой пьяный. И какого черта она распинается о душе и о любви?

– Ямину и Виктора разделяю вовсе не я. И не табу. Он просто ее не любит. *C'est tout.*

– Почему вам это знать?

– А вам он не рассказывал?

– Нет.

Она искала в его глазах растерянность, страх. Но он выдержал ее взгляд.

– Скажите мне только, Морис... Ребенок Ямины – ваш?

– Нет.

– Вы лжете, Морис. Все об этом догадываются. Все судачат. Вы появились тогда же, когда она забеременела.

– Нет. Мне ли не знать.

Его спокойствие сбило Сильветту с толку.

– Ах, откуда же такая уверенность? Вы знаете, кто отец?

– Да. – В то же мгновение он пожалел об этом. Но слова что пули. Нажал на спуск – и назад уже не вернешь.

Сильветта уставилась на него. Челюсть у нее начала подрагивать. Она отвернулась в поисках опоры.

– Отец – он?

– Нет, – быстро ответил Мориц. Слишком поспешно.

Сильветта добрела до дивана, оперлась о спинку, села.

– Вы не умеете врать, Морис.

Мориц увидел, как в ней все рушится. У него перехватило горло.

– У вас слишком мягкое сердце.

– Я...

– *Au revoir*, Морис, – сказала она тихо, но твердо.

– Мадам, вы не можете...

– Подите прочь! – крикнула она так резко, что у Морица кровь застыла в жилах.

– Я вас прошу...

Сильветта встала и вытолкала его за дверь. Без гнева, но ненавидяще. Начни он сопротивляться, она бы подняла крик, на который сбежались бы соседи. И никто бы ему не поверил. Ему бы пришел конец. Дверь выплюнула его и с шумом захлопнулась. Он знал, что никогда больше не переступит порог этого дома.

* * *

Мориц пошатывался, словно контуженный. Как он мог быть настолько глуп, что добровольно пошел в логово змеи? Как он мог надеяться, что сможет все уладить? Вместо этого он сделал все только хуже. Ему не следовало вмешиваться в жизнь других людей, не надо было снимать плащ безразличия. И тогда бы он давно уже был среди своих, не запутался бы в дебрях чужеземцев и в их вранье. Когда он мог прятаться за камерой, он никому не лгал. Конечно, отснятые кадры были ложью, но в этом не было ничего личного. Необходимость лжи возникла, лишь когда он пожалел другого человека, выступил из тени и обозначил свою позицию. И только потому, что его сердце билось для Ясины, он подставил Сильветте лоб, вместо того чтобы дать делу идти своим ходом. Вступаясь за кого-то в коррумпированном мире, ты вынужден врать ради него. И ложь подставляет тебя под удар так же, как и правда. Единственный путь избежать этого – ни за кого и ни за что не вступаться. Но через этот порог он давно перешагнул, слишком глубоко погряз во лжи других, чтобы выбраться оттуда. И Сильветта права: у него слишком мягкое сердце. Она видела его ложь насквозь,

потому что лжец из него был никудышный. Только у бесчувственных все получается.

Что же теперь предпримет Сильветта, зная столь сокрушительную правду? Как далеко она пойдет, чтобы удержать Виктора? Или она бросит его наконец?

Но гораздо сильнее пугала его не Сильветта, а то, что ему придется врать Ясмине. Нельзя допустить, чтобы она узнала, что это он выдал ее тайну. Ее злейшему врагу. Она никогда ему такого не простит.

Но Ясмина, похоже, уже почуяла неладное, как звери чуют землетрясение задолго до его начала.

* * *

Ясмина его избегала. Мориц тайком шел за Ясминой до рынка, сам не свой от лихорадочного беспокойства. Он хотел ее предостеречь, но не знал, как сделать это, не раскрыв своего предательства. Она толкала перед собой коляску с Жоэль. Мориц обогнал ее и притворился, будто они встретились случайно. Его окатило беспримесной радостью. И тем больше задела ее холодность. Ясмина делала вид, будто их последней встречи не было. Почему она замкнулась именно сейчас, когда он выступил из своей невидимости? Может, она не хочет, чтобы их видели вместе? Или он только навоображал, будто она чувствует то же, что и он?

Мориц был слишком неопытен в любви и не понимал, что замкнулась Ясмина как раз *из-за* своих чувств к нему. Он, правда, догадывался, что это связано с ядовитыми словами Сильветты, которые разъедали Ясмине сердце, но самая глубокая ее тайна – тот несчастный ребенок, что прятался в ее душе, считал себя недостойным любви, – была для него недоступна. Ясмина покатила коляску прочь от рыночных ларьков, к набережной. Он шел рядом, изнемогая от желания быть к ней ближе.

– Что бы ни случилось, – тихо, но решительно сказала Ясмина, – и что бы ни говорили люди, вы никогда не должны рассказывать, кто отец Жоэль. Никогда!

Мориц глянул на Жоэль, которая улыбалась ему из коляски. Первый год ее жизни пролетел так быстро. Как лето. На пляже, по-декабрьски пустом, ветер взметал вверх песок.

– Обещаю.

– Поклянитесь.

– Клянусь.

Он возненавидел себя в тот же момент, как слова эти сорвались у него с губ. Насколько правда открывает сердца, настолько же ложь закрывает их на запор.

– *Au revoir*, Морис.

Ясмина повернула на рю де ля Пост. Мориц отстал. Теперь он понимал ее слова о темной стороне любви. Мы стремимся к свету, а нас отбрасывает назад в ночь, из которой мы пришли.

Глава 43

Зима тянулась бесконечно долго. Под штормовыми ливнями, налетавшими с серого моря, пальмы тряслись, точно мокрые кошки. Ясмина и Сильветта не покидали своих нор, как два подраненных зверя. Мориц задавался вопросом, у кого из них раньше сдадут нервы и одна примется мстить другой.

– Я лучше умру, – сказала Ясмина, – чем заговорю с ней. Простить это нельзя. И вы не должны этого делать. Если встретите ее случайно, будьте приветливы, но ваше сердце пусть молчит. Мечь – это блюдо, которое готовят на огне, но подают холодным.

Мориц физически был с ней, но душа его не находилась ни тут ни там. Долгие послеобеденные часы он сидел рядом с Альбертом перед радиоприемником, погруженный в гнетущее молчание. На улице он больше не боялся, что его остановят, – одна-две мимолетные проверки документов, только и всего. Казалось, мир его уже давно забыл, все глаза были устремлены в сторону Германии, где все туже стягивалась петля. С южного берега Средиземного моря было видно, как чудовище извивается, встает на дыбы, как оно не желает издыхать. Берлин лежал в руинах. Кто мог там выжить?

Рождество тогда выдалось особенно странным. Мориц стоял на ступенях церкви *Piccola* Сицилии и слушал сквозь закрытые двери пение.

*O sanctissima, o piissima
dulcis Virgo Maria!*^[105]

Та же мелодия, что и у хорала «О веселое, о блаженное, милосердное Рождество». Она влекла его внутрь, но он не смел войти, боясь, что его заметят. Его знают как еврея, чего бы ему искать в церкви? Ветер гонял по площади пыль и листву, солнце, тучи и дождь сменяли друг друга, сияющий свет и темные тени.

*Mater amata, intemerata
Ora, ora pro nobis.*^[106]

Мориц думал о Фанни. Где она сейчас? Жива ли? Узнала бы его, если бы они встретились?

Он сел на мокрые ступени, закрыл глаза и молился, не складывая ладоней, – впервые за долгое время, немая мольба из глубины души, к любому Богу, только бы Фанни была жива. Он затерялся между мирами, и если бы он смог ее увидеть, прикоснуться к ней, вдохнуть ее, он наконец узнал бы, к какому миру принадлежит.

* * *

А в конце весны все резко закончилось. В его фильмах победа всегда сопровождалась громом литавр. Героика триумфа. А тут вдруг просто тишина. Невероятная тишина. Мертвая.

C'est fini – пестрели заголовками утренние газеты. А люди как обычно шли на работу, в школу, на рынок. Морицу, стоявшему перед кинотеатром, хотелось заорать на весь проспект де Картаж: *Вы слышите? Война закончилась!*

И вдруг прозвучал первый крик. Мориц не видел женщину, ее ликующий голос несся из боковой улочки. Ей ответили, от стены дома отразился эхом и третий голос, и переливчатые высокие крики вырвались на проспект. Никто ничего не организовывал, люди просто выбегали из своих домов и начинали петь. Присоединились мужчины, запели арабскую песню, прихлопывая в такт, пустились в пляс. В мгновение ока вся *Riscola* Сицилия обратилась в огромную свадьбу.

Мориц пробирался сквозь танцующую толпу к дому Сарфати. Мими и Ясмина стояли перед домом и пели вместе с соседями – тут были и евреи, и мусульмане, и христиане. Даже бывшие сторонники Муссолини вздохнули с облегчением: кошмар наконец-то закончился. Сегодня весь мир стал един. За исключением Германии. Как там Фанни? А ее родители? Его отец? Мориц думал и о своих товарищах, о бессмысленности их жертв. О миллионах убитых.

Ясмина схватила его за руку, вырывая из мыслей.

– *Vai, su*, Морис, танцуйте! Чего вы стоите?

На ней было легкое платье в цветочек, она накрашила губы и подвела глаза, как будто ждала, что уже сегодня объявится Виктор, улыбаясь, скинет военный китель и обнимет ее. Нежное тело, ставшее теперь таким легким, невесомым. Она действительно верила в это – ведь что бы ни происходило, ее любовь к нему осталась прежней, и лишь ее любовь решала, быть ли ему живым. И только одна трещина имелась в сердце Ясины – мучительное сомнение, так ли сильна и его любовь.

Мориц сделал несколько шагов в танце. Он казался себе ужасно неуклюжим. Словно контуженным. Одна тень, лишенная тела. Ясмина отпустила его руку и бросилась в гущу танцующих. Из дома вышел Альберт, удивленный, заторможенный, он щурился на свет, словно крот.

– Альберт! *Vieni!*^[107] – Мими потянула его в круг женщин.

Он слегка спотыкался, придерживал очки, но все же танцевал, с каждым шагом стряхивая с себя скованность, которой было поражено его тело всю долгую, холодную зиму, какой была эта война, и стал на короткое время снова молодым и оживленным, почти как раньше.

– Морис, танцуйте! – крикнула Мими. – Разве вы не рады?

– Рад, еще как. Больше, чем вы думаете.

Мориц двигался как оглоушенный – наполовину внутри себя, наполовину в набухающем вихре радости, окруженный пением женщин и хлопками мужчин. Он не понимал, что они поют, должно быть, по-арабски; кто-то нечаянно ткнул его в бок – танцующие про него забыли, как будто он снова был невидим, у него закружилась голова, пот выступил на лбу, колени ослабели. Слишком долго он не жил.

Бормоча извинения, он ушел в дом, укрываясь от взглядов. В гостиной было прохладно. Обессилевший до самого нутра, он опустился на мягкий диван, закрыл глаза. В нем что-то задрожало, что-то судорожно сжалось, отряхнулось и высвободилось, и он тихо заплакал, но вскоре рыдания сотрясали уже все его тело, он задышался во всхлипах. Вошел Альберт, сел рядом. Морицу было стыдно, но он не мог остановиться. Альберт молчал. Мориц почувствовал теплую ладонь у себя на плече, открыл глаза и увидел добрую улыбку Альберта. Его до времени состарившееся лицо.

– У вас получилось. Вы остались в живых, – сказал Альберт.

Да, он выжил. И он свободен. Но какой ценой.

А Виктор? – подумал Мориц, но вслух не сказал. Альберт, казалось, разгадал его мысли.

– Вы больше не в ответе за Виктора. И я тоже.

Если он не вернется, все было напрасно.

– Вы сможете его простить, Альберт?

В этот момент приковыляла Жоэль. Начала она ходить совсем недавно и сейчас направилась к мужчинам, улыбаясь обоим. Искренняя, невинная улыбка ребенка на краю пропасти. Мориц протянул девочке руку. Ее маленькая ладошка в его пальцах. У нее словно было больше сил, чем у него.

Мориц повел Жоэль на улицу. Открыв дверь, он наткнулся на взгляд Ясины. Она замерла посреди танцующей толпы и смотрела на них. В первый миг ошеломленно, потом радостно. Будто ей понравилось увиденное, как если бы на порог вышли отец с дочкой. Порыв ветра взметнул в вихре пыль и лепестки цветов. Ясмина стояла меж танцующих, словно выпавшая из времени, неподвижная среди движения, красивая, смуглая женщина с самозабвенной улыбкой ребенка. Мориц пожалел, что нет у него слов, способных выразить все, что он чувствует к ней. Ни слов, ни прикосновений, ни безумств.

А если он и правда не вернется?

Надо уходить, подумал он, уходить как можно скорее. Не ради Фанни, а чтобы забыть Ясмину.

* * *

Праздник продолжался до глубокой ночи. Перед ресторанами шипели жаровни, из кафе гремела музыка, проспект освещали гирлянды электрических лампочек. Все были тут – мужчины и женщины, дети и старики, у каждого за ухом цветок жасмина. На самом деле каждый праздновал собственную победу: французы вновь обрели свою погранную было гордость, итальянцы – единство, пусть хотя бы на один день, а евреи просто выжили. Только у арабов не было причины для радости – их независимость была так же далека, как и перед войной. Но и они праздновали – ведь праздновали все. Может, та

ночь была последней, когда все жители города плясали на улицах в едином порыве, а дальше их пути расходились.

* * *

Ясмина занесла кинжал, когда никто не ожидал. Удару следовало быть стремительным, холодным и смертельным. Она заранее продумала каждое слово, каждый ответ на все возможные вопросы, продумала даже момент, когда подойдет к Леону, – в воображении она видела все так, как оно и произошло. В разгар праздника, когда Сильветта танцевала с каким-то незнакомцем, потеряв мужа из виду, Ясмина отделилась от толпы и мягко, но решительно оттащила Леона от женщины, с которой он танцевал. Он удивился, слегка раздосадованный, но быстро утешился, подхватив Ясмину. Он танцевал размашисто и свободно, но Ясмина сопротивлялась ему, пока вовсе не остановилась. Никто – ни Альберт, ни Мими, ни Мориц, стоявшие неподалеку, – не услышали, что она сказала тогда Леону. Долго же она хранила эту тайну, выжидая подходящего момента. Всего несколько слов, однако они с такой силой вонзились в Леона, что он буквально ослеп от ярости.

Но в первый момент Леон рассмеялся. Потом помотал головой. *Impossibile*. Остановился. В центре ликующей толпы. Уставился на Ясмину. Она выдержала его взгляд. И он понял, что она сказала правду. Она спокойно ждала, когда в его глазах пробудится зверь, а затем ушла, предоставив Сильветту ее участи.

Свидетелей не было. Люди лишь видели, как Леон уводит Сильветту, ухватив за локоть, кое-кто заметил и ее испуганный взгляд. Никто не слышал, что происходит на вилле. Слишком уж гремела музыка на улицах. Лишь утром просочился слух. Только то был не слух, а правда.

Мужчины *Riscola* Сицилии обычно прощали своим женам измены – при условии, что никто никогда не узнает. Не так страшны были наставленные рога, как позор – слабость в глазах других. Леон был не такой. Преданным ему людям он покровительствовал, как родственникам, но тех, кто злоупотреблял доверием, отвергал – раз и навсегда. Он отбросил Сильветту в одну минуту – и она пала так

низко, что больше не смогла подняться. Пусть она хоть всему миру рассказывает, что Виктор соблазнил ее, ему плевать, она для него больше не существует. Он вышвырнул ее из дома и запер дверь. С пустыми руками, в платье, в котором она только что веселилась. Без денег, без багажа, Сильветта скользила по боковым переулкам. Синяки темнели на ее лице позорным клеймом. И каждый, к кому она стучалась, знал, что для Леона существуют лишь две категории людей: друзья и враги. И кто поможет Сильветте, тот станет ему врагом.

То же касалось и друзей Виктора. Им пришлось выбирать между Леоном, дававшим им работу, помогавшим, и отсутствующим Виктором. Ясмина сознавала, что дорога домой теперь для Виктора заказана. Связи у Леона имелись обширные, и в этом городе Виктору больше нет места. Ему придется уйти, если он не захочет жить тенью, как Сильветта. Кто-то видел ее спящей на пляже. Кто-то опознал ее на рынке, где она, закутанная в покрывало, бродила, подбирая объедки, гнилую картошку и апельсиновые корки. Старики наказывали детям держаться подальше от обесчещенной, в которую вселились злые духи.

* * *

Морицу было жаль Сильветту. Она вовсе не заслуживала, чтобы с ней обращались как с прокаженной. Ясмина следила за участью соперницы с тихим удовлетворением, а Мориц тревожился. И не только за Сильветту, но и за Ясмину. Он сам дал Сильветте козырь, которым она может погубить Ясмину. Он тайком отыскивал Сильветту на пляже, после вечернего сеанса приносил ей еду. Иногда кускус, иногда шакшуку или рыбную похлебку, которую сварила Ясмина. Сильветта принимала еду с благодарностью. Если он ее находил. Иногда она исчезала на несколько дней, а потом вдруг опять появлялась. Она жила милостыней чужих людей.

- Пожалуйста, Сильветта, никому не говорите, кто отец Жоэль.
- С какой стати я должна ее щадить? Эту змею!
- Ради Виктора.
- О, Виктор! Он предал нас всех.
- Умоляю вас, Сильветта.

– Спокойной ночи, Морис. До завтра. Вы же придете завтра, не так ли?

– Да. Разумеется.

Глава 44

Если звезда Сильветты скатилась во тьму, то в квартале ощущалось воодушевление. Люди вздохнули свободно, все только и говорили, что о новой жизни. Свобода, завоеванная народами Европы, была по-прежнему недоступна арабам, и искры национализма, толкнувшего Европу к пропасти, теперь вспыхивали за морем.

8 мая 1945 года сгорела не только жизнь Сильветты, но и запылала соседняя страна. Глаза, что годами были устремлены на север, теперь обратились на запад, в сторону Алжира.

Сетиф. О Сетифе поначалу перешептывались, но вскоре о нем уже негодуяюще кричали во весь голос. Во время празднования победы один алжирец в Сетифе, городке неподалеку от границы с Тунисом, размахивал бело-зеленым флагом с красной звездой и полумесяцем. Один-единственный человек во всей толпе. Французский жандарм застрелил его. И десять тысяч разъяренных алжирцев двинулись к европейскому кварталу. Началось с криков о равенстве и независимости, а закончилось кровавой резней. Арабы убивали европейцев, счет шел на десятки. Французы падали с балконов в толпу. Кровь лилась рекой.

Беспорядки распространились на всю провинцию, арабы убивали французских поселенцев, армия бросила артиллерию на арабские деревни. Тысячи, десятки тысяч погибших, и с каждым днем их становилось все больше. Армия подавила восстание. Революционеров принуждали падать перед французским флагом и кричать: «Мы собаки! *Vive la France!*» Арабы, стоявшие вокруг, кричали: «Это вы собаки! Хуже того – евреи!» Военные выхватывали из толпы людей без разбору и расстреливали на месте.

В *Piccola* Сицилии люди были дружелюбны – на рынках, на пляже или в кафе. Но ярость, страх и бессилие разъедали их сердца. Как быстро соседи способны превратиться в зверей, убивающих друг друга? По проспекту вдруг начали патрулировать вооруженные жандармы. В кафе сидели шпики. Люди собирались кучками и перешептывались. Европейцы поговаривали о создании вооруженных отрядов. Мусульманам надоело, что с ними обращаются как с

гражданами второго сорта. Они узнали, что помощь народов колоний в победе над нацизмом – всех погибших арабов, африканцев и индийцев в форме войск коалиции – осталась невознагражденной. А евреи, разделенные на две группы – местные и европейцы, больше не знали, кому они могут доверять. Покровительнице Франции, которая сотрудничала с нацистами, или мусульманам, бей которых не смог их защитить. Дома были восстановлены, море по-прежнему синело, а вот *внутренняя* родина, чувство защищенности и сопричастности было разрушено. А ведь еще никто не сосчитал миллионы убитых.

– Когда вы уезжаете?

Леон держался приветливо, но не скрывал, что время Морица истекло. Причем подразумевал он не его лично, а человека, который спас Виктора, – точно так же, как позже Леон спас Морица лишь потому, что тот был *amico di Victor*. А друзья Виктора теперь были врагами Леона.

– В воскресенье придет Бернар. Славный мальчик из хорошей семьи. Введите его в курс дела. *The show must go on*^[108], не правда ли, Морис?

Новый киномеханик. Леон достал портмоне и выплатил Морицу его заработок, с точностью до сантима.

– Вы рады, что отправитесь наконец домой?

Домой. Пустыня и развалины.

– Я могу здесь переночевать еще пару дней?

– Конечно. Скажите мне, когда будет ваш корабль. Я отвезу вас в порт.

* * *

Мориц не представлял, что ждет его в Германии. Где вообще этот его *дом*, он тоже не представлял. Померания потеряна, а Берлин разделили между собой страны-победители. Он уложил одежду Виктора, которую хотел вернуть Ясмине, в чемодан и навел справки о морских рейсах. Потом написал письмо Фанни.

Моя дорогая Фанни,

*я жив. Я вернусь домой.
Любящий тебя*

Мориц

Ее берлинский адрес он помнил наизусть. Вот только существовал ли он еще. Письмо отнес на почту. Отправил авиапочтой.

– Le spéditeur, Monsieur?

Отправитель! Он помедлил. Без отправителя они не примут письмо. Служащий почты протянул ему ручку. Какую фамилию он должен указать – старую или новую? Он решил написать инициалы – М. С.

– L'adresse?

Он нацарапал: *Кинотеатр, проспект де Картаж, город Тунис.*

* * *

В тот же день посыльный доставил свежую кинохронику британского филиала студии «Пате» – новости победителя – из Лондона. Мориц как раз передавал дела и инструктировал своего преемника. Бернару только что исполнилось шестнадцать. Робкий, но добрый мальчик, производивший впечатление слегка отстающего в развитии. Тяжелая голова, неповоротливый язык. Мориц достал бобину из коробки и показал, как одним движением заправить целлулоид в механизм протяжки. Потом запустил проектор.

Послеобеденный сеанс. Основной картиной был мультфильм «Три кабальеро» с Доналдом Даком. Увлечшись рассказом о технике, Мориц совсем не обращал внимания на фильм. Однако когда он посмотрел в окошечко, чтобы установить «рамку» кадра, то обнаружил, что киножурнал необычный.

Фахверковые дома. Немецкие деревни, с виду невредимые, как до войны, только без флагов и без свастики. Оператор вел съемку из джипа, ползущего по переулкам мимо женщин, детей и стариков, стоящих у своих домов. Вереница удивленных лиц: неуверенность, робкое любопытство, иногда даже радость. Облегчение, что все наконец позади. Мориц невольно подумал о собственных кадрах,

сделанных при входе в Тунис: оккупанты или освободители? Ответ был написан в глазах населения. Затем обычные сцены с плитками шоколада и жевательными резинками для детей. Но что-то отличало эти съемки от сцен освобождения из Неаполя, Парижа и Рима. Что-то висело в воздухе такое, что показалось чужим даже Морицу, смотревшему на свою родину. Он покинул страну ликующей, а теперь видел ее глазами британских солдат – призрачной, тихой. В глазах читалось унижение, в отличие от эйфории итальянцев. Но было и другое, ускользающее, не запечатленное на пленке, но разлитое в атмосфере, – нечто гнетущее, чужое. Несмотря на весеннее солнце, несмотря на женщин на рыночной площади, несмотря на то, что война окончена.

И Мориц понял причину этого впечатления – оно было в лицах освободителей. Молодые парни, что ехали на своих джипах по немецким деревням, смотрели на местное население совсем не так, как в Италии. Там – радость, симпатия, братство. Здесь же – неприязнь и ужас. И это передавалось зрителю.

В зале стояла полная тишина. Даже дети, которые обычно во время журнала носились как угорелые, сейчас затихли в креслах. Германия, увиденная глазами победителей, – это страна, где цвела вишня, но в воздухе был разлит невидимый яд, зло. Страна, где только что свирепствовала чума. Потом показали трупы. Двое парней в форме вермахта, которых вздернули на дереве, им не было и двадцати. *Дезертиры*, пронеслось в голове Морица. Этих молодых людей, которые сделали единственно разумное – бросили оружие и пошли домой, – даже в последние часы войны отдали под трибунал. Отвращение, написанное на лицах британских солдат, передалось и Морицу. Что-то произошло в его стране такое, чего эти обычные парни никогда не видели.

В Англии и Америке никто не воевал между собой, война шла за их пределами. А в Германии война бушевала и внутри. Война против собственного народа.

Или все это лишь пропаганда? О чем умалчивает хроника? Мориц искал ответ в монтаже, в склейке кадров. Какая часть правды не попала на пленку?

И потом он увидел это, вместе с замершим Бернардом, – то, к чему оказался совсем не готов. Позже эти кадры обошли весь мир, их

видели и последующие поколения, каждый ребенок и в Германии, и повсюду. И многие наверняка запомнили тот самый первый момент. Шок и ужас от этих кадров навсегда отпечатались в памяти. То, что Мориц тогда почувствовал, не поддавалось никаким словам – невозможно было описать то, что творилось в самом центре Германии, за сторожевыми вышками и колючей проволокой.

Солнечным весенним днем солдаты открыли ворота, и операторы вошли первыми. Немало повидавшие мужчины закрывали лицо руками, едва не падая в обморок от вони. Перед ними был ад. Горы очков, башмаков, чемоданов. Вещи людей, вырванных из жизни. Имена, превратившиеся в номера, женские волосы – в войлочные одеяла, черепа – в удобрения, пепел мертвых – в капустные поля вдоль забора. Камера все беспощадно фиксировала. Она больше не оставляла пространства для сомнений. Рассудок Морица сопротивлялся кадрам, искал ошибку, какой-нибудь монтажный трюк. Фальшивая душевая, запертые двери, газ Циклон-Б. *Это не может быть правдой.* Каждый следующий кадр повышал степень нереальности, все выше и выше, пока Мориц не перестал сопротивляться. Никакая пропаганда не могла быть столь сатанинской, никто не смог бы выдумать этот ад на земле. Крематории, костлявые трупы, уложенные штабелями, как дрова в поленнице. Неестественно вывернутые конечности, глаза, смотревшие на то, что никому нельзя видеть. И аккуратные списки с именами, транспортные накладные. Бухгалтерия непостижимого. *Все должно быть упорядочено.*

И наконец камера заглянула в лица выжившим. Запавшие глаза, люди, слишком измученные, чтобы жаловаться, изможденные тела. Живые мертвецы перед свидетелями, не готовыми к такому. Парни из Теннесси и Бирмингема, которые думали, что повидали уже всю бездну войны, сейчас не могли вместить в себя открывшиеся зверства, творившиеся нацистами у себя дома. Камера наехала на лица солдат. Ужас. Ярость. Один солдат размазывал по щекам слезы. Мориц физически чувствовал их потрясение. Сомнений больше не оставалось.

Он посмотрел вниз, в зрительный зал. Дети плакали. Матери выводили их наружу. Мужчины, обычно встречавшие военные кадры ликующими возгласами, сжались в креслах. Может, остановить

проектор? Мориц бросил взгляд на Бернара. Юноша в ужасе смотрел на него. Он словно не верил, что увидел все это.

Хроника закончилась, бобина крутилась вхолостую. В зале зажегся свет. Мориц выключил проектор. Было очень тихо. Он ощутил дурноту. Толкнул дверь, пошатываясь, спустился к выходу, вдохнул воздух. На проспекте текла обычная жизнь. Люди занимались своими обыденными делами. Он оперся руками о стену, его вырвало.

– *Ça va, Monsieur?* – Пожилой господин в черном костюме остановился рядом. Встревоженный, отеческий взгляд. Черная кипа на голове. Еврей.

Его бы там тоже убили.

Мориц отвернулся и быстро прошел за угол. Никто не должен видеть его глаза. У него кружилась голова. На лбу выступил холодный пот. Он привалился к стене. Мускулы отказывали. Он сполз по стене на землю. Отвращение и бездонный стыд – больше в нем ничего не осталось. А ведь он знал об этом. О том, что людей отбраковывают. Вначале на словах. Потом в приказах о конфискации собственности. И затем – вагоны для скота и колючая проволока. *Искоренить из тела народа.* Но то было только начало.

– *Vous allez bien, Monsieur?*^[109]

Перед ним стояла женщина в розовой шляпке, за юбку ее цеплялся мальчик. Голос полон заботы. Она протянула Морицу руку. Европейка. На шее серебряная цепочка с крестиком. Не еврейка, мелькнуло у него, он испытал почти облегчение, но тотчас возненавидел себя за эту мысль. Ее тоже могло коснуться. Каждого, кто думал иначе, забирали, изолировали и убивали – только потому, что он не произносил нужных слов.

– Морис? Вы не Морис, друг Леона?

Они знают, кто ты. Ты должен исчезнуть.

Он встал, пробормотал что-то и побрел прочь. За его спиной мальчик о чем-то спрашивал мать. На проспекте прохожие шли мимо как ни в чем не бывало.

Они еще не знают.

Он шел дальше, уткнув взгляд в землю, – прочь отсюда.

Сегодня же вечером начнут говорить. Разговоры дойдут до Леона. До Альберта. До Ясины.

Истошно засигналила машина. Мориц отскочил на тротуар. Водитель обругал его. Он был на волосок от смерти. Мориц двинулся дальше. Попытался упорядочить мысли.

Как мы могли такое допустить? С самими собой?

Очень просто. Даже в партии необязательно было состоять. Достаточно было молчать. Ведь это касалось других. Но Мориц уже давно стал одним из этих других. Он мог взглянуть на мир с обеих сторон и теперь понимал слова: *Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.*

Он думал, что держится в стороне, но был колесиком этого жуткого механизма.

Он выбрал место за камерой, потому что его переполняло любопытство. Он хотел познать мир вокруг себя. Но делал иное – изображал мир таким, каким тот не был. Каждый кадр, показывавший не этот ад, был преступлением. Не только его пропагандистская рота, но и коллеги из киностудии «Бабельсберг» с их китчевыми фильмами о родине замарались в этом ужасе. Каждый кадр, не заглядывавший в пасть зверю, был преступен.

Не только садисты из СС, всаживавшие пули в затылки инакомыслящих, инаковерующих, инаковидящих, нет, – но и те, что отворачивались, не желая ничего видеть, предали все, что было для них святым. И он один из них. Его кадры покрывали преступления. Подлость такого размера, что он теперь не знал, сможет ли когда-то сказать: «Я немец».

Как они поступят с тобой, когда узнают?

И тогда он сделал то, на что давно не решался. Пересек улицу, вошел в церковь, прошел мимо пустых рядов к Мадонне ди Трапани. Он опустился перед ней на колени и начал молиться. И вдруг запнулся. Он забыл слова из «Отче наш». *Они никогда не смогут нас простить. Только нечеловеческая любовь способна на это.* Мадонна взирала на него сверху. Она его не слышала. Он встал и отвернулся. Молитва не принесет облегчения.

Он вышел на площадь, под яркое солнце. Здесь оставаться он не может. Но возвращение казалось невыносимым. Германии, которую он покинул, не существует. Разрушены не только дома, но и души. Страна отравлена. Проклятое кладбище. К тому же занятое чужими войсками – как они поступят с немцами?

Для них мы не люди.

Глава 45

Марсала

*Если ты выскажешь то, что в тебе есть,
Тогда то, что ты высказал, спасет тебя.
Если ты не выскажешь того, что в тебе есть,
Тогда то, что в тебе есть, разрушит тебя.*

Евангелие от Фомы, 45, 30–33

Плащ невидимки Мориц носил, не сознавая, что это его власяница. Мой дед прятался, потому что не мог смотреть людям в глаза после того ужаса, что сотворил его народ. Да, он спас Виктора, но то было скорее делом случая, возможностью, в которую он вцепился, как утопающий хватается за брошенную ему веревку. Последняя искра жизни в окоченевшей душе, последний съезд с дороги, ведущей в ад. Но одно благое дело не отменит остальные злодеяния.

И я вдруг поняла, что тоже ношу его, плащ невидимки. В моем пропыленном бюро без окон среди египетских посмертных масок и пожелтевших фотографий – Говард Картер и Гуго Винклер, умершие идолы, которые искали других умерших идолов. Я была невидимкой в своем браке, растворилась в нем. Я была невидимкой и после развода, закутавшись в черное покрывало – внутри себя. Я пряталась от живых.

Вина требует искупления. А иначе она никуда не девается. Долги наследуются. Моя мать просто сбежала от этого груза. Может, в те годы иначе было и не выдержать. Что бы она могла сделать? Она не знала своего отца. Она не могла поговорить. Ни о нем, ни с ним. Но даже если нет слов, мы все равно связаны. Любой ручей стремится пробиться к морю, вот и в человеческой душе есть каверны и проходы, через которые она посылает сигналы. Наши неискупленные продолжают жить в нас. Они являются нам во снах.

Я несу это за него.

– Что с тобой, Нина? – Жоэль берет меня за руку.

Мы одни в зале для завтраков. Все уже ушли спать. Если бы только я могла объяснить, но на меня словно обрушилась стена. В точности как бывало с бабушкой – плотная пелена, лишавшая меня способности говорить. Мне нужно выйти на воздух, иначе я задохнусь.

Дождь хлещет по лицу. Беспокойное ночное море. Я вбираю его неукротимую мощь, вдыхаю воздух прибоя, вглядываюсь в бурю и стою, пока не вымокаю насквозь.

* * *

Водолазы сегодня не выйдут в море. Лодки пляшут на волнах как пьяные, такелаж лязгает на ветру. Промокшие рыбаки в промасленных робах набиваются в тесный бар, чтобы согреться.

– «Ракета» на Фавиньяну сегодня пойдет?

– Да, синьора, вам повезло. В один конец или туда и обратно?

– Туда и обратно. На двоих.

* * *

Мы действительно отчаливаем. Судно на подводных крыльях трясется, скрипит и грохочет, набирая скорость и вспахивая волны. Его швыряет и качает, брызги летят в окно, показывается место, на котором вчера стоял наш катер. Чей-то ребенок плачет, матросы раздают бумажные пакеты. Патрису нравится скачка по волнам, мне не особо. В желудке нарастает дурнота. Он берет меня за руку, советует смотреть на горизонт, и действительно становится легче. Через полчаса море вдруг успокаивается – мы вошли в тень острова, заслоняющего нас от ветра. «Ракета» погружает крылья в воду и причаливает в порту Фавиньяны.

И сама Сицилия пустынна в несезон, но эти крошечные островки вокруг нее – воплощение уединения. Вдруг исчезает тоска по большому миру, он отступает, как только сходишь с судна, и внутри тебя что-то расслабляется. Ты не одинок, ты наедине с собой.

Патрис спрашивает рыбаков, но никто не хочет везти нас к гроту Вздохов. Слишком опасно, говорят они, высокая волна. *Sorry*,

сожалеет Патрис. А мне все равно. Я здесь не для того, чтобы кататься по гротам. Я здесь для того, чтобы просто быть здесь. Мы идем в деревню – единственные пришельцы, маленькая площадь пустынна. Перед кафе нет столиков, полотняные тенты над окнами хлопают на ветру. По брусчатке летают обрывки бумаги.

В единственном открытом прокатном пункте мы берем скутер и выезжаем из деревни – без плана и цели. Мокрая дорога блестит, но дождя нет. Над головами громоздятся тучи, остров словно пригнулся от ветра. Кривые деревья, замшелые стены каменной кладки – пейзаж отсутствия. Анемоны на обочинах, лазурь и желтые камни туфа среди черных скал. Воздух со вкусом моря и трав, каждый вдох проясняет мозги. Я прижимаюсь к теплой спине Патриса, на каждом повороте чувствую, как напрягаются его мышцы.

Поля по краям дороги истыканы большими кратерами, похожими на археологические раскопки; весь остров ноздреват, как швейцарский сыр, только дыры квадратные, будто кто-то вколачивал в землю гигантские игральные кости. Это не археологи, объясняет Патрис, это островитяне добывают туфовый плитняк и продают. В один прекрасный день у них просто не останется почвы под ногами. На скалистом берегу мы останавливаем скутер у старой стены и сползаем по обрывистому берегу вниз к пляжу, ветер треплет нам волосы. Обрыв тоже в глубоких провалах, рядом валяются обгорелые головешки. У входа в провалы на желтом камне увековечили себя любовные пары: *Марина + Карло*, *Джина + Лука* – наверное, подростки, скорее всего, давно уже забывшие друг друга. На галечнике валяются бутылки из-под колы, кто-то скинул со скалы ржавый остов машины. Пиратские тропы к пустым бухтам, заброшенный маяк; мы бесцельно бредем по дикому берегу под бесконечным небом.

* * *

Вечерняя «ракета» опаздывает. Порт пустой. *Mi dispiace, Signora, non parte. C'è mare brutto*^[110]. Слишком сильный ветер. Островные пожимают плечами – осень же, почти зима. Нам ничего не остается, как заночевать здесь и ждать у моря погоды. Удивительно, но я совсем не расстроена. Пусть весь мир подождет. Мы переходим от одного

отеля к другому, но все уже закрылись на зиму. *Fuori stagione*^[111]. Свистит на крышах ветер, гремят рольставни и решетки, бумага на асфальте шелестит. Я опасаясь, что ветер оторвет какую-нибудь железяку и швырнет в нас.

Когда уже темнеет, мы находим ночлег. Хозяин проката скутеров отпирает нам летний домик. Неказистая мебель и запах сырости возвращают меня в детство. Мать всегда снимала такие летние домики вместо отелей, потому что они дешевле. Правда, готовить она толком не умела, но какая-нибудь пиццерия поблизости всегда находилась.

Патрис открывает окно, и ветер моментально выдувает из комнат всю затхлость. Хозяин приносит газовую печку и показывает, где лежит белье. В домике есть двуспальная кровать, а в гостиной еще и раскладной диван. Хозяин считает нас парой. Мы с Патрисом не возражаем. Молчаливые сообщники. Я пытаюсь зажечь печку. Хозяин приносит макароны, лук и пару помидоров. Масло и соль на кухне, даже банка тунца и бутылка красного вина.

Сообща готовим ужин, словно в студенческие времена. Спагетти за кухонным столом, вино из стаканов для воды и шумная газовая печь в качестве отопления. Мы рассказываем друг другу истории из прошлого, он – о своих тогдашних подружках, иронично спрашивает, не жалею ли я, что вышла замуж не за того. Я встречно спрашиваю, не жалеет ли он, что так и не женился, и ошеломляющий ответ – да, недавно пожалел, впервые. Когда лежал в больнице, после того как чуть не утонул. Думал, кого взволнует его смерть. И проснулось вдруг желание иметь кого-то рядом, чтобы вместе пробиваться сквозь жизнь. Меня удивляет его серьезность. И мы вдруг начинаем рассуждать, а что было бы, прими мы тогда иные решения, выбери друг друга. Кто знает. Ясно лишь одно: стань мы тогда парой, сейчас бы тут не сидели. Наверняка постоянно ссорились бы и к этому дню возненавидели бы друг друга.

А потом все происходит просто. Мне так легко дается взять его руку, я даже не помню, кто из нас протянул ладонь первым. Все естественно и одновременно волнующе. Мы уже далеко не юные, а все как в первый раз.

Патрис поднимается и привлекает меня к себе, нежно, но решительно. Руки знают, что делать, губы сами находят друг друга. Я закрываю глаза. Патрис обхватывает меня за бедра и прижимает к

столу. С крыши падает черепица, ветер завывает, и в голове у меня шумит. Что за история сейчас начинается и чем она закончится? Как долго я смогу отдаваться моменту, чувствам? В любой истории есть начало, финал и распределение по ролям. Но я не хочу сейчас ни о чем думать. Не хочу быть частью истории. Лишь течь, таять и светиться в темноте. Его кожа пахнет солнцем и солью, он берет меня, и я отдаюсь, я – лишь пульс, упоение и присутствие, ничего больше.

* * *

Когда я просыпаюсь, все ново. Снаружи тишина как в первый день, птица, часы на церкви, солнце в окно. Рядом спит Патрис. Его кожа касается моей, непривычно, но приятно. Я чувствую себя освобожденной, будто рухнули старые чары. Медленно встаю, открываю дверь, выхожу. Ветер стих, воздух влажен и свеж. Я оборачиваюсь и вижу, как Патрис потягивается, щурится на солнце. Он все тот же, но мы смотрим друг на друга иначе. Я больше не наблюдаю за ним. Я показываюсь ему. Мир изменчивый, и ни в чем нет уверенности, но я здесь.

* * *

Жоэль не задает вопросов. Она просто рада меня видеть. Рассказывать нечего – то, что произошло на острове, было, может быть, началом, а может, уже концом, как знать. Я не жалею, но и не цепляюсь, погружаясь в ожидания. Это просто есть – и все. Патрис выходит в море, ветер улегся, а мы с Жоэль идем к купальне. Усаживаемся на нашей веранде, и Жоэль в последний раз уводит меня по ту сторону моря...

Глава 46

Сицилия

Говорящему правду лучше держать одну ногу в стремях.

Арабская поговорка

Все думали, что с окончанием войны мир опять станет здоровым и целым. Но он распадался. Все, что когда-то держалось вместе, теперь сорвалось с якоря. Бездна не сомкнулась. Доверие не возвратилось. Человек уже взглянул на себя в зеркало и увидел там зверя.

Ясмина стояла на конце длинного пирса, скорее уже в море, а не у моря, и держала за руку Жоэль. Показывала ей на прибывающие корабли, поначалу едва различимые, но, войдя в бухту, выраставшие в гигантов. Ржавые, усталые и массивные, они проходили мимо. С палуб им махали солдаты. Жоэль радостно махала в ответ. У Ясины иссякало терпение, ожидание давно обратилось в лихорадочную тревогу. Каждый день она смотрела, как корабль исторгает из своего чрева усталых мужчин, но только не *его*, и страх ее нарастал. К вечеру из домов несло пение, Жоэль танцевала под окнами с другими детьми, а Ясмина молча стояла рядом. Бессмысленно было спрашивать прибывающих мужчин, не встречали ли они ее брата где-нибудь в Италии, а может, в Париже, а то и в Германии, – они бы только качали головой.

Ее время с Виктором остановилось, как сломанные часы, которые никто не мог починить. Скоро и Мориса здесь не будет. Единственный, кому она еще доверяла. Морис, этот странный, молчаливый немец, который уже и немцем-то не был, да он и прежде им не был, ведь немцы – звери. Все говорили об этом, все видели снимки, кинохронику – все, но не Ясмина. Она *не хотела* видеть. Из страха узнать среди убитых Виктора. Нет, он жив, пока она верит в это. *Ты должна сильно-сильно думать о папá, говорила она дочери, и тогда он вернется!* Только здесь, на пирсе, Ясмина отваживалась произнести это запретное слово: *папá*. Дома папá был мужчиной в очках, с вечной

газетой, на коленях которого Жоэль так любила сидеть, пока ее не сгоняли со словами, что папа́ болен.

Ясмина повернулась и посмотрела на белые дома Piccola Сицилии. Следы зимних штормов на отсыревших стенах, обшарпанные голубые ставни, играющие на пляже дети. Все казалось таким маленьким отсюда, таким далеким и неожиданно чужим. Дом, который защищал ее в детстве, теперь душил. Над переулками, где она прежде была свободной, теперь висела сеть из сотен глаз. Шепоток за ставнями, фальшивые улыбки, язвительные вопросы. Когда же, дескать, вернется твой возлюбленный. Месье Ален из Армии Свободной Франции, ага, ну-ну. Люди чуяли ложь, потому что она теряла силу, так на рынке узнают вчерашнюю рыбу по запаху.

Никто не знал точно, когда настроение изменилось. В какой-то момент во взглядах людей, когда Ясмина шла по улице, появилось нечто новое, не просто обычная тяга к пересудам и слухам. Что-то зловещее и мрачное, как будто они боялись встретиться глазами с Ясминой и заразиться от нее чем-то дурным. Отец загонял детей с улицы во двор, когда она шла мимо; мать больше не хотела, чтобы ее дети играли с Жоэль. И вскоре это добралось и до Сарфати. Сначала доброжелательные соседи предостерегали их насчет гуляющей молвы – *разумеется, это неправда, что за ужасные выдумки, и кому только пришло в голову пустить такую сплетню?* А потом пекарь начал замолкать, как только кто-то из Сарфати входил в его лавку, и лица начали отворачиваться на улицах, и первые бестактные вопросы.

А вы слышали? Нет никакого Алена в Армии Свободной Франции. И Морис, чужеземец из Триеста, тоже не отец. Нет, дело куда более неслыханное, избави Бог произнести. Но это объясняет все! Почему не возвращается Виктор. Он не погиб, нет, он бежал от позора!

Слух было не остановить, потому что никто не знал, из какой норы Сильветта, обитавшая где-то в темноте, распространяла яд. Одной капли кислого молока достаточно, чтобы испортить весь стакан. Мими яростно боролась с пересудами. *Как вы можете в такое верить? Это гнусная ложь обесчещенной, злобной женщины, ревнивой любовницы! Разве вы не знаете, что она не была никакой певицей на Монмартре, что она была проституткой?*

Да, синьора, конечно, мы это знаем, честь вашей семьи вне всяких подозрений. Но стоило Мими перетянуть на свою сторону одну

подругу, как слух находил дорогу в следующий дом. Это было как вода, заливающая корабль, потому что никто не может найти протечку. Сплетня заполнила все переулки квартала – набухающий поток злобы, от которого у Ясины пресекалось дыхание. У особо набожных всегда был наготове предлог: *но мы же хотим вам добра. Sfortuna постигла ваш дом!*

– Беспokoйтесь о вашем собственном доме! – огрызалась Мими.

Однако догадки были до того увесисты, что любое опровержение только придавало им убедительности. Странно, но Ясмина, в отличие от Мими, не испытывала к Сильветте ненависти, одну только жалость. Она слишком хорошо знала, что отверженные злы не по природе, что их злость – следствие отверженности. *Ты плохая девочка!* Девочка становилась плохой, только когда ее отторгали.

И в какой-то момент они окончательно проиграли битву. Подруги Мими отвернулись от нее, соседки больше не здоровались с Ясиной, а последние верные пациенты Альберта переметнулись к другому врачу. *Вы должны понять, доктор, я ничего не имею против вас, напротив, но люди начинают судачить о тех, кто к вам ходит, вы понимаете?*

В Piccola Сицилии считались не с тем, что происходит за стенами домов, а с тем, что выходит наружу.

* * *

У Ясины, видевшей отца сокрушенным, погруженным в молчание, без обычной книги, без газеты, без радио, разрывалось сердце. Сама она уже не слышала злобного шипения вслед – слух просто отключился, как перегруженный прибор. Но страдания папá из-за нее – такого она никак не могла допустить. На свете был лишь один человек, способный заставить людей замолчать. Виктор.

* * *

Она села у себя в комнате перед зеркалом, расчесала волосы, нарисовала губы, подвела черным карандашом глаза, затем прошла в

комнату Виктора, достала из ящика стола флакон с его парфюмом, побрызгала им шею, надела свой лучший наряд, весь белый, а к нему самые высокие каблуки. Потом принарядила Жоэль и посадила ее в коляску.

– Мы во вражеском окружении, – сказала Ясмина. – Но я выведу нас из него.

И покинула дом. Она шла не по тенистой стороне улицы, она больше не избегала людей, она смело шагала в самом многолюдье проспекта де Картаж. С поднятой головой она шла мимо кафе, и сидевшие там мужчины оборачивались ей вслед. Ведь жены же спросят дома, к кому она направлялась. Ведь никто, по сути, ничего о ней не знает.

– Что это вы делаете, Морис?

Он стоял у себя в чулане в майке, склонившись над старым чемоданом Виктора. Он был небрит, в каморке под крышей царилася спертая духота. Вся одежда, аккуратно сложенная, лежала на постели. Он никого не ждал.

– Ясмина. *Buongiorno...*

Ее красота ошеломила его.

– Мне больше не нужна его одежда. Скажите Виктору... спасибо от меня.

Ясмина неподвижно стояла в дверях, удерживая Жоэль, которая хотела кинуться к Морицу.

– Виктор не вернется.

Морица удивили не ее слова. Его удивило, что она произнесла их. Что она наконец поняла.

– Возьмите меня с собой, Морис.

Мориц оторопел. Он медленно подошел к ней, чтобы удостовериться, что все понял правильно.

– Вы же поедете через Палермо?

– Да...

– И потом через Италию.

– Да.

– Я должна найти Виктора.

Он понял ее неправильно. Он отвел глаза, чтобы не выдать разочарование. Но она его все равно почувствовала.

– Мы какое-то время будем вместе, пока не найдем его, а потом вы сможете поехать к вашей невесте.

– Но... Ясмина... куда вы хотите в Италии?

Она вцепилась в его руку с такой силой, что он испугался.

– Морис! Вы говорите как мой папа. *Что я должна быть благоразумной.* Но я знаю, Виктор жив. Я это знаю! А раз он не хочет вернуться, мне здесь больше нечего делать. Вы понимаете? Здесь для меня сожженная земля. Что мне тут делать, одной, с ребенком?

Жоэль расплакалась. Она чувствовала, что речь идет о ней, но почему мама так взволнована, она не понимала. Ясмина взяла дочку на руки.

– Помогите мне. Одну меня отец не отпустит.

– Но где же его искать? Все, что нам известно, – это название сицилийской деревни, где он был. Два года назад!

– А вы не беспокойтесь. Я отыщу его. Вам этого не понять. Его сердце бьется во мне, а мое в нем.

– Ясмина, но это же вздор!

– Вы так считаете, потому что мы с ним слишком разные? Я и это знаю, но как раз поэтому мы одно целое!

Но он говорил совсем о другом – о практическом, откуда начинать поиски, о том, что если Виктор был в плену, то его уже выпустили, и вероятность того, что он жив, крайне мала.

Ясмина дотронулась до его локтя. Почти нежно.

– Когда мы были детьми, однажды всей семьей мы поехали летом на пляж, и я там потерялась. Народу было очень много. Я вдруг очутилась среди чужих людей. Мне было страшно. Но я не посмела поднять крик. Я просто закрыла глаза и заговорила с Виктором. Можно ведь говорить с человеком, не произнося ни слова, вы, наверное, такого не поймете, но произнесенные слова даже сильнее, потому что они остаются с тобой. Не подумайте, будто я сумасшедшая, Морис. Потому что Виктор тут же возник передо мной. Родители искали меня на другом конце пляжа. А мы с ним сразу нашлись. Среди сотен людей. И так было всегда. Он услышит меня!

Мориц не хотел ничего отвечать, чтобы не разрушить ее мечту, но помимо воли у него вырвалось:

– Ясмина, в детстве у меня были такие же фантазии. Но с тех пор я видел своих товарищей с оторванными ногами, они звали матерей и

погибали в муках. Можно много чего пожелать себе, Ясмина, но одной силой воли не вернешь мертвого к жизни!

И тотчас понял, что зашел слишком далеко. Он потерял ее.

Ясмина отвела взгляд.

– Вы не знаете, что такое любовь. Идем, Жоэль.

– Вы любите призрака.

– Может, я и сумасшедшая, может, эта любовь и запретная, но настоящая. Я любила его с детства. Что вы делали, когда были маленьким?

Я прятался, подумал Мориц, но промолчал.

– Тогда я поеду без вас.

Она повернулась, чтобы уйти.

– Ясмина! Вы должны попросить разрешения у родителей.

* * *

Вечером Мими и Альберт сидели за столом. Ясмина излагала свой план без колебаний, но и без сумбурной лихорадочности. Ее трезвая решительность импонировала Морицу и шокировала родителей. Их дочь действительно стала взрослой.

Альберт протестовал так, будто здоровье вернулось к нему. Он потерял сына и не хочет потерять еще и дочь.

– *Impossibile!* Это слишком опасно! Вы что, не видели картинки из Европы? Сколько там беженцев бредут по дорогам, спят под открытым небом, не знают, куда им податься.

– Один из них Виктор. Что, если ему нужна помощь?

Альберт пропустил вопрос мимо ушей. Имя Виктора в доме упоминаться не должно. Этого он придерживался неукоснительно, пусть и сознавал, что это неправильно.

– Почему бы тебе снова не пойти работать в «Мажестик»? Американцы оттуда уже выехали!

– Я там была. Там все вымерло. Ни один европеец сейчас не думает об отпуске. Они распустили весь персонал. И мне сейчас нужно другое, папá. Если вы не идете искать Виктора, это должна сделать я.

Мими была подозрительно молчалива. Для нее время остановилось – до тех пор, пока не вернется сын. Живой или в гробу. У кого-то *fortuna*, у кого-то *sfortuna*. Но хуже скорби – неизвестность, которой нет конца.

– Подождем возвращения Леона, – сказала она наконец. – Он мне обещал поискать в Италии.

– Леон сказал это из вежливости, – буркнул Альберт.

Все знали, что он прав. Для Леона Виктор умер.

– Морис, – сказал Альберт, – погодите ехать, пока положение не прояснится. Ведь в вашей стране неразбериха.

– Знаю. Но мне надо домой.

Ясмина упрямо ждала, когда аргументы родителей один за другим отпадут. Она делала ставку на Мими – ведь нет больше никого, кто мог бы вернуть ей сына. Сама она не могла оставить мужа.

– Послушай, Ясмина, – сказал Альберт, – ты должна быть сильной. Нам надо быть готовыми ко всему. Шансы тают с каждым днем...

– Я знаю, что он жив!

Альберт в отчаянии повернулся к жене:

– Не может же незамужняя женщина ехать с мужчиной. Что скажут люди?

Мими встала и принялась убирать тарелки.

– Все, что они могли сказать, они уже сказали.

Альберт целый день отказывался дать разрешение. Но в конце концов признал, что с женщинами ничего поделать не может. Мими хотела вернуть сына. А Ясмина, сейчас ли, позже, но отправится на поиски. Разве в силах он ее удержать, с его-то телом, послушным лишь наполовину?

В Шаббат после молитвы он отвел рабби Якоба в сторону, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз. Никто не знал, о чем они беседовали. Но, вернувшись домой, Альберт позвал к себе Ясмину и Мими. И объявил, что дает согласие – при одном условии: он отправится с ними. Чтобы сохранить приличия. И если они найдут Виктора, он подаст ему руку. Ведь если отец его не простит, то Виктор обречен на вечное изгнание. А этого Альберт и сам себе не простит.

Ясмина обняла его со слезами. Папá обрел прежнее свое величие.

– Спасибо, папá.

– Да ладно, чего там, *amore*. А сейчас пойдй к Морісу и скажи ему. Теперь скорее вам придется присматривать за твоим старым отцом, чем ему за вами.

* * *

Клерк без возражений поставил выездной штамп в паспорт Морица. Глухой стук – и никакого *Au revoir*. Чиновник протянул ему документ и взял следующий. Как будто радовался тому, что иностранцы, пересидевшие войну в его стране, убираются наконец восвояси. В зале ожидания было жарко и душно. За грязными окнами можно было разглядеть ржавые иллюминаторы итальянского парохода. Альберт и Ясмина стояли в очереди намного дальше – чтобы не быть арестованными вместе с Морицем, если у того возникнут проблемы с паспортом. Жоэль держалась за руку Ясины. *Мы едем в путешествие*, сказала ей Ясмина, *в интересное летнее путешествие, как благородные люди*. Мими предлагала присмотреть за ней, но Ясмина без колебаний отказалась оставить дочь бабушке. Связь между ними была разорвана.

Альберт надел свой лучший, парадный, костюм, итальянскую шляпу и туфли «Будапештер», которые Мими начистила до блеска. От трости он отказался. Но вне дома особенно бросалось в глаза, как он подволакивает правую ногу, хотя и старается не показывать слабости. На Ясмине было длинное неприметное серое платье. Волнуясь, она сжимала в руке новенький паспорт, словно магический ключ, открывающий двери в мир. На шее у нее висела серебряная хамса Виктора со звездой Давида. Они вздохнули с облегчением, когда Морица пропустили через контрольный пункт.

– Моріс!

Мориц обернулся. В толпе отъезжающих и носильщиков стоял коротышка в большом, не по размеру, костюме, с сигаретой во рту.

– *Мазел тов* в Эрец Израэль!

Человек с радиоприемниками. Месье Леви.

– Спасибо, – сказал Мориц, пряча в карман паспорт.

Ясмина отвернулась, чтобы месье Леви ее не заметил.

На корабле она не подошла к поручням. Альберт махал левой рукой Мими, стоявшей на причале. Ясмينا сидела на скамье и смотрела на облака, она была уже далеко. Мориц подхватил Жоэль на руки и встал рядом с Альбертом, чтобы девочка могла помахать бабушке.

– Вы рады, что снова увидите свою невесту, Морис?

– Я даже не знаю, жива ли она. И не ждут ли меня допросы. Или американская тюрьма.

– На вас нет никакой вины.

– Моя фамилия есть на всех фотографиях, во всех титрах, во всех платежных ведомостях министерства. Я был частью машины. А историю пишут победители.

Корабль содрогнулся. Гудок взвыл так внезапно, что смолкли все разговоры. Матросы выбирали швартовы, а дома за портом медленно, почти незаметно начали удаляться. Мориц ощутил, как палубу под ногами мягко качнуло.

Почти три года назад он прибыл в Тунис как Мориц Райнке, зондерфюрер пропагандистской роты в Африканском корпусе. Теперь он возвращался как Никто.

Глава 47

Переход через море был скоротечен, но для Ясины он тянулся вечность. Страдая от морской болезни, она провела все путешествие в трюме, скорчившись на деревянной скамье, точно кошка, забившаяся, чтобы умереть, в темный угол. Альберт сидел рядом, кормил ее таблетками, которые не помогали. Вокруг дребезжала жесть, скрежетала сталь, жуткая дрожь пробирала пароход до самых внутренностей, качка не утихала ни на минуту. Старое военное судно воняло ржавчиной, машинным маслом и забитыми галюнами, эта душегубка годилась только на металлолом.

Мориц гулял с Жоэль по палубе. Ей-то нравились и качка, и крикливые чайки, и ветер, треплющий волосы. Мориц ощущал себя беззащитным. Вокруг только небо и море. После стольких месяцев среди тесных стен вдруг очутиться в безбрежности. Без твердой опоры под ногами, но наконец-то в пути, наконец-то рядом с Ясиной. Но путешествие, вместо того чтобы соединить их, несло навстречу расставанию. Он вспоминал свое прощание с Фанни. Осенние листья на Ванзее. Последнее зарево деревьев. Любовь мимолетна, размышлял Мориц, стремительная и яркая, как лето. Только захочешь ее удержать – а ее уже нет. Сколько прощаний может вынести сердце, не умерев? Сколько раз можно начинать заново? Разве встречи и расставания не всего лишь случайность? Или они всегда – *мектуб*?

Мориц втайне надеялся, что они никогда не найдут Виктора. Тогда момент расставания отодвинется, возможно, навсегда. Он гнал эти мысли. Теперь он волен идти куда хочет и быть кем захочет. Но это не окрыляло, а угнетало, и Мориц уже завидовал людям, прочно привязанным к своим домам и любимым, к своей фамилии, адресу, к скучным будням – им не мешала вторая жизнь, даже в мечтах.

С наступлением темноты по правому борту потянулись огни Трапани. Аэродром, с которого Мориц стартовал последним этапом в Тунис. И куда улетел потом самолет, который должен был увезти его домой. О том, что самолет не долетел и что его отснятые фильмы лежат на морском дне в каких-то милях отсюда, он не знал.

Корабль обогнул Сицилию и в четыре часа утра прибыл в порт Палермо. Когда из-за ржавых кранов взошло солнце, они увидели останки кораблей, те лежали выброшенными на берег китами. Палермо был израненным городом, не лучше Туниса. Сошли на берег, Мориц нес спящую Жоэль. В хаосе порта они долго искали свои чемоданы. Перед паспортным контролем снова постарались оказаться подальше друг от друга, но опасения были напрасными. Морис Сарфати прошел процедуру без запинки. *Benvenuto, Signore.*

Спасибо, месье Леви, за чистую работу.

* * *

Палермо пел, Палермо вонял, Палермо потел уже с самого утра. Люди голодали, черный рынок процветал. В Тунисе было больше еды, чем здесь. Руины по обочинам, картон вместо разбитых стекол в окнах, разбомбленные дома рядом с античными колоннами. Сицилийцы не спешили устранять следы войны, оставили как есть – как и прочие следы прошлых времен – и продолжали жить дальше. Они привыкли быть то завоеванными, то опять забытыми. Пассажиров, выходящих из порта, окружили чистильщики обуви – дети со свалывшимися кудрями, лет десяти от силы.

Мориц нес чемодан, Ясмينا держала за руку Жоэль, Альберт хромал позади. Вот они и прибыли, а дальше – неведомое. Одна слепая от любви, один полупарализованный и один никто – в поиске облака в небе. Все, что у них было, – это название деревни где-то на востоке.

– У меня есть талисман, вы знаете? – сказала Ясмينا.

От ее морской болезни не осталось и следа, она вся светилась.

Мориц сперва подумал, что она имеет в виду руку Фатимы, висящую у нее на шее. Но Ясмينا вынула из кармана кусочек киноплёнки, вырезанный им когда-то из британского киножурнала.

– Мы можем расспросить людей!

– Ясмينا, без проектора ничего не разглядеть. На кадре Виктор все равно что песчинка.

– Тогда мы найдем проектор.

– Но если пленка не будет протягиваться в проекторе, она тут же расплавится.

– Всегда у вас есть какое-нибудь «но». Не будьте таким немцем! – Ясмина улыбнулась ему и перепрыгнула через яму в асфальте.

* * *

Откуда у нее такая уверенность, что ей повезет больше, чем тем бесчисленным женщинам, что стояли на жаре перед старым палаццо? Штаб коалиции в центре города хорошо охранялся: джипы, танки и пулеметчики. Боялись не диверсий, а голодных сицилийцев. Многих из солдат звали Сальваторе или Антонио, и говорили они на сицилийском диалекте с американским акцентом. Просителям следовало выстоять очередь, вытянуть номерок, показать паспорт, а на следующий день снова прийти – да и кто ты такая, лишь очередная докучливая женщина из толпы ожидающих матерей. Длинные коридоры, бесчисленные исчерканные карандашом бумажки на стене с фамилиями без вести пропавших. Официальные списки живых и убитых, отпечатанные на машинке. Купюры, исчезающие под столом, и тайные договоренности с красивыми девушками.

Ясмина обнаружила, что она не одна пришла требовать. Война проглотила тысячи мужчин и не выплюнула назад, да что там, сотни тысяч, даже миллионы. Но Ясмина вовсе не собиралась вливаться в команду безутешных вдов. Она упорно шла по длинным коридорам и всем показывала фото Виктора. И каждый отправлял ее дальше.

Француз? У нас на Сицилии не было французов. Они присоединились позже, на севере. Поезжайте в Рим!

Нет, мистер, он был здесь! В деревне Авола, на площади! Вы знаете Аволу? Возможно, он был агитатором или шпионом. И как-никак итальянец. Нет, он не воевал за фашистов, мистер, он был за вас! Нет, мы не знаем, в какой дивизии. Он еврей, может, это вам что-то подскажет?

Было много евреев, которые воевали за нас. Мусульмане, сикхи, индусы, the whole goddamn world^[112]. Какая разница? Когда они умирают, все одинаково зовут маму.

Поезжайте в Сиракузу! Там хоронят убитых и выхаживают раненых.

Нет, мистер, мы не ищем его среди убитых. Виктор слишком любит жизнь, чтобы умереть. А самое главное – жизнь его любит!

He must be a lucky man^[113].

* * *

Сиракуза находилась на восточном побережье, недалеко от нее была и деревня Авола, где Виктор попал в кинохронику. Именно там высадились британцы. *Авола*. Ясмина повторяла это название, будто оно обладало магической силой, она выпевала его и бормотала под стук колес на стыках рельсов. *Авола, Авола, Авола*. На карте эта деревня лежала на той же широте, что и *Piccola* Сицилия.

– Это знак, Морис, вы не находите? Знаете, почему мы его найдем? Потому что вы его спасли. Вы были нам ниспосланы. Вы наш ангел. Иначе бы это все было бессмысленно, ведь правда?

Когда поезд выехал из города, открылась картина, не изменившаяся за сотни лет. Миндальные и лимонные деревья, красная растрескавшаяся земля и оливковые рощи до горизонта. Отары овец накрывали холмы, словно тени от облаков. Женщины в полях пшеницы – страда и жара сицилийского лета. Деревенские женщины все как одна были в длинных черных платьях – вдовы и нелюдимые матроны, многие беззубые. То и дело посреди поля попадался сгоревший танк.

Ясмина высунула голову из окна, и волосы ее заплясали на ветру. Она вбирала летний зной, закрыв глаза, и наслаждалась скоростью. Мориц стоял рядом с ней в проходе, не сводя с нее глаз. Ясмина, пронизанная солнцем. Серебро и золото волос. Такая взрослая, и вдруг – на мгновение – сущий ребенок. Ясмина, не знавшая других мужчин, кроме брата. Ясмина, направляющаяся, возможно, к своей гибели. Горячий ветер в окно, запах сухой земли и сена. Белые клочья пара проносились мимо, в причудливом танце растворялись в полях. Пусть это длится вечно, думал он. Лучшее в путешествии – когда они на время забывали о цели и просто ехали куда-то, вместе. Ясмина втянула голову в вагон, чтобы волосы не пропахли паровозной сажей, а она хотела пахнуть хорошо, когда встретит Виктора.

– Он мне приснился, – сказала она. – Говорил, чтоб я не беспокоилась. Что у него все хорошо.

Мориц давно уже не возражал. Лишь удивлялся. Раз она видит его во сне, значит, он жив – вот и все. Она не искала Виктора, нет, она неслась ему навстречу – он уже рядом, и она готова. Для Морица сны были тем, от чего просыпаешься в холодном поту. А для Ясины – местом, где отдыхала ее душа. Она носила сны с собой, как улитка свой домик. Реальность же была для нее призрачной, исчезающей. И если реальность становилась слишком жестокой, Ясине всегда было где укрыться. Мориц ей завидовал, но и тревожился: каркасом ее дома снов был другой человек. А если они его не найдут? Что с нею станет? Или если права Сильветта? Вдруг он *не хочет*, чтоб его нашли?

* * *

Для проводника и пассажиров Мориц и Ясина были *Signor e Signora Sarfati*, путешествующие со стариком отцом по семейному делу. Ясине и Альберту это заблуждение было на руку – избавляло от лишних расспросов, а вот Морицу роль давалась тяжело. В иные моменты он и сам переставал различать, где правда, а где ложь. Они – пара, иногда это казалось таким естественным и привычным. Но потом в нем колом вставал вопрос: чувствует ли она то же, что и он? Ясина играла роль, ни разу не намекнув Морицу, что это все не более чем притворство. Ее сопровождал еще один спутник, невидимый, – Виктор, стучавший в ее пульсе. Но что она чувствовала к мужчине, который был реальностью, который был рядом, носил ее ребенка и чемодан, подавал ей руку, чтоб она не оступилась?

Во всех комнатах воображаемого дома, что Ясина носила с собой, обитал лишь ее возлюбленный. Но то уже был дом призраков. Пустые кровати и стулья, разбитые окна, по комнатам гуляет ветер. Щелястые стены, худая крыша. Но никто не должен был этого знать. Ясина расстилала свою уверенность как покров над домом, чтобы никто не заметил, что он вот-вот рухнет.

В маленьком пансионе в Палермо она тайком наблюдала, как Мориц, держа на коленях Жоэль, сидит за расстроенным пианино в

салоне. Он терпеливо водил маленькими пальчиками девочки по клавишам, учил пропевать ноты. Никто не играл так с Ясминой, когда она была ребенком. Но Мориц был особенный. Он принимал Жоэль всерьез, и девочка чувствовала себя с ним счастливой. Он не считал ее полуфабрикатом человека, не считал, что ее надо формировать, управлять ею, он принимал Жоэль такой, какая она есть. Насколько неуклюжим он бывал со взрослыми, настолько же естественным – с Жоэль. Когда они сидели вот так, вдвоем, их окружала волшебная тишина. Будто мужчина и девочка были единым целым – с самого начала. Если бы только можно было слепить из двух мужчин одного!

* * *

В Аволе их ожидало разочарование. Деревушка из кинохроники оказалась городком, и площадей там было несколько. Но ни одна не походила на площадь из фильма. Похоже, английский оператор снимал где-то в другом месте, а Аволой отснятое место сделал уже лондонский комментатор. Возможно, ему понравилось название. Кто станет выяснять? Ясмина разозлилась. Мориц пытался объяснить, что фильмы, тем более из министерства пропаганды, нельзя воспринимать как истину. Ясмина и впрямь была уверена, что стоит им зайти в бар на площади и показать фото Виктора, как они тотчас выйдут на его след. Что он оставил зашифрованное послание, понять которое может лишь она.

Полуденное солнце припекало, все заведения были закрыты. Уставшая Жоэль хныкала. Ясмина показывала снимок каждому встречному. Никто Виктора не узнавал, хуже того – никто не хотел им помочь. Потому что он сражался не за *nostris*^[114], а за врагов. И эти расспрашивающие пришлые – пусть они и говорили по-итальянски и имели итальянские паспорта – тоже были не *nostris*. Враждебные взгляды мужчин в прокуренном баре, злобный шепот старух у домов. Портреты дуче исчезли со стен, но страх сказать что-нибудь не то сохранился. Лишь одна старуха согласилась поговорить.

– Да опоздали вы. Солдаты давно уже ушли. Но видели бы вы, Господь всемогущий, какие горы мертвецов лежали перед церковью.

На берег вблизи Аволы море в первый же день выкинуло множество мертвых солдат, рассказала старуха. Парашютистов, агитаторов, которые летели на рухнувших в воду транспортных планерах.

– Такие молодые, совсем дети. Мы вытащили их из воды. Потом их грузили на машины и увозили в Сиракузу, там больница. Они лежали по всему берегу, на улицах и площадях, а ведь лето, жара. Потом свои похоронили их в Сиракузе и ушли дальше на север.

– А раненые?

– Их тоже увезли в Сиракузу. Но в больнице вы их не найдете. Ясно, что и они уже на кладбище. Фамилии написаны на могилах.

* * *

Альберт решил, что надо ехать в Сиракузу.

– Нет! – крикнула Ясмينا. – Даже не думай об этом!

– Да будь же разумной. Нельзя исключать такую возможность.

– Я не пойду на кладбище! – Голос ее дрожал.

Альберт мягко увещевал ее, словно строптивного ребенка. Ясмينا же готова была обойти все деревни Сицилии в поисках площади из хроники. Тщетно пытался Альберт убедить дочь в бессмысленности этой затеи.

– Мы спросим в больнице. Может, его только ранили. Там наверняка есть записи.

– Нет! Я знаю, что он не там! Почему мне никто не верит?

Мориц поражался терпению Альберта. И спрашивал себя, что же с Ясминой. Откуда вдруг такое отчаяние? Страх ли это в преддверии дурной вести или ярость, оттого что Альберт ей не верит?

Но причина, которую Ясмينا не выдавала, крылась в другом: она разучилась ориентироваться в реальном мире, а фантазии предали ее. Дело было не в том, что Виктора никто не видел, а в том, что она больше не слышала его голос. Ее сны замолчали.

Вечером они сели в последний автобус на Сиракузу. Ясмينا не разговаривала с отцом. Мориц держал на коленях измученную Жоэль. В какой-то момент, когда стемнело, Ясмина положила голову Морицу

на плечо и закрыла глаза. Мориц вопросительно глянул на Альберта, и тот кивнул.

* * *

В древнем городе они поселились в пансионе, стоявшем у самой воды. Ясмина отказалась от еды и скрылась с Жоэль в своей комнате. Морицу и Альберту тоже было не до ужина. Они сели у себя в комнате и разделили последние сигареты. Через открытое окно слышался шум волн, набегавших на береговую стену, которая больше напоминала отвесную скалу, в черноте ночи не было видно ни зги, небо и море слились в единое целое.

– Вы добры к моей дочери, Морис.

Мориц уклонился от серьезного взгляда Альберта. Он не понимал, нет ли в этих словах какого-то второго смысла. Предложения, а может, и предостережения держаться от нее подальше.

– Я знаю, вы хотите ее защитить. Но никого не надо защищать от жизни. Можно только подготовить к ней. Я не смог этого сделать. Я принадлежал моим пациентам, а не собственным детям. Я должен был предотвратить беду. Я в ответе за них, и это мне следует просить у Виктора прощения.

– Вы бы не смогли ничего предотвратить.

– Она ищет в Викторе то, чего в нем нет, понимаете? Он принесет ей только несчастье. Морфинист лучше умрет от сверхдозы яда, но не откажется от пагубной привычки. Боль, которую Ясмина хочет заглушить, куда более старая, более глубокая боль. Виктор не может ее исцелить. Наоборот, он снова и снова будет беречь ее рану. Виктор – это яд, от которого она умрет. Вы понимаете?

– Диагноз убедительный. Но какое средство вы бы прописали?

– Дом и семью. Сейчас в ней бушует дикий огонь, не унимается, рвется наружу, ищет путь. Даже если сама она сгорит при этом. Признаюсь, Морис, я совсем не знаю свою дочь. Мы можем вскрыть тело человека, но каким он был, всегда остается тайной. Даже для него самого.

Альберт сел на свою кровать.

– Вы читали Халиля Джебрана?

– Нет, кто это?

– Ливанский поэт. Он написал: *Ваши дети – не ваши дети. Они сыновья и дочери тоски жизни по себе самой. Вы можете дать приют их телам, но не их душам. Ибо их души живут в завтрашнем доме, куда вам нет доступа, даже во сне.*

– Красиво, – сказал Мориц.

– Нет, грустно. Но правдиво. Я не смог защитить Ясмину от опыта, через который ей пришлось пройти. И пока я жив, я буду жить лишь для того, чтобы поддержать ее, уберечь ее от падения.

Левой рукой Альберт принялся расстегивать рубашку. Мориц помог ему раздеться.

– Спасибо, Морис. Не могли бы вы оставить окно открытым. Я так люблю шум моря.

Они легли, Мориц выключил лампу на ночном столике.

– А если мы его все же найдем, Альберт, если он жив – что вы ему скажете?

– Я попрошу его вернуться.

– Вы дадите согласие на их женитьбу?

– Никогда.

– Тогда она убежит с ним. И вы потеряете обоих детей.

– Я знаю. Если быть честным, Морис, я боюсь того дня, когда мы его найдем. И вместе с тем не хочу ничего сильнее. Я не хочу умереть, не простив его. Даже если тому, что он сделал, прощения нет. Но разве можно жить, не простив?

* * *

Наутро Ясмина с улыбкой вбежала в комнату мужчин. Она увидела Виктора во сне, и мир снова обрел свою целостность.

– Он жил со мной, в приморском городе. Он, я и Жоэль, в нашей квартире! Она уже выросла, почти взрослая. *Che bello, Papà!*

Она осторожно обняла отца. Альберт не посмел ей возразить.

– Где был этот город?

– Не знаю. Море такое же, как наше, но город незнакомый.

– На каком языке разговаривали люди?

– Не знаю. На красивом.

Глава 48

В больничных записях они не нашли его имени. Сотни британских солдат прошли через больницу Сиракузы: огнестрельные ранения в живот, переломы конечностей, перелом основания черепа – все солдаты поступили в июле 1943-го, некоторых вскоре выписали, но многие умерли. Это были безумные дни, говорили врачи, сначала привозили *i nostri*, потом иностранцев. Были там и *tedeschi*^[115] – они еще дышали, когда мы клали их рядом с *inglesi*^[116]. Но Виктор Сарфати? Покажите-ка еще раз фото, *no, Signore, mi dispiace*^[117], такого не припомню. Я сам потерял на этой войне сына, я понимаю вашу боль, мне очень жаль, что ничем не могу вам помочь; пожалуйста, извините, меня ждут пациенты.

Когда Альберт потерял последнюю надежду, Ясмينا встретила медсестру. Ее звали Мария, у нее были короткие волосы, светлая кожа и румяные щеки, и Ясмينا сама не знала, почему заговорила именно с ней. Может, потому, что женщина была во вкусе Виктора: постарше его, красивая, чуть кокетливая, но не вульгарная, этакая непослушная дочь из порядочной семьи. Ясмине даже не понадобилось называть его имя, достаточно было показать фото. Мария так и впиалась глазами в снимок.

– Виктор. Конечно же, я его помню.

Он лежал в другом отделении. У него не было никакого ранения. Острый приступ малярии. Они чуть не опоздали, температура была за сорок. Три дня боролись за его жизнь, но потом он пришел в сознание.

У него был еще один ангел-хранитель, догадалась Ясмينا. И семь жизней, как у кошки.

– Я знала, Мария! Я даже видела вас во сне.

И Ясмينا кинулась за Альбертом и Морицем.

– Это мой отец, доктор Сарфати. Мой муж, Морис... наша дочь...

Мария сделала книксен перед Альбертом, узнав, что он врач. Ясмина представила девушку:

– А это Мария, *amica* Виктора.

– Нет, синьора, ну что вы! Я не была его... подругой. Вы меня неправильно поняли.

Ясмина ей не поверила.

– Простите меня, синьора Мария, – сказал Альберт. – Это нас не касается. Мы всего лишь хотели...

– Давайте выйдем. Поговорим на улице.

Она вывела их по лестнице во двор. Они сели на сломанную скамью под каштаном. Трещали цикады в сухом полуденном зное, ставни больничных окон были закрыты. Жоэль принялась играть с кошками. Мария говорила тихо.

– У Виктора не было подруги. Он был не такой, как все. То, что другим солдатам доставляло радость, у него вызывало скуку.

Она говорила искренне. Ясмина слушала с удивлением.

– Но у него был друг.

– Друг? Какой друг?

– Ури Варшавски. Тоже поступил с малярией. Они часто сидели здесь и не могли наговориться, когда другие уже спали. Были неразлучны, всегда вместе. Мы их называли *ВиктУри*.

– О чем они говорили?

– О евреях. Я в этом ничего не понимаю, синьора, я католичка.

– Ури тоже был еврей?

Мария кивнула.

– Тунисский еврей?

– Нет, палестинский.

Ясмина вопросительно взглянула на Альберта.

– Такое возможно, – кивнул он. – Несколько тысяч палестинских евреев воевали за британцев. Так же, как наши за французов.

– Как долго он здесь пробыл? – спросила Ясмина.

– Месяца полтора. Потребовалось время, чтобы набраться сил. И, если уж честно, синьора, вам ведь я могу это сказать, они не торопились выписываться. Оба. В конце концов и ушли вместе.

– Куда?

– На фронт. В свои полки.

– В форме? – спросил Мориц.

Мария медлила с ответом. Мориц уточнил:

– Или они покинули больницу в гражданском?

Мария переводила осторожный взгляд с одного на другого.

– Не бойтесь, – сказал Мориц. – Мы никому не расскажем. Мы просто хотим найти его.

Мария потупилась и прошептала:

– Думаю, они были в гражданском.

Ясмина не вполне понимала значение этой детали, но Мориц и Альберт догадывались, что это могло значить. Дезертирство. Но куда они направились?

– Вы потом что-нибудь слышали о нем?

– К сожалению, нет. Только... – Мария неуверенно взглянула на Альберта.

– Вы можете нам доверять, Мария. Ведь мы его семья.

– Я получила письмо. На домашний адрес.

– Откуда?

– Из лагеря. – Она использовала немецкое слово. *Лагерь*.

– Из какого лагеря?

– Ну, там, на материке, в Италии.

Вечером они проводили Марию до дома, где она жила с семьей, в соседней деревне. За кухонным столом, при тусклом свете лампы Ясмина открыла коричневый конверт и развернула письмо.

*Дорогая Мария,
мы часто думаем о тебе и благодарим тебя от всего
сердца.*

*У нас все хорошо. Не забывай нас, скорее выходи
замуж, а если тебе опять подвернутся еврейские пациенты,
посылай их в Феррамонти.*

*Там их ждут.
Храни тебя Бог!*

ВиктУри

Подписей нет, но всякий, кто знал их прозвище, понял бы, от кого письмо. На конверте в качестве отправителя стояло только: «Уго В., Италия».

– Это его почерк! – воскликнула Ясмина. – *È vivo!* Он жив!

Она вскочила и так крепко обняла Морица, что он чуть не упал. Впервые она обнимала его на людях, но Марии это не показалось

странным, ведь они же муж и жена. И Альберт тоже помалкивал. Ясмину прочитала письмо еще раз, смакуя каждое слово.

– Феррамонти! Мы едем в Феррамонти!

– Где это? – спросил Мориц.

– В Калабрии, – сказала Мария. – Это лагерь.

– Концентрационный?

– Да.

– Вы там были?

– Я ни разу не была на материке, синьор.

Мария принесла из подвала вино. Альберт аккуратно развернул карту и принялся изучать ее.

– Это на вашем пути домой, Морис. Если вы не против, мы составим вам компанию еще немного.

* * *

Мориц обрадовался, что прощание снова откладывается. Вот так бы ехать и ехать с ней и никуда не приезжать, иначе придется решать, а любое решение означало расставание. Мориц не знал, как сможет расстаться с Ясминой, особенно сейчас, когда она так и лучилась счастьем. Он не знал никого, способного на столь безусловную любовь. Подле этой любви – вот единственное место в мире, где ему хотелось находиться. Но каждый километр, приближавший их к другому – тому, чью одежду и башмаки он носил, – сокращал их время вместе.

Они ехали на грузовиках, служивших пассажирским транспортом, переправились через Мессинский пролив на пароме, а когда почти закончились деньги, пробирались на попутках – все дальше на север. Новость, что Виктор перестал интересоваться женщинами, окрылила Ясмину.

– Он изменился, – сказала она Альберту. – Это ты его изменила! – сказала она Жоэль.

Но Мориц видел причину в ином. Ясмину строила историю из фрагментов реальности, беря лишь те куски, что подходили под ее представление о Викторе, и не замечала то, что ему не соответствовало. В ее мире Виктор был героем, боровшимся со злом,

солдатом, выжившим лишь благодаря уходу, верным возлюбленным, которому нужна только она одна.

Но Мориц видел фрагменты, не укладывавшиеся в эту картину, а когда они добрались до лагеря в Феррамонти, он постиг и их контекст.

* * *

Лагерь не походил на обычный. По крайней мере, на те, что показывали в хронике. Бараки тут, правда, были, но ни колючей проволоки, ни сторожевых вышек, ни труб крематория. Вокруг цветущий летний пейзаж, овечьи пастбища, крестьянские дома и оливковые рощи. В войну сюда свозили евреев, но теперь Феррамонти обратился в город-призрак. Ворота стояли нараспашку, за ними огород, в котором копались британский солдат и седобородый согбенный старик. Они чинили улей. Свою винтовку солдат прислонил к забору. Британец не удивился посетителям. Евреи-переселенцы, в Италии таких полно.

– Мы скоро все это закроем, – сказал он. – Но вы можете переночевать, если хотите.

После освобождения в 1943 году коалиция перестроила этот лагерь для евреев в лагерь для беженцев. По сути, мало что поменялось, обитатели те же, разве что прибывали новые, а старожилы постепенно покидали Феррамонти. Но куда они отправлялись?

– Домой, наверное, – сказал англичанин.

– Ой ли? – насмешливо встрял старик. – Домой ли?

Он оглядел прибывших через толстые стекла очков, и Ясмينا выложила суть дела.

– Виктор Сарфати? – Старик задумался.

Ничего больше не сказав, он жестом пригласил гостей в один из барачков. По-итальянски он говорил с необычным акцентом, вроде бы восточноевропейским. Своего имени он не назвал.

Старик провел их в помещение, набитое книгами. Полки закрывали стены от пола до потолка, книги на всех языках и разными шрифтами: латиница, кириллица, иврит. В углу дымил помятый самовар. Старик налил всем чаю.

– Ох, нас тут было много, – он улыбнулся, обнажив остатки зубов, – мы были как эта новая организация объединенных наций. Греки, югославы, албанцы, французы, поляки, чехи и словаки, русские, даже китаец один. Профессура, учителя, столяры, настоящее еврейское местечко, штетл. – Он засмеялся, закашлялся. – Комендант был добрая душа, чтоб вы знали, из Рима спускали приказы, но он не обращал на них внимания.

Ясмина положила на стол фото Виктора:

– Он здесь был?

Старик сощурил глаза за стеклами.

– Мне очень жаль, синьора, но, боюсь, я никогда не видел этого парня.

– Может, у него была борода?

– Хм... Я не уверен. Здесь их было так много, знаете.

– А Ури? Вы не знали его друга Ури Варшавски?

Лицо старика просияло:

– Ури! Конечно! *È un amico!*

– Он был другом Виктора.

– Ури был другом всем!

– Где он теперь?

– О, он всегда в дороге, от лагеря к лагерю, они помогают людям, славные парни из Моссад.

– Моссад?

– Моссад ле-Алия Бет, разве в вашей стране нет такой организации?

– Есть, конечно, – заверил Альберт.

Мориц удивленно взглянул на него.

– Леон, – пояснил Альберт. – И месье Леви.

Мориц смутился.

– Разумеется, они не вешают на дверь табличку. Моссад означает на иврите «организация». А Алия Бет означает «второе пришествие». Иммиграция в Палестину.

Только теперь Мориц заметил флаг на стене: голубая звезда Давида на белом фоне. И понял, куда направились люди из этого лагеря.

– Италия – ворота в Сион, – сказал старик. – Может, и ваш брат уже в Эрец Израэль, синьора.

Ясмина испуганно смотрела на него.

– А где нам найти Ури? Где находится итальянское бюро Моссад?

– В любом лагере, синьор. Бюро не существует, но все же оно существует, понимаете? Просто спросите Ури. И передайте ему от меня привет. Абрамчик моя фамилия. Игорь Абрамчик.

Он проводил их до ворот.

– А вы? – спросил Альберт. – Сами вы не хотите эмигрировать?

– Я не знаю, – печально вздохнул старый еврей и поскреб в затылке. – У меня зоомагазин в Кракове. Сейчас за ним присматривает один мой знакомый. Я хотел бы вернуться туда. Но, знаете, оттуда долетают нехорошие слухи.

* * *

Они направились дальше на север, от одного лагеря к другому. Реджо-ди-Калабрия, Эболи, Бари, Барлетта. На каждом воротах одна и та же табличка: UNRRA DISPLACED PERSONS CAMP^[118]. Это были наскоро возведенные бараки, монастыри и просто фермы, куда прибывало людей, – стихийно возникшие еврейские поселения, киббуцы. Сюда через Альпы устремлялись выжившие из Германии и Польши, через Адриатику переправлялись из Югославии и России, тысячи и тысячи *перемещенных лиц* – так их всех называли, не принимая во внимание, откуда они.

Люди выращивали в лагерях овощи, устраивали концерты, тренировались, готовились снова отправиться в дорогу. Еще никогда в Палестину не перебиралось так много европейцев. Море стало для них мостом.

Нам здесь нечего делать. Мы лишились всего. Больше нам нечего терять.

Мы – люди, которые до Катастрофы никогда бы не встретились, русские и греки, ученые, коммерсанты и ремесленники, у многих на предплечье клеймо – номер. Всех нас вырвали с корнем, мы все потеряли, некоторым удалось прихватить разве что пару одежек, чемодан воспоминаний, но большинство просто спасли свою голую жизнь из огня, поглотившего их дома и синагоги. Лишившиеся родителей, сестер и братьев.

Мы – народ из срубленных деревьев, говорили они, из берез, буков и кедров, мы странствующие деревья, но могут ли деревья странствовать? Но бывают времена, когда приходится делать невозможное. Мы передвигались ночью, когда никто не видит, – деревья в поиске новой почвы. Мы – как та сороконожка. Она тоже не знает, в каком порядке двигаются ее ножки, и если она об этом задумается, то ножки ее спутаются. Мы просто ставим одну ногу перед другой и идем, даже если не знаем, куда нас приведет дорога.

И потом мы вдруг понимаем, что мы не одни. Со всех сторон бредут и другие – к той же дороге, что и мы, сквозь темноту, все дальше. А если мы уже не одни, то мы начинаем сливаться – как капли дождя, падая с неба, сливаются в поток, тысячи, миллионы. Мы перестаем быть каплями, мы становимся единым потоком, а всякий поток устремляется к морю.

Моссад ле-Алия Бет оплачивала переезд в Палестину. Пожертвования поступали из Америки, а по слухам, еще и из Парижа, но точно никто не знал. Но радостно было от того, что кто-то о тебе заботится. Что ты не забыт. Однако, хотя море было открыто, порты оставались закрытыми. Власти Британского мандата пытались ограничить поток беженцев строгими квотами, так что легальные эмигранты обращались в нелегальных иммигрантов. Но поток неудержимо ширился. В каждом лагере висел флаг со звездой Давида, дети пели на утренней линейке Аतिकву, израильский гимн, а с какого-то времени входящих в ворота приветствовали: «Добро пожаловать в Израиль!» И повсюду книги, горы бесхозных книг.

– Книги с собой не берите, – говорили людям. – Нам не нужны книжные черви, нам нужны крестьяне и солдаты. Мы больше не позволим забивать нас как баранов. Отныне мы будем бороться. Нас будут тренировать парни из военной организации Хаганá^[119]. Для начала нам дадут палки, потом настоящие ружья. Да, это запрещено, но американцы закрывают на это глаза. Они знают, что сделали с нами немцы. Они знают всё.

– Вы не видели этого человека? Это мой брат.

– Нет, но повесьте фото на стену. Тут каждый кого-нибудь ищет.

Тысячи записок на стенах, слухи на всех языках, ложный след и мерцание надежды. Достаточное, чтобы надеяться, и слишком слабое,

чтобы найти. Мориц, Ясмينا, Альберт и Жоэль спали на соломенных тюфяках в бараках, делили с другими скудную еду, шли дальше и не находили ничего, кроме тумана. Иногда из тумана выплывало лицо Виктора, но тут же снова терялось.

Да, я знаю его, синьор, нет, я его не знаю, синьора. Да, он пел, вон там, на сцене, французский шансон! Нет, у меня нет его адреса, какие могут быть теперь адреса? Да, Виктор и Ури, они нас подкармливали, когда нечего было есть, добывали где-то консервированную солонину и ореховое масло. Нет, потом они поймали Ури и посадили под арест. Когда они украли оружие. Да, он был с мужчинами, которые должны были доставить нас на корабль, но потом коалиция нас обнаружила и все отменилось. Нет, больше он не появлялся, наверное, они его посадили, они нас не любят, хотя и делают вид, мы ни на кого не можем положиться, только на самих себя. Да, он был с мужчинами из Пальмаха^[120], они учили нас стрелять, хорошие, сильные мужчины, сражаются за наше государство. Нет, я не вполне уверен, мадам, тут столько людей приходит и уходит.

Самым странным было то, что Виктора не вспомнила ни одна женщина, только мужчины. Как будто это был совсем не тот Виктор, какого они знали. Чем ближе к нему они подходили, тем дальше он становился.

* * *

Что же сделала с нами эта война? – думал Мориц. Потерянный идет по следу потерянного. *Перемещенные лица.* От цифр у него кружилась голова. Ведь не только евреи, целый континент пришел в движение. Немецкий Красный Крест говорил о двадцати миллионах пропавших без вести. Армия безродных. Наверное, лишь тот, кто сам разделил эту участь, способен понять, что произошло с Виктором. Ясмينا восхищалась им как героем, отправившимся воевать со злом. Но Мориц видел в Викторе скитальца, который не в ладах с самим собой, для которого закрыт путь домой. Выброшенный в реальность, жестокость которой превзошла худшие его кошмары. Скиталец на краю сожженного мира, захваченный чем-то бóльшим, чем его

собственная жизнь. Затерянная песчинка, вдруг обнаружившая себя среди других песчинок, принесенных ветром. Где-то здесь, на ничейной лагерной земле, Виктор, должно быть, понял, что всегда был один, несмотря на все свои любовные связи, но есть новая семья, которая с готовностью примет его, лишившегося дома. Не мы находим свою жизнь, думал Мориц. Она находит нас. В тот момент, что определили не мы, в минуту полной нашей беззащитности. Не надо искать себя, достаточно лишь потеряться. И все случится.

* * *

Альберт становился все тише. Он старел прямо на глазах, с каждым днем. Посещения лагерей не только еще больше отдаляли его от сына, но заставляли усомниться в представлении о себе самом. Еврейство для Альберта всегда было сугубо личным делом – идентичность, определяемая не флагом и не нацией, а тем, как празднуются рождения и как хоронят умерших. Он, скорее, ощущал себя французом, и если бы ему пришлось выбирать между Руссо и Торой, он бы точно выбрал просветителя. И то, что нацисты отделили евреев от остальных людей, сведя все к их происхождению, потрясло его. Альберт надеялся, что после войны все вернется в прежнее русло. И то, что евреи теперь уже сами хотели отделиться, приводило его в смятение.

– Ассимиляция потерпела поражение, – говорили ему в лагерях. – Мы служили в их армиях и проливали кровь за их страны. Мы приспособивались до самоотречения. Но хоть когда-нибудь мы были их частью на самом деле?

– Бей Туниса всегда говорил, что евреи – его дети.

– И кто он такой, этот бей? Смог он защитить своих детей?

Чем дальше они продвигались на север, тем больше Альберта пугало, что его, убежденного европейца, европейские братья не принимают за своего. Он потерял лишь сына, они же потеряли все.

– Я их слышу, – сказала однажды ночью Ясмينا Морицу. – Они еще здесь.

– Кто?

Она видела души убитых, миллионы душ, которые неприкаянно блуждали по земле, слышала, как они нашептывают выжившим: *Раскройтесь и возьмите нас с собой, не забывают нас. Принесите нас в землю отцов, объедините то, что другие разделили, оживите то, что другие хотели убить, взойдите на корабли, бросьте пепел в море, плывите на другой берег и расскажите нашу историю еще раз с самого начала!*

* * *

В какой-то момент они заметили, что за ними кто-то следует. Светловолосый мужчина, в Италии такой всегда выделяется. Они встречали его то в лагере, то в автобусе, он постоянно был поблизости, шел за ними, а стоило оглянуться – скрывался в толпе.

Крепкий, с голубыми глазами, он двигался грациозно, точно кошка. Мориц был уверен, что это немец. Они начинали петлять, вскакивали в отъезжающие поезда и, добравшись до Неаполя, решили, что оторвались от него. Лагерь беженцев находился в Багноли, пригороде у моря, и там было полно детей. Раньше здесь располагалось общежитие фашистской молодежи, затем сиротский приют, а теперь это был многолюдный лагерь, в котором свирепствовал туберкулез. Им сразу дали от ворот поворот. Слишком много людей. Слишком опасно. Поезжайте дальше, в Рим. Они нерешительно топтались у ограды на полуденной жаре и раздумывали, что им делать, – как вдруг появился этот блондин.

– Вы ищете Виктора? Виктора Сарфати?

Все трое обомлели. Говорил он на ломаном итальянском со своеобразным акцентом, близким к немецкому, но все же не немецким.

– Кто вы? – вместо ответа спросил Альберт.

– *Un amico.*

– Друг Виктора?

– Да.

– Откуда вы знаете меня?

– Это неважно. Главное, что я знаю, где Виктор.

Ясмина ахнула, но тут же прикрыла рот ладонью.

– Мне очень жаль, синьора.

– Что жаль?

Его голубые глаза разглядывали ее, примериваясь, осилит ли она правду. Явно решив, что не осилит, он не ответил.

– Если хотите, я вас отведу к нему.

* * *

Выдвижные каменные ящики. Бесконечные многоэтажные ряды, белые хризантемы, имена и даты – ящики с останками. На поле позади стояли деревянные кресты, разномастные, в беспорядке – кто же будет оплачивать надгробия для чужеземных солдат, если местные живут впроголодь? Ясмина держала отца за руку, а Мориц нес усталую Жоэль, стоял знойный полдень, когда блондин привел их туда. Он что-то напутал, это недоразумение, всего лишь недоразумение. Тут же лежат англичане, канадцы, новозеландцы, южноафриканцы, австралийцы. И неизвестные. Кресты без имен.

Еще дальше покоились протестанты, а за ними среди кипарисов стояла маленькая мечеть. Мусульмане, евреи и самоубийцы, *cimitero acattolico*^[121]. Полумесяцы и звезды Давида на могильных камнях, Сэм Тайлер, Халед Мессаунд, Джаймал Сингх.

Блондин остановился.

Ясмина не верила своим глазам.

Виктор Сарфати

Внезапная глухота в голове, словно мозги стали ватными, видишь, но ничего не чувствуешь. Этого имени здесь не должно быть. Это не он. Он не здесь. Какая-то ошибка. Наверняка он вон на том холме, машет им.

22.10.1919, Тунис

Дата рождения – его. На могиле не было камня, в отличие от могил других. Могила свежая, еще не заросла травой, даже не осела.

12.04.1945, Неаполь

Ясмина начала дрожать. Сперва руки, потом ноги, пока все ее тело не затряслось. Существовал лишь один Виктор Сарфати, который родился в этот день в Тунисе, – иначе как бы его имя могло оказаться здесь, вдали от родины.

– Он погиб не от вражеской пули. Он непобедимый, как его имя.

– Но...

– Он утонул, синьора. Трагическая случайность. Штормовая ночь, он нес ребенка на плечах к одной из наших лодок, было темно, в море на якоре ждал корабль, но он не добрался до лодки, мы обыскали весь берег, а наутро нашли его тело. Ребенка не нашли.

Альберт хотел взять Ясмину за руку, но схватил лишь пустоту. Она упала на колени, начала всхлипывать, сначала тихо, потом принялась выкрикивать имя Виктора, голыми руками скрести землю. Мориц хотел ее остановить, но она ударила его в лицо и продолжала бить, потом снова пыталась зарыться в сухую землю, которая не поддавалась, наконец она рухнула, сотрясаясь в рыданиях, агонизирующее животное.

Альберт склонился над могилой, опустил на корточки, стал гладить землю со всей нежностью, что в нем сохранилась, он беззвучно плакал. Ясмина вскочила, сорвала с шеи хамсу и швырнула ее на могилу. Мориц неподвижно стоял рядом. Руки у него ослабли, он больше не мог держать Жоэль, которая прижалась к нему, не понимая, что происходит. Он опустил на колени, стараясь не уронить ребенка. Еще никогда он не чувствовал себя таким потерянным, таким бессильным, таким голым перед Вселенной, планеты которой продолжали равнодушно кружиться, тогда как здесь время остановилось.

Глава 49

Марсала

Пугало не зрелище, звуки. Пока самолет находился под водой, гигантская мертвая рыба, он молчал. Но стоило ржавому корпусу, стянутому ремнями, показаться над поверхностью, как он принялся стонать, точно истерзанный зверь. Спутанный Гулливер, монстр из глубин, освещенный лучами закатного солнца. Не надо было нам тревожить его покой. Это больше не самолет, это гроб – обросшие ракушками ребра, крылья, смятый пропеллер. Кран удерживал самолет на волнах, слишком высоких. Для этой операции требовалось спокойное море, но завтра опять ожидался шторм, так что сегодня или никогда.

Водолазы взбираются на крылья, проверяют, прочно ли закреплены ремни и выдержит ли корпус. Предстояло поднять самолет на понтон рядом с катером, чтобы доставить его в порт. Это самая трудная часть – переместить всего-то на несколько метров, но в воздухе; лишившись подъемной силы воды, ржавый самолет может не выдержать. Воздух давно перестал быть его стихией.

Сантиметр за сантиметром кран поднимает его выше. Мы почти можем видеть серебристое брюхо, еще чуть-чуть, и он оторвется от воды. Самолет зависает в воздухе, из него льются потоки, и тут мы слышим зловеющий скрежет.

– Опускайте! – кричит Патрис. – Назад!

Кран замирает, корпус самолета содрогается. Кто-то кричит: «Мотор!» – и мы видим: правый мотор кренится, поначалу медленно, потом на крыле лопается какой-то шов, и тяжелый агрегат выламывается из корпуса. Правое крыло вскидывается вверх, левое зарывается в волны, фюзеляж отчаянно скрежещет в своем бандаже, снова раздается крик, Патрис запрыгивает на крыло, чтобы потуже затянуть сползающий ремень.

«Ты сдурел!» – кричат ему, и мы видим, как обшивка разрывается посередине, сперва как в замедленной съемке, а затем огромный корпус со страшным скрипом разваливается пополам.

Патрис соскальзывает в воду. Чудовище окончательно рассыпается, обломки вываливаются из ремней, падают в воду, замирают на самый последний миг и с шипением и бульканьем уходят в глубину.

Патрису бросают канат и вытягивают на борт. Сперва мужчины еще что-то кричат, какие-то команды, потом все смолкают. Пустые стропы болтаются на стреле крана, сочась водой. Всем понятно то, что никто пока не отваживается произнести: что бы там ни скрывалось внутри этого растерзанного скелета, теперь оно, покачиваясь, уходит на глубину пятьдесят четыре метра, и скоро течение и воля случая раскидают все это по дну, крупные части, наверное, разломаются, мелкие уйдут в песок. Оповестительные жетоны, сапоги и шесть тронутых коррозией ящиков, которые тоже могут развалиться.

* * *

На обратном пути Патрис молчит. Никто не смеет с ним заговорить. За катером волочится пустой понтон, солнце садится, с запада дует холодный бриз, и сводка погоды предсказывает на завтра шторм.

Глава 50

Юкали

До самого часа разлуки любовь не знает своей глубины.

Халиль Джебран

Когда умирает большая любовь, мы теряем не только человека, но и доверие к жизни. Под Ясминой разверзлась пропасть. Внутри нее рухнул дом, крыша и стены которого и без того уже были в щелях. Она стояла на коленях на пыльной земле у могилы Виктора, и в ней распухала пустота.

Мориц и Альберт обняли ее с двух сторон, не в силах дать ей утешения, которого самим не хватало. Каждый был один на один со своей историей, которая завершилась у этой могилы. Какой смысл было спасать жизнь, думал Мориц, если ей все равно вскоре было суждено угаснуть?

– *Мектуб!* – Ясмина не сказала это, выкрикнула.

Мектуб, его смерть была предначертана. В Тунисе или в Неаполе, какая для него теперь разница? *Мектуб*, и мы бессильны. Единственное добро, которое Мориц сделал, оказалось в итоге бесполезным. Виктор не дожил даже до капитуляции нацистов. Когда в мае все танцевали на улицах Туниса, он уже лежал в земле. Альберт, единственный, кто считал, что, возможно, Виктор погиб, теперь не знал, что делать. Он привлек к себе Ясмину здоровой левой рукой, но вместе с силами из него ушли и слова.

Когда что-то теряет смысл, ищешь спасения в объяснениях. Могила Виктора дала ответ хотя бы на вопрос, что он делал после своего исчезновения. Светловолосый мужчина помог им связать все нити.

Да, он работал на британцев агитатором, но не в регулярной армии, а в качестве *спецагента*, по заданию *Secret Service*. Поскольку официально он не был принят на службу, то и не значился в списках коалиции, и не было записи, которая объявила бы его погибшим.

Встреча в сиракузской больнице с Ури открыла ему дверь в новый мир. Там его приняли в армию, сражавшуюся за народ, который действительно был его народом. Не расколотым, как французы, и не ничейным, как итальянцы, а единым и решительным в желании выжить. Народ без государства, который Виктор даже не считал за народ, пока нацисты не принялись его искоренять. *Своими* для него прежде были Шарль Трене, Тино Росси и Морис Шевалье, которые пели не о расе и религии, а о любви во всех ее проявлениях.

Однако после того, как он ускользнул от смерти, прошлые привязанности поблекли, стали казаться ему до ужаса банальными. А узнав о масштабах варварства по отношению к своему народу, Виктор понял, что отец его был прав, упрекая его, что он растрчивает жизнь на пустяки.

Виктор вступил в Хагану, воевавшую вместе с британцами, но преследовавшую и свою цель: как можно больше евреев перевезти из Европы в Палестину, чтобы создать там еврейское государство. У них Виктор научился искусству менять личность, научился убивать голыми руками, выдерживать пытки. В них он обрел новую семью. В Ури. В блондине, который, лишь прощаясь, выдал свое имя и исчез так же неожиданно, как и появился.

– Он был *человек*, – сказал он о Викторе напоследок.

Он использовал слово на идише. Оно прозвучало для Морица как далекое эхо: *Mentsch*.

– *Шейянуах башалом аль мишекаву*, – ответил Альберт. Да смилостивится Господь к его душе.

Что ты делаешь с тем, с кем не смог проститься, потому что он уже погребен? Ты носишь его в себе. Семидневная шива, совместное сидение в доме покойного, стариковское молитвенное бормотание, свечи и занавешенные зеркала – всего этого у них не было. Говорят, ритуалы помогают душе умершего найти дорогу. Но они и оставшимся помогают – несут утешение. Без поддержки этих ритуалов Ясмينا чувствовала себя потерявшейся, кораблем без компаса. Ее звезда исчезла с небосклона.

Задул горячий сирокко, и небо стало молочно-желтым от тонкой пыли, которую ветер нес из африканской пустыни.

Они нашли пансион в Лунгомаре, тихом, полумертвом, тогда как недалекий Неаполь шумел жизнью.

Когда человек за стойкой предложил им две лучшие комнаты с видом на море, Альберт отказался. И не потому что денег оставалось в обрез, а потому что он не хотел видеть это проклятое море, отнявшее у него сына.

* * *

Мориц проснулся до рассвета, в три часа. В соседней комнате плакала Жоэль. Если бы не этот плач, все бы пошло по-другому. Но она заплакала, Альберт продолжал спать, а Мориц проснулся. Он оделся, прошел по коридору до комнаты Ясины, постучал, открыл незапертую дверь и увидел, что в постели ее нет. Ветер сотрясал ставни на окне. Мориц подхватил испуганную Жоэль и гладил по вспотевшей голове, пока она не перестала всхлипывать.

– Мама, – пролепетала она.

С малышкой на руках, Мориц спустился по лестнице. Заглянул в туалет и в пустую комнату для завтраков. Вышел к стойке регистрации, за которой никого не было, открыл дверь на улицу. В лицо ударил сильный ветер. Через дорогу бушевало море, желтоватое от света качающихся фонарей. Жоэль крепко вцепилась в него. И в этот момент Мориц осознал, что времени почти нет. Он бросился вверх и разбудил Альберта. Тот проснулся мгновенно, схватил с ночного столика очки:

– Я с вами.

– Нет. Присмотрите за Жоэль.

Не дав времени на возражения, Мориц передал ему ребенка, а сам побежал вниз, выскочил на пустую улицу. Брызги взлетали над парпетом, ветер свистел меж домов, стучали ставни. В небе не видно было ни звезды, лишь молочный отсвет большого города.

Никто бы не сунулся ночью к разбомбленному сталелитейному заводу. Тем более в бурю, когда в воздухе летали обломки и ветки. Но, может, именно поэтому Мориц и бросился туда. Потому что она обезумела. Потому что от руин в море уходил стальной пирс, о который разбивались волны – белопенные гребни во тьме, ни огонька, только резкий ветер. Раньше сюда причаливали корабли.

Добежав до пирса, Мориц увидел, что он просто уходит в море, исчезает в воде. Бомба, должно быть, разрушила фундамент, линия пирса кренилась набок и внезапно скрывалась в яростном прибое.

Мориц уже хотел повернуть назад, но вдруг увидел светлое пятно. Что-то белое трепетало на ветру, крошечное на фоне бушующего моря, точка во тьме, крыло бабочки. Потом он различил силуэт, понял, что трепещет ее ночная рубашка, и позвал. Ветер дул с моря, Мориц не понимал, слышит ли она его, не понимал, выдержит ли его разрушенный пирс. А потом она вдруг исчезла.

Светлое пятнышко поглотили тьма и ветер. Мориц рванулся вперед. Пирс дрожал под ногами, разорванное железо стонало под ударами волн. Жуткий скрежет, перекрывавший свист ветра – словно умирал зверь из металла. Добежав до места, где пирс обрывался, Мориц увидел светлое пятно в темноте – белый венок в чернильной воде. Ясмина вцепилась в сломанные поручни, пытаясь выбраться, но волны швыряли ее из сторны в сторону. Мориц прокричал против ветра ее имя. Ясмина увидела его.

– Ясмина! Вы сошли с ума!

Она смотрела на Морица точно зачарованная, не отрывая взгляда. Он медленно сползал к ней в темную воду по скользкой, ненадежной опоре.

– Вернитесь!

Она не хочет умирать. Он чувствовал это. Слишком много жизни в ней. *Когда по-настоящему хочешь погибнуть, делаешь это как следует.* Она просто заплутала, она не знает, принадлежит к живым или к мертвым. И пошла в море, чтобы выяснить это.

Мориц на себе ощутил чудовищную силу моря. Оно вздымалось и опускалось, и человек был легчайшим перышком, игрушкой стихии. Он продвигался на ощупь, все глубже. Набегавшая волна накрывала Ясмину с головой, а откатываясь, обнажала ее едва прикрытое тканью тело. Ясмина смотрела снизу на Морица, точно на пришельца, пытающегося проникнуть в мир, куда ему нет доступа. Как на человека, увидевшего то, чего ему нельзя было видеть. Только она и стихия, и третий тут был лишним.

– Дайте руку!

Ясмина замотала головой, вцепившись в поручни. Он продвигался к ней шаг за шагом, протягивая руку, выкрикивая ее имя, чтобы

вырвать ее из сна, в котором она запуталась, точно в сети. Когда накатила особенно мощная волна, Ясмينا отпустила поручень, позволила воде поднять себя и пронести мимо Морица. Он попытался дотянуться, ухватить, но она принадлежала морю, которое несколько мгновений баюкало ее, как ласковый великан, а потом с силой швырнуло обратно к поручням.

Ясмину закрутило, она перестала понимать, где берег, попыталась ухватиться за что-то, но волна уже откатывала назад. Мориц прыгнул в воду и поплыл к Ясмине. Еще одна волна, один удар головой о сталь – и всему конец. Больше ни боли, ни вопросов. Он рванулся к ней, дотянулся до ее бедер, ухватил, подтащил к себе, но она не хотела, чтобы ее спасали, она сопротивлялась – ему, не морю. Мориц держал ее крепко и тянул к покореженному пирсу, пока ноги не нащупали опору. Она кашляла, отплевывалась и постепенно возвращалась в жизнь, в эту проклятую жизнь, из которой почти уже вырвалась.

Мориц заорал:

– Вы совсем рехнулись?!

Ясмينا огляделась. Дикие, выпученные глаза. Руки его все еще обнимали ее бедра. Лишь клочок мокрой ткани прикрывал ее тело.

– Как вы могли! Вы не имеете права так играть жизнью!

Ясмينا оттолкнула его, поднялась и двинулась по пирсу к берегу, прочь от проклятого моря. Дойдя до песка, она без сил опустилась на колени. Твердая, надежная почва. Мориц рухнул рядом.

– Почему вы не оставите меня в покое? – прохрипела она.

Тяжело дыша, они уставились друг на друга. В бездонных глазах Ясмины было что-то дикое. Что-то такое, чего никому нельзя видеть. А он увидел. Какое-то время они так и сидели, пока дыхание у нее не выровнялось и она не осознала, что они оба живы.

– Если вы скажете моему отцу, я вас убью.

Мориц протянул руку:

– Надо идти.

Ясмينا мотнула головой. Она никуда не могла идти. Будто ее тело поджидало душу, где-то заплутавшую.

– Вставайте! Ваш отец беспокоится. Жоэль напугана.

Она подтянула колени к груди, обхватила. Раковина, выброшенная штормом на берег. Она не может вернуться. Мориц схватил ее за запястье и потянул вверх.

– Ясмина!

– Отстаньте от меня! – прошипела она, отбиваясь.

И тут он расшвырнул ее.

– Хватит! Куда вы хотите?!

Она не знала. Не туда, но и не сюда, нет больше места на этой земле, где бы она успокоилась.

– Ну и оставайтесь! – Мориц отвернулся и зашагал прочь.

– Подождите! – крикнула Ясмина.

Он обернулся. Она медленно встала, прикрыла грудь локтями. Ветер трепал мокрые волосы.

– Что мне делать? – крикнула она.

Это была не жалоба, а вопрос. Она и вправду не знала, что ей делать.

– У вас же дочь, черт побери!

– Какой прок от матери, у которой одни несчастья? Разве Жоэль станет со мной счастливой?

– Что же, расти ей сиротой? Это лучше? Ясмина, очнитесь! Вам надо быть сильной. Ради Жоэль.

– У меня было только одно желание. Больше я ничего не хотела, ни богатства, ни чего-то особенного. Неужели я требовала слишком много? Почему счастье приходит только к другим? За что Бог так не любит меня?

Оставь в покое Бога, он равнодушен. Но я тебя люблю.

Вместо этого Мориц ответил:

– Но Виктор вас любил.

И вот тут она будто окончательно очнулась и, стоя на ветру, под качающимся фонарем, пристально посмотрела на Морица. Ей стоило невероятного усилия принять эти слова, не отшвырнуть. И выдержать его взгляд, стоя перед ним почти голой. Ее грудь судорожно поднялась, опустилась, Ясмина боролась с собой, но сдалась и разрыдалась – потоком хлынули слезы, копившиеся в ней так давно, начиная с того дня, когда исчез Виктор, а то и раньше. Она спрятала лицо в ладонях. Мориц подошел к ней и обнял. Она не оттолкнула. Они стояли очень близко друг к другу, почти кожа к коже. И это было хорошо.

– Виктор хотел бы, чтобы вы были счастливы. Он бы сказал: живи своей жизнью.

– Но я не такая, как он. Я *sfortunata*.

– Нет, Ясмина, вы чудесная.

Она высвободилась и посмотрела на него:

– Вы меня не знаете, Морис. То, что папá взял меня из сиротского приюта, стало самым большим моим несчастьем. Я решила, что принадлежу к удачливым. Что имею право на счастье. Если бы я осталась в приюте, то не влюбилась бы в Виктора, не вбила бы в голову эту безумную мечту. Мне не надо было покидать приют, я не заслуживала счастья.

Мориц хотел ее снова обнять, показать ей, что это неправда. Но понял, что если тело ее он сможет удержать, то ее искалеченную душу – нет.

– Но в приют вам уже не вернуться. Никто никуда не может вернуться. Мы теперь здесь.

Она вытерла слезы.

– Знаю. Я поехала в Италию, чтобы больше не возвращаться. Чтобы быть с ним.

– Он умер, Ясмина.

– И что же мне теперь делать?

Мориц чувствовал, что у него есть только этот момент, чтобы ответить на ее вопрос, чтобы сказать все. Если он не сделает это прямо сейчас, приоткрывшаяся дверь снова захлопнется, а завтра они распрощаются на вокзале. Все кончится. Но если у всего случившегося и был смысл, то лежал он на поверхности, протяни руку и бери. В том, что возникло между ними, не было ничьего намерения, напротив, все произошло *против* их воли. И если в этом разрушенном мире где-то и есть Бог, то это Бог любви, ибо именно это Мориц чувствовал в тот миг – чистую любовь, беспримесную, без ложных надежд. А если нет никакого Бога, то и вовсе неважно, потому что единственная правда, какая теперь существовала для него, – жизнь во всей ее непостижимости.

– Оставайтесь со мной, – сказал он.

Ясмина посмотрела ошеломленно.

– Вы и Жоэль. Мы просто будем вместе.

– Но...

– Никаких «но». Хотите выйти за меня замуж?

Она оцепенела. Он ждал ответа. Она начала дрожать. Потом отрицательно покачала головой.

– Мне очень жаль, Морис.

Она прошла мимо него, назад к пансиону. Мориц смотрел ей вслед. Вот все и решилось. Но он хотя бы не может упрекнуть себя в том, что продолжал таиться.

Когда он пришел в пансион, Ясмина сидела рядом с Альбертом на его кровати, Жоэль тихо плакала у нее на руках. Ясмина напевала песенку про *Légionnaire*.

– Что случилось? – спросил Альберт, глядя на Морица, стоявшего в дверях.

– Ничего.

Глава 51

Перед тем, как отправиться на вокзал, чтобы разъехаться в разные стороны, они дали телеграмму Мими. Телеграфистка будничным тоном зачитала текст, который Альберт протянул ей в окошечко.

– *Скорбная весть. Точка. Виктор умер. Точка. Еще апреле. Точка. Несчастный случай море. Точка. Возвращаемся.* Четырнадцать слов, верно, господин?

– Нет, – сказала Ясмина. – Я не вернусь.

– Что?

Ясмина смотрела на отца с вызовом.

– Прекрати! – воскликнул Альберт и повернулся к телеграфистке, ожидавшей ответа: – *Да, возвращаемся.* Во множественном числе.

Телеграфистка принялась печатать текст. Клац-клац-клац. Не хотелось представлять, как по ту сторону моря руки Мими, перепачканные в муке, вскрывают коричневый листок, как она читает эти скудные слова и как рушится ее мир – или то, что от него осталось. Не хотелось представлять, как она обвиняет Альберта в том, что он загнал Виктора в погибель, как прокликает Ясмину, что принесла в их дом несчастье. Не хотелось быть на ее месте.

* * *

Мориц с Жоэль ждали снаружи. Он купил у лоточника лимонное мороженое в вафельном стаканчике, и они по очереди лизали его. Он хотел насладиться каждой оставшейся минутой. Он плохо представлял себе, как будет жить без этой девочки. Можно заставить себя забыть женщину, но ребенка – никогда. Они смотрели на людей, которые шли в свои конторы и магазины, и впервые за долгое время Мориц радовался, что снова станет одним из них. Снова будет кем-то. Кем – Мориц пока не знал.

Происшедшее ночью вернуло ему, несмотря ни на что, ощущение, что он живой. В нем снова пульсировало что-то настоящее – ярость,

печаль, любовь. И пусть любовь его была безответной, куда важнее, думал он, что сердце снова бьется, что он просто есть.

Когда Ясмينا и Альберт вышли из почты, его вдруг окатило счастьем.

– До свидания, – сказал Мориц и протянул Ясмине руку.

Пусть ее решение неправильное, но она его приняла, теперь он должен был принять свое. Мориц не знал, что будет делать в Германии и жива ли еще Фанни, но она была его последней точкой опоры в этом мире.

Ясмينا не приняла его руку.

– Что случилось? – удивленно и почти зло спросил Альберт.

Не ответив, Ясмينا долго смотрела на Морица. И потом сказала:

– Да.

Он не понял, о чем она.

– Ваш вопрос вчерашней ночью. Мой ответ – да.

Мориц оторопел. Альберт вопросительно уставился на него.

– Это был *мектуб*, Морис. Если человеку суждено умереть, никто не может его спасти. Никто. Судьба знала, что Виктор погибнет. Судьба послала вас нам не для того, чтобы вы его спасли. А чтобы мы встретились.

Теперь и Альберт понял. Растерянная улыбка проступила на лице Ясмины. В ветхом доме внутри нее уцелела одна-единственная комната, в которую она никак не отваживалась войти, но там не поселились призраки, там не царила вечная зима, туда заглядывало солнце, и там пахло цветами. И хотя никому не полагалось этого знать, но в этой комнате известие о смерти Виктора было принято с чувством освобождения.

Она смущенно смотрела на Морица, будто спрашивая: *Ты думаешь, что сможешь меня полюбить?*

И он отвечал одними глазами: *Я уже давно тебя люблю. Разве ты не видишь?*

А вслух сказал, официально, жестко:

– Вы должны спросить у вашего отца.

Но она не спросила. Она просто объявила:

– Я ухожу с Морисом.

В ее голосе была сила, ясно дававшая понять – ей больше не требуется разрешение и Морицу нет нужды просить ее руки

у Альберта, потому что это только ее выбор. И сила эта не понравилась Альберту, застигнутому врасплох, и как бы он ни любил Морица, принять такое он не мог. Но для Ясмینی было важно именно это: выстоять, выдержать его отчуждение. И Альберт почувствовал, как что-то кольнуло сердце, и без того сокрушенное.

– Ты хорошо это обдумала?

– Нет.

– А о Жоэль ты подумала?

– Я позабочусь о ней, – сказал Мориц.

– Но где вы собираетесь жить?

Ответа не знал никто.

– Ты не можешь поехать в Германию. В страну убийц. А вам что делать в Тунисе, Морис?

Мориц ответить не успел.

– Папá, это не так. Люди приняли бы Мориса. Никто не стал бы спрашивать о его прошлом. И я бы выдержала язвительные речи. Но Жоэль? Над ребенком вечно будет нависать эта тень. В школе, на улице... Виктора все знали. Все будут заговаривать с ней об отце, и мы не сможем это предотвратить. Что она будет думать? Как она найдет свое место в мире, если другие дети станут говорить, что она дитя позора?

Она была права. Альберт понимал. Вот только он не понимал, как ему жить без нее.

– А если мы останемся в Италии? – неуверенно спросил Мориц.

Он сам в это не верил. Никто здесь не знает их историю, они оба здесь чужаки, предоставленные самим себе. Из сочувствия к Альберту он хотел поскорее прекратить этот не ведущий никуда разговор. Потерять сразу двоих детей – слишком большой удар.

– Где бы вы ни поселились, вы не должны жить в позоре. Вам надо пожениться.

Это было благословение. И даже если бы Ясмина никогда не призналась в этом, в ту минуту у нее камень упал с души. Без его согласия ей никогда не стать счастливой. Она бросилась Альберту на шею. Так бурно, что чуть не повалила отца. Альберт, пересилив себя, поцеловал ее в щеку, потом повернулся к Морицу, в глазах у него стояли слезы. Мориц не знал, были то слезы боли или растроганности. Альберт обнял его – одной рукой, но крепко, как сына. Может, и

крепче. Жоэль испуганно заплакала. Ясмина наклонилась к ней и сказала:

– Мы выходим замуж за Морíса.

Она подняла Жоэль и с нею на руках поцеловала Морица в губы. Жоэль засмеялась. Ей понравилось, пусть она и не понимала, что означает этот поцелуй – совершенно невозможный, прямо при Альберте, посреди людной улицы, он полностью изменил всю ее жизнь. Девочка потянулась к Морицу и тоже поцеловала его.

Мориц и Ясмина переписали свою судьбу, стоя с чемоданом, с ребенком на руках у главпочтамта Неаполя, посреди толпы, понятия не имея, где они будут сегодня ночевать. Ясмина знала лишь, чего она не хочет. Она не вернется домой, чтобы отпраздновать свадьбу, как предложил Альберт, – туда, где завистники и блюстители морали прожигали бы их злобными взглядами. Но и неженатыми Альберт не хотел их отпускать. Если уж ребенок рожден в позоре, если уж жених не еврей, пусть хотя бы свадебный ритуал придаст этой связи приличия, которые вернут в мир то, что сорвалось с петель. Ведь даже если они не возвратятся, разговоры никуда не денутся. И лишь официальный брак расставит все по местам. *Comme il faut*^[122].

– Я должен сменить веру? – спросил Мориц.

– Вы давно уже еврей. Загляните в свой паспорт.

* * *

Единственный способ пожениться, не возвращаясь в Тунис, лежал через местного раввина. А единственный раввин, который не станет пускаться в долгие расспросы и проверять новобрачных по списку членов общины, – тот, кто сам здесь временно.

Лагерь, куда их направили, располагался около Рима. Он тоже был переполнен, но в лагере имелся госпиталь, и слова Альберта «я врач» открыли перед ними двери. Кров и еду они должны были отрабатывать, поскольку денег у них больше не было. Регистрируясь как *Signor e Signora Sarfati*, Мориц впервые не чувствовал себя лжецом. Хотя это все еще была ложь. Но ощущалось как правда. Они сдали свои паспорта, и американский солдат опрыскал их с ног до головы средством от вшей.

Лишь очутившись внутри, на просторной территории, Мориц осознал, куда они попали. Этот лагерь был особым. Киностудия. *Cinecittà*, киногородок. Итальянский «Бабельсберг». Пять тысяч беженцев ночевали в огромных павильонах, которые Муссолини распорядился возвести, сознавая могущество кино. Мориц видел пропагандистские фильмы, снятые здесь. Сияние Римской империи, озаряющее новую Италию. И еще он видел дешевые комедии для народа, хлеб и зрелища, кино как оружие. Он очутился в самом сердце фашистской фабрики грез. Посреди того, что от нее осталось, бегали дети в опорках вместо обуви. На веревках сушилось дырявое белье, а женщины в платках, кожа да кости, помешивали варево в котлах на открытом огне. Там и сям валялись предметы реквизита из исторических фильмов про римлян. Разбитые бюсты, колонны из крашеного дерева, статуи римских богов – словно падшие ангелы. Когда они вошли в большой павильон, на воротах которого все еще имелась надпись «SILENZIO!», на них так и обрушились шум, вонь и массы людей со всего света, спрессованных во временных закутках. Стенки из картона и деревянных кулис разделяли загончики, в которых семьи спали прямо на полу, с занавеской вместо двери. На гвоздях висели брюки вперемешку с кастрюлями, тут же – кривоватая Мадонна с Иисусом на руках; пара стульев и стол – словно из другого мира, белое барокко, реквизит из костюмного фильма, – а на нем семисвечный подсвечник, наскоро сооруженный из деревяшек. Им выделили десять квадратных метров, три соломенных тюфяка между картонными стенками – и это было все. Рядом женщина прикрикнула на плачущего ребенка: «Перестань орать, а то мы тебя здесь оставим!»

Нет, здесь явно не то место, чтобы остаться. Это был зал ожидания между старой и новой родиной. Но вполне подходящее место, чтобы пожениться. Уже в первый день Альберт познакомился в лазарете с раввином из России, который на смеси французского с ивритом поведал, что как раз на прошлой неделе сочетал браком молодых людей, которые здесь и встретились. Раввин был старый, с вытатуированным номером на руке, еще слабый от перенесенного тифа. Его звали Рубен Тейтельбаум. Альберт навсегда запомнил его имя, потому что по всей медицинской логике старику давно следовало умереть, а он излучал энергичное, почти пугающее жизнелюбие.

– Все ученые утверждают, что шмель не может летать, – говорил старик. – Законы физики. Он слишком тяжелый. Но он все равно летит. Почему? Потому что ему надо, *тон ати*.

Тейтельбаум не стал задавать лишних вопросов, когда Альберт представил ему свою дочь и ее жениха. В лагерях среди евреев установилось негласное правило – не оглядываться назад. Они не говорили о пережитых ужасах, носили длинные рукава, чтобы прикрыть номер на запястье, а вечерами пели песни. Как Орфей и Эвридика на пути из Аида. Кто оглянется, там и останется. Выживет тот, кто хочет жить. Раввин спросил лишь об одном – о происхождении Жоэль.

– Отец погиб, – сказала Ясмина. – Он был с теми, из Хаганы.

Раввин кивнул и ласково погладил Жоэль по голове. Он перевидал много детей без отцов.

– Хорошо, что ты нашла нового мужа. *Гзейра аль ха'мет шейшитаках ме'халев*. Мы должны оплакать мертвых, сказано в Писании, но потом мы должны их забыть.

Он не спрашивал Морица о его бар-мицве, не требовал выписки из реестра общины. Большинство людей потеряли документы в огне. Паспорта Морица было достаточно, потому что кто же будет добровольно носить красный еврейский штамп в такое время? Но Тейтельбаум хотел знать, будет ли он хорошим отцом ребенку, хотя этот ребенок не его. Морицу не пришлось врать, потому что он действительно хотел этого; он был с Жоэль от ее рождения и любил как собственную дочь. И она его любила, это Тейтельбаум чувствовал.

– Наш народ – единое большое тело, – сказал он. – В детях вся наша надежда.

Он не допытывался, откуда происходит семья Морица. Итальянский еврей из Туниса, фотограф, *человек*, этого ему было достаточно. Вместо этого он спросил:

– И куда вы теперь?

Этим Тейтельбаум отличался от большинства мужчин его возраста, взгляд его был устремлен в будущее.

– Мы пока не знаем.

– А вы уже говорили с друзьями из Моссад?

Альберту вопрос не понравился. Он расшатывал его картину мира. До войны большинство раввинов – как и раввин *Piccola* Сицилии

Якоб – были противниками сионистов. Рабби Якоб не желал распада своей общины. Однако да, там, откуда прибыл рабби Тейтельбаум, больше не было никакой общины. Синагоги разорены, свитки сожжены, люди истреблены.

– Не знаю, увижу ли я когда-нибудь Иерусалим, – сказал Тейтельбаум. – Все в руке Божьей. Но вы-то молодые и сильные. Поезжайте туда, на кораблях Хаганы, и если у вас нет денег, вам не надо платить, есть щедрые спонсоры.

Эта возможность все время лежала перед ними, но они не видели ее. Меньше всего Мориц. Подобная мысль казалась ему абсурдной, дерзкой, невозможной. И главное, как отнесется к этому Альберт, не отзовет ли свое благословение. Из-за того, что не хочет отпускать туда дочь, или потому что сионистская идея, распространявшаяся словно пламя, отняла у него сына? А может, идея эта заставляла его усомниться в том, кто он сам? Ведь Альберт, всегда плывший против течения, извлек из Катастрофы иной вывод, чем большинство. Он убедился, что национализм есть источник всех бед, а не их решение.

– Наша диаспора обогащает мир, – говорил он. – Мы, евреи, граждане мира, наш дух не признает границ, зачем нам добровольно обносить себя границами?

Но возможно, именно это и требовалось Ясмине – обнести себя границами, защититься от всех угроз мира. Ее слабость крылась в том, что между ней и миром не было никакой границы.

– Но там беспокойно, ненадежно, – возражал Альберт. – Это всего лишь мечта, этот Эрец Израэль.

– Нет, – отвечали ему бойцы из Пальмаха, раздававшие в лагере книги, билеты на корабль и оружие. Элитные войска Хаганы. Крепко сбитые, бело-синий флаг на стене над их столом. – Это не мечта. Вы уже есть. Эрец Израэль рождается здесь, в лагерях! Он рождается из вас, из тех, кто лишился всего – денег, страны, любимых. Неважно, откуда вы, неважно, что у вас позади, мы вам рады!

Слыша такое, Мориц начинал понимать тайну их успеха. У них не было особого оружия, но они обладали иным – тем, что давало им силу. Историей. После того как нацисты попытались искоренить историю их народа, они сочиняли новую. Свою собственную. Историю возвращения. Историю народа, который после разрушения его храма в Иерусалиме странствовал по миру, но нигде так и не обрел своего

дома. Доселе миролюбивый и тихий народ, которому теперь пришлось взяться за оружие.

– Такое больше не повторится! – говорили они. – Мы выживем, только если создадим себя заново. Мы больше не можем позволить себе быть слабыми!

* * *

Они читали маленькую книжку при свете свечи, лежа ночью в своем уголке, тесном, но все еще на отдельных тюфяках: Ясмينا в обнимку с Жоэль, Мориц и Альберт. Книжка называлась «Еврейское государство» и была написана пятьдесят лет назад. В ней говорилось о еврейском вопросе и об антисемитизме, о «групповом въезде» и «захвате земли». Одна глава называлась «*Аргентина или Палестина?*». Аргентина – потому что там было много свободной земли, Палестина – потому что историческая родина. Сквозь тонкие стены слышались голоса. Кашляли, храпели, ссорились. Нет, не место, чтобы остаться.

– А если и тебе пойти с нами, папá? – спросила Ясмينا. – Тебе и маме? Виктор хотел бы этого.

– Я там был однажды, – сказал вдруг Альберт, погруженный в чтение. – Еще до твоего рождения, когда Виктор был маленький.

– Так Виктор уже был?

– Да. Со мной и с мамой.

– И как там?

Альберт снял очки и закрыл брошюру.

– Очень интересно, Герцль описывает каждую деталь государства, начиная с законов о труде и заканчивая внешним видом флага, и ни слова не говорит об арабах, которые там живут. *Страна без народа для народа без страны*, говорят они. *Мы приведем пустыню к расцвету*. Но Палестина, которую я видел, была плодородной, обжитой страной. Восточные города и деревни с оливковыми и апельсиновыми рощами. Мечети, церкви и синагоги.

– Как у нас?

– Немного похоже.

Альберт заворочался на своем тюфяке. У него разнылась нога.

– Тогда почему ты против?

– Логичный вопрос. Если въедет несколько тысяч, то места хватит для всех. Но оглянись вокруг, сколько беженцев стремится на корабли. И с каждым днем их все больше. Десятки тысяч. Сотни тысяч. А ведь существует критическая масса.

– А сколько арабов там живет? – спросил Мориц. – И сколько евреев?

– Когда мы туда ездили, в двадцатом году, британцы как раз провели перепись населения. Семьсот тысяч арабов и семьдесят тысяч евреев. Приезжающие евреи активно покупали землю и строили поселения. Раньше там жили только ортодоксальные евреи, небольшим числом, в добром соседстве с мусульманскими и христианскими арабами.

– Раньше – это когда?

– До того, как Англия пообещала евреям родину в Палестине. В Первую мировую войну. С тех пор иммиграция возросла многократно, и местное население все больше стало опасаться, что потеряет свою страну. Начались восстания, протесты, появились убитые с обеих сторон. Арабы все еще в большинстве, их, может быть, две трети. Но сионисты прибывают уже не гостями, они хотят *еврейское* государство. А куда же девать мусульман и христиан? Они тоже хотят своей независимости, как и все.

Альберт отложил в сторону книгу и очки.

– Разве освобождение нашего народа должно привести к закабалению другого?

– Но нам эту землю обещал Господь! – воскликнула Ясмينا. – Мы тогда вернулись в обетованную землю из египетского рабства, теперь мы едем туда из этих лагерей.

Альберт усмехнулся:

– Теодор Герцль не верил в Бога. Так же, как и Леон не верит. Тогда откуда же им знать, что Господь пообещал нам эту страну?

– Папа! Почему ты вечно отвечаешь вопросом на вопрос!

– Чтобы ты могла воспользоваться своим разумом!

Ясмине трудно было возразить отцу, на чаше весов которого знаний имелось куда больше. У нее же было только чувство, и чувство было ее правдой. Но теперь, в отличие от прежних лет, она была с этим чувством уже не одна, нет, уже целый поток пронизывал большое тело

народа, о котором говорил рабби Тейтельбаум. Доводы папá логичны, но его реальность по-прежнему была умозрительной – он все выводил из идеальной справедливости. Но разве мир справедлив?

– Куда же тогда деваться всем этим людям? Назад, туда, где их хотели уничтожить? Ты же сам на каждый седер Песаха говоришь: *В будущем году в Иерусалиме!* Во всех молитвах мы говорим об Израиле, а теперь ты делаешь вид, будто этого нет!

Казалось, это Виктор говорит ее устами. Его дух противоречия. Его стремление найти пробел в аргументах Альберта.

Альберт сел на тьюфяке. Хотя он устал, хотя был растревожен, этот разговор ему нравился – он снова говорил с дочерью как отец. Он не окончательно потерял ее.

– В Танахе сказано: *Люби своего соседа как самого себя!* В нашем Писании так много слоев, моя дорогая. Оно часто противоречит само себе. Это призывает нас к тому, чтобы мы все подвергали сомнению и приходили к собственному суждению. Еврейская мораль учит нас не повторять с чужого голоса, как тупые овцы, а постоянно работать над собой, совершенствоваться. И разве священные книги христиан и мусульман говорят не то же самое, что и наша? Что все люди созданы по Божьему образу и подобию? Что мы должны помогать бедным и угнетенным? Что мы не должны ни красть, ни убивать? Мы всегда хорошо уживались с арабами, и знаешь почему? Потому что мы соседи. Двоюродные братья. Ни один не стремился изгнать другого.

Ясмина видела, как измучен Альберт. Измучен миром, обогнавшим его истины. Ясмине стало жаль его. Она вспомнила арабские свадьбы, на которых танцевала, суфийских женщин в Медине, Латифа. Разумеется, мы двоюродные братья, думала она, и почему бы нам не жить бок о бок в Палестине, как и в Тунисе?

– Извините, что я вмешиваюсь, – сказал Мориц, – но после всего, что сделали с евреями, все-таки будет справедливо, если они получат свое государство.

Ясмина обрадовалась, что он встал на ее сторону.

– Конечно, – серьезно сказал Альберт. – Сейчас больше, чем когда-либо. Если бы Германия отдала нам часть своей земли, это было бы справедливо. Но арабы в Палестине не виноваты в преступлениях Гитлера. Почему они должны отдавать нам свою землю?

Он всегда так все усложняет, думала Ясмينا, всегда рассматривает дело со всех сторон и всегда видит все целиком, разом! Но не видит то, что лежит у него под носом!

– Мы будем жить в мире с мусульманами и христианами, – сказала она. – Как у нас. По-соседски.

Альберт дал волю раздражению – как обычно, когда ему хотелось растрясти ее, вырвать из грез:

– Ясмينا! А ты не видела, что они делают здесь, эти люди из Пальмаха? Они не только поют, они проводят боевые учения. У них есть оружие. Соседи не приходят с оружием!

– А если арабы встретят нас с оружием?

Альберт устало провел ладонью по волосам.

– Если мы заберем землю, на которой они живут, то начнется вечная вражда между евреями и арабами. Вы хотите заплатить такую цену?

Ясмينا молчала. *А что бы ответил на это Виктор?*

– Значит, ты с нами не поедешь, папá?

– Мой дом – Риссола Сицилия. Твой тоже. И твое нежелание возвращаться меня печалит. Но это твоя жизнь.

Ясмينا пересела к нему, нежно взяла за локоть.

– Папá, правда такова, что я не знаю, как смогу без тебя жить. И я не хочу, чтобы Жоэль росла без своего дедушки. Но что мне делать, папá?

Альберт молчал. Впервые он не мог указать ей путь. Учиненное национализмом было отвратительно, и он отчетливо видел, как два народа держат курс на следующую войну. Для него ответом на Катастрофу стало бы установление равенства, признание, что все люди одинаково ценны, жизнь во взаимном уважении. Но он признавал, что как прежде не будет уже никогда, даже в Риссола Сицилии. Евреи сплотятся с евреями, арабы с арабами. Соседи станут чужими, чужие станут врагами.

Мориц помалкивал. Эта история, уходившая корнями на тысячи лет, была историей Альберта и Ясмины, но не его. И ему было нелегко отыскать собственный взгляд. Когда его невидимая жизнь висела в неопределенности, он обладал привилегией не принимать никаких решений. Но после того, как он снова стал видимым и выбрал Ясмину, все, что касалось ее, касалось отныне и его – и заставляло решать.

Возможно, это куда больше, чем просто слово в его фальшивом паспорте. Возможно, у него нет теперь права делать вид, будто он не является частью этой истории.

* * *

В ту ночь Ясмине приснился сон: большой белый корабль. Она стояла у поручней, вместе с Морицем и Жоэль. А внизу, на пристани, стоял Виктор и махал им, пока корабль медленно отчаливал. Виктор улыбался. Он поддерживал их. Небо было синее-синее, плыли белые облака, и солнце такое ласковое. Проснувшись, Ясмينا припомнила сон, разбудила Морица и сказала:

– *Мектуб*. Я опять знаю, что предначертано.

А потом она рассказала про свой сон и Альберту, тот долго молча размышлял. И рассказал ей про свой сон той ночью: он плутал по переулкам *Piccola* Сицилии, которые вдруг стали называться по-другому; он искал своих пациентов, стучался в дома и никого не находил. Никого больше не звали Эмили, Иссак или Рафаэль. В синагогах бегали крысы, церковные колокола тоже смолкли, меж домов слышался только крик муэдзина. *Где же евреи?* – спросил он маленького мальчика, который сам с собой играл в футбол. *Они все уехали*, пожал тот плечами. Альберт пошел на еврейское кладбище города Туниса, чтобы поискать там своих пациентов, друзей и родных. Но могилы были заброшены, надгробные камни разбиты, имена выцвели, все осталось лишь в воспоминаниях. Меж деревьев он увидел рабби Якоба, который шел к нему навстречу и окликал его: *Альберт! Останься здесь! Я не хочу вас терять, ведь вы мои дети! Ведь мы же хорошо ладим с другими!* Но все его дети уже поднялись на корабли и доверили себя морю. *Мы едем домой*, говорили они. А когда они прибыли туда, то расстелили шкуру коровы, чтобы на этом пятачке построить дом, как царица Дидона. И это был конец того мира, который Альберт любил. Конец *Piccola* Сицилии.

Глава 52

Альберт отправил Мими вторую телеграмму. Ему потребовалось несколько часов, чтобы подобрать верные слова, и он знал, что все равно слова не те, что надо. Он настоятельно просил ее простить детей, оставить прошлое в покое и приехать в Рим. На свадьбу. На следующий же день пришел ответ. Он зачитал его Ясмине не дословно, чтобы не шокировать ее. Но Ясмине ничего другого и не ожидала. И если быть честной, она и сама не хотела присутствия Мими. Ведь она приносит только *sfortuna*.

Альберт был подавлен, но полон решимости все же отпраздновать свадьбу. Но кое-что он утаил от Ясмине. Он ждал случая поговорить с Морицем с глаза на глаз – и случай представился, когда они стояли в очереди на раздаче еды.

– В Тунис пришло письмо. Адресованное Морицу Райнке, *кинотеатр, проспект де Картаж*. Его передали Мими.

Мориц вздрогнул.

– И есть адрес отправителя?

– Да. Синьора Фанни Циммерман из Берлина.

Альберт тактично отвернулся. Морица словно наэлектризовало. Первое, что он почувствовал, была радость. Фанни жива! Она прочитала его письмо! Но потом его накрыло чувство вины.

– Это что-нибудь меняет в вашем решении? – спросил Альберт. Он по-прежнему обращался к нему на «вы».

– Мими его вскрыла? Она сказала, что там внутри?

– Морис! *Tranquillo!*^[123] Мими никогда бы этого не сделала. Кроме того, она не понимает по-немецки. Она перешлет его сюда.

Мориц не рассказал Ясмине про письмо. Он бродил по территории киностудии и беспокойно раздумывал. Мысленно перебирал все возможности. Фанни обрадовалась, что он жив. Фанни не простила ему молчания. Фанни все еще любит его, тоскует и ждет. Фанни нашла себе другого мужчину. Фанни здорова. Фанни ранена. Ее родители живы. Или погибли под бомбежкой. Но как он ни крутил и ни вертел, в итоге получалось неизменное: он не может отменить свою

любовь к Ясмине. Да, его чувства к Фанни не погасли. Но его сердце расширилось так, как он прежде и помыслить не мог.

Но, оглядываясь назад, он теперь понимал разницу между своей любовью к Фанни и к Ясмине. Первая была романтической. Летние дни на Ванзее и ночные звездопады, мечты о будущем, письма из-за моря. Вторая любовь деятельная и конкретная – носить Жоэль по полуденной жаре, поддерживать Ясмину, когда она не находит себе места, раствориться в ее характере, настолько же невыносимом, насколько и притягательном. Она была женой – с ней он не мечтал о будущем, с ней он делил настоящее. Однако, прокручивая возможные версии письма из Берлина, Морис не мог вообразить одного: там, среди войны, хаоса и смерти, возникла новая жизнь.

Ночью, когда все спали, он тихо встал, вышел из павильона, сел под фонарем и, подложив под листок бумаги книжку Герцля, принялся писать ответ Фанни – еще до того, как получил ее письмо. В тот момент он вовсе не был уверен, что отправит его. Возможно, письмо его было способом убедить себя, что он принял верное решение. Мысли, облеченные в слова на бумаге, обретали завершенность, а именно этого он искал в те недели странствий по Италии – чтобы решение стало действием. Потому что просто решение откладывало настоящее на потом.

Рим, 10 сентября 1945 года

Дорогая Фанни,

я надеюсь, что мое письмо застанет тебя в добром здравии.

Я так рад, что ты жива! Твое письмо пришло в Тунис уже после того, как я оттуда уехал. Сейчас я в Риме. Но и здесь не задержусь надолго. Я предполагал вернуться на родину. Но, сам того не желая и не будучи к этому подготовлен, я обрел другую родину. Ту, что находится в сердце. Бывают моменты, когда на чужбине теряешь ориентацию. А потом их сменяют моменты, когда все внезапно кажется ясным и понятным. То, что раньше было чужим, становится вдруг привычным, а то, к чему был привязан раньше, становится чужим.

Дорогая Фанни, я женюсь.

Я знаю, с точки зрения морали это неправильно. И все же мое сердце говорит мне, что я поступаю верно. Может быть, где-то по ту сторону добра и зла есть место, где мы сможем встретиться.

Любящий тебя

Мориц

* * *

Следующей ночью Мориц опять устроился на улице под фонарем. Он перечитывал свое письмо, чтобы найти неточные слова или формулировки, но чем больше он читал, тем сильнее была его убежденность, что все написано верно. Что бы ни чувствовала к нему Фанни, его решение жениться на Ясмине неизменно. Конечно, его терзала совесть, ведь он никому не хотел причинить боль. Но как тут ни поступи, одну из женщин он обидит неизбежно. И нет ничего более оскорбительного, чем делить с одной постель и стол, а сердцем находиться с другой.

* * *

На следующий день Мориц отправился в почтовое отделение и спросил у американца, нет ли для него письма.

– *No, Sir. But no news is good news*^[124].

Тогда Мориц протянул американцу свое письмо в Берлин. Американец наклеил почтовую марку и поставил штамп. Почту Мориц покидал, ощущая необыкновенную легкость.

* * *

А два дня спустя пришло письмо от Фанни. Мориц сел с ним на скамью прямо в отделении почты. Он узнал ее почерк, пугающе

родной, увидел почтовую марку без свастики, обнюхал конверт. На своем долгом пути он утратил свой немецкий запах, пропитался новыми. Он знал, чем пахнет из конверта, – берлинской угольной печью и забытым парфюмом. Но Мориц не стал распечатывать конверт. И разрывать тоже не стал. Просто опустил его в мешок, куда собирали невостребованную корреспонденцию, – адресат неизвестен, адресат выбыл. И ушел. Никто не обратил на него внимания. Его решение было окончательным и продуманным – Орфей на обратном пути из Аида: нельзя оглядываться, иначе он, как и его возлюбленная Эвридика, не сумевшая удержаться от искушения, вернется в подземный мир. Мориц знал, что, распечатав письмо, он открыл бы не конверт, а дверь в прошлое, которое уничтожит его настоящее. Его «да», сказанное Ясмине и Жоэль. Они здесь, рядом с ним, а Фанни – нет, вот так просто все и решилось. Он мог жить только в одном из двух миров. Одну дверь должен был закрыть навсегда, а в другую войти. Сейчас. Мориц выбрал дверь, которая была у него перед глазами.

Годы спустя он спрашивал себя, не Жоэль ли стала той решающей гирькой на весах. Девочка без отца, к которой с ее первого дня он чувствовал то, что чувствует только отец, – желание защитить, что бы ни происходило.

Покинув почту, Мориц отправился к Ясмине и рассказал ей все. Про письмо Фанни, проделавшее путь через Средиземное море и назад, про свой ответ. Некоторые вещи надо оставить позади, сказал он.

Вот за это она и любила его.

* * *

На следующий день он обменял свой поношенный костюм на костюм итальянца из Венеции, еще более поношенный. Когда он появился в нем перед Ясминой, она застыла в растерянности, словно в их закуток вошел незнакомец, чужак. Костюм был маловат, у него был чужой запах, и он был черный. Но больше всего ее смутило, что теперь в костюме Виктора расхаживает какой-то незнакомец.

– Он мне нравился. Он был тебе к лицу.

– Я хотел, чтобы ты вышла замуж *за меня*.

Он сказал это с такой же твердостью, с какой рассказал о нераспечатанном письме. Так он потребовал ответного поступка с ее стороны. Навсегда закрыть дверь в прошлое. Ясмина промолчала, она поняла. Она ласково взяла его руку, привлекла к себе, прильнула всем телом, замерла в ожидании. Они не успели поцеловаться, потому что вошли Альберт и Жоэль, раздобывшие хлеба, немного сыра и оливок на ужин.

Глава 53

Марсала

Я представляю разрушенный многоквартирный дом в Берлине. Проломы в стенах, кое-как заделанные кирпичом, сквозь простыню, закрывающую от взглядов с улицы, пробивается солнце. Фанни сидит за столом, чистит картошку, маленькая Анита играет в развалинах с другими детьми, внезапно раздаётся велосипедный звонок – почтальон. Он вытягивает из сумки письмо, доставленное авиапочтой. С итальянской маркой. Фанни бежит к почтальону, разрывает конверт, читает письмо и застывает.

– Это от папы? – спрашивает Анита.

– Нет, – говорит Фанни.

– А когда вернется папа?

– Не знаю.

Малышка чувствует: что-то не так.

– Он умер? – спрашивает она, немного подумав.

Мать опускается на горку из кирпичей.

– Нет.

– Он нас больше не любит?

Фанни смотрит на дочку и не знает, можно ли обрушить на нее всю правду. Потом складывает письмо и говорит:

– Ты не должна так думать. Папа нас любит.

– Но тогда почему он не приезжает?

– Он пропал без вести. В пустыне.

* * *

Мы стоим на веранде и смотрим на мокрый берег. Горизонта не видно, море и тучи сливаются в неразличимую серость. Теперь я понимаю, почему Красный Крест не искал этого без вести пропавшего. Бабушка говорила, что посылала запрос, но на самом деле она этого не делала. Она знала, что он жив. Жив с другой женщиной.

– Ты должна быть благодарна бабушке, – говорит Жоэль. – Что бы подумала твоя мама, узнай она правду? Что отец ее бросил, потому что нашел себе семью получше? Потому что она была недостаточно хороша?

Я смотрю на дождь и впервые вижу бабушку в новом свете. Тихое величие этой маленькой женщины. Своей ложью она сберегла в нас крохи достоинства.

– А если бы Мориц знал, что стал отцом? – спрашиваю я.

– Думаю, он бы вернулся. Долг для него был превыше всего.

Пытаюсь вообразить, как бы сложилась наша жизнь, если бы он вернулся домой. Вполне нормальная и рядовая семья послевоенного времени. Мориц забыл бы Ямину и никогда бы не рассказывал, что происходило в Pìccola Сицилии. Зато рассказывал бы о глазунье, приготовленной на танковой броне. И может, я застала бы ворчливого старика, который так и не смог простить жене и детям, что никогда не жил собственной жизнью. Стала бы Фанни счастливой? Возможно. Но скорее всего – нет. Лишь изменив Фанни, Мориц вышел из тени, чего никогда себе не позволял. Он вторгся в жизнь, стал ее частью – взвалив на себя груз вины. Наверное, любовь всегда означает вину. Как не бывает выбора без последствий, так не бывает любви без решения.

– Идем, – говорит Жоэль.

– погоди! И куда же они потом подались?

– Это уже другая история. Идем, я замерзла, и у меня кончились сигареты.

– Ты мне не расскажешь?

– Они любили друг друга, если ты хочешь знать. Поэтому ты должна его простить, дорогая. Если человек что-то делает из любви, он не виновен. Виновным становишься, только когда действуешь не от сердца. Виновным перед самим собой.

* * *

Мы возвращаемся в отель, в холле стоит чета Трибели – чемоданы, на лицах потерянности. Господин Бовензипен и жена Митцлаффа спускаются по лестнице. Они приехали ради одного: найти опознавательные жетоны с личными номерами, чтобы

окончательно убедиться, но жетоны по-прежнему покоятся на дне морском. Что бы изменилось, думаю я, если бы вы их получили? Ведь вы не знаете, кем они были в действительности – ваш отец, ваш дед. Я же добыла невидимое сокровище. Историю.

С улицы входит Патрис, встряхивается, точно мокрый пудель, и начинает уговаривать остаться и подождать: если установится погода, можно решиться еще на одно погружение. Но он и сам понимает, что это бессмысленно. Самолета больше нет. Только разбросанные невесть на какой площади обломки.

– Ненавижу прощания, – говорит Жоэль, кутаясь в горжетку, когда такси с немцами отъезжает. – Все эти сантименты. А жизнь состоит из прощаний. Во всяком случае, начиная с определенного возраста.

Она подмигивает мне и закуривает. К нам подходит Патрис, берет у Жоэль сигарету и сыплет едкими шутками. В свой адрес. Он нравится мне все больше.

– А немного отчаяния тебе к лицу, знаешь?

– Переночуешь у меня? – спрашивает он.

Я смотрю на Жоэль. Мне хочется услышать конец истории.

– Соглашайся, дорогая, – говорит Жоэль. – Ему сейчас нужна хорошая компания. А мы завтра встретимся в купальне. *Ça va*, Патрис?

Он строит горестную гримасу.

– Кажется, вы единственная, кто не огорчился из-за того, что мы не добыли сокровища.

– О, я нашла куда более ценное сокровище. – Она бросает на меня лукавый взгляд. – Кроме того, вы представляете, что за драка случилась бы за эти драгоценности! Вам пришлось бы сражаться с тремя правительствами и с наследниками, со мной в том числе, а это так себе удовольствие, уж поверьте мне!

Она улыбается, и впервые с момента катастрофы я вижу улыбающимся и Патриса.

– Это как в любви, – добавляет Жоэль. – Иногда рыбачить интереснее, чем разбираться с уловом.

– А иногда хочется поменьше приключений, – говорит Патрис. – Во всяком случае, начиная с определенного возраста.

На катере я рассказываю Патрису историю Морица и Ясины. Мы лежим в его каюте, дождь тихонько стучит по крыше. Под нами дышит море. Когда я умолкаю, Патрис восклицает:

– Черт! И чем же все кончилось?

– Я еще не знаю. И даже немножко боюсь узнать.

– Почему?

– Начало любовных историй всегда лучше, чем их конец. Но, может быть, я просто не хочу, чтобы Жоэль перестала рассказывать.

– Если в любви заранее знать, чем дело кончится, так лучше и не начинать.

Мы улыбаемся друг другу, и я знаю, о чем он думает, – о том же, о чем и я: *интересно, это у нас уже конец или только начало?*

– Я бы с удовольствием к кому-нибудь приехал, – говорит он. – И остался.

– Если бы ты мне это сказал тогда, я бы растаяла. Хотя нет, ни слову бы не поверила.

Мы смеемся.

– Знаешь, – говорю я, – всю мою жизнь я не хотела ничего другого, кроме как прийти к кому-нибудь. И остаться. И когда все рухнуло, для меня наступил конец света. Но теперь я впервые в жизни ощущаю свободу как подарок.

– Мы можем каждый день проживать так, будто он первый, – говорит Патрис.

Он знает, что не получится. Я тоже знаю. И он знает, что я это знаю. Но сейчас это неважно. Мы целуемся и любим друг друга, как будто эта ночь – последняя. Меня вдруг охватывает чувство, будто кто-то за нами подсматривает. Я оглядываюсь на иллюминатор, но там лишь вода, на которой танцуют огни города. Я думаю о Ясине и двух ее мужчинах, о той ночи, когда была зачата Жоэль, и о том, как быстро все проходит. Это искусство – со страстью пускаться в жизнь, не цепляясь за нее при этом.

Глава 54

Мектуб

В пятницу перед свадьбой Ясмина не могла пойти в микву, чтобы совершить ритуальное омовение. Но в Чинечитта́ уже наловчились, они были не первой парой, заключающей здесь брак. Две итальянки из Триполи, неразлучные сестры, отвели ее во двор реквизиторской, где кто-то поставил старую эмалированную ванну на чугунных ножках, ванна была вся в трещинах, но для купаний годилась. Итальянки соорудили занавес из ветхих простыней и принесли из кухни горячей воды в кастрюлях. Даже раздобыли где-то кусок мыла.

Сестры радовались, купая Ясмину, подбривая и одаривая молитвами. Закрыв глаза, она представляла, что это миква в Ріссола Сицилии, что она очищается от прошлого. Если достаточно долго держать глаза закрытыми, можно увидеть Виктора. Мальчишка на пляже, кожа в налипшем песке, отблески солнца в глазах. В военной форме на пирсе Ріссола Сицилии, когда она сказала ему про Жоэль. И с ребенком на плечах – той штормовой ночью, в волнах, из которых он не выбрался. Но потом она снова открыла глаза и заставила себя забыть – как велел рабби.

– Моріс, – прошептала она, – мой муж – Моріс.

Требовалось какое-нибудь колдовство, чтобы укротить воспоминания. Ясмина захотела нарисовать на коже глаза, цветы и звезды. Альберт объявил это дикостью, но она настояла, чтобы для свадьбы ее разрисовали хной. Пусть она теперь европейская женщина, но без той восточной девочки, какой была прежде, Ясмина чувствовала себя неполной. А после того как половина ее души исчезла в море, она не желала потерять еще часть себя. Хны здесь не водилось, но сестры из Триполи раздобыли на почте чернил и перьевую ручку, которой расписали Ясмине ладони, предплечья и стопы символами старых времен – защитой от сглаза.

В это время случилось нечто странное. Мориц постился, как того требовала традиция. Ему было запрещено видеть Ямину, и он слонялся по киностудии. Древний Рим, разрушенные колонны и статуи.

– *Sigaretta?*

Мориц обернулся. Между двумя безголовыми богинями сидел мужчина в черном. Он курил и протягивал Морицу открытую пачку сигарет. Мориц подошел – не потому что хотел курить, а потому что от человека исходила какая-то неопределенная угроза, и Мориц решил не уклоняться. Человек был из тех, в ком сразу угадывается одиночка. На вид примерно ровесник Морица, но вблизи выглядел лет на десять старше. Зубы желтые, руки в струпьях, от него несло сивухой. Морицу было неприятно брать у него сигарету, но он пересилил себя.

– Откуда ты? – спросил мужчина по-итальянски.

Мориц моментально распознал немецкий акцент.

– Из Туниса, – ответил он тоже по-итальянски.

Мужчина дал прикурить. Потом протянул руку и сказал:

– Меня зовут Мориц.

Мориц так испугался, что даже не пожал протянутую руку. Обычно, услышав свое имя, человек будто прикасается к чему-то родному, оно как эхо из старых добрых времен. Но Мориц ощутил лишь отторжение. Мориц был мертв. Сгорел вместе с рейхом, который его сформировал, выплюнул и забыл.

– Ну что? – резко сказал мужчина. Мориц вздрогнул и пожал наконец руку. – Это из-за моего акцента? Не бойся, я хоть и немец, но наполовину еврей. – Он закашлялся, ослабился: – Выжила от меня только половина, но никто не знает какая. А ты, как тебя зовут?

– Виктор, – сказал Мориц. Первое, что пришло в голову.

Мужчину имя не интересовало. Ему просто требовалась компания.

– Может, даже на четверть еврей, – буркнул он. – Никто не разбирался в моей семье, а теперь и спросить не у кого. Мы были коммунисты, понимаешь, не полуккоммунисты, а целиком. Все ушли в газовые камеры.

– Мне очень жаль, – сказал Мориц. Ему не терпелось уйти. Оставалось еще полсигареты.

– Мне повезло, – продолжал человек, назвавшийся Морицем, – бесстыдно повезло, смог сбежать в Швейцарию в последний момент. Спал в соломе, со свиньями. Я выгреб навоза больше, чем могли навалить сто тысяч коров, но я выжил. А когда все кончилось, сбежал, на юг, по горным тропам, с другими оборванцами. Мы пришли через Милан, и следующим пароходом я убываю в Америку. В Аргентину. Может, заведу там хутор. Германия для меня сгорела. Еврей не может вернуться в Германию, ни половинчатый, ни полный. Проклятая страна, мертвые не дадут там покоя живым.

У Морица озноб пробежал по спине. Только в ту минуту он осознал, что и для него дорога домой закрыта. Не потому что он стал теперь Морисом, евреем. А потому что предательство, совершенное нацистами по отношению к его Германии, было столь оглушающим, что все в нем перевернуло навсегда. Разве он мог после всего, что случилось, вернуться к обычной своей жизни? Он ощущал, что просто физически не сумеет втиснуться в старую немецкую шкуру. Дороги назад нет, только множество путей вперед.

– Спасибо, Мориц, – сказал он. – Счастливого пути.

Он бросил сигарету на землю, растер ее и ушел.

* * *

Вернувшись в павильон, он решил – вопреки еврейской традиции – сбрить бороду. Его снедала острая потребность очиститься, соскрести с себя все прежнее, чтобы вступить в брак не отягощенным ничем. Рассматривая себя в маленьком зеркальце, он удивлялся незнакомцу, который смотрел на него, – заметно помолодевший, но все же изменившийся. Зрелый. Поумневший.

На закате они с Альбертом вышли из павильона. Нашли тихое местечко под сосной. Альберт покрыл голову Морица молитвенным покрывалом и помог ему прочитать Амиду. Молитву восемнадцати просьб, в которой он признавал свои грехи и просил об их прощении. Альберт читал ее на иврите и переводил, фразу за фразой. Древние слова, поначалу казавшиеся Морицу чужими, становились все ближе, возвращали в дом Альберта на рю де ля Пост, к семейному столу на Шаббат, к запаху свежего хлеба и кофе с кардамоном, к звучанию

чужбины, которая стала ему родиной. Он закрыл глаза и произносил слова вместе с Альбертом, пока ночное небо не легло над Чинечитта защитным покровом.

В твой город Иерусалим возвращаюсь я, Господи, пребываю в нем, как ты заповедал, и воздвигну его скоро в наши дни как вечное строение.

* * *

В эту ночь он не должен был видеть невесту, поэтому ночевал на лужайке, под открытым небом. Это была одна из последних теплых ночей года. Мысли его были далеко, и он вспомнил стихотворение Рильке из своего детства:

Кто дома не имел, бездомным и умрет^[125].

Он думал о Фанни. Может, и она сейчас спит под открытым небом. Думал о том, что он ее предал. И что снова сделал бы это – ради любви к Ясмине.

* * *

Когда он увидел Ясмину на следующий день, его впервые – и единственный раз – охватил страх, что он принял неверное решение. Вокруг стояли древнеримские статуи, печально никли останки виллы из папье-маше, цикады стрекотали как безумные. Все было так, как рассказывал Альберт, – ее укрытое вуалью лицо, покров невесты, который несли четверо мужчин; вино, которым напоил их раввин. Но теперь, когда это происходило, Мориц казался себе статистом в фильме, поставленном кем-то другим. И действительно, весь этот балаган собрали из старого реквизита – помпезный балдахин из Древнего Рима, свадебное платье Ясмины нашли в костюмерной, а гостями были незнакомцы в черных шляпах, съехавшиеся сюда со всей Европы и кричавшие им слова, которых он не понимал.

Альберт, на которого Мориц то и дело поглядывал в поисках поддержки, тоже чувствовал себя не в своей тарелке – ведь он же просил раввина провести церемонию на современный лад, без всей

этой мишуры. Даже Ясмина, так любившая свадьбы и знавшая наизусть все ритуалы, спотыкалась, когда раввин обводил ее вокруг жениха. Она чуть было не засопровтивлялась, но подчинилась, чтобы не поднимать шума. Восточный ритуал для женщины с юга, совершаемый неведомо где, между жизнью, канувшей в прошлое, и той, что еще не наступила.

Мориц потел в своем тесном костюме. Хуже всего было то, что он не мог видеть лицо Ясины. В конце концов, она была его единственной точкой опоры в этом чужом сне наяву, она и Жоэль, которая – на руках у Альберта – замороженно смотрела на происходящее и лучше прочих знала, что все идет как надо. Мориц поискал ее взгляд, девочка улыбнулась ему, и он понял, что решение верное. Он любит ее, в этом нет сомнений, он любит их обеих, и всю оставшуюся жизнь он хочет заботиться о них.

Возможно, паника, поднявшаяся в нем, была вовсе не страхом, что выбор ошибочный, а страхом провала, страхом сказать не то, сделать неверный жест – кольцо надевают на указательный палец, Морис, на указательный палец! – и тем самым разоблачить себя. На глазах у тех, перед кем он чувствовал вину. Разоблачить себя как солдата вермахта, как шарлатана, приговоренного к публичной казни. Кто же упрекнет их в том, что они ненавидят его только за то, что он немец? Но хотя он и путался в еврейских формулах, никто ничего не заподозрил – ведь ритуал проводился на чужом для него языке. Наконец раввин протянул ему бокал с вином, чтобы он дал невесте отпить. И когда Мориц поднял вуаль и наконец-то увидел ее глаза, устремленные на него с ожиданием, он забыл про все, забыл про свои страхи, он просто был здесь, сейчас, с ней, и время остановилось. Все замерло, исчезло, осталось только ее лицо. Секунды растянулись, обращались в минуты, часы, дни – бескрайняя ширь вне времени. Вся жизнь отражалась в ее глазах. И не было ничего в тот момент, что разделяло бы их – два потерявшихся осколка одной души, наконец-то нашедших друг друга.

– Вино! Морис! Дай ей выпить вина!

Только когда послышался смех, Мориц очнулся, вспомнил о бокале с вином и поднес его к губам Ясины. Она осторожно взяла бокал обеими руками и пила, прикрыв глаза, а рабби бормотал свое благословение, и Ясмина постепенно начала воспринимать людей вокруг – Альберта и Жоэль и всех этих незнакомцев, которые на

сегодня стали ее родней, а завтра снова отступят в небытие, покинув этот лагерь. И где бы они с Морицем ни поселились, она уже никогда не будет наедине со своей любовью, которая наконец-то обрела взаимность. Она станет обычной женщиной, с мужем и домом, в котором сама будет решать, кого впускать, а кого нет. И она не вернется туда, где ее презирали и проклинали.

Она почувствовала, как Мориц надевает ей кольцо на указательный палец, услышала, как раввин читает *кетубу*^[126], и ее окатила радость девочки, которую осыпали подарками и которая наконец-то стала взрослой женщиной. Они заключили договор и вступили в страну, где любовь уже не взлетает в небеса и не рушится оземь, а стоит на прочном фундаменте священной клятвы, в этой стране она пустит корни и расцветет, и там муж ее – как говорит сейчас рабби – будет ее чтить, одевать, кормить и обеспечивать ее супружеские потребности. Утренний дар из дома ее отца он удвоит. Так записано черным по белому, *мектуб*. Все трое, разумеется, знали, что сумму, прописанную в договоре, Альберт заплатить не может, равно как и Мориц не может ее удвоить, и что Ясмينا в случае развода уйдет с пустыми руками. Но все это было неважно, потому что они доверяли друг другу.

– Бокал, Морис, чего ты ждешь?

Все глаза смотрели на него. Мориц увидел, что пустой бокал лежит у его ног, обернутый раввином в платок, и наступил на него. Бокал хрустнул, и после мига тишины кто-то позади него запел, остальные принялись хлопать в ладоши, вступили скрипач и аккордеонист. Ясмينا и Альберт не понимали песню на идише, в отличие от Морица, который улавливал отдельные слова, сходные с немецкими.

Начиналось все быстро, стало еще быстрее, и вскоре все уже отплясывали – раскованно, даже безумно. Ясмينا, прижав к себе Жоэль, танцевала, подхваченная радостью, которая соединила людей, едва знавших друг друга, в этом странном месте, не значившем ничего по сравнению со счастьем быть живыми.

Мориц вначале стоял как оглушенный и смотрел на пляшущих людей, но Ясмينا со смехом ухватила его за руку, и вот они уже танцевали вместе, а вокруг них сомкнулся хоровод. Жоэль высвободилась, подбежала к Альберту и втянула его в круг, и он,

подчинившись музыке, тоже уже приплясывал, да так, будто тело его никогда не забывало, что значит быть молодым, будто все у него впереди и все будет хорошо. Ничего для него не было хорошо с тех пор, как его страну постигло несчастье, но теперь впервые за долгое время Альберт снова был отцом, радующимся за свое дитя. Ясмينا танцевала, как когда-то танцевала на арабских свадьбах. Она забыла, что она здесь чужачка, что понятия не имеет, где они окажутся завтра. Она танцевала так, словно Мориц был единственным мужчиной в ее жизни, хотя и знала, что никогда не полюбит его с той же полнотой, как некогда Виктора. Мориц тоже это знал и все равно любил ее, и за это она любила его. И еще она любила его за то, он был готов измениться ради нее, стать другим человеком. Она привлекла его к себе, поцеловала и прошептала в ухо:

– Ты танцуешь так, будто всегда таким и был. *Ti amo!*^[127]

Морицу и впрямь казалось, что с него свалилось все, чем он больше не являлся. Он чувствовал свои мышцы – они болели, он чувствовал счастье – оно гудело у него в крови. Он снова был весь на виду. Теперь-то он понимал, что стать невидимым он решил еще в детстве. Что-то в нем в те далекие дни пожелало уйти в тень, устраниться из мира. Постичь искусство избегать наказания и получать похвалу за послушание. Жизнь без побоев. И жизнь без самого себя как плата за это. И путь этот выбрал не он один, а вся его страна. На самом деле – теперь он это знал – всякая диктатура подпитывается не силой вождя, а слабостью народа. Немцы были не расой господ, а народом подданных.

И все эти люди, что танцуют вокруг него, полны безудержной радости просто потому, что они живы, что они больше не рабы и не господа. И они счастливы. Их хотели убить за то, чем они были. Они потеряли все, но спаслись.

И Мориц теперь знал, кто же он, кому принадлежит, – вот эти люди, вот его народ отныне, он один из них, он из этой толпы безродных на пути откуда-то куда-то.

Он знал, кто был *его* фараоном, и он знал, каково это – быть рабом на чужбине, даже если чужбина – твоя собственная страна, поработившая своих подданных. И он сумел освободиться, сделав свое «я» микроскопическим, невидимкой проскользнул сквозь ячейки сети. Его переполняла глубокая благодарность. Он сбежал и принят

общиной, для которой важен не цвет кожи, а общность ценностей. Общиной, которая не спрашивает, откуда ты, а спрашивает только, куда ты направляешься.

Одного он по-прежнему не знал – где его земля обетованная.

Он был ошеломлен, увидев себя в зеркале. Реквизит в золоченой раме, который кто-то поставил в кулисах. В зеркале счастливый человек кружился в танце – так Мориц не танцевал никогда.

Salve, Maurice, приветствовал он свое отражение. *Спасибо за мою жизнь.*

Внезапно в нем снова поднялась паника. Но теперь он понимал, чего боится, – потерять себя. Стать настолько Морисом, что совсем исчезнет Мориц. Что душа отделится от тела и больше не сможет найти дорогу назад. Ясмина почувствовала его растерянность и нежно погладила Морица по щеке.

– *Amore, tutto bene?*

– *Si*^[128].

Ее прикосновение успокоило, вернуло его душу в тело. Мориц взял руку Ясины и крепко сжал. Он смотрел на нее и уже не знал, та ли это Ясмина, с которой он себя потерял, с ее смехом и печалью, с ее распахнутым сердцем, с ее самозабвением в танце. Может, он и любил ее за то, что она была в этом мире такой же потерянной, как и он.

– Сыграйте «Юкали», – крикнула Ясмина аккордеонисту.

Тот знал это танго и заиграл. А Ясмина запела.

Youkali,

C'est le pays de nos désirs

Youkali,

C'est le bonheur, c'est le plaisir

Youkali,

C'est la terre où l'on quitte tous les soucis

C'est dans notre nuit, comme une éclaircie

L'étoile qu'on suit

C'est Youkali^[129].

Все остановились и слушали, и ее голос поначалу казался нежным и хрупким – как ее тело, но с каждым мигмом наливался уверенностью.

Мориц тоже был заморожен. Прежде она не отваживалась петь на людях, всегда в своей комнате, подпевая пластинкам брата. И теперь казалось, что голос Виктора просвечивает сквозь ее голос. Как будто Виктор никогда не умирал. Она пела для него – и внезапно Виктор очутился среди них. Альберт растроганно вытирал слезы. Потом начали подпевать знающие французский. Для нее Юкали, остров счастья, был не воспоминанием, а обещанием. Когда Ясмина замолчала, Альберт подошел к дочери и обнял. Ему не надо было говорить, о чем он думает, – она и так знала. Она вернула его назад – пусть лишь на краткий миг, но этого было достаточно, чтобы Альберт почувствовал, что его сын не пропал, а лишь отдалился на одну песню.

– Почему папа́ грустный? – спросила Жоэль.

– Нет, он счастливый. Потому что мы теперь семья, – сказал Мориц. – Теперь он твой дедушка, а я твой папа́.

Жоэль посмотрела на него. Ей требовалось время, чтобы разобраться в этом. Мориц нежно поцеловал ее в лоб.

* * *

Альберт принес из лагерной кухни свежую рыбу. Ясмина на этом настояла – *кус эль-хута*, ритуал, венчающий всякую еврейскую свадьбу в *Riscola* Сицилии. Ей вручили острый нож, Морицу – тупой, и по команде они оба начали чистить рыбу, он с головы, она с хвоста. Кто первым управится со своей половиной, тому и носить в доме штаны. Восточноевропейцы забавлялись, глядя, как Мориц мучается, тогда как Ясмина уже давно управилась со своей половиной. Не было в *Riscola* Сицилии такой невесты, которая проиграла бы в этой игре, и мужчины принимали, что последнее слово в доме – за женщиной, а вне дома – за мужчиной. Ясмина победно вскинула рыбий хвост, засмеялась и поцеловала Морица.

Альберт обнял Морица одной рукой и прошептал в ухо:

– Спасибо, Морис.

– Спасибо, Альберт.

Они долго не отпускали друг друга, зная, что в этот день не только заключен союз, но и подтверждено расставание. Ясмина отнесла рыбу на кухню, где ее зажарили, так что у жениха с невестой сегодня будет

что-то помимо обычной лагерной еды. *Pasta e fagioli* с ломтем хлеба, вот и все, макароны с бобами. Но сегодня и это было как праздничный обед, потому что за едой вспоминали блюда, какие у них в странах подают к свадебному столу, и с помощью толики фантазии и стаканчика вина бобовая размазня в жестяных мисках сходила за гефилте фиш из Кракова, за пряные колбаски из Марракеша и за рис по-персидски, который еврейки из Исфахана привезли в Италию, с шафраном, миндалем и изюмом.

* * *

Уже после захода солнца, когда уставшая Жоэль уснула у нее на коленях, Ясмина прошептала:

- Поедем на море.
- Когда?
- Сейчас.
- Почему на море?
- Потому что мне его не хватает.

Не дожидаясь его ответа, она встала, держа малышку, и подошла к Альберту, который беседовал с раввином.

– У нас еще не было *йихуда*, – сказала она. Той ритуальной четверти часа, на которую молодожены удаляются после церемонии. Но куда в переполненном лагере? – Присмотри за Жоэль.

- И куда вы?
- Не беспокойся, папа́.

* * *

Дорога на Остию тянулась голубой лентой в лунном свете, а у велосипеда не было фары. Им дал его американский солдат. Задрав подол подвенечного платья до колен, Ясмина села на раму и наслаждалась чувством защищенности между руками Морица. Они были совсем одни на пустынной дороге, их переполняла тихая эйфория. Просто ехать в никуда. К полуночи они добрались до Лидо-Остия. Найти море не составляло труда: пахло солью, шумел

прибой. Несколько подростков проехали на своих *motorini*, бар еще был открыт, а больше тут ничего и не происходило. Пинии шумели на ветру, за ними начинался пляж. Они положили велосипед, разулись и пошли босиком по дюнам, держась за руки, как тайные любовники, будто и не поженились только что.

Перед ними простиралась непривычная даль – не было никакой стены, отделявшей море от берега. Лишь пара сложенных зонтов от солнца и ряд кабинок для переодевания стояли на бесконечном пляже. Деревянная дверца стучала на ветру. Холодный песок под ногами и тепло другой руки. Они дошли до воды, Ясмينا подняла подол подвенечного платья и забрела по щиколотку. Они долго стояли и смотрели вдаль. Луна проложила по морю серебряный мостик. Так и хотелось побежать по нему.

– Это то же самое море, – сказала Ясмينا. – Но дома оно было границей. А тут – бескрайняя равнина.

Он привлек ее к себе. Ее тело в его руках. Его губы искали ее рот.

– Не здесь.

– Никто не увидит в темноте. И потом, мы же теперь женаты.

– Я боюсь, Морис.

– Меня?

– Моря.

* * *

Все дверцы кабинок для переодевания были закрыты, кроме одной, у которой отсутствовал замок. Потребовалось несколько секунд, чтобы глаза привыкли к темноте. Лунный свет проникал лишь сквозь вентиляционную решетку. Они слышали дыхание друг друга. Скрип старых досок под ногами. И прибой – тихий, монотонный. Она знала его руки – с самого первого момента от них исходила надежность. Она всегда узнала бы его по рукам. Бережные руки, не совершающие лишних движений. Руки пробрались под ее свадебное платье и медленно, но решительно расстегивали его, пока оно не упало с плеч. Ее тело в лунном свете, ее темная кожа на его светлой. Она закрыла глаза, чтобы лучше его чувствовать. Он глаз не закрывал, чтобы сохранить в памяти этот бесценный момент.

Она ощущала его взгляд на своем обнаженном теле и не открывала глаза, чтобы не смущаться. Если не смотреть, то ничто не найдет щелочку, чтобы добраться до нее, и она будет заодно со своим телом и сможет полностью отдаться теплым потокам, исходящим от его рук. Он не проявлял никакого нетерпения, поспешности и лихорадки, как это было с Виктором. Она приняла его спокойно и с полным доверием. Их тела дышали в ровном ритме прибоя. Ясмина схватила его голову ладонями и притянула к себе, она потерялась в нем, слилась с ним в единое целое. И внезапно увидела его, хотя глаза ее были закрыты, увидела его глаза в лунном свете, глаза, устремленные на нее, как в тот первый раз, когда ее тело сливалось с телом Виктора, а их мысли соединились. Она открыла глаза, на сей раз реально. Вентиляционное окошко над головой Морица, лунный свет на его волосах. Он продолжал на ней двигаться, но она задержала дыхание, будто следовало замереть, притихнуть. Будто кто-то наблюдал за ними.

– Что? – спросил он.

– Ничего.

Мориц замер и прислушался. Все было тихо. Только он и она да шум моря. Он нежно погладил ее по волосам и поцеловал.

– Прости меня, – прошептала она.

– Мне выглянуть?

– Нет. Продолжай.

Она закрыла глаза и крепко стиснула его. Ей снова пришлось изгонять мысль, которая все-таки нашла щелочку. Она целовала его и ласкала до тех пор, пока он снова полностью не вернулся к ней. Ее тело расслабилось. Она больше не боялась, потому что знала, кто за ними подсматривает. Виктор. Он все еще в этом море, думала она, потому что души, умершие раньше срока, не находят себе покоя, они не улетают на ту сторону, к мертвым, они слишком любят жизнь. Она не могла его видеть, но чувствовала его присутствие, когда поцелуи Морица стекали по ее шее вниз, она слышала его в каждой набегающей волне. Теперь его дом тут, думала она, – навечно в прибое. Она мысленно спросила его и услышала ответ. Он соглашался с тем, что она стала женой Морица. Он по-прежнему любит ее, но только издали. Он всегда мог любить ее только издали.

– О чем ты думаешь? – спросил, задыхаясь, Мориц.

Она раздумывала какой-то миг, не обмануть ли. Но не захотела, чтобы между ними была какая-то фальшь. Достаточно уже она напритворялась.

– О Викторе, – призналась она.

Он это знал.

– Давай уедем отсюда.

– Куда?

– Туда, где мы сможем все забыть. И заново найдем себя.

– Хорошо. Куда скажешь. Но это должно быть близко к морю.

Глава 55

Марсала

Ты не обязан завершать работу, ты еще волен отступить от нее.

Талмуд, Изречения отцов, 2, 21

Они здесь, думаю я. Здесь, в этой ветхой купальне. Мы слышим то же самое море, что и они. Жоэль затаптывает окурок.

– Так, а теперь мне пора в аэропорт.

Я испуганно смотрю на часы.

– Ты уже собралась?

– Да.

Еще слишком рано, думаю я. Погоди. История еще не завершена. История Ясины и Морица, но и наша с ней тоже.

– И куда же вы тогда поехали, после свадьбы?

– Дорогая, я опоздаю на самолет. Это уже другая история.

– Но ты ведь сказала, что он еще жив. Так где же он?

– Если бы я это знала, я бы не приехала сюда. Я надеялась, что он появится, *mais bon*^[130]. Если бы я осталась в Париже, я бы не познакомилась с тобой.

Жоэль улыбается мне и ласково прикрывает ладонью мою руку. Потом – будто ей вдруг стало неприятно, что мы слишком долго смотрим друг на друга, – встает. Я иду за ней через веранду на пляж. *Au revoir*, старая купальня. Нет, *adieu*, старая купальня. Больше не увидимся.

– А если нам его поискать? Вместе?

– Морис не хочет, чтобы его нашли. Он так ловко замел свои следы, как способен только тот, кто решил стать невидимым. Даже мертвый поднимает больше пыли. Это не случайность. В этом весь он.

– Но почему?

– Того Морица, с которым была обручена твоя бабушка, давно не существует. Он весь вышел, сменил кожу, превратился в другого. Он проскользнет в ячейки любой сети, какую бы мы ни связали для него.

Ты не сможешь его найти. Даже если бы он сейчас проходил вон по той площади, ты бы его не узнала. Но он знает про тебя, в этом я уверена.

– Я бы на его месте... захотела нас еще раз увидеть.

– Он, должно быть, уже подвел черту. То, что он больше не мог изменить, он оставил в покое. Иначе нельзя было бы жить дальше. И ты должна поступить так же. Когда-нибудь я расскажу тебе больше. Но тебе надо перестать оглядываться назад. Твоя жизнь происходит сейчас.

– Значит, мы еще увидимся?

– Приезжай ко мне.

– С удовольствием.

Мы подходим к отелю. Я хочу обнять ее, однако Жоэль не останавливается.

– Не выношу прощаний.

– Но в аэропорт мы поедем вместе?

– Конечно.

* * *

Я беру свой чемодан. Мне больше ничего не надо искать. Что-то нашло меня само, и этого достаточно. Мориц для меня навсегда останется в мире пропавших без вести – может, это и есть его истинная родина. Может, для него не так и существенна разница, жив он или нет. Он так и будет неприкаянным духом, блуждающим по моим мыслям. И так же, как нужно оставить в покое мертвого, надо иногда оставить в покое и живого.

Когда в чемодан уже уложена вся одежда, я замечаю на столе бумаги – документы на развод. Даже не заглядывая в них, расписываюсь и кидаю в чемодан.

* * *

Я спускаюсь с чемоданом в холл, там пусто. Прохожу через зал для завтраков, где горничная моет пол. Черные кудри, темная кожа. Так

могла выглядеть Ясмина.

– Синьора уехала на такси.

Я замираю.

– Вы уверены? Синьора Сарфати?

– Да.

– И не оставила никакого сообщения?

– Нет. Вы хотите рассчитаться? Хозяйки сейчас нет, но вы можете заплатить мне.

Я иду за ней к стойке.

– Вы ведь подруги с синьорой Сарфати?

– Да.

– Не могли бы вы захватить для нее кое-что?

– Что?

Она указывает на завернутый в бумагу букет в уродливой вазе:

– Только что принесли для нее.

Я осторожно вынимаю цветы из вазы, разворачиваю бумагу. Это розы, белые, красные и фиолетовые. Жасмин, гранатовый цвет и бугенвиллея.

– Кто принес букет?

– Посыльный.

– Он что-нибудь сказал? Оставил записку?

Горничная скусающе мотает головой: нет.

– Платить будете наличными или картой?

* * *

Я еду на такси к порту по пустой дороге. Сквозь серые облака над морем внезапно прорывается солнечный луч, почти неправдоподобно яркий. Последний поцелуй, перед тем как я улечу домой, – Патрис ждет меня на катере. Такси проезжает мимо портового бара, в котором я встретила Жоэль. У входа стоят рыбаки, два яхтсмена, молодая семья из Марсалы. Маленькая девочка, держащая за руку отца, лижет мороженое. Она машет мне. Я машу в ответ. Меня вдруг захлестывает любовь к миру. Я больше не одна, я часть всего. Я снова здесь.

Жоэль еще на связи, когда я ей звоню.

– Дорогая! – говорит она, будто ничего не случилось.

– Почему ты уехала?

– Я же сказала: ненавижу прощания.

Пока такси сворачивает в порт, я рассказываю ей про букет. Она долго молчит. Мне даже слышится легкий всхлип. Но то лишь долгая улыбка на другом конце.

– Теперь ты мне веришь?

– Только если ты расскажешь мне конец истории.

Жоэль смеется.

– Как видишь, эта история еще не закончилась.

– Так куда вы тогда поехали из Рима?

– Мы переправились через море.

Глава 56

В море

Мы или найдем дорогу. Или проложим ее сами.

Ганнибал

Грузовик остановился под деревьями. Остаток пути к берегу пришлось преодолеть пешком. Ясмина молча проплакала всю поездку. Хотя она не раскаивалась в своем решении, прощание с Альбертом не стало от этого легче. Он проводил их до грузовика, который отправлялся в полночь, и не от главного входа, а с проселочной дороги, отходящей от Чинечитта. Человек тридцать-сорок в зимней одежде, с рюкзаками, чемоданами и тюками, водруженными на голову, тихие и решительные, направлялись на родину, которую никогда не видели. Американцы знали, но закрывали на это глаза. Мориц нес сонную Жоэль на плечах. Она была не единственным ребенком в группе, имелся даже новорожденный. У грузовика их ждали двое крепких мужчин из Пальмаха со списком фамилий, они указывали людям их места в кузове. Все происходило быстро. Мориц протянул Ясмине в кузов малышку. Альберт, который так и не успел проститься с дочерью, забрался в кузов, чтобы еще раз обнять ее, но мужчина из Пальмаха тут же велел ему слезать.

– Я буду по тебе скучать, – сказала Ясмина, – каждый день, каждую секунду. – Он крепко держал ее за руку, не в силах произнести ни слова. – Мне сегодня приснился Виктор, – перешла она на шепот, – он сказал: любой дом когда-то становится мал. Сказал: иди своим путем.

– Синьор! У нас нет времени!

– Он прав, – сказал Альберт. – И я всегда буду любить тебя, никогда не забывай об этом.

Он поцеловал Ясмину в лоб, Мориц помог ему спуститься. Альберт растерянно озирался – старик, один в этом мире, обогнавшем его. Он схватил Морица за локоть и потянул в сторону. Шофер уже завел мотор.

– Помнишь, что я сказал тебе на Сицилии? Теперь *ты* за нее в ответе. Но от самого себя ты не сможешь ее спасти. Обращайся с ней хорошо, и если она тебя разочарует, прости ей. Ее иногда захлестывают чувства, каких мы не знаем и не понимаем. Не принимай слишком всерьез, это приходит и уходит, как прилив и отлив. Просто будь с ней. Держи ее не слишком крепко, но никогда не отпускай.

Мориц кивнул. Это было обещание. Он последним влез в кузов, мужчина из Пальмаха опустил брезент, и они уехали во тьму. Сквозь брезент внутрь проникал сырой ноябрьский воздух. Ясмина нащупала руку Морица.

– Ты уверен, что тоже этого хочешь? – спросила она.

Да, он уверен. Это решение принимал уже не Мориц, а Морис. В Европе для него больше не было родины. В глубине души он пришел к такому месту, вернее сказать, к не-месту, к внутреннему состоянию, объединившему его со всеми людьми, что набились сейчас в кузов этого старого грузовика. Он был деревом без корней.

Он не знал, чем они будут кормиться в Палестине. Сможет ли он когда-нибудь снова фотографировать или снимать кино. Картинки, которые показывали бы мир таким, каков он есть, а не таким, каким ему следует выглядеть. *У меня уже глаз искажен*, думал он. *Придется заново учиться видеть*. Но он знал, что хочет навсегда порвать с прошлым, начать что-то новое. И что в этом он не одинок. Ему не надо было искать единомышленников, он их уже нашел. Отрыв от корней давал шанс выстроить себя заново, от фундамента. На том месте, что им не принадлежит, но было обещано как средоточие радости и единения, их заморская Юкали.

Хотя их звали назад – *оставайтесь, оставайтесь с нами!* – но они уже не хотели назад, а хотели в страну, которая даст им другое название, которая объединит их всех, откуда бы они ни пришли, под новым флагом. Слушая разговоры, что «новые евреи» – уже не гонимые жертвы, а первопроходцы – построят Эрец Израэль, он видел сходство с тем, что происходило и в нем самом на краю Средиземного моря в эти непостижимые времена. Он умер и родился заново, и с каждым километром, отделявшим их от лагеря, в нем нарастало ощущение собственной новизны.

Дорогу к лодке освещали фонариками. Световая дорожка в ночи, оклики мужчин и торопливые шаги по песку, порывистый ветер. Все проходило бесшумно, в организованной спешке. На надувной лодке ждали бойцы Пальмаха. Все вошли в воду. Сильные матросы подсаживали в лодку женщин и детей.

– Корабль, мама? – спросила Жоэль. Она дрожала от холода.

– Он там, в море. Мы его пока не видим, но он там есть.

Потом матросы оттолкнули лодку от берега, и вскоре в ночи проступил черный силуэт старой шхуны. Она стояла на якоре недалеко от берега с погашенными огнями. Мориц различил на носу надпись на иврите. Когда они подплыли ближе, то увидели другую надувную лодку, которая покачивалась на волнах у самого борта судна, матросы помогали промокшим людям взбираться по веревочной лестнице на палубу. Вслед за последним пассажиром подняли багаж в одной большой сетке. Когда их лодка оказалась возле судна, Ясмина толкнула Морица в бок:

– Посмотри, там!

Мориц напряг зрение. Трудно было что-то различить в качающейся темноте, да еще поверх голов. Но он разглядел: за рулем второй надувной лодки сидел тот блондин. Принесший весть о смерти Виктора, исчезнувший тогда так же внезапно, как и появился. На голове у него была матросская шапка Пальмаха. Двое других матросов спустились по веревочной лестнице, и лодка отошла от борта, уступая место следующей. С корабля вниз полетели канаты. Все происходило слишком быстро. Ясмина вдруг вскочила:

– Виктор! – Она потеряла равновесие и упала бы за борт, если бы Мориц ее не удержал. – Там Виктор!

Мориц недоверчиво вглядывался во вторую лодку, ее качало на волнах. Он пытался различить лица матросов, но пелена начавшегося дождя надежно отгораживала две надувные лодки друг от друга. Первая уже отдалялась, а вторая ткнулась в борт корабля. Матросы отдавали команды, пассажиры бросились к веревочной лестнице.

– Виктор! – пронзительно кричала Ясмина сквозь ночь.

Лодка скрылась в пелене дождя.

– Ясмина, этого не может быть! – попытался успокоить ее Мориц.

– Нет, это был он! – Она смотрела на него безумными глазами.

– Поднимайтесь, быстро!

Ясмина замерла и вглядывалась в ночь, в сторону берега. Она чувствовала близость Виктора каждой клеткой своего тела. Это чувство никогда ее не покидало. Просто оно на какое-то время уснуло. Но почему он не услышал ее? Почему лодка не вернулась?

– Ясмина! Поднимайся!

Мориц подтолкнул ее к лестнице, матросы крепко держали ее, поторапливая пассажиров. Лодка могла перевернуться. Сверху тоже кричали. Ясмина вцепилась в веревку и словно в трансе поднялась, матросы втащили ее на палубу. Мориц привязал Жоэль к своей груди и тоже вскарабкался наверх. Потом матросы втянули веревочную лестницу, и надувная лодка отошла от шхуны. Промокшая Ясмина стояла у поручней, вглядываясь в темноту. Матросы подняли якорь и поставили паруса.

Мориц обнял Ясмину:

– Тебе почудилось.

Нет, не почудилось, думала она. Уж она могла отличить грезы от сигналов внешнего мира.

– Виктор умер, Ясмина!

– Нет. Он жив. – Она смотрела на него непонимающе. Она любила Морица, безусловно, но не сомневалась и в том, что видела своими глазами. Виктор, обросший бородой, в белой матросской шапке Пальмаха. Она только не понимала пока, как такое возможно.

Старый корабль накренился и стал набирать скорость. Под ногами больше не было твердой земли. И не было каната, который бы его удерживал. Теперь ими управлял ветер. Мориц прижимал Ясмину к себе и тоже смотрел в бушующее море. Правда то была или нет, не имело значения, пока Ясмина в нее верила. Они никогда не будут одни.

Эпилог

Патрис предпринял еще одну попытку. Несмотря на дождь и ветер, он вышел в море и спустился под воду. Один. Нашел только ящик. Ну хотя бы один из шести. Ему удалось поднять его наверх – ржавую, щелястую кучу железа. Пустую. Что бы в нем ни хранилось раньше, теперь оно рассыпалось по морскому дну. После зимних штормов следов уже не сыскать.

Может, когда-нибудь рыбак найдет среди улова серебряное колечко. Золотой браслет. Или обросшую ракушками цепочку со звездой Давида в ладони Фатимы. Кто знает. Кто вспомнит о людях, что носили это на себе, об их счастье и несчастье, оставшемся где-то за морем? Кто вспомнит о Pìcola Сицилии, кто поверит, что она действительно существовала? Однажды я туда отправлюсь, это недалеко, почти что видно отсюда, может, там еще стоят все те же дома, хотя улочки носят теперь другие названия.

И, увидев на обочине куст жасмина, я встану в его тень, закрою глаза и, может быть, расслышу сквозь шум нашего времени тихие звуки фортепиано и незабываемый голос:

*Youkali, c'est le pays de nos désirs
Youkali, c'est le bonheur, c'est le plaisir
Youkali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis
C'est dans notre nuit
Comme une éclaircie
L'étoile qu'on suit
C'est Youkali.*

Действующие лица

Берлин

МОРИЦ РАЙНКЕ

ФАННИ ЦИММЕРМАН, невеста Морица

АНИТА ЦИММЕРМАН, дочь Морица

НИНА ЦИММЕРМАН, внучка Морица

ДЖАННИ СКАТА́, бывший муж Нины

Тунис

ДОКТОР АЛЬБЕРТ САРФАТИ

МИМИ САРФАТИ, жена Альберта

ВИКТОР САРФАТИ, сын Альберта и Мими

ЯСМИНА САРФАТИ, приемная дочь Альберта и Мими

ЖОЭЛЬ САРФАТИ, дочь Ясины

ЛАТИФ АБДЕРРАХМАН, консьерж отеля «Мажестик»

ХАДИЙЯ АБДЕРРАХМАН, жена Латифа

ЛЕОН АТТАЛЬ, владелец кинотеатра

СИЛЬВЕТТА АТТАЛЬ, жена Леона

Марсала

ПАТРИС ЛЕГРАН, студенческий друг Нины, водолаз

ЛАМИН, БЕНВА, ФИЛИП, водолазы

ХИЛЬДЕГАРД ФОН МИТЦЛАФФ, ЛУТЦ БОВЕНЗИПЕН, МАКС

И ЯНИНА ТРИБЕЛЬ, родные погибших

Юкали

Текст Роже Ферне, 1935

Музыка «Танго Хабанера» Курта Вайля, 1934

Юкали,
Страна желаний наших,
Юкали,
Где радость и покой,
Юкали,
Где мы забыли все печали,
Несущий нас танец в темноте,
Звезда, манящая мечтой,
Это всё Юкали.

Юкали,
Земля, наполняющая сердца надеждой,
Юкали,
Где нас уносит любовь,
Где свобода, о которой мечтали,
Где исполняются все мечты,
Туда стремимся я и ты,
В Юкали!

Юкали,
Страна наших желаний,
Юкали,
Счастье, сладостный сон,
Мечта, безумие,
Но нет никакой Юкали!

Слово благодарности

Большое *merci* и *шукран* людям, которые с сердечным гостеприимством принимали меня в Тунисе, сопровождали меня в моих странствиях во времени и рассказывали мне свои истории.

Якобу Лелюшу, с его несравненным еврейско-тунисско-средиземноморским искусством кухни и повествования.

Кариму Бею, директору и душе отеля «Мажестик».

Амель Саид, заместительнице директора Гёте-института.

Францу Магету, бывшему референту посольства Германии по социальным вопросам.

Батту Хаттабу, ректору еврейской начальной школы Туниса.

Моим друзьям Мухаммеду, Аиде, Мамусу и Хмиде Мистави.

Национальному архиву Туниса, а также Военно-историческому музею Сицилии.

Моему деду профессору Отто Шпеку за человеческие истории из его нечеловеческого времени и за скрупулезное вычитывание рукописи.

Лино фон Гартцену из Мюнхена за краткий курс подводной археологии.

Чудесной команде издательства «Фишер» за доверие к моим видениям и за необычайные усилия, вложенные в эту книгу: Сив Бублиц, Йоргу Бонгу, Юлии Шнаде, Корделии Борхард, Томасу Райшу, Верин Вэльшер, Керстин Зейдлер, Надин Умлауф и особенно моему редактору Зузанне Кизов.

Моему агенту Лианне Кольф и ее сотрудницам, которые всегда преданно выступали на моей стороне.

Юлии Грюневальд за умные и полезные комментарии.

И – *last but not least* – Тони, американскому дяде Клары Раметта, – за то, что он сбрасывал свои бомбы не на Мессину, а в море.

notes

Примечания

Георги Господинов (р. 1968) – болгарский поэт, прозаик и драматург. – *Здесь и далее примеч. перев. и ред.*

2

Это невероятно! (*фр.*)

3

Здесь: потрясающе! (фр.)

Герой цикла приключенческих романов Карла Мая (1842–1912), немецкий путешественник, который вместе со своим слугой-арабом странствует по Северной Африке и Ближнему Востоку.

5

Солнечный берег (*ит.*).

6

Ну как ты? (*фр.*)

7

Здесь: вот же фокусы судьбы! (фр.)

Ну и вот! (*фр.*)

9

Золотая медаль (*ит.*).

10

О да (*φр.*).

Восемь кофе с собой! (*ит.*)

Прекрасная эпоха (*фр.*) – период в европейской истории с конца XIX века до начала Первой мировой войны, время расцвета культуры и научно-технического прорыва.

Очаровательный (*фр.*).

14

Газовый баллон (*ит.*) и спички (*ит.*).

Арбуз. Кот. Майский жук (*ит.*).

Песня Мишеля Эммера (1940), сделавшая известной Эдит Пиаф.

Человек культуры (*фр.*).

Бей Ахмад II ибн Али (1862–1942) правил с 1929 по 1942 год, проведя в стране серьезные реформы, в том числе просветительские. Сменивший его Мухаммед VII аль-Мунсиф правил меньше года, был смещен после освобождения Туниса за сотрудничество с правительством Виши.

Да здравствует дуче! (*ит.*)

Привет, друг, как дела? (*ит.*)

Понятно? (*ит.*)

Период в середине XIX века, когда в странах Центральной Европы начался расцвет буржуазии и индустриализации. В этот период и особняки для состоятельных людей, и доходные дома богато декорировались в самом широком диапазоне стилей «историзма» – от неоготики до необарокко.

Мелодию «Танго Хабанера» немецкий композитор Курт Вайль сочинил для своей оперы «Мария Галанте», которую он написал в 1934 г., находясь во французском изгнании. Годом позже французский поэт-шансонье Роже Ферне написал на эту музыку шансон и назвал его «Юка́ли».

До самого края света
Гнал мой корабль ветер,
Мотал меня по волнам.
Прибило меня на берег,
То был лишь маленький остров,
На нем жила одна фея,
Что встретила нас сердечно
И нас пригласила к себе (*фр.*).

Юкали,
Страна желаний наших,
Юкали,
Где радость и покой,
Юкали,
Где мы забыли все печали,
Несущий нас танец в темноте,
Звезда, манящая мечтой,
Это всё Юкали (*фр.*).

Лале Андерсен (1905–1972) – немецкая певица; песня композитора Норберта Шульца «Лили Марлен» стала ее визитной карточкой. Немецкая пропаганда относилась к Лале Андерсен с недоверием, несмотря на ее огромную популярность, причина заключалась в ее близких отношениях с музыкантами-евреями.

Громче, пожалуйста! (*англ.*)

Слушай (*фр.*).

Ничего (*ит.*).

Запретный квартал (*фр.*).

Немецкая песня (*ит.*).

«Как обстоит с твоею верой в Бога?» («Фауст» Гете, пер. Б. Пастернака).

Черноногий (*фр.*) – презрительное название французов, живших в колониях Северной Африки.

Входите, друзья! (*фр.*)

Мое вино (*фр.*).

За дело, ребята! (*фр.*)

Буалем Сансаль (р. 1949) – алжирский писатель, лауреат Гран-При Французской академии и еще нескольких европейских премий.

Красавица дочь (*ит.*).

Старинная английская моряцкая песня (шанти), которую пели также и немецкие моряки, переделав ее на свой лад: куплеты поются на немецком, а припев – по-английски.

Правь к дому, в старый добрый Гамбург (*англ.*).

40

Очень хорошо поймешь (*ит.*).

Матфей, 25:40.

Это странно (*фр.*).

Вот же дерьмо! (*фр.*)

Он друг (*ит.*).

Укромное местечко? Здесь опасно, приятель! Немец? (*фр.*)

И это все? (*фр.*)

Постой! (*фр.*)

Вы немец? (*фр.*)

Куда направляетесь? (*англ.*)

Место назначения (*англ.*).

Пол Боулз (1910–1999) – американский писатель и композитор, с 1947 г. почти постоянно жил в марокканском Танжере.

Старые вещи! (*ит.*)

Исход, 22:21.

Очень плохой человек, мистер (*англ.*).

Простыни, фиордилатте (разновидность моцареллы), радуга (*ит.*).

Чашка кофе с сахаром (*ит.*).

Какая глупость! (*фр.*)

Изумительно (*ит.*).

Невеста (*um.*).

Невероятно. Бог мой! (*ит.*)

СЫНОК МОЙ (*ит.*).

Сокровище (*ит.*).

Все равны (*фр.*).

Вечный хаос, полный бардак (*ит. и фр.*).

Нечестивый (*ит.*).

Несчастный (*ит.*).

Вот и я! (*фр.*)

Уходи, бегом, живо! (*фр.*)

Сладость дуче (*ит.*).

Трубки Черчилля (*ит.*); канноли – сладкие трубочки, традиционное итальянское лакомство.

Захолустъе (*φρ.*).

Джузеппе Унгаретти (1888–1970) – итальянский поэт еврейского происхождения, один из основателей итальянского герметизма, в молодости был идейно близок к итальянскому фашизму.

Юкали,
Земля, наполняющая сердца надеждой,
Юкали,
Где нас уносит любовь,
Где свобода, о которой мечтали,
Где исполняются все мечты,
Туда стремимся я и ты,
В Юкали! (*фр.*)

Юкали,
Страна наших желаний,
Юкали,
Счастье, сладостный сон,
Мечта, безумие,
Но нет никакой Юкали! (*фр.*)

Безумие! (*фр.*)

Поди прочь! Аиб, я тебя убью! (*фр.*)

Успокойтесь, леди! Общайте комнату! (*англ.*)

Есть трещины во всем. Так свет проникает внутрь (*англ.*).

Перевод Н. Вильмонт.

Этого поганого борделя (*ит.*).

Какой бардак (*ит.*).

«Пате» – знаменитая французская киностудия, с 1906 г. выпускавшая журналы кинохроники; у «Пате» были свои филиалы во многих странах и городах, во Вторую мировую британский филиал студии был одним из основных производителей кинохроники.

Первый среди равных (*лат.*).

До завтра (*ит.*).

Ясмина Хадра (р. 1955) – алжирский писатель, пишущий на французском языке. Его настоящее имя Мохаммед Мулессегуль, женский псевдоним он взял, чтобы избежать преследования со стороны военной цензуры во время алжирской гражданской войны.

Давай, поехали! (*ит.*)

Хорошо (*um.*).

Женщина счастья (*ит.*).

Милтон Эриксон (1901–1980) – американский психиатр, специалист в области медицинского гипноза.

А вы, все в порядке? (*фр.*)

Пока, до скорого! (*ит.*)

Изумительное (*ит.*).

Смотри! (*ит.*)

Кончай уже! Идем давай! (*ит.*)

По моему мнению (*фр.*).

Мне очень жаль, синьора (*ит.*).

Море разбушевалось (*ит.*).

Тогда (*φр.*).

Умоляю вас! (*фр.*)

Нищеты (*ит.*).

Как звать, откуда он, не знаю ни черта. Всю ночь он любил меня до самого утра (*фр.*).

Здесь и далее слова из песни *Mon legionnaire* (1936, слова Раймона Ассо, музыка Маргариты Монно), в военные годы этот печальный шансон бывшего legionнера Раймона Ассо стал популярным в исполнении Эдит Пиаф.

Счастье исчезло, без следа испарилось, Но ночь та во мне
навсегда поселилась (*фр.*).

И каждое утро просыпаюсь с мечтой – На пороге моем,
приведенный судьбой, Мой легионер (*фр.*).

И сбежим мы с ним вдвоем
В страну, где солнце и ночью и днем,
В волшебную страну! (*фр.*)

О полная радости, добрая,
сладкая Дева Мария! (*лат.*)

Матерь любящая и бесстрашная,
Молись, молись за нас (*лат.*).

Давай! (*ит.*)

Представление должно продолжаться (*англ.*).

С вами все хорошо, мсье? (*фр.*)

Мои извинения, синьора, не придет. Море плохое (*ит.*).

Не сезон (*ит.*).

Весь чертов мир (*англ.*).

Он должен быть очень везучим (*англ.*).

Наших (*ит.*).

Немцы (*ит.*).

Англичане (*ит.*).

Нет, синьор, я сожалею (*ит.*).

Лагерь для перемещенных лиц (*англ.*).

Еврейская военная подпольная организация в Палестине, существовала с 1920 по 1948 год во время Британского мандата.

Ударное подразделение Хаганы, действовало в Палестине с 1941 по 1948 год, на его основе выросла армия Израиля.

Захоронение не католиков (*ит.*).

Как и должно быть (*фр.*).

123

Тише! (*ит.*)

Нет, сэр. Но отсутствие новостей – хорошие новости (*англ.*).

Пер. с нем. А. Глуховского.

Кетуба (кетубот) – в иудаизме брачный договор, в котором перечисляются, среди прочего, обязанности мужа: кормить, одевать, исполнять супружеские обязанности, а также выплатить определенную сумму денег в случае развода.

Я тебя люблю! (*ит.*)

Любимый, все хорошо?
Да (*ит.*).

Юкали,
Страна желаний наших,
Юкали,
Где радость и покой,
Юкали,
Где мы забыли все печали,
Несущий нас танец в темноте,
Звезда, манящая мечтой,
Это всё Юкали (*фр.*).

Здесь: но увы (фр.).